ISSN 0130-6545

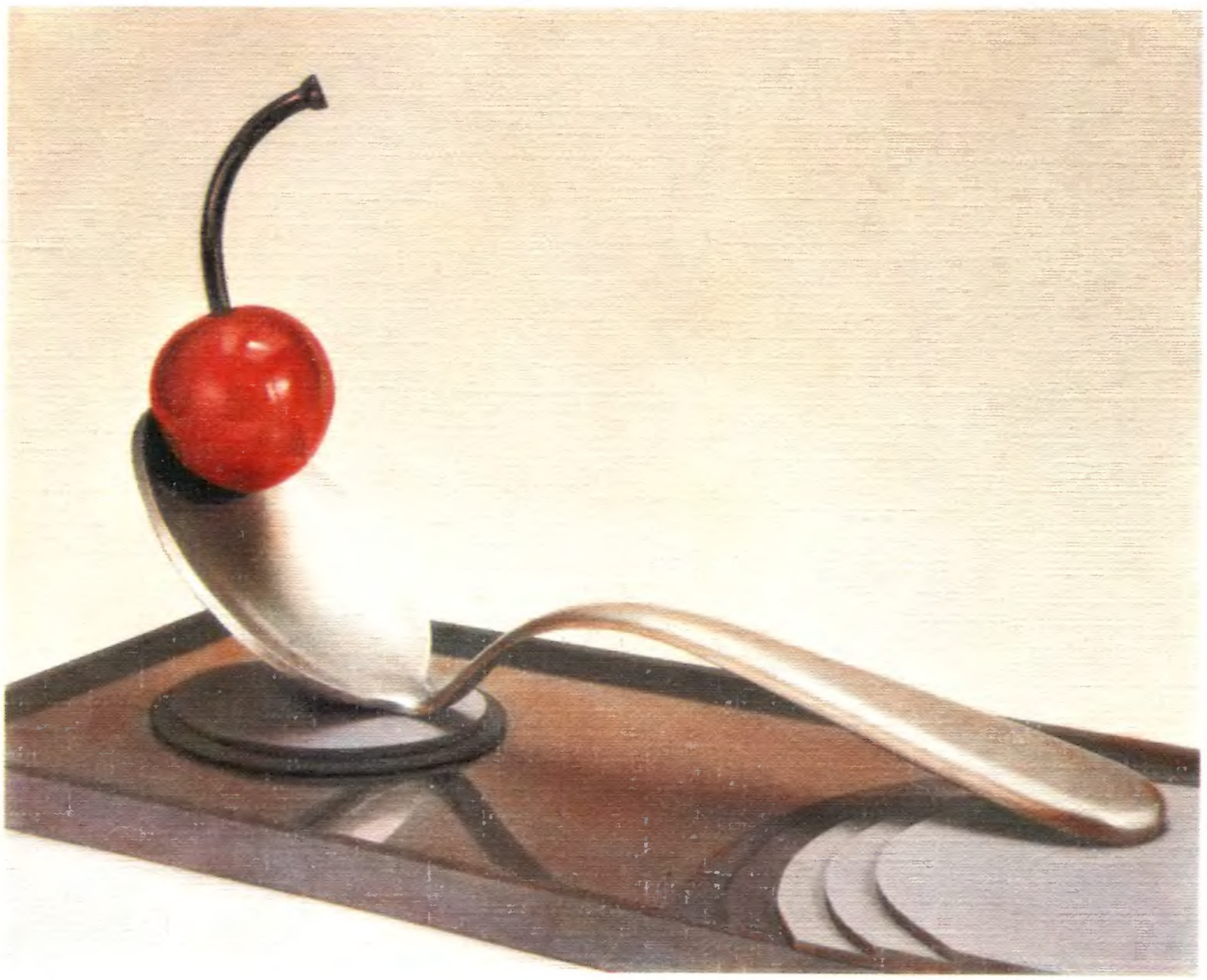
2.1997

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ
Элеазар, или Источник и Куст

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ
Подельники



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

Американский авангард 60-х:
тридцать лет спустя

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

ВНИМАНИЕ!

Журнал «Иностранная литература»
и петербургское издательство «Азбука»
возобновляют выпуск
Библиотеки журнала
«Иностранная литература»

В ближайшее время в этой серии выйдут следующие книги:

МОРИС БЛАНШО. Последний человек
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ. Орландо
МИЛАН КУНДЕРА. Бессмертие
МИЛОРАД ПАВИЧ. Хазарский словарь
ТОМ ВУЛФ. Электро-прохладительный кислотный тест

Приобретайте книги Библиотеки «ИЛ»
в книжных магазинах !

По вопросам оптовых закупок обращайтесь по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15. Издательство «Азбука»
Тел. (812) 298-8306, 298-8309

ЗШ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
г. ЛЕНИНГОРА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 15 250 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2051 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

2 февраль 1997

СОДЕРЖАНИЕ

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ — Элеазар, или Источник и Куст (*Роман. Перевод с французского Ирины Волевич*)) 5
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Подельники (*Пьеса. Перевод с немецкого Э.Венгеровой и Н.Крыгиной*) 40
ЛАСЛО ДАРВАШИ — Рассказы (*Перевод с венгерского и вступление Ю.Гусева*) 75
АНТУН ШОЛЯН — Рассказы (*Перевод с хорватского Т.Поповой*) 90

Литературное наследие

АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР — Кондор (*Рассказ. Перевод с немецкого Н.Федоровой. Послесловие С.Шлапоберской*) 103

Мастера перевода

ЮРИЙ КОЖЕВНИКОВ — Антология для домашнего употребления (*Вступительная статья Н.Мавлевич*) 117

Литературный гид

АМЕРИКАНСКИЙ АВАНГАРД 60-х: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

УИЛЬЯМ ГАСС — Мальчишка Педерсенов (*Повесть. Перевод В.Голышева*) 130
ДЖ.П.ДОНЛИВИ — Самый сумрачный сезон Сэмюэла С. (*Повесть. Перевод Н.Васильковской*) 165
ДОНАЛД БАРТЕЛМИ — Рассказы (*Перевод Алексея Зверева*) 196
АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Второе свидание 209

Галерея «ИЛ»

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ — Траектория шляпы 218

Критика и публицистика

ГЮНТЕР ГРАСС — КЭНДЗАБУРО ОЭ — Вчера, полвека тому назад (*Переписка. Перевод с немецкого и вступление А.Егоршева*) 224

Среди книг

БОРИС ДУБИН — Страсть и меланхолия «последней из разносторонних». НАТАЛЬЯ ВАНХАНЕН — Тайное и явное. ЭДУАРД ШУЛЬМАН — Как сделано 241

У книжной витрины 250

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1997

В следующем номере «ИЛ»

Новый роман **Марио Варгаса Льосы** «ЛИТУМА В АНДАХ», в котором полицейский Литума, герой многих книг этого замечательного прозаика, расследует загадочные преступления, происходящие в одном из шахтерских поселков в глубине перуанских Анд.

Психологическая повесть американской писательницы **Джойс Кэрол Оутс** «ЧЕРНАЯ ВОДА», оригинально трактующая подлинное трагическое событие, ставшее сенсацией политической жизни США.

Первые главы книги **Нормана Мейлера** «ПОРТРЕТ ПИКАССО В ЮНОСТИ», в которой известный американский писатель предлагает собственную версию биографии великого живописца-реформатора XX века.

Цветные иллюстрации номера — работы американского художника КЛАСА ОЛДЕНБУРГА:

На 1-й стр. обложки — «Мост в виде чайной ложки с вишенкой» (Модель, 1987).
На 2-й стр. обложки — «Бельевая прищепка». Филадельфия (1976).
На 3-й стр. обложки — «Мужской пиджак с рубашкой и галстуком» (1961).

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Анжелика» — Коровинское ш., д.20
«Гилея» — ул. Знаменка, д.10
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
Книжная лавка «19 Октября» — 1-й Казачий пер, д.8
«Книга Замоскворечье» — ул. Пятницкая, д.6
МКЦ «Надежда» — ул. Сретенка, д.9
«Эйдос» — Чистый пер., д.6

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎ 233-51-47; факс 233-50-61, E-mail edit@inolit.msk.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 23.01.97. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,69. Заказ №2277.

Тираж 15 250 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ

Элеазар, или Источник и Куст

РОМАН

Перевод с французского ***ИРИНЫ ВОЛЕВИЧ***

Корали

1

Мальчик-пастух глядел на океан: с запада сушу заволакивало мягкое серебристое марево. Он знал, что день будет пасмурным и что никто не потревожит его одиночества. Страха он не испытывал, но чувствовал, что погружается в бездну глухой тоски. Прошло много времени, он даже не знал, сколько именно. Потом вдали зазвонил колокол деревни Асенри; его чистый печальный голос то и дело перебивали злые порывы морского бриза.

Элеазар знал, как родной язык, простодушную сбивчивую речь колоколов. То, что он слышал сейчас, не было ни ангелюсом [1], ни праздничным перезвоном. Звонили к заупокойной службе. Он не боялся смерти. Одни только взрослые, прочно укоренившиеся в живой земле, страшатся быть вырванными из нее внезапной, несправедливой кончиной. Дети же и старики плывут по волнам житейского моря без якоря и покидают его без страданий.

Но кто же это умер в Асенри? Чуть позже Элеазар увидел вдали Сэма Пелгрейва; тот ехал стоя в своей вечной повозке. Как Элеазар и предвидел, она была запряжена парой вороных. Всего у Сэма было четыре упряжных лошади, за которыми, ввиду их немалой доходности, он тщательно ухаживал. Пара белых лошадей и пара вороных. Первые запрягались для свадеб, вторые для похорон. Повозка же с дощатыми бортами была одна на все случаи жизни. Хозяин украшал ее то серым флером, куда возлагались венки, то белой кисеей, которую ветер сплетал с фатою невесты.

Ночная тьма накрыла берег так же внезапно, как встает новый день. Морской туман то там, то сям поблескивал звездами, вспыхивал смутными отражениями волн. Пора было возвращаться домой. Элеазар свистнул собакам, которые только и ждали сигнала, чтобы собрать стадо. До фермы Хезлетта, где служил мальчик, был час ходьбы. Он направился к овце, возле которой терся, еще пошатываясь, новорожденный ягненок. Этому до овчарни на своих ножках не добраться. Элеазар поднял его на руки и прижал к груди. Тотчас же на него уютно пахнуло нежным теплом детеныша и густым запахом овечьего выпота. Много позже, когда он станет размышлять об источниках своего религиозного призвания, ему явственно вспомнятся те

---

[1] Ангелюс — колокольный звон, созывающий на утреннюю или вечернюю молитву, на латыни начинающуюся со слова «Angelus». (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Éditions Gallimard, 1996
© И.Волевич. Перевод, 1997

мерцающие ночи, когда он приносил домой на руках ягненка, слишком слабенького, чтобы дойти самому.

Элеазар вовсе не собирался работать пастухом; с детства он мечтал о другом ремесле. В деревне жил старик краснодеревщик; мальчик целыми днями просиживал у него в мастерской и привязался, как к родному. Ему нравился лесной запах кругляков, сохнувших на стропилах под крышей. Он быстро научился различать древесные породы; одни были привычными — ива, ольха, эти росли здесь же, в болотистых ложбинах и по берегам речушек; другие, благородные, как, например, дуб и орех, крайне редко встречались в Ирландии; и, наконец, несколько экзотических деревьев привезли на родину моряки, желавшие по возвращении домой спраздновать женитьбу на кровати из палисандра, красного дерева или сикомора.

Элеазару страстно хотелось поступить в ученики к старому Чарлтону, с которым он ладил как нельзя лучше, но, к великой печали мальчика, краснодеревщик внезапно умер. Последний раз наведавшись в его мастерскую, Элеазар с болью в сердце унес оттуда единственное свое наследство — еловую стружку. Для него это была не просто памятная вещь. Обычай требовал, чтобы подростки, желавшие наняться в ученики, прохаживались по большой ярмарке в Голуэе, прикрепив к картузу символ избранного ремесла: для пастухов — клочок овечьей шерсти, для земледельцев — колосок, для столяров — стружка, для кузнецов — кончик рессоры.

Элеазар все утро проторчал в густой ярмарочной толпе, но никто так и не заинтересовался стружкой, свисавшей с картуза ему на ухо, точно светлая кудрявая прядь. Наконец он пошел отыскивать отца; тот выпивал в пабе с фермером из соседней деревни, которому требовался пастух. Мальчик не смог сдержать слезы, когда отец ударил по рукам с незнакомцем, посвятив сына нелюбимому ремеслу. Три дня спустя его отправили на ферму Хезлетта пасти овец.

— Ничего не поделаешь, сынок, это судьба! — сказала Элеазару мать, собирая его жидкий узелок. — Человек должен покорно принимать свою судьбу.

Однако Элеазару понадобились долгие годы, чтобы понять правоту матери, ибо труды и дни пастухов никоим образом не походят на труды и дни пастырей душ человеческих. Его брат, работавший батраком в поле, не упускал случая обозвать мальчика бездельником: тоже мне труд — с утра до вечера торчать столбом посреди стада! Похоже, ему не терпелось продолжить библейскую традицию, которая восстановила оседлого земледельца Каина против пастуха-кочевника Авеля и запретила смешивать в одной и той же ткани лен — растительное волокно — и шерсть — волокно животного происхождения.

А ведь это было весьма тяжким испытанием — стеречь овец весь день напролет, и в грозу, и под градом, и под осенними ураганными ветрами, или бегать по всей округе, собирая испуганно разбежавшееся стадо. Элеазару пришлось, невзирая на отвращение, научиться холостить баранов и выжигать каленым железом за ухом у шестимесячных ягнят стилизованное «Х», клеймо Хезлетта. Но главной его заботой был окот, возвещавший конец зимы столь же непреложно, как и лиловые звездочки примул в ландах. Теперь он умело помогал маткам разрешиться, скинуть послед. Он знал, что, когда рождаются близнецы, нужно пожертвовать каким-нибудь из них, ибо ни одна овца не в силах выкормить сразу двоих ягнят. Но главное, он смастерил себе из бараньей шкуры мешок на спину, чтобы таскать в нем, вслед за стадом, слишком слабеньких ягнят, и ничто не доставляло ему большей радости и гордости, чем жадный поцелуй в затылок мягких ягнячьих губок, нетерпеливо ищущих материнские сосцы.

Однажды вечером, едва начав собирать стадо, он сразу понял, что пропал молодой баран. В стаде было около сотни голов, но Элеазару даже не требовалось их пересчитывать. Нехватка одного-единственного животного мгновенно бросалась в глаза опытному пастуху, точно свежий шрам на знакомом лице. Он кинулся на поиски барана в искрошенные ветрами расщелины прибрежных скал. Нужно было спешить: в эту пору темнело рано, и стадо без пастуха могло разбежаться по ландам. Наконец Элеазар заметил неясное белое пятно: баран взобрался на скалу, козырьком нависавшую над морем. Оказалось, что он сломал ногу и не может спус-

титься. Животное полагалось тут же забить. Однако Элеазар взвалил барана на спину и, выбиваясь из сил, все-таки донес его до фермы.

Владелец фермы Хезлетт всегда собирал животных с помощью собак. Не дождавшись Элеазара в положенный час, он сам отправился на поиски стада. Юный пастух тотчас заметил кнут, висящий на шее хозяина. Он опустил наземь увечного барана, выпрямился и стал ждать. Не сказав ни слова, Хезлетт сорвал кнут с шеи и принялся хлестать мальчика. Он бил его долго, кнут со свистом разрезал воздух, впиваясь в тело с головы до ног. Когда хозяин наконец остановился, Элеазар утратил человеческий облик. С того дня его правую щеку навеки прорезал шрам. Обычно малозаметный, он мгновенно наливался кровью, стоило Элеазару хотя бы слегка взволноваться. И все-таки это было пустяком по сравнению с незаживающей раной, навсегда оставшейся в его душе.

2

По воскресным утрам пастор читал в деревенском храме проповеди для молодежи. Некоторые слушали его бездумно, но были и такие, что вкладывали в образы священной истории с ее персонажами свое собственное понимание. Элеазару больше всего приходились по сердцу библейские эпизоды и евангельские притчи, где фигурировали пастухи и скот. Он мысленно уподоблял себя доброму пастырю, оставившему стадо в поисках одной заблудшей овцы. И вскоре ему показалось вполне естественным перейти от животных к людям, ответив религиозному призванию, к которому его, в некотором роде, подготовила пастушеская жизнь.

Элеазару было семнадцать лет, когда он стал пансионером галликанской семинарии Даунпатрика в Ольстере; деньги за него внесла маленькая протестантская община Голуэя. Строгий режим, который неуклонно обязаны были соблюдать воспитанники семинарии, показался ему раем после дней и ночей, проведенных со стадом в прибрежных ландах. Правда, большинство его новых товарищей из буржуазных семей часто демонстрировали свое превосходство юных горожан над «этой деревенщиной»; впрочем, они милостиво прощали его невежество, ведь он вырос в полудиких краях, населенных невежественными католиками. Над ним насмехались. Некоторые, проходя мимо, брезгливо зажимали нос: от Элеазара якобы несло бараньим жиром. Другие вслух дивились тому, что он не спускается по ступенькам со второго этажа задом: мол, в его краях люди, кроме приставных лестниц, других не видывали. И все они презрительно фыркали, глядя, с каким аппетитом он поедает вторую порцию ежедневной кукурузной каши, которую городские привереды находили омерзительной.

Но Элеазар пропускал мимо ушей эти насмешки; все, что он видел и узнавал, приводило его в полное восхищение, особенно счастье учиться, которого он так нежданно удостоился.

Храм семинарии был украшен барельефом с изображением святого Патрика, попирающего ногой клубок змей. Это казалось необъяснимым, хоть и священным парадоксом: ни один ирландец, сколько он себя помнил, никогда не видел змей в своей стране — именно благодаря Патрику, проповеднику Евангелия в Ирландии; каждый знал его историю, рассказанную Яковом Ворагинским в «Златой легенде»[1]:

«*В 280 году от рождения Христова Патрик повествовал о страстях Иисуса Христа королю скоттов, и вот, стоя пред этим властителем, он оперся на посох, что держал в руке, и, сам того не желая, пронзил его острием ногу короля. Король же, полагая, что святой епископ сделал сие нарочно, ибо, не пострадав, невозможно будет принять христианскую веру, терпеливо сносил боль. Наконец святой заметил свою оплошность, каковая повергла его в великое огорчение, и, вознеся молитву, исцелил короля от его раны, а заодно попросил Господа навеки изгнать из сей страны всех ядовитых тварей*».

---

[1] Яков Ворагинский (1228—1298) — монах-доминиканец, итальянец по происхождению, автор «Златой легенды», жизнеописания святых.

Вскоре змея обернулась в представлении Элеазара неким фантастическим существом, отягощенным множественной символикой. На чердаке родительского дома издавна валялась трость в виде извилистого змеиного тела, увенчанного головою удава. Никто не помнил, откуда она взялась. Элеазар часто разглядывал ее с чувством какого-то влекущего ужаса. Он родился и жил в католической стране, хотя и вырос в протестантской семье; вот отчего Новый завет с его чудесами, притчами, а главное, отмеченный присутствием Иисуса, был ближе его душе, нежели Ветхий. Змей-искуситель в раю и змей Моисея[1] уводили его в древний суровый мир начала всех начал, мир пророков, мир бога Яхве. Но лютеранские наставники из Даунпатрика осуждали его за это. Они проповедовали возврат к ветхозаветным истокам. Для них Библия являла собою основополагающую книгу, где сосредоточена вся мудрость бытия. Верующий человек не должен был ни на йоту отступать от ее заповедей. Ему полагалось всегда держать ее открытой в левой руке и сверяться с нею по любому случаю — хотя для Бога случайностей не существует, — когда у него возникал вопрос, сомнение или трудность. Там, в Библии, имелся ответ на все.

Элеазар покорно выслушивал эти наставления и честно пытался проникнуться ими. Но ему никак не удавалось поверить в них до конца. Тщетно преподаватель богословия сотрясал своды часовни Даунпатрика своим замогильным басом, тщетно воздевал палец угрожающим жестом пророка — Элеазар непрестанно слышал в глубинах своего сердца гул морского ветра у родных берегов, и ему казалось, что искаженное страданием, залитое слезами лицо Иисуса куда ближе этой стране, чем застывший в жестоком вдохновении лик Моисея.

Он много размышлял о главенствующей роли воды в Евангелиях. Крестильные воды Иордана, чудеса рыбной ловли на Тивериадском озере, источники и колодцы, куда сходились женщины с кувшинами... И еще слова Иисуса, сказанные им самарянке у колодезя Иаковлева: «*Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную*» (Евангелие от Иоанна).

Сказано было так, словно Иисус находился в благодатном крае по имени Коннемара, где вода с веселым журчанием бежит во все стороны.

Элеазар был недалек от мысли, что снабжение семьи водой, всегда возлагавшееся на детей, приобретало, кроме практической, еще и духовную ценность. Нужно сказать, что сам Элеазар, которому в детстве порядком надоело таскать тяжелое ведро, почти всегда набирал воду в прудике возле дома, хотя была она там мутной, с едким привкусом гнили. А источник, который с ласковым бормотанием наполнял выбоину в скале чистой, прозрачной водой, находился в четверти часа, если не больше, ходьбы от дома. Родители ни разу не говорили с сыном о вкусе — плохом или хорошем — приносимой воды, но их молчание тяжким бременем лежало на его совести.

3

Когда Элеазару исполнилось двадцать лет, он вернулся в ланды Коннемары и, погостив несколько дней у родителей, отправился к пресвитерианскому пастору Голуэя, который согласился взять его к себе церковным служкой.

Маленькая протестантская англоговорящая община вела чрезвычайно замкнутое существование в этом откровенно враждебном католическом городе, где все говорили на гэльском языке. Городской порт некогда знал лучшие времена благодаря торговле с Францией, Испанией и даже Ост-Индией. Но войны Кромвеля и Вильгельма Оранского в семнадцатом веке положили конец его процветанию. Теперь от былого благополучия осталось лишь несколько величественных руин, а среди них Spanisch Arch — Испанская арка, на которой еще можно было разобрать изрече-

[1] Согласно библейской легенде, жезл Моисея мог оборачиваться змеем.

ние: «En la lucha entre el agua y el fuego siempre es el fuego el que muere»[1].

Элеазар часто размышлял над этой таинственной фразой. Не намекала ли она на Ирландию, страну вод, и Испанию, страну огня, и не отметил ли ее пессимистический дух пораженчества — ведь принято считать, что огонь символизирует порыв, юношескую дерзость, волю к победе, а вода — печаль бессилия, покорное приятие повседневной действительности. Казалось, фраза эта слетела с уст какого-нибудь испанца, томившегося в изгнании на чужбине, далеко на севере, в этом туманном, дождливом крае.

И не следовало ли отсюда, что Ирландия — страна, лишенная огня? О, разумеется, нет; но если он и был у нее, этот огонь, то походил на нее самое — темное, как бы сырое огнище, которое могло кое-как согреть, но не пылало, не давало яркого света, всего лишь мерцая недобрыми синеватыми сполохами, точно адские уголья, испепеляющие грешников в загробной тьме.

Да, таков он был — огонь, питаемый торфом, единственным топливом огромного зеленого острова. Элеазар не раз отваживался заходить в болотистые дебри, где люди, сами похожие на торфяные статуи, медленно вырезали из почвы особыми мотыгами четырехугольные бруски. Эти торфяные кирпичи складывались в штабеля с просветами, в которых свободно гулял воздух; за лето они подсыхали и к осени уже годились на топливо.

Работы эти были чужды Элеазару — пастухи никогда не спускались в черные пасти торфяных ям. Но терпкий, всепроникающий запах торфа так крепко пропитал воздух, которым он дышал с самого рождения, что он не мог отделить его от других привычных запахов своего детства. И удастся ли ему когда-нибудь отмыть от него тело и душу?!

4

Он встретил Эстер на балу, который богатые фермеры ежегодно устраивали в первое воскресенье после 17 марта, дня Святого Патрика. Совпадение праздника с первым весенним днем неизменно превращало этот бал в нечто вроде свадебной ярмарки, где встречались молодые люди и девушки на выданье. По этой причине доступ на бал строго ограничивали, дабы избежать риска мезальянса. Туда приглашались лишь те парни и девушки, за которыми давали не менее трехсот акров земли. Одного этого было достаточно, чтобы исключить Элеазара из числа гостей. Но пасторское звание обеспечивало ему некий привилегированный статус, одновременно лишая всякого интереса в глазах потенциальных невест.

Элеазар слегка принарядился, надев рубашку с высоким воротничком и сиреневый галстук; свои грубые башмаки он прикрыл черными гетрами. Но главное, желая придать себе больше уверенности, он опирался на своего «деревянного змея», тяжелую экзотическую трость, наследие предков. «Это единственная змея во всей Ирландии», — говорили в его семье, намекая на легенду о святом Патрике. Строгий костюм и не менее сдержанная осанка выдавали в нем стороннего наблюдателя, решившего остаться незамеченным.

По традиции бал устраивался в маленьком приходском театрике. На спинки кресел клали дощатый помост, который, оказавшись на уровне сцены, образовывал вместе с нею танцевальную залу вполне достаточных размеров. На эстраде вовсю старались музыканты, игравшие на волынках, скрипках, флейтах и свирелях. К концу вечера, дабы взбодрить напоследок утомленных танцоров и осоловевших от вина зрителей, на сцену выпускали троих барабанщиков, громко колотивших палочками по bodhran — роду тамбурина из козьей шкуры. При первых же раскатах этого древнего ирландского тамтама толпу охватывало трепетное чувство священного единства, тем более высокое и волнующее, что здесь в большинстве своем присутствовали семьи, жившие в пустынных местностях и разделенные многими милями. До чего ж приятно было собраться всем вместе и дружно отпраздновать приход весны!

---

[1] В борьбе воды и огня всегда гибнет огонь (*исп.*).

Вечер явно подходил к концу, и толпа уже готовилась разойтись, когда музыкантов на эстраде сменили две молодые девушки. Одна из них держала в руках кельтскую арфу в изящной раме из сикомора; на раме было вырезано трогательно-простое название: «Весенние голоса».

Вторая девушка направилась к свободному стулу посреди эстрады. Она слегка прихрамывала и шла, опираясь на трость.

Многие узнали юных сестер — Жюльетту и Эстер из семьи Киллин, принадлежавшей к знатному клану О'Мэлли. Старшая дочь, Грейс, сделала блестящую партию два года тому назад. Жюльетта, цветущая двадцатидвухлетняя девушка, жила в тоскливом ожидании суженого, который что-то медлил с появлением. Ну а младшая, Эстер, не ждала ничего и никого, ибо, переболев в детстве частичным параличом, осталась хромой. Она старалась компенсировать это увечье и неизбежное будущее одиночество, развивая свою необыкновенную музыкальную одаренность. Никто во всем графстве не пел более чистым голосом под аккомпанемент кельтской арфы. Сестра помогла Эстер расположиться и подала ей инструмент, издавна символизирующий ирландскую душу. И действительно, скоро в благоговейной тишине зазвучал голос Ирландии, мелодия, которую Эстер предварила мягкими серебристыми переливами струн. То была хрустальная песнь ручьев, источников и речек, дарующих жизнь ирландской земле.

Миг спустя в нежные аккорды струн влился еще более чистый, прозрачный девичий голос. Эстер исполняла песни из «Последней летней розы» Томаса Мура, чья слава гремела по всей стране.

Затерявшийся в толпе Элеазар потрясенно вслушивался в журчащую мелодию, где неразличимо сплетались голоса девушки и арфы. Он уже был знаком с Эстер. В начале бала его представили обеим сестрам Киллин, а позже, когда кавалер пригласил Жюльетту на экосез, он остался наедине с Эстер; им обоим невозможно было танцевать: ей мешала хромота, ему — достоинство молодого пастора. Они почти не говорили в оглушительном гомоне бала, но каждое слово девушки сопровождалось такой прелестной улыбкой, что Элеазару невольно вспомнилась голубка с масличной веткой в клюве, возвестившая Ною конец его тяжких испытаний.

Он сгорал от желания еще раз увидеться с Эстер, но не мог придумать никакого удобного повода явиться в эту католическую помещичью семью. И вот однажды на ярмарке его окликнул чей-то звонкий веселый голосок. Он не сразу признал Жюльетту, она была одета и причесана совсем не так, как на балу. Вместе они прошлись вдоль овощных рядов и загонов для скота, и, прощаясь, она пригласила его на ферму Киллинов в следующее воскресенье.

5

Когда Элеазар, весь сжавшись от робости, осмелился войти во двор фермы, он увидел там множество гостей. Жюльетта удивленно взглянула на вновь пришедшего, еще усугубив его смущение. Потом она потащила Элеазара в самую гущу собравшихся, чтобы представить родителям. Глава семьи смерил ледяным взглядом этого нищего протестанта, словно спрашивая, где его дочь выкопала такое чудище. Нет, решительно эта Жюльетта настоящая сумасбродка; недаром ей никак не удается приискать достойного мужа. Вот удумала — пригласить сюда голодранца-пастора. Только его здесь и не хватало!

К счастью, тут появились новые приглашенные, и Элеазара оставили в покое. Жюльетта исчезла, и он блуждал в одиночестве между столами, расставленными вдоль оранжереи, в поисках той, ради которой и пришел сюда. Жюльетта наверняка позабыла сообщить сестре о приглашенном пасторе. Да и здесь ли Эстер? Промаявшись часа два, он уже направился было к выходу, рассчитывая незаметно исчезнуть, как вдруг увидел молодую девушку в зеленой беседке. Она сидела в окружении детей, с которыми весело перебрасывалась мячом. Радостное удивление, вспыхнувшее на ее лице, мигом утешило Элеазара. Он попытался принять участие в игре, но дети, оробевшие при виде незнакомца, разбежались, и они с Эстер остались вдвоем.

Она пригласила его сесть на толстую подушку у ее ног, и, не найдя другой темы, они заговорили о детях. Викторианская мораль требовала смотреть на детей как на невинных ангелочков, упавших с неба. Единственный долг взрослых состоял в том, чтобы охранять их от нечистого, грешного мира. Детей одевали, учили и развлекали, строго руководствуясь этим принципом. Эстер поразила Элеазара своим насмешливым отношением к этому предрассудку. По ее мнению, нужно было совсем не разбираться в детях, чтобы идеализировать их подобным образом. На самом деле они отличались не меньшей испорченностью, чем взрослые, только иной, соответствующей их возрасту.

Элеазара удивили ясность и независимость суждений молодой девушки. Казалось, хромота и положение младшей в семье держали Эстер в стороне от остального общества, которое вынуждало ее глядеть на себя строго и беспристрастно, не строя никаких иллюзий.

Потом они заговорили об ангелах. Протестантское богословие крайне подозрительно относится к этим непонятным созданиям, которые, наряду с целым сонмом святых, поощряют злосчастную склонность католиков к политеизму. Эстер не разделяла этой подозрительности. Она восхищалась золотистой и белоснежной иерархией серафимов, херувимов, архангелов и ангелов. Вот только существование ангела-хранителя сильно стесняло ее в отрочестве. Да и как не смущаться юной девушке вечным присутствием рядом с собою этого невидимого, но всевидящего молодого человека?

Элеазар запротестовал: не годится называть ангела молодым человеком, это явное антропоморфическое преувеличение. Многие средневековые богословы спорили о том, к какому полу отнести ангелов. И напрасно теряли время; разумеется, они не мужчины и не женщины, им неведома тайна рождения. И это неведение сближает их с детьми — ведь неоспоримо, что лишь дети, в силу своей слабости и неразумия, пользуются привилегией иметь ангела-хранителя. На это же, вероятно, намекается и в Евангелии от Матфея: *«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (XVIII,10)*.

Достигнув возраста взрослых грехов, подросток навсегда расстается со своим ангелом-хранителем, но в глубине души до конца жизни будет скорбеть по нему.

Эта идея родства между бесполостью ангела и невинностью ребенка явно поразила Эстер. Убежденность в том, что ей никогда не суждено стать матерью, образовала в ее сердце горестную пустоту, которую она пыталась заполнить чем только могла. Она заговорила о пухленьких смеющихся херувимчиках, во множестве порхающих на плафонах некоторых католических церквей, к великому возмущению аскетичных протестантов.

— Могущество ангелов состоит в том, — заявила она, — что они обладают и руками и крыльями. Вот в чем и заключается их коренное отличие от земных существ, которые имеют либо то, либо другое. У птицы есть крылья, но нет рук. У человека есть руки, но он лишен крыльев. И это не такая уж простая альтернатива. Она означает, что нужно выбирать между действием и полетом, погрузиться в обычную повседневную жизнь или порхать над вещами и существами.

— Такое же противоречие мы наблюдаем и в сфере политической власти, — добавил Элеазар. — Ибо король царствует, но не правит. Он предоставляет своему премьер-министру пачкать руки в грязи тривиальных дел.

— Тогда как ангел, — заключила Эстер, — пользуется и крыльями и руками. Таким образом, он исполняет свою роль посредника между небом и землею. Он слетает с небес, неся людям послание Божие, и передает им его, иногда удачно, а иногда и не очень.

Не очень? Элеазару и в самом деле припомнились некоторые горестные приключения ангелов, попавших на землю к людям. Вот, например, помнит ли кто-нибудь истинные причины Всемирного потопа? Обычно при этих словах людям представляется добрый старик Ной в ковчеге с окошечками, из которых торчит длинная жирафья шея или гривастая голова льва. Однако гнев Яхве и его решение залить

сотворенную им землю волнами потопа были вызваны грешной любовью некоторых ангелов с «дочерьми человеческими» и рождением от них страшного, могучего племени исполинов.

За потопом, истребившим все живое на земле, малое время спустя последовало истребление огнем, и причины были те же самые. Два ангела воспользовались в Содоме гостеприимством Лота; жители города осаждают его дом, требуя от хозяина, чтобы он выдал им этих красивых собою юношей, «дабы они познали их». И были в этой толпе все содомляне, «от молодого до старого», с ужасом повествуется в Библии.

Наказанием этому похотливому городу станет огненный дождь; он обрушится на Содом и обратит его в пепел.

Нет, поистине любовные связи ангелов со смертными не приводят ни к чему хорошему!

Прощаясь, Элеазар попросил у Эстер разрешения писать ей.

Она позволила.

6

Элеазар стал писать ей письма, полные библейских цитат и высокодуховных размышлений. Такова была его манера ухаживания. Эстер не отвечала. Тогда Элеазар, с той безрассудной дерзостью, какая иногда воспламеняет робкие души, попросил ее родителей о встрече. Пасторское звание обеспечивало ему прием и к тому же полностью скрывало цель визита.

Он явился на ферму в пятницу вечером, за час до назначенного времени, надев лучшее, что у него было: круглую широкополую шляпу, белую рубашку, серые фильдеперсовые перчатки и черные гетры. Чета Киллинов приняла его в комнате, служившей конторой, с враждебным, плохо скрытым удивлением: им помнились веселые разговоры пастора с Жюльеттой. Неужто он осмелится просить ее руки?!

Элеазар отдал поклон и сразу же приступил к делу: не согласятся ли господин и госпожа Киллин отдать за него их дочь Эстер?

Услышав это имя, Киллин вздрогнул от изумления. «Вы спутали, господин пастор! — сказал он. — Вы, верно, хотели сказать: «Жюльетту»?» Положение было нелепым до крайности. Элеазар пролепетал: «Я имел в виду Эстер. Я хочу жениться на Эстер».

Супруги переглянулись. Потом они обменялись несколькими словами по-гэльски, как будто забыли, что Элеазар, родившийся в этих краях, понимает этот язык, а вернее всего, давали понять молодому человеку, что все ими сказанное его не касается.

— Он хочет жениться на нашей хромоножке, — сказала мать.

— Нужно отдать ее за него.

— Ладно, — отвечал Киллин. — Только пускай не рассчитывает на приданое!

Разумеется, Элеазар понял каждое слово из этого диалога, и, как всякий раз, когда он бывал взволнован, оскорблен или унижен, он почувствовал на правой щеке ожог того старого, налившегося кровью шрама.

— У нас не полагается выдавать младшую дочь вперед ее старшей сестры, — сказал Киллин, на сей раз по-английски. — Но мы стоим выше этих условностей. Мы спросим у Эстер. Если она согласна, вы женитесь на ней.

Встреча была окончена. Элеазар ретировался после ледяного прощания. Когда он покидал ферму, у него все еще жгло правую щеку.

Свадьба состоялась шесть месяцев спустя, в обстановке почти полной тайны. Ибо для этой католической семьи брак дочери с протестантом, да еще и с пастором, означал дерзкий вызов всему обществу графства Голуэй. «Им не терпится сбыть с рук свою хромоножку!» Киллинам не довелось услышать эти оскорбительные слова, но они явственно читали их на лицах всех встречных.

7

В первое время Элеазар думал, что просто женился на любимой женщине. Но очень скоро ему пришлось вспомнить, что он сочетался браком с католичкой. Однако не преследовала ли его женитьба обе эти цели, не любил ли он Эстер из смутной тяги к католицизму? Ирландец по крови и пастор-протестант... Вне сомнений, эти две ипостаси его личности вели борьбу в сокровенных глубинах сердца, делая Элеазара неким гибридом, кем-то вроде религиозного метиса.

Эстер безропотно подчинилась укладу общины, в которую попала после свадьбы. И когда Элеазар, растроганный той легкостью, с какою она отказалась от пышных католических обрядов, спросил жену, не тягостна ли ей эта перемена, она ответила: «Вера — это вопрос души, а не внешних ритуалов. И потом, знаешь ли, Ирландия, влажная, зеленая Ирландия, осталась со мною, а для меня она — самая прекрасная, самая живая из всех церквей». Затем, словно решив подкрепить сказанное, Эстер села за свою кельтскую арфу, и из-под ее пальцев пролился хрустальный, чистый дождь аккордов, истинная песнь ирландских ручьев и рек.

На следующий год у них родился ребенок, мальчик, получивший имя Бенджамин. Два года спустя появилась на свет малышка Корали. Они жили, довольные своим скромным счастьем, согретые любовью дружной протестантской общины Голуэя. Одно из главных достоинств детей заключается в том, что их родители, в силу необходимости воспитания своего потомства, должны возвращаться к самым истокам культуры. Сначала идут первые произносимые ребенком слова, за ними азбука, история, география, а главное, религия. Благодаря Бенджамину и Корали, Элеазар как бы вновь погрузился, только нынче уже зрело и критически глядя на вещи, в свое былое познание жизни, истины. Священная история (он решил сам преподать ее детям) представляла свои великие символические персонажи яркими и живыми как никогда. Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф — все эти основатели его веры составляли близкое и в то же время возвышенное сообщество, с которым он встречался каждый день и которое, несмотря на это, внушало ему боязливое почтение.

Но самой возвышенной, самой грандиозной фигурой, занимавшей мысли Элеазара, был Моисей; он неотступно думал об этом человеке, пытался разгадать тайну этой могучей личности. Моисей, беседующий с горящим кустом на горе Хорив и получивший от Бога страшную миссию вызволить евреев из плена египетского, которую он поначалу с ужасом отверг. Моисей, борющийся с фараоном, семь казней египетских, исход евреев, их бегство по Чермному морю, манна небесная...

И однако сколько белых пятен, сколько непостижимых и даже отвращающих эпизодов в этой нечеловеческой судьбе! Почему свершилось так, что этот еврейский младенец был воспитан дочерью египетского фараона и смог вернуться к своему народу, лишь отринув приемную семью? Почему ему пришлось ударом посоха убить надсмотрщика-египтянина? Почему Аарон, которому Яхве повелел быть помощником брату, воспользовался его отсутствием (Моисей поднялся на гору Синай, чтобы получить Десять заповедей) и отлил Золотого тельца? И главное, главное: почему Яхве так необъяснимо жестоко покарал Моисея, запретив ему ступить во главе своего народа на ту Землю обетованную, где текут молоко и мед?

Элеазар не переставал мучительно размышлять над этими вопросами, но стоило ему поделиться своими мыслями с Эстер, как она в ответ с улыбкой цитировала евангельские тексты. И в ее устах Иисус становился антиподом Моисея, опровержением его безжалостной логики, лекарством от его пугающей суровости.

Особенно нравилось Эстер сравнивать Табор и Синай, эти две горы, меж которыми свершилась христианская революция. Когда Моисей взошел на вершину Синая, Яхве отказался явить ему свой божественный лик: *ибо не может человек узреть лик Господень и не умереть*, — изрек Он. И вручил Моисею Скрижали, иными словами, знаки, запечатленные в камне. Иисус же, напротив, привел самых близких своих учеников на гору Табор и открылся пред ними во всем своем божественном величии. «*И просияло лице Его, как солнце*», — говорит евангелист Матфей.

Вот так яркие образы жизни Иисуса противостояли абстрактным символам мо-

заичной Торы. Да и сам Золотой телец, живое оскорбление Божьим заповедям, — что он являл собою, как не детище лугов, вскормленное молоком нежной матери? Когда Элеазар проходил по пастбищам, напоенным дождями, он и впрямь видел там больше коров и телят, чем божественных орлов и бронзовых змей.

Шли годы. Бенджамин рос крепким, разумным пареньком. Зато его младшая сестра Кора нередко выказывала — вполголоса, опустив глаза, — поистине пугающую проницательность и фантазию. Ее отец, поначалу не обращавший на это внимания, со временем начал чутко прислушиваться к насмешливым замечаниям, что как будто помимо воли слетали с ее губ. Так, например, однажды он высокопарно процитировал известную фразу Паскаля: «Будь нос Клеопатры покороче, изменился бы лик мира». Девочка шепнула несколько слов, которые отец приказал ей повторить громче. И тогда она выкрикнула, вся красная от конфуза: «И лик Клеопатры тоже!» В другой раз, упомянув на уроке катехизиса Тайную вечерю и евхаристию, он попросил детей задавать вопросы. Руку подняла одна Кора. «Значит, ученики пили кровь и ели тело Иисуса, а как же сам он — неужели пил свою собственную кровь и ел собственное тело?» Элеазар не нашелся с ответом на этот дерзкий вопрос.

8

А потом на Элеазара обрушилось несчастье, которое он с тех пор неизменно называл про себя «великим испытанием»; тайну этого удара судьбы он разделил с одним только незнакомым мальчиком.

Зима вошла в самую мрачную свою пору. Морская буря с воем свирепствовала в прибрежных ландах, рвала в клочья низкие облака. Темнота наступала быстро, и Элеазар торопливо шагал через поля, опираясь на свою трость-змею; он возвращался домой с собрания у одного из нотаблей общины. Ему предстояло одолеть многомильный путь по местности, расчерченной, словно шахматная доска, на делянки низенькими каменными оградами. Он миновал горстку крестьянских домиков, вернее жалких лачуг, крытых тростником, таким старым, что сквозь замшелые стебли уже проросла трава. У этих домишек не было ни окон, ни дымохода; дым от торфяного огня выходил через постоянно открытую дверь. То тут, то там в дверных проемах возникали существа без возраста и пола; они с любопытством следили за проходящим пастором, а он видел за их спинами привычное убожество — стол, два-три колченогих стула, печурку, на которой варился неизменный картофель, да величественно развалившуюся на полу чудовищно тучную домашнюю богиню — хрюкающую свинью с гроздьями присосавшихся к ней поросят.

Нищета католических жилищ, окружавшая его с самого детства, теперь стала Элеазару еще ближе из-за брака с Эстер. Как и все англикане, он явственно ощущал ту немую ненависть, что питала сельская беднота к угнетателям-англичанам. Скромное, но прочное положение, которое обеспечивал пастору получаемый от государства пенсион, отделяло его от простых людей, возмущенных обязанностью выплачивать пресловутую десятину. Католические же кюре, почти все выходцы из беднейших семей, жили только на добровольные пожертвования верующих. Они-то уж знали цену материальной независимости от властей, ненавидимых народом, и, невзирая на лишения, упорно отвергали всякую официальную помощь.

Элеазар нередко ощущал в душе горячую симпатию и сочувствие к этим своим братьям-врагам; в такие минуты ему хотелось перейти в католичество. Он не мог без улыбки представить себе, какой грандиозный скандал вызовет в Голуэе подобное решение. Ибо если здесь и случались обращения противоположного порядка, когда католики переходили в лагерь протестантов по соображениям, как он подозревал, вполне материальным, то прецедент с англиканским пастором, примкнувшим к нищей католической братии, ни разу не имел места.

Элеазар уже достиг заброшенного поля, огороженного грубо выложенной каменной стенкой, как вдруг он оказался свидетелем сцены, безжалостно напомнившей ему собственное детство.

Стадо примерно из сотни баранов и овец застыло в тупом ожидании. Подрос-

ток в деревянных сабо и плаще из овечьей шкуры неподвижно стоял перед человеком, который яростно хлестал его толстым кнутом. Когда кнут обвивался вокруг головы, мальчик слегка пошатывался. Элеазар бросился к ним.

— Перестаньте, ради Бога! — крикнул он.

Ему показалось, будто мальчик слегка повернул голову и взглянул на него, но кнут опять свистнул в воздухе, и он зажмурился. Элеазар вновь ощутил, как его старый шрам ожил, налился кровью и обжег щеку. И вдруг, словно помимо его воли, палка-змея зашевелилась у него в руке, сама собою взвилась вверх и со всего размаха обрушилась на голову человека с кнутом. Тот медленно обернулся, с минуту изумленно поглядел на Элеазара и рухнул лицом в землю. Элеазар отшвырнул палку и опустился на колени рядом с телом. Черепная коробка треснула; из зияющей раны медленно сочилась мутная слизь. Элеазар поднял голову и взглянул на подошедшего пастушка.

— Зря вы так, — прошептал мальчик. — Это наш управляющий.

Как будто тяжесть преступления зависела от социального ранга жертвы.

— Давайте сбросим его со скалы, — добавил он. — Может быть, тогда подумают, что это несчастный случай.

Это «может быть» многое говорило об опасности, которая отныне грозила им обоим, и тому и другому.

Вместе они за ноги втащили труп на прибрежный утес и сбросили его в гулкие волны поднявшегося прилива.

Элеазар уже пустился в путь, когда услышал за спиной торопливые шаги. Он остановился и поглядел назад. Пастушок бегом догнал его и протянул забытую на поляне трость-змею. Это орудие убийства, еще покрытое липкой кровью, наверняка выдало бы его жандармам Голуэя.

С той поры жизнь Элеазара превратилась в кошмар. Всякую минуту, и днем и ночью, он ожидал ареста. А что, если в преступлении заподозрят маленького пастуха и тому придется отвечать за него? В его сердце зрела твердая решимость пойти и повиниться самому. Но он все время малодушно давал себе отсрочки. Ладно, самое позднее он сделает это в день Святого Михаила, на голуэйской ярмарке, где фермеры-арендаторы продлевают договоры с помещиками.

Элеазар отправился на ярмарку, убежденный, что нынешнюю ночь проведет в тюрьме, но ему не хватило мужества распрощаться с женой и детьми. Он пробирался сквозь шумную, оживленную толпу, мимо загонов для скота, как вдруг столкнулся с мальчиком-подростком, который едва заметно, но дружески поклонился ему и слабо улыбнулся, прежде чем исчезнуть в гуще людей. Самое удивительное, что Элеазар не сразу признал его. Лишь минуту спустя он бросился назад, разыскивая мальчика. Это был тот самый пастушок, из-за которого он совершил убийство! Ну конечно он — его щеку изуродовал багровый шрам, совершенно такой же, как у самого Элеазара. Он сделал еще несколько шагов и внезапно понял безрассудство своего порыва. Мальчик ведь на свободе, значит, все у него в порядке. Это самое главное, больше и желать нечего. Но вместе их видеть не должны.

Элеазар вернулся домой с блаженным облегчением, близким к экстазу. Но именно в этом опьяняющем состоянии свободы он и принял решение уехать, эмигрировать, последовав за нищей толпою своих соотечественников, которые ежегодно садились на корабли, увозившие их в Новый Свет.

9

Это случилось в середине октября злополучного 1845 года: на картофеле, собранном в августе, появились первые коричневые пятна. Обнаруженному еще в 1843 году на Восточном побережье Америки грибку фитофторы — Phytophthora Infestans — понадобилось всего два года, чтобы перебраться через Атлантику и распространиться во Франции, Швейцарии, Германии и на юге Скандинавских стран. Но самое разрушительное действие он произвел в Ирландии. Фитофтора неумолимо и последовательно съедала листья, стебли, а за ними и клубни растения.

Все лето 1845 года шли непрерывные проливные дожди, и поначалу ботаники приписывали гниение картофеля этой неодолимой сырости. В действительности же сельское хозяйство оказалось беззащитным перед новым, невиданным бедствием, принесшим ужасающий голод в страну, где ежедневное потребление картофеля на душу населения составляло около шести килограммов. Религиозные конфессии дали этой катастрофе свое объяснение: то была кара Господня за грехи ирландского народа, за все пьянки, дебоши и насилия, что неизбежно отмечали каждую ярмарку, каждый праздник, вообще любое сборище.

Элеазар также был недалек от этого эсхатологического толкования случившегося; более того, он склонялся к мысли, что его страна навеки проклята, отринута Богом. Все — и религиозные сомнения, заставлявшие его разрываться между Моисеем и Иисусом, и почитание Ветхого завета протестантами, а Евангелий — католиками, уповающими на благодать, и унижения, перенесенные в связи с женитьбой на Эстер, и, главное, невыносимое зрелище крестьянских бедствий да еще тяжкий гнет преступления, свершенного против управляющего землевладельца-протестанта, — вся эта накопившаяся горечь жизни оправдывала в глазах Элеазара гибельную катастрофу, постигшую страну, и бегство тысяч ирландцев в Америку. Когда земля проклинает человека, извергает его из себя, ему только и остается, что собрать самое ценное и самое легкое из своего достояния и пуститься в дорогу с женою и детьми. Эстер вполне одобряла исход католиков, составлявших подавляющую часть эмигрантов, и потому склонилась перед решением своего супруга. Что же касается детей, то они заранее восторгались путешествием, казавшимся им волшебным приключением.

Словом, куда ни глянь, уехать было легче, чем остаться. Стоило лишь уступить тропизму[1], увлекавшему в порты отплытия самых молодых и самых предприимчивых. Лендлорды сгоняли со своих земель все больше разорившихся фермеров. На каждом шагу встречались заброшенные, опустевшие дома и селения, и уж совсем бесчетно было обветшалых лачуг, где в голодном одиночестве беспомощно угасали брошенные старики. Тяга к Новому Свету становилась тем более неодолимой, что американская колония ирландцев, уже довольно многочисленная, особенно в Новой Англии и Бостоне, снаряжала военные корабли, груженные продовольствием для бывших соотечественников, и те, доставив его в Ирландию, возвращались назад, в Америку, с тысячами новых эмигрантов на борту.

Многие ирландцы перебирались сначала в Англию и уж затем покидали Европу, отплывая из Ливерпуля. Другие садились на корабли прямо в Корке, на юге страны. Именно этот путь и выбрал Элеазар. Их отъезду способствовала неожиданная щедрость родителей Эстер, снабдивших семью нужной суммой на оплату морского путешествия, по 7 фунтов на человека, и на питание в течение сорокадневного плаванья. Элеазар простодушно радовался этой нежданной милости, пока не услышал, как Кора пробормотала себе под нос: «Они рады-радешеньки избавиться от нас».

И однако девочка ждала этого грандиозного, загадочного путешествия, как ждут неведомого счастья. Когда домашние встали перед жестоким выбором — что брать с собой, что оставлять, — она прежде всего предложила взять арфу. Эстер благодарно улыбнулась дочери, и у Элеазара не хватило духу возразить, несмотря на явную бесполезность этого громоздкого и вместе с тем хрупкого инструмента. Ведь в арфе была заключена сама душа их родной Ирландии, можно ли было оставлять ее здесь?

В остальном Кора совершенно не интересовалась сборами; она часами сидела над листом бумаги, изображая во всех подробностях большой парусник. «Это наш корабль, — отвечала она коротко на все расспросы. — Это мой прекрасный пароход!»[2] И она с удивительной точностью вырисовывала мачты, паруса и реи, хотя в своей коротенькой жизни видела никак не больше трех подобных кораблей.

---

[1] *Здесь*: импульсу, стремлению.
[2] Первые пароходы еще сохраняли парусную оснастку.

10

Когда Элеазар прибыл в Корк с женой, детьми и багажом, он знал только одно: им предстоит переплыть Атлантический океан. Но он совершенно не представлял себе, куда именно направится: в Квебек, Нью-Йорк, Бостон или, быть может, в Сидней, что в Австралии. Да он и не особенно задавался этим вопросом. Все зависело от обстоятельств и от курса ближайшего свободного корабля. Внезапно дело приняло драматический оборот: пришло ужасное известие, что отъезжающих эмигрантов косит эпидемия тифа и холеры. Рассказывали, будто во время плаванья дня не обходится без того, чтобы за борт не выбросили труп. А по прибытии в Канаду всех пассажиров помещают в карантинный лагерь на Большом Острове, где царят ужасающие условия. Впервые Элеазару, который, однако, никогда не выпускал Библии из рук, воочию представились «казни египетские», предварившие исход евреев. Мало этой злополучной стране фитофторы — теперь ей грозили холера и тиф! Не есть ли это знамение свыше, знак, что нужно уезжать немедля? Но в каком направлении? Где он — вожделенный Синай и страна Ханаа́нская нынешнего исхода? Поскольку небеса молчали, оставалось вверяться случаю, хотя, как писал мистик Ангелюс Шуазельский[1], случай — это Бог, странствующий инкогнито.

Как ни удивительно, но провидение все-таки заговорило, и заговорило голосом малышки Коры. Семейство О'Брайдов уже два часа скиталось по охваченным предотъездной лихорадкой причалам. Растерянную толпу эмигрантов то и дело прорезали экипажи, повозки, стада овец, подгоняемые хозяевами, тюки товаров, воз́носимые вверх на тросах лебедок, трапы и сходни, парящие в воздухе перед тем, как утвердиться на земле.

Внезапно Кора остановилась и, указав пальцем на судно, пришвартованное у пирса, воскликнула: «Вот он, мой красивый пароход!» И верно: корабль, чей гигантский такелаж заслонял полнеба, как две капли воды походил на тот, что она усердно рисовала много дней подряд. Три мачты, две палубы, высоченная, толстая, словно колонна, дымовая труба, а главное, пророческое имя «The Hope» — «Надежда».

Элеазар один поднялся на палубу и вернулся к своим лишь через полчаса. Сделка была заключена, судьба четверых О'Брайдов определилась бесповоротно. Через три дня кораблю предстояло отплыть в Портсмут, штат Виргиния, иными словами, много южнее, чем шло большинство эмигрантских судов, направлявшихся в Новый Свет. Назавтра Элеазару нужно было доставить на борт пять сундуков — весь их багаж. А еще через день они заночуют на судне, так как оно снимется с якоря уже на заре. Им посоветовали взять с собой как можно больше еды, чтобы разнообразить довольно скудное корабельное меню, а также одеяла, ибо ночи в это время года уже становились холодными. Вот и все, что им удалось разузнать об условиях предстоявшего им шестинедельного морского перехода. «Да, наверное, это и к лучшему», — загадочно сказала Кора.

Последние несколько часов, которые им оставалось провести в Ирландии, были заполнены такой сумасшедшей суетой, таким гомоном, что печаль по родине и страх перед будущим отмерли, забылись начисто. Бенджамин восторженно упивался всем окружающим и был совершенно счастлив этой новой жизнью. Корали острым иническим взглядом изучала окружающую сутолоку, бросая короткие, но всегда удивительно меткие замечания. Элеазар непрестанно перебирал в уме вопросы, которые затрагивали, а иногда и переворачивали все его убеждения. Величественный образ Моисея не давал ему покоя. В долгие часы ожидания среди толпы других эмигрантов он впервые услышал неведомое, но сияющее слово «Калифорния». Оно прочно запечатлелось в его памяти. Хотя он был еще довольно молод, он уже принадлежал к тому поколению эмигрантов, которые ясно сознавали, что никогда больше не увидят родину и что им предстоит создать себе другую — на чужбине. Как ни

---

[1] Вымышленное лицо. По признанию Турнье, особо торжественные фразы он часто вкладывает в уста некоего монаха по имени Ангелюс Шуазельский. Шуазель — деревушка, в которой Мишель Турнье проживает вот уже сорок лет.

горька была эта мысль, она полностью исцеляла Элеазара от глухой тоски, терзавшей его сердце со дня убийства.

Впрочем, ему пришлось много работать, помогая Эстер. Несмотря на хромоту, она провела последние часы на суше в лихорадочных хлопотах по закупке всех нужных для путешествия вещей и провизии; кроме того, необходимо было проследить за погрузкой багажа. Их семья занимала две комнатки в шумном, живописном караван-сарае, где жили бок о бок люди самых разных нравов и происхождения, состоятельные и бедные; Элеазара чрезвычайно огорчало близкое соседство детей с этой разношерстной компанией, кишевшей ворами, бандитами и не менее опасными безумцами и пророками всех мастей. «Но ведь и ты сам — беглый убийца!» — говорил он себе, чувствуя на щеке ожог старого шрама.

Бенджамин, ослепленный этой новой, невиданной сутолокой, казалось, не воспринимал ее подозрительные или дурные стороны, но как узнать мысли, бродившие в ясной головке Коры?! Однажды, когда все четверо наблюдали с балкона гостиницы за пестрой толпою прохожих внизу, она вдруг изрекла: «Вот стадо блаженных и проклятых, что спешит на Страшный суд». И Эстер вспомнила, что именно так, слово в слово, называлась картина, висевшая в голуэйской церкви Святого Николая.

Они сами наблюдали за тем, как кабестан «Надежды» вознес на палубу их сундуки, но Эстер не захотела расстаться со своей хрупкой арфой, предпочитая держать ее при себе во время плавания.

Наконец пришел канун отплытия, и они вчетвером поднялись на верхнюю палубу судна среди неописуемой суматохи и толкотни. Помощник капитана орал во всю глотку, распределяя по кораблю это человеческое стадо. Напиравшая толпа разделила О'Брайдов, и им пришлось кричать, чтобы отыскать друг друга. Вот тут-то и выяснилось, что исчезла Кора. Элеазар не волновался, полагая, что девочка осталась с матерью. Эстер же думала, что она возле отца и брата. Началась паника. Элеазар бросился опрашивать подряд всех, кто мог оказаться свидетелем исчезновения Коры. Может быть, она уже пробралась в кубрик, хотя все внутренние помещения строго охранялись и доступ туда был запрещен до самого вечера? Наконец один из пассажиров объявил, что видел, как девочка сошла с корабля и замешалась в толпу на пирсе. Элеазар тотчас решил идти на поиски, хотя бы и с риском опоздать к отплытию и лишиться багажа.

И вдруг они увидели Кору, бежавшую по набережной к сходням. Она проворно взобралась на палубу, размахивая каким-то предметом, вызвавшим живой интерес всех окружающих. Это была трость-змея пастора. Тут только Элеазар вспомнил, что оставил ее в гостинице, занявшись погрузкой на телегу их личного багажа. У него не хватило духа бранить Кору за ее отважную проделку. Но в его сердце вновь ожило страшное, гнетущее воспоминание: однажды ребенок уже догнал его, чтобы вручить эту проклятую, забытую им палку, которой он только что убил человека.

Корабельный устав требовал, чтобы мужчины и женщины жили раздельно — мужчины в носовых помещениях, женщины в кормовых. Для Элеазара и его близких это явилось горькой неожиданностью; им впервые пришлось расстаться. Бенджамин последовал за отцом, Кора подала руку матери. На следующее утро они встретились за раздачей горячего супа, и так продолжалось все сорок дней и сорок ночей их путешествия.

Эта цифра — 40 — поразила Элеазара. Впервые у него блеснула надежда на то, что личная судьба поможет ему разорвать завесу, так часто скрывавшую подлинный смысл библейских текстов. И в самом деле, открыв книгу на главе девятой Второзакония, он прочел следующие слова Моисея: «*Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные... и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил...*» Не было ли это знаком, что их морской переход продлится столько же времени и что он, Элеазар, может отдать себя под покровительство гениального пророка?

Однако в его случае речь шла не о подъеме на священную вершину, а, напротив, о падении в омерзительную клоаку. Кубрик, отведенный мужчинам, представ-

лял собою сущий ад, битком набитый грешниками. Сотня счастливцев занимала гамаки, которые раскачивались в разные стороны, в зависимости от килевой или бортовой качки. Но подавляющему большинству пассажиров приходилось спать прямо на полу, где каждому строго отмерялось мизерное пространство. Невозможно было передвигаться в тусклом полумраке, не задевая укутанных в одеяла спящих людей. Под ноги попадали то чья-то рука, то голова, то живот, и на идущего градом сыпались проклятия и угрозы. И все-таки хождение к дыре отхожего места или к трапу, ведущему на палубу, не прекращалось. Время от времени словесные перепалки переходили в драку. Тогда двое матросов-охранников разнимали дерущихся ударами дубинки, поровну обоим. Элеазар всеми силами старался держать Бенджамина подальше от этого кошмара и сам ни на минуту не расставался со своей тростью-змеей.

Если позволяла погода, они все вместе проводили долгие часы на палубе. Стоял конец зимы, тяжелые серые облака постоянно застилали небо, но время холодов, а главное, ураганов, к счастью, миновало.

Но вот на четвертый день плаванья, при первых сполохах зари, произошла церемония, которая с тех пор повторялась чуть ли не ежедневно. Матросы поднимали на палубу носилки с телами, завернутыми в брезент; то были умершие за ночь. Священник торопливо бормотал молитвы, и трупы соскальзывали по желобу в зеленые волны океана.

Именно Кора обнаружила, откуда брались эти мертвецы. На корме, рядом с женским помещением, была лесенка, ведущая в другой кубрик, гораздо больших размеров; он занимал все подпалубное пространство. И если помещения для здоровых пассажиров еще кое-как походили на чистилище, то этот, верхний этаж представлял собою настоящий ад. Здесь на жалких, составленных вплотную койках лежали сотни больных тифом, холерой и другими более или менее известными хворями. Но почему же капитан в нарушение всех правил согласился принять на борт эти живые трупы? Да потому, что они оплатили свой переезд и он надеялся вскорости избавиться от них. Тут наживались даже на мертвых. Эстер не смогла помешать Коре спуститься вместе с нею в эту юдоль скорби, чтобы хоть чем-нибудь облегчить участь несчастных больных.

Мать и дочь сговорились не рассказывать Элеазару и Бенджамину обо всех ужасах, что им довелось увидеть в лазарете. Ибо пастор явно острее других страдал от перипетий этого жуткого плаванья. Ему чудилось, будто какая-то злая сила увлекает его в ад, и он горько упрекал себя в том, что обрек своих близких на мучения. Сам он искупал этим отъездом грех убийства, но ведь их руки не были обагрены кровью, так зачем же он вынудил страдать невинных?!

Однако вскоре воображение Элеазара, питаемое мифологией и религией, побудило его рассматривать этот подпалубный лазарет как переднюю смерти, которая имела убедительнейшее оправдание. Он вспомнил изречение, которое Плутарх в своих знаменитых биографиях приписал Помпею; ганзейские города сделали эти слова своим девизом: «*Жить необязательно. Но плыть необходимо*». Отсюда следовал печальный, но неопровержимый вывод: плывущий жив лишь временно, на тот краткий миг, что волны бытия несут его от жизни к смерти. А разве морские дали не были схожи с потусторонним миром? Стало быть, если эти умирающие оплатили свое плаванье и настояли на том, чтобы подняться на борт, они явно стремились к более скорой и легкой, более мирной кончине, нежели та, что ожидала их на суше.

Этот вывод подтвердили и слова, обращенные к Элеазару при обстоятельствах почти невероятных. В то утро он вызвался сопроводить погребальной молитвой троих умерших. Первого отправили в воду без всяких затруднений. Когда же Элеазар произносил молитву над вторым, то при словах «*даруй ему, Господи, вечный покой, и да воссияет над ним свет милости Твоей*» он вдруг увидел, как зашевелился брезент, покрывавший тело. Пастор уже собрался было крикнуть, позвать на помощь, но тут край брезента откинулся, и взору его предстало изможденное, хотя и молодое лицо. Человек прижал палец к губам и почти беззвучно прошептал: «Умоляю тебя, во имя Господа, молчи, дай мне уйти спокойно!» Элеазар смолчал, больше из

потрясения, чем сознательно. Тело скрылось в серых волнах, а пастора еще долго терзало сознание, что он стал пособником самоубийства.

Все эти кошмарные дни и ночи протекали настолько однообразно, что пассажиры давно перестали вести счет времени; они уже не помнили, когда отплыли и сколько еще дней отделяет их от прибытия. Вокруг был океан, один только океан, пространство, где время не существует.

Теперь Элеазар понял, что предпринятое им путешествие станет для него постоянным уроком и будет озарять его веру. Недаром же считается, что путешествия просвещают: ведь и впрямь каждый их этап несет человеку новые откровения! Вот и мертвецы, ежедневно на его глазах уходившие в морскую пучину, многое поведали Элеазару о вечном мраке.

В потустороннем мире души усопших не составляют того бесчисленного сборища, каким оно видится живым. Это не так! Число их, разумеется, велико, но тем не менее ограниченно, ибо непрестанная череда душ недавно умерших людей занимает место тех, что бесследно растворяются в небытии. Ведь ушедшие от нас существуют по ту сторону добра и зла ровно столько, сколько о них помнят живущие. Мертвые питаются лишь этими воспоминаниями и исчезают навсегда, стоит последнему человеку, знавшему их на земле, посвятить им последнюю мысль. Души ведут существование, которое являет собою отражение мыслей живых. Чья-нибудь великая тень вдруг озаряется ярким светом, и голос ее обладателя начинает звучать мощно, подобно медной трубе или бронзовому колоколу. Значит, там, на земле, собравшаяся толпа восславила его память. Или более скромный пример: женщина, призрак старухи, внезапно окрашивается робким намеком на цвет; в этот миг ребенок положил цветок на ее могилу.

Густые волокна утреннего тумана уже медленно вздымались к бледному солнцу, когда на горизонте вдруг возникла зеленая полоска. Ликующий крик сотряс корабль: «Виргиния!» Палубы вмиг заполнились людьми; мужчины радостно и неуклюже бросали в воздух шапки. Скоро вдали показались первые домики Портсмута.

11

Пройдя по сходням и впервые ступив на землю Нового Света, Элеазар испытал чувство великого свершения. У него мелькнула мысль пасть на колени и поцеловать эту землю, но он сдержался из боязни, что окружающие сочтут подобный жест напыщенным и нелепым. Суша показалась путешественникам, пережившим сорокадневную качку, странно устойчивой. В светлом холодном небе стояло ярое весеннее солнце; в его сверкании все вокруг, и дома и люди, обретало графически четкие контуры. Ирландцы напряженно вслушивались в чужое, поразившее их своей застылой чистотой безмолвие. Многоголосые хоралы ручьев и рек, вкрадчивый шепот дождя, хлюпанье воды в цистернах, неумолчные монологи фонтанов, все эти ласковые, влажные звуки — голоса самой Ирландии — отныне безвозвратно канули в прошлое. И люди, позабыв о тяжких страданиях на родине, внезапно ощутили острую тоску по своему зеленому острову и его туманам. Эстер с любовной печалью прижимала к груди «Весенние голоса» — арфу из сикомора.

Новый Свет в глазах Элеазара обладал яркими неоспоримыми достоинствами юности и сулил великие откровения. Дети реагировали на открывшуюся им невиданную картину совсем по-разному. Бенджамин, опьяненный свободой после шестинедельного заключения, носился взад-вперед, точно спущенный с цепи щенок, и бурно восторгался всем подряд. Кору же, напротив, первые неожиданные впечатления повергли в долгие раздумья. Так, ее глубоко поразил вид чернокожих женщин и мужчин в толпе на набережной. Она никогда не видела негров и теперь зачарованно взирала на их шоколадную кожу, темные лица, экзотические одежды. Ее восхитили сложные прически женщин, их крошечные ушки, вычурность и пестрота украшений и нарядов, особенно ярко выделявшихся на стройных, словно вырезанных из черного дерева телах. Эстер покоробило нескромное внимание дочери к этим людям, и она сердитым взглядом напомнила ей о приличиях. Кора подняла голову

и бесхитростно спросила: «Почему в Новом Свете живут и белые тоже?»

Потрясенный Элеазар даже не нашелся, что ей ответить. Он и сам давно уже осознал, насколько логичнее существование темнокожих людей укладывается в Ветхий завет, нежели в Евангелие. Библейский народ, с его откровенно темной кожей, резким своеобразием, ярко выраженной человеческой или божественной сущностью, поклонявшийся своему капризному, гневливому богу Яхве, имел удивительное сходство с группами негров, что оживленно болтали и жестикулировали, прогуливаясь по здешней набережной. Особенно поражал их смех, щедрый, заливистый, белозубый; Элеазар вдруг вспомнил, как часто разражаются смехом библейские персонажи, в то время как Евангелия освещает лишь бледная улыбка.

Перед отъездом их пугали длительным карантином в порту прибытия. Ходили мрачные слухи о каких-то лагерях, где эмигрантов из Старого Света содержат в ужасающе грязных бараках. Но в Портсмуте все обошлось благополучно, несмотря на то что из подпалубного лазарета на носилках поднимали, одного за другим, выживших больных. Казалось, портовые власти спешат, наоборот, поскорее избавиться от новоприбывших, елико возможно облегчая им дальнейший путь в глубь страны. Сундуки семьи О'Брайдов, не спрашивая хозяев, погрузили на огромную фуру, и шестерка лошадей потащила ее к палаточному городку, раскинутому на берегу реки Огайо.

Следующим этапом их странствия был Цинциннати. Город предлагал взглядам потрясенных иноземцев грандиозное и мерзостное, как ад, зрелище огромного свиноводческого центра и боен. Вернувшись в лагерь, путешественники долго еще не могли позабыть истошный многоголосый визг свиней под ножами мясников и отделаться от острой вони свиных кишок, въевшейся в одежду.

Неделей позже исход продолжился, теперь уже в направлении Сент-Луиса. Это большое селение было выстроено совсем недавно, буквально в несколько месяцев, неподалеку от новой западной границы штата, в месте слияния Миссисипи и Миссури. Сент-Луис являлся центром обработки и продажи табака; здесь же проводился и обмен товарами с миссурийскими индейцами. Коллективная перевозка багажа и прочих вещей эмигрантов завершалась именно в Сент-Луисе; тут им предстояло сделать окончательный выбор — осесть в этом селении, в междуречье, или обречь себя на неизвестность, пустившись в долгий, изнурительный переход через прерии и горы. Эстер, подавленная усталостью и боязнью новых испытаний, не чаяла остаться. Бенджамин, в полном восторге от путевых приключений, настаивал на продолжении пути. Кора смотрела, слушала и молчала. Невозможно было понять, что творится в этой маленькой головке.

12

Но окончательное решение оставалось, конечно, за Элеазаром. И зависело оно от слова, мельком услышанного им в начале переезда; слово это, звучавшее загадочно и красиво, передавалось эмигрантами из уст в уста: *Калифорния*. В действительности это название взялось из какого-то утопического романа: Калифорнией испанцы окрестили сказочную страну, лежавшую где-то за горизонтом, на воображаемом острове.

Элеазар не принадлежал к числу людей, способных обольщаться миражами. Вдоволь наслушавшись рассказов о чудесах Калифорнии, он прибег к обычному своему средству: открыл наугад Библию, надеясь, что она прольет свет на эту загадку. И вот случаю или, вернее, провидению было угодно, чтобы взгляд его упал на следующие слова Исхода: «*И сказал Господь* [Моисею]*: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Ханаанскую...*»

Элеазара тотчас поразило явное созвучие слов *Ханаан и Калифорния*[1]. Может,

[1] Ханаан по-французски звучит «Канаан».

Калифорния и впрямь та самая «*земля хорошая и пространная, где течет молоко и мед*» — недаром же люди вокруг расхваливают ее на все лады.

Бенджамин завопил от радости, когда отец объявил им о скором отъезде. Эстер покорно склонила голову. Кора же, наоборот, встрепенулась и подняла личико; глаза ее загорелись интересом.

Маршрут путешествия отличался пугающей простотой. Берега Миссисипи и калифорнийскую реку Сакраменто разделяли 2500 миль. Сначала дорога шла по пустыне, затем ее сменяли леса и, наконец, высокие горы. Проделывая по двадцать миль в день, можно было покрыть это расстояние за четыре месяца. Но главное и непременное условие состояло в том, чтобы достичь Сьерра-Невады (в переводе с испанского — Снежной горы) к началу октября. Позже она становилась непреодолимым барьером из ледников и гибельных провалов. И поскольку уже стоял апрель, нельзя было терять ни одного дня.

Элеазар лихорадочно принялся за подготовку к новому путешествию. Он купил два брезентовых четырехколесных фургона, достаточно просторных, чтобы служить приютом всей семье. Высокие дуги, державшие плотный непромокаемый брезент, превращали этот короб в уютную палатку. Туда загрузили сундуки и мебель; драгоценную арфу из сикомора осторожно уложили на толстый сенник, чтобы смягчить тряску. Запасы провизии состояли из муки, сахара, солонины, риса и сухих овощей, гороха, бобов и фасоли. В одном из фургонов находилась дровяная печурка для выпечки хлеба. Однако самым тяжелым грузом были мешки овса для лошадей, ибо, по рассказам проводников, дорога шла по голой равнине, где не сыщешь ни одной травинки.

Лошади — их требовалось не меньше четырех — были главной заботой Элеазара. От их выносливости зависел исход путешествия, а быть может, и сама жизнь людей. Но рынок кишел бессовестными барышниками, норовившими всучить неопытному покупателю за бешеные деньги какую-нибудь древнюю запаленную клячу. Элеазар попросил совета у Макбертона, начальника конвоя, сопровождавшего обоз, к которому он решил примкнуть, ибо пускаться в такую дорогу одним было бы чистым безумием: на всей этой огромной территории свирепствовали индейцы и мексиканские бандиты. Макбертону уже дважды довелось пересечь американский континент. Теперь он нанимался за деньги в проводники и охранники пестрой толпы эмигрантов, большей частью совершенно не готовых к нечеловеческим условиям подобного перехода.

Макбертон посоветовал Элеазару искать английских тяжеловозов, выращенных на севере Йоркшира. Мощная стать, ровный нрав и неприхотливость делали этих лошадей самыми надежными помощниками человека в долгом переходе через весь континент; вдобавок они были крайне медлительны и мало годились под седло, а значит, на них не позарятся ни воры, ни индейцы.

Выслушав этот совет, Элеазар отправился на ярмарку в сопровождении Бенджамина, который, разумеется, пожелал сказать свое слово при покупке лошадей. Отец и сын вернулись в лагерь, ведя в поводу каждый по паре лошадей-тяжеловозов, вполне соответствующих описанию Макбертона. Бенджамин настоял на покупке лошади такой диковинной масти, что сам продавец назначил за нее чисто символическую цену. Конь был белым в рыжих яблоках и походил своим клоунским видом на цирковую лошадь, за что и звался Гасом; это имя так очаровало Бенджамина, что он во всеуслышанье объявил коня своей собственностью. Из трех остальных первого, молодого жеребца-полукровку, звали Баком, вторую, серую с черными подпалинами кобылу, — естественно, Гризли, и, наконец, третий, мощный вороной конь, вероятно раньше возивший пушки в артиллерийских войсках, носил имя Кейли — Уголек.

Перед самым отъездом семья О'Брайдов неожиданно пополнилась девятым членом — по милости Коры. Девочка легкомысленно поделилась хлебом с бродячим псом, и с той минуты он больше не отходил от нее ни на шаг. У него были голубые глаза — частое явление у эскимосских собак, — поэтому Кора назвала его Васильком, пылко полюбила и умоляла родителей принять найденыша. Конечно, это было

неразумно: в путешествии такого рода обременителен каждый лишний рот. Но Макбертон, у которого спросили совета, сказал, что собаки этой породы, благодаря светлым глазам, хорошо видят в темноте и способны прокормиться сами, охотясь по ночам за мелкими зверюшками. Элеазар подумал и сдался.

13

Отъезд назначили через два дня, на рассвете. Явившись к месту сбора, О'Брайды остановились, пораженные невиданным зрелищем. Более сорока фургонов и повозок, с лошадьми, мулами, ослами и быками, образовали невообразимо пеструю и шумную мешанину. Мужчины суетились вокруг повозок, взваливая на них последний багаж, проверяя упряжь. Кузнецы, с наковальней и ведерком горящих угольев, ходили от коня к коню, подковывая их прямо у фургонов. От многоцветия и разнообразия людей и экипажей рябило в глазах. Здесь были и громадные шестиколесные «корабли пустыни» с полудюжиной лошадей — настоящие передвижные дома, и простые ручные тележки — единственное достояние какой-нибудь молодой пары. Одну из общественных фур загружали бочонками с водой, чистой питьевой водой, которую потом, во время перехода через выжженную солнцем прерию, будут продавать путникам по цене золота. Другая повозка, крайне загадочная, с глухими дощатыми стенками, принадлежала китайскому семейству, которое вызвало жадное любопытство детей; никто не знал, что это за люди, а сами китайцы отгородились от интереса окружающих вежливыми улыбками.

И уж вовсе странно, чтобы не сказать подозрительно, выглядели мужчины, собиравшиеся идти пешком, налегке, с одним лишь рюкзаком за плечами; такие могли оказаться кем угодно — самыми отъявленными бандитами, самыми нищими из эмигрантов или же, наоборот, самыми богатыми.

Милиционеры Макбертона — дюжина вооруженных до зубов мужчин с красной повязкой на рукаве — должны были следить за порядком и охранять от нападений эту маленькую кочевую общину. Элеазар ожидал прощальных ободряющих речей, напутствий или запретов, короче говоря, хоть какой-то демонстрации власти.

Ничуть не бывало. Они топтались на месте уже два часа, как вдруг толпа начала заметно редеть. Это первые повозки обоза тронулись в путь, и вскоре все они длинной вереницей растянулись по дороге, ведущей на запад. Спустя какое-то время О'Брайдам стало понятно, что все новости, инструкции и приказы даются в пути, прямо на ходу. Макбертон и его люди постоянно пропускали весь караван мимо себя, а затем галопом мчались вперед, успевая на всем скаку сообщить нужные распоряжения. Остановок не делали даже на обед; приходилось есть всухомятку, не прерывая движения. Привал должны были объявить сигналом рожка лишь с наступлением ночи.

Под ласковым солнцем ранней весны, среди живописных полей отъездное возбуждение постепенно оставляло путешественников. Фургоны О'Брайдов двигались один за другим; первым правили Эстер с Бенджамином, вторым — пастор с малышкой Корой. Потом они решили сойти с повозок и вести лошадей в поводу — так было легче следить за ними. Дети воспользовались свободой, чтобы вместе с собакой убежать вперед. Они с интересом разглядывали людей и экипажи в голове обоза, то и дело возвращаясь к родителям и делясь с ними свежими впечатлениями. Элеазар хмурился. Ему не нравилось это разношерстное сборище и близость детей к разному подозрительному сброду. Но Эстер уговорила мужа дать им волю. Ей пришлась по сердцу эта веселая пестрая процессия: она, как и дети, любила сообщаться с людьми.

Первый день путешествия прошел великолепно. С заходом солнца рожок возвестил общий привал. Повозки составили кру́гом, лошадей, мулов, быков и ослов выпрягли, и животные, оказавшись на свободе внутри импровизированного корраля, тотчас сбились в группы по видам. Каждая семья развела костер возле своей повозки. В случае тревоги — нападения индейцев или бандитов — люди находились внутри корраля, под защитой фургонов.

Дети неотрывно следили за китайской фурой: им не терпелось разгадать ее тай-

ну. В конце концов их терпение было щедро вознаграждено: стенки повозки откинулись, и она мигом превратилась в лавку, самую настоящую бакалейную лавку, набитую множеством товаров. Чего там только не было — и сухофрукты, и соленая рыба, и вяленое мясо, и сушеные овощи, а кроме того, табак, чай, кофе, какао; отдельный зеленый сверкающий прилавок заманчиво пестрел сладостями и пирожными. Китайцы, все так же любезно и торжествующе улыбаясь, проворно обслуживали набежавших покупателей. И только те, кто рассчитывал купить спиртное, отходили разочарованные. Продавцы огорченными гримасами показывали, что не припасли такого товара.

Однако́ без крепких напитков, видимо, все-таки не обошлось: поодаль вспыхнул огромный костер, невесть откуда взялись столы со стульями, и трио музыкантов — аккордеон, гитара и тарелки — мигом собрало толпу развеселых слушателей с подозрительно блестящими глазами. Допоздна в темноте разносилось громкое нестройное пение вперемежку с дикими воплями. Элеазар глядел на музыкантов и танцоров с угрюмым негодованием. По его мнению, здесь собрались подонки общества, от которых он так надеялся избавиться, бежав в Землю обетованную. Какая же злая сила привела это отребье в караван эмигрантов?

Наутро небеса и окружающая природа радовали глаз не меньше, чем накануне. Однако энтузиазм, охвативший путников в момент отъезда, казалось, уже развеялся. Люди шагали медленно и тяжело, их взгляды жадно обшаривали горизонт, словно вопрошая, что он им готовит. На следующий день небо затянуло тучами. Где-то поблизости, вероятно, разразилась гроза, наславшая на обоз холодный резкий ветер.

— Это знамение, — промолвил Элеазар. — Но, боюсь, эти безголовые слишком тупы, чтобы понять его.

В пятницу произошла жестокая стычка между эмигрантом-одиночкой и молодой парой, ехавшей в легкой повозке, запряженной одной лошадью. Супруги обвинили его в краже нескольких долларов, составлявших все их богатство.

Макбертон тут же собрал совет из шести уважаемых людей, включив в их число и Элеазара. Обвиняемый и молодые супруги получили по защитнику. Судилище проводилось открыто, перед всем караваном. Ни у кого не нашлось ни малейших доказательств вины одинокого путника. Но у него была рыжая борода, бегающий взгляд и все время путешествия он держался особняком, ни с кем не сблизившись. Большинством голосов его приговорили к повешенью.

Элеазар, возмущенный легкостью, с которой был вынесен этот приговор, попытался защитить несчастного, но ему даже не дали слова. Несколько минут спустя тело рыжего бородача закачалось в петле. Напрасно Эстер пыталась увести детей — они зачарованно следили за казнью. Вечером Элеазар разразился проклятиями по поводу так называемого правосудия, которое позволяет убивать невинных, вместо того чтобы миловать виновных.

— Рыжий бородач виновен! — бросила вдруг Кора.

Отец изумленно воззрился на нее.

— Откуда ты знаешь? — спросил он.

— Я видела, как он украл деньги, — ответила Кора.

— Видела — и ничего не сказала?!

Вместо ответа девочка пристально посмотрела на отца светлыми, широко открытыми глазами.

— Нет, никогда мне не постигнуть этого ребенка! — прошептал пастор.

На следующий день у него произошла размолвка с Макбертоном по причине, как он полагал, чрезвычайной важности. Была суббота. Для Элеазара само собой разумелось, что в воскресенье положено отдыхать. Но это противоречило намерениям Макбертона, который не желал терять ни одного дня, иначе караван не успеет перейти Скалистые горы до первого снега. Элеазар воздел к небу свою Библию, потом раскрыл ее и торжественно прочел: «*Шесть дней работай, а в седьмой покойся; покойся и во время посева и жатвы*» (Исход, XXXIV, 21).

Исчерпав собственные доводы, Макбертон вновь прибег к помощи совета, ко-

торый долго обсуждал эту проблему. Наконец один из мудрецов объявил, что ходьба не является работой как таковой, — стало быть, идти в воскресенье вовсе не кощунственно. Макбертон предложил провести богослужение перед тем, как отправиться в путь. На нем смогут присутствовать все желающие, для чего им придется встать на час раньше. Один из англиканских пасторов взялся отправить эту службу, и Элеазару пришлось, со скорбью в душе, подчиниться воле большинства. Вечером того же дня он впервые сообщил близким о своем намерении бросить караван и ехать отдельно, другим путем.

Эстер ужаснулась: она знала, что никакая сила не заставит ее мужа изменить решение. Бенджамин и Кора приняли эту новость со смешанными чувствами. С одной стороны, перспектива одиночного странствия через пустынный континент вполне не отвечала их любви к приключениям. Однако, постоянно бегая вдоль каравана, дети со всеми перезнакомились и завели себе друзей. Им было жаль навсегда расставаться с ними. По правде говоря, они уже свыклись с новой, скитальческой жизнью, тогда как Элеазар остерегался слишком сильно привязываться что к вещам, что к людям.

Он открыл свой план одному бывалому путешественнику, который уже не раз проделывал этот маршрут. Пораженный ветеран стал убеждать Элеазара, что одиночная семья с двумя фургонами наверняка погибнет либо от пуль мексиканских бандитов, либо от индейских томагавков. На это Элеазар возразил, что все в руце Божией и что Господь сумеет защитить их лучше любой вооруженной охраны. Тогда ветеран сообщил ему, что через несколько дней маршрут обоза изменится — Макбертон поведет его к северу. Элеазар и его семья — в случае, если он не оставит свой безумный проект, — могут поехать южной дорогой, которая приведет их в Сьерра-Неваду, к ущелью, доступному для перехода вплоть до октября.

— А как же мы узнаем, что не сбились с пути? — спросила Эстер. — Ведь в прерии нет столбов с указателями.

Ветеран снисходительно усмехнулся; его ответ заставил маленькую семью содрогнуться от ужаса.

— Нет, сударыня, столбов вы там не найдете, зато увидите кое-что получше. Ваш путь будет усеян разбитыми повозками, бычьими скелетами и людскими могилами, а может, и просто высохшими на солнце мумиями. Так что заблудиться вы не заблудитесь. А коли захотите узнать, куда ехать дальше, гляньте в небо — там плавают маленькие черные крестики. Это стервятники. Уж они-то ее знают, верную дорогу. И следят за ней во все глаза!

И он гулко расхохотался в свою густую бороду.

Если речи ветерана и поколебали решимость Элеазара, то ее вновь и окончательно укрепило прибытие на очередной этап — Форт-Лереми, главный пункт сбора всех эмигрантов, ярмарку лошадей и мулов, центр обмена товаров на меха и бизоньи шкуры, доставляемые индейцами. Дети восторженно разглядывали яркую многонациональную толпу, свободно разгуливавших в ней животных, прилавки с ослепительно красивыми товарами; особенно нравились им многочисленные представления на площадях — боксерские матчи, жонглеры и гимнасты, дрессированные звери.

Но Элеазар увидел нечто совсем иное. После пьянок и азартных игр, которым предавались подонки общества в караване, ему пришлось столкнуться с множеством грубо размалеванных, вызывающе одетых женщин. От них несло терпкими духами, они нагло приставали к нему и даже осмеливались зазывать в свой лупанарий.

Элеазар открыл Библию и прочел: « *...и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.*

И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». (Откровение Иоанна Богослова, XVII, 3-5)

Элеазар понял, что и впрямь попал в развратный Вавилон, и ускорил отъезд своей семьи. Уже на следующий день О'Брайды, торопливо распрощавшись с Макбертоном и теми считанными участниками перехода, которые вызывали у них дружеские чувства, отбыли на запад со своими двумя фургонами, четырьмя лошадьми и голубоглазым псом. Бенджамин, не слушая отцовских призывов, упрямо шагал перед головным фургоном, изображая из себя «разведчика». Кора, по-прежнему молчаливая, зорко наблюдала и отмечала в памяти все увиденное. Вечером, у костра, она удивила отца, заговорив о раскрашенных и надушенных женщинах, чьи грубые приставания, конечно, тоже успела приметить. Пастор ограничился коротким ответом, что это «дурные создания»; его категорический тон исключил дальнейшие расспросы, и Кора погрузилась в задумчивое созерцание пляшущих языков огня.

Через несколько дней путники достигли знаменитой развилки, о которой говорил ветеран. Здесь им достаточно было сделать суточный привал, чтобы дождаться каравана Макбертона, оставшегося позади. Но Элеазар решительно повернул к югу. С этого дня и лицо его и поведение резко изменились. Он знал, что отныне должен полагаться только на самого себя, что он один несет ответственность за судьбу жены и детей. Теперь единственной защитой им служили небеса над головой да Библия в его левой руке. Он непрестанно думал о Моисее, ведущем еврейский народ в страну Ханаанскую: того направлял глас Господень из облаков да каменные Скрижали законов на земле.

Кора первой заметила, что трава стала жухлой и встречается все реже и реже. Это означало, что вскоре им придется развязывать мешки с овсом, чтобы кормить лошадей.

14

Василек яростно облаивал какое-то место, кажущееся издали совершенно пустым. Бенджамин тщетно подзывал его к себе — пес упорно не отходил. Он вертелся вокруг чего-то невидимого, изредка с испугом отпрыгивая назад. Дети подошли ближе, чтобы узнать причину его волнения.

Желтая пятнистая змея, цветом почти неотличимая от песка, тянула к собаке свою плоскую, как бы расплющенную головку, которая заканчивалась широко разверстыми челюстями. Это была страшная, неживая голова — застывшая маска смерти с остекленевшими беспощадными глазами. Другой конец тела гадины, унизанный ороговевшими чешуйками, злобно извивался, производя странный сухой треск.

Кора присела на корточки рядом с собакой.

— Змея! — воскликнула она. — Наша первая змея! Значит, мы теперь и правда в пустыне.

Кора поняла, что змея — не только естественная обитательница пустыни, но ее тотем, ее животное воплощение. От пустыни она переняла ее скупую, иссушенную наготу и ненависть к любому проявлению жизни. Она таит в своем теле испепеляющий жар дней и смертный холод ночей пустыни. Этот омерзительный и вместе с тем великолепный идол, подобно пустыне, стоит за гранью красоты и безобразия.

Все это Кора ясно чувствовала, но ей, как и ее брату, была неведома опасность, исходящая от американской гремучей змеи. Василек же, напротив, был наверняка хорошо знаком со змеями, а потому, продолжая звонко лаять, боязливо держался поодаль, готовый в любой миг отскочить назад. К несчастью, Бенджамину попалась под руку короткая палка. Схватив ее, он принялся дразнить змею, усугубив тем самым ярость бешено извивавшейся гадины. Миг спустя мальчик с воплем выронил палку и показал сестре правую руку, на которой, однако, не было заметно следов укуса. Дети со всех ног побежали к родителям.

К концу дня рука Бенджамина сильно раздулась и стала похожа на пухлую багрово-синюю перчатку. Ребенка сотрясал озноб, и отец, укутав его в одеяло, прижал к себе, чтобы согреть.

Элеазара не оставляло ощущение, что этот враждебный выпад пустыни против его сына имел смысл инициации. Укус змеи явился не просто несчастным случаем.

Такова была цена их вторжения в это иссушенное святилище. Стало быть, жизни Бенджамина не грозила реальная опасность. Не могла же, в самом деле, пустыня потребовать за вход жизнь ребенка! Когда Яхве приказал Аврааму принести в жертву своего сына Исаака, он всего лишь подверг его испытанию — жестокому, разумеется, но безопасному для мальчика. Исаак остался жив и произвел на свет многочисленное потомство. Нет, Бенджамин не мог погибнуть от змеиного укуса, Элеазар был глубоко убежден в этом.

А вот Эстер, наоборот, впала в глубокое отчаяние. Будучи католичкой и, следовательно, исповедуя более проникновенную религию, нежели ее муж-протестант, она болезненно ощущала неотвратимость жертвоприношения и знала, какими безжалостными могут быть веления Бога.

15

Пустыня — это пустота, населенная взглядами. Элеазар и его близкие полагали, будто странствуют в абсолютном одиночестве. И однако их маленький караван не избежал опасного соседства с индейцами и бандитами. Очень скоро путникам пришлось убедиться в этом.

В то утро Кора обнаружила стрелу, вонзившуюся в стенку заднего фургона. Ночью никто ничего не слышал. Вероятно, она была выпущена с очень большого расстояния еще на рассвете, если не раньше, лучником, видящим в темноте не хуже Василька. Элеазар озабоченно разглядывал стрелу. Ее острый, как бритва, наконечник был выточен из темно-зеленого обсидиана, а сама стрела сделана из ветки орешника, тщательно отполирована и украшена пучком перьев коршуна.

Элеазар протянул руку, собираясь вырвать стрелу, но тут вмешалась Кора.

— Оставь, папа! Не трогай ее!

Отец удивленно взглянул на девочку.

— Это хорошая стрела, — продолжала Кора. — Она прилетела с ночных небес.

Ей хотелось добавить: «Она принесет нам счастье», но Кора вовремя поняла, что отец, презиравший всяческие суеверия, не одобрит этого. Элеазар испытующе взглянул на дочь и, пожав плечами, принялся запрягать лошадей.

День показался им бесконечно долгим из-за палящей жары и страданий несчастного Бенджамина, который без конца стонал и трясся в ознобе, лежа в гнездышке из нескольких одеял, устроенном для него в первом фургоне. К вечеру они сделали привал на берегу обмелевшей реки. Судя по ширине и глубине русла, где сейчас еле сочился узенький ручеек, в сезон дождей эта река стала бы для путников грозной преградой. Но даже и теперешний переход требовал от лошадей тяжких усилий, и пастор принял решение заночевать на левом берегу, чтобы назавтра пересечь реку со свежими силами.

Однако ему пришлось горько пожалеть об этом: среди ночи он услышал глухой рокот, поднимавшийся со дна реки. Погода стояла ясная, но могло случиться, что отдаленная гроза пригнала с верховьев в сухое русло водяной вал, чреватый для людей многими бедами. Бывало, целые караваны, избравшие своим путем высохшее русло, погибали, сметенные бешеными волнами.

Элеазар зажег фонарь и поспешил на берег. По мере его приближения рокот усиливался и вскоре перешел в оглушительный рев. Пастор никак не мог понять, что за огромная черная масса движется там, в глубине. «Настоящий Апокалипсис! — подумал он. — Тысячи грешников, гонимых во мраке гневом Господним!»

Но вскоре слившиеся силуэты приняли более четкие формы, а в громоподобном шуме стало различаться низкое мычание. И наконец пораженный Элеазар увидел, как по другому берегу медленно прошествовало гигантское чудовище — бизон, самец метров двух в холке и весом в добрую тонну, — скорее всего, вожак стада, которое с грохотом катилось в том же направлении по дну реки. Какое счастье, что этот мощный живой каток не встретил на своем пути фургоны семьи О'Брайд! Их спасла высохшая река, принявшая в свое русло кочующее стадо, но зато теперь на какое-то время ставшая недоступной для людей.

Следующим утром, на рассвете, шествие бизонов все еще продолжалось. О'Брайды отважились подойти к берегу и зачарованно глядели на нескончаемый поток животных. Даже Бенджамина извлекли из одеял, чтобы он полюбовался этим грандиозным зрелищем, но мальчика ничто не интересовало: состояние его заметно ухудшилось.

К полудню путникам показалось, будто стадо начало редеть, но вечерние сумерки преподнесли О'Брайдам другой сюрприз. Внезапно их окружила толпа индейцев, взявшихся неизвестно откуда. «Мне говорили, что индейцы и бизоны неразлучны, однако насколько шумно передвигается бизон, настолько же неслышно движется индеец», — заметил пастор.

Это были смуглые, рослые, мускулистые люди, одетые в звериные шкуры и украшенные перьями. Они внимательно оглядели лошадей и повозки, переговариваясь меж собой, но, судя по пренебрежительному тону, были разочарованы увиденным. Внезапно все они замерли на месте и почтительно расступились, давая дорогу еще более высокому, осанистому человеку, шедшему в сопровождении свиты из четырех воинов. На нем был шлем, украшенный перламутровыми раковинами, и плащ цвета песка.

Элеазар и его близкие приготовились к самому худшему. Пастор прижал к груди единственное имевшееся у него ружье — смехотворную защиту от сотни окруживших его индейцев. Наступила долгая угрожающая пауза: быть может, последняя минута перед гибелью. Внезапно какое-то слабое движение заставило всех взглянуть вниз. Среди мужчин появилась Кора. Встав перед вождем, она указала пальчиком на стрелу, все еще торчавшую в стенке фургона. Индейцы обменялись несколькими словами и подошли к повозке. Один из воинов вырвал стрелу, осмотрел ее и подал вождю. Взглянув на нее в свою очередь, тот обратился к Элеазару:

— Бронзовый Змей приветствует тебя в своих владениях, — произнес он гортанно по-английски. — Эта стрела — залог его благосклонности к тебе. Два дня назад один из наших воинов послал ее в середину Луны. Иногда случается так, что наша мать Луна возвращает стрелу охотникам. Найти такую стрелу — великая честь. Мы все склоняемся перед твоей маленькой дочерью.

При этих словах индейцы подняли руку и испустили громкий победный клич. Корали спрятала красное от конфуза лицо в платье матери. Тогда заговорил Элеазар:

— Мой сын тяжело болен. Вчера его укусила гремучая змея. Мы опасаемся за его жизнь.

— Покажи мне его! — приказал индейский вождь.

Элеазар подошел к переднему фургону и вынес оттуда Бенджамина в коконе из одеял; мальчик как будто дремал. Отец подошел к Бронзовому Змею. Индеец просунул левую руку под затылок Бенджамина и слегка приподнял его голову. Правая рука вождя скользнула по щекам мальчика, задержавшись на прикрытых глазах. Сам он склонил лицо, разукрашенное зеленой татуировкой, к незрячему лицу ребенка. Наконец тот со стоном открыл глаза, и его непонимающий затуманенный взор встретился с пристальным взглядом индейца. «Немигающие глаза, — подумал Элеазар, — глаза без век, змеиные глаза».

— Он выздоровеет, — промолвил наконец индейский вождь. — Дай ему выпить травяной отвар и держи до завтрашнего дня в темноте.

Часом позже пастор и Бронзовый Змей сидели и беседовали в вигваме из бизоньих шкур возле слабо тлеющего очага, что хоть как-то защищал от ночной стужи. Элеазар подробно рассказал о том, как гремучая змея укусила его сына и как тяжко страдал мальчик весь прошедший день.

— Я приехал сюда с острова, где всех змей истребил Патрик, наш святой покровитель, — сказал он под конец. — Вчера мы впервые увидели живую змею среди песков и камней пустыни. Ты зовешься Бронзовым Змеем — так поделись же со мной своим мудрым знанием!

Индеец долго задумчиво молчал, потом начал глухим голосом:

— Змеи бывают двух видов — ядовитые и сжимающие. Если змея ядовита, она

убивает поцелуем. Если не ядовита — объятием. Первая — не что иное, как уста, вторая же — рука. Но любая из них всегда убивает этим любовным жестом.

— Эти слова — знак глубочайшего извращения! — прошептал Элеазар.

— Призвание змеи — злонесущая подмена, — продолжал индеец. — Первый змей сверкал на солнце, как самое великолепное и безупречное из всех творений Великого Духа. Это сияние уподобляло его царю детей Божьих.

— Верно, то был прекраснейший из ангелов — Люцифер, Светоносец, — подтвердил пастор.

— Однако гордыня сгубила его. Он возомнил себя равным Великому Духу. Тогда воины Господни обрушились на него. Они вырвали ему крылья, руки, ноги, член. Они превратили его в кожаный жезл, увенчанный маской, в змею. А потом сбросили на землю.

— То был ангел-ствол. Ибо упал он на ветви дерева, яблони. И там Светоносец посвятил в свою адскую мудрость первую человеческую пару, Адама и Еву, — продолжил Элеазар.

— Это так, но вернемся к его голове, — сказал индеец, — к этой безупречной, завораживающей голове, что выше всякой красоты, всякого безобразия. Она подобна пустыне, которую ты здесь открыл для себя; безупречность пустыни также ставит ее за грань и красоты и безобразия. Пустыня показывает нам лик Бога в виде своих бескрайних просторов, а голова змеи есть ее животное воплощение.

— Объясни мне, в чем заключается магия змеиной головы, — попросил Элеазар.

— Голова змеи состоит из слабо сочлененных костей, — начал индеец. — Вот почему змея может разъять челюсти так широко, как только захочет. Да и вся голова устроена таким же образом. Например, когда змее нужно проглотить крупную добычу, ее головные кости свободно раздвигаются, а тело, подобно живому чехлу, само натягивается на пойманную жертву. Что же до глаз змеи... да, они внушают ужас, но они же и лечат! Посмотри в мои глаза — они исцелили твоего сына. Заметил ли ты, что веки у меня никогда не опускаются? Вот этому свойству я и обязан своим именем — Бронзовый Змей. Но я скажу тебе правду: здесь нет никакой моей заслуги, просто я, как и змеи, лишен век. Так можем ли мы закрывать глаза, даже глядя на ослепительное солнце?!

— Веко, с его трепетом, с тем влажным и теплым мраком, в который оно ласково погружает глазное яблоко, — вот он, символ моей родины, нежной, дождливой Ирландии, — мечтательно промолвил Элеазар.

— У орлов есть веки. У ящериц, черепах, игуан тоже есть веки. Одна только змея лишена век. Но можно выразиться иначе. Можно сказать, что змея вся целиком одета огромным веком, ибо глаза ее прикрыты кожей, которую она сбрасывает раз в год, во время линьки. И там, где у змеи глаза, эта кожа прозрачна. Вся змея — это как бы одно лицо, один взгляд.

Индеец надолго замолчал. Потом он указал на свои обнаженные грудь и ноги.

— Я вижу, ты закутан в одежду и меха с головы до ног, чтобы защититься от ночного холода, — сказал он пастору. — Только лицо твое не прикрыто, оно не боится мороза. Теперь взгляни на меня! Я обнажен с головы до ног, но мне не холодно, ибо весь я — одно сплошное лицо!

Вернувшись к своим, Элеазар внимательно осмотрел спящего Бенджамина и понял, что мальчик выздоровел.

Он раскрыл Библию и прочел: «*И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых... помолился Моисей... о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе бронзового змея и выставь его на знамя, и... ужаленный, взглянув на него, останется жив*» (Числа, XXI, 6-9).

«Весь я — одно сплошное лицо», — сказал ему индеец. «Тот обнаженный взгляд, который и жалит насмерть и исцеляет, — вот она, необъятная тайна Господня», — подумал Элеазар.

На следующее утро Бенджамин проснулся совершенно здоровым. Его правая

рука приняла обычный вид. Только глаза еще были обведены темными кругами, словно их обжег взгляд голых глаз Бронзового Змея.

Чуть позже Эстер с удивлением услышала, как Кора излагала брату урок, вынесенный ею из встречи с индейским вождем.

— Понимаешь, Люцифер — это значит Светоносец. Люцифер захотел принести свет Адаму и Еве. Но этот свет оказался для него слишком тяжел. Потому что он его набрал целую охапку. Вот он и свалился с небес. И упал без рук, без ног прямо на ветки дерева. Это была яблоня. Он все-таки донес свет до Адама и Евы, но это уже был испорченный, поломанный свет — в общем, вредный...

16

Последние зеленые канделябры кактусов и иудины деревья давно исчезли из вида. В победоносных солнечных лучах над розовым песком струился и дрожал раскаленный воздух. Элеазар остановился перед высохшим терновым кустом, усеянным шипами, и снял шляпу, чтобы подставить лицо беспощадному свету, а может быть, еще и уступив чувству благоговения. Внезапно он постиг глубинный смысл своего странствия. Теперь ему было понятно, что земля отчизны, а особенно небеса его детства и юности, простерли перед его глазами слепую завесу дождей, туманов и хлорофилла, скрывшую от него истину. Зеленая Ирландия встала между его взором и Священным писанием. Только жгучий, сухой, прозрачный воздух пустыни подчинялся неумолимой очевидности библейского закона.

Элеазар взглянул вниз, на колючий куст. Он был не настолько безумен, чтобы уповать на чудо: вдруг да воспламенится куст и глас Господень воззвучит из его середины. И не настолько самонадеян, чтобы уподоблять себя Моисею. Но как железные опилки покорно слушаются движения магнита, так и личная судьба Элеазара неодолимо влеклась за судьбою пророка, преображаясь и обретая новый смысл в ее божественном сиянии. Грандиозная, пестрая череда картин исхода служила шифром к скромным эпизодам его собственной жизни.

Так, двусмысленное положение протестанта в католической стране было озарено двусмысленным статусом Моисея, еврейского младенца, спасенного и воспитанного египетской принцессой. И было неоспоримое сходство между тем, как он, Элеазар, убил управляющего и как Моисей убил египетского надсмотрщика, избивавшего еврея. Картофельная фитофтора и эпидемия тифа и холеры, поразившие Ирландию, были родственны казням египетским. Сорокадневные испытания на борту «Надежды» были сравнимы с сорокадневным постом Моисея на горе Синай. Даже Моисеев жезл, то и дело превращаемый в змея, имел аналог в виде трости-змеи О'Брайдов, этой исчезнувшей в Ирландии змеи, которая теперь встретилась Элеазару среди пустыни в лице индейского вождя.

Но самым главным фактором, который обрел в глазах Элеазара пугающий смысл, был вход в страну Ханаанскую. Запрет Яхве, воспрепятствовавший Моисею ступить на Землю обетованную, сотни лет шокировал многие поколения еврейских и христианских богословов. Почему лучший среди сынов Израилевых, величайший из пророков, единственный провозвестник Торы, обретенной в драматических сношениях с Неопалимой купиной на горе Синай, подвергся такой страшной каре со стороны Божественного вершителя мировой справедливости?[1]

Элеазар всегда пренебрегал традиционным толкованием этой немилости, считая его смехотворным и нелепым. С помощью Яхве Моисей дважды смог высечь воду из скалы: первый раз в Рефидиме, когда народ возроптал на него. «*И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? еще немного, и побьют меня камнями*» (Исход, XVII, 3-7).

---

[1] Данный вопрос дословно взят из фундаментального труда Андре Шураки «Моисей», вдохновившего автора на создание этого романа. (*Прим. автора.*)

Тогда Яхве дарует ему власть извлечь ударом жезла воду из скалы в Хориве.

Некоторое время спустя эпизод повторяется в Мериве (Числа, XX, 5). «*...для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья*?» — ропщут сыны Израилевы. И вновь Моисей взывает к Яхве, и вновь тот наделяет его чудесной властью иссекать воду из скалы ударом жезла. Моисей поднимает руку, дважды ударяет в утес — и из камня в обилии брызжет вода.

Именно этот второй удар, видимо, и разгневал Яхве — он счел его знаком неверия, который повлек за собой ужасный приговор Бога: Моисей не войдет в Землю обетованную.

Теперь Элеазар знал, что напрасно пренебрегал раньше этим объяснением немилости к Моисею, ибо оно и только оно является ключом к тысячелетней загадке. Если вдуматься, Яхве поставил своего пророка перед главным выбором — Источник или Куст.

Евреи под предводительством Моисея одолели несговорчивых египтян. Они перешли Чермное море и после трехмесячных странствий пришли в пустыню, к подножию Синая.

Яхве встречает их там следующими словами: «*Вы видели, что Я сделал Египтянам и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым*» (Исход, XIX, 4-6).

Вот здесь-то и кроется огромное, главное недоразумение: евреи вовсе не собирались становиться народом анахоретов и прозябать в бесплодной, голой пустыне. Им нужны плодородные земли, а стало быть, вода, вода и еще раз вода! Моисей прекрасно понимал это, когда без конца сулил привести их в землю, «где течет молоко и мед», иными словами, полную противоположность пустыне. И вот Моисей разрывается между Яхве и еврейским народом, между Неопалимой купиной и источником живой воды, между священным и мирским.

Эпизод с Золотым тельцом являет собою торжество мирского начала, инстинктивные, простодушные поиски евреями молока и коровы-кормилицы. Гнев Яхве вспыхивает с новой силой. Он объявляет, что уничтожит этот народ, эту вечно ноющую толпу, этих женщин с их грязными, орущими младенцами, эти глупые стада. Вода источника стекает в долину, ведь это ее неотъемлемое свойство — течь вниз, пробираться между камнями, впитываться в песок. Вода гасит горящий куст.

Но Куст победно и мощно вздымается к небу. Яхве хочет остаться наедине с Моисеем. «*Я создам из тебя великий народ*», — обещает он. (Исход, XXXII, 10)

Моисей умоляет Его пощадить евреев, дать им последний шанс, и Яхве склоняется на его просьбу, однако на горе Нево[1] Он все-таки утвердит свою волю и останется лицом к лицу со своим пророком.

Лишь посредственность нашего разума заставляет нас считать карой запрещение ступить на Землю обетованную, коим Яхве поражает Моисея. В действительности речь идет об акте любви. Однако любовь Яхве ревнива и деспотична, и тот, кого Он изберет ее предметом, сможет принять ее не иначе как с тоскливым страхом.

Имя Моисей означает «спасенный из воды», и всю свою жизнь его отношения с этой стихией будут складываться драматически, ибо вся его жизнь будет делиться между Кустом и Источником. Да и смерть Моисея станет окончательным триумфом Куста над Источником. Достигнув горы Нево, на самом пороге Земли обетованной, он вновь услышит обещание Яхве оставить его при себе, в краю Неопалимой купины. Еврейский народ, следуя руслами источников, спустится в зеленые долины, ведомый Иисусом Навином. А Моисей умрет «от уст Яхве», говорится в еврейском

---

[1] Библейская гора в стране моавитян, близ Иерихона, на которой умер Моисей, увидев вдали Землю обетованную.

тексте Второзакония, что одни толкуют как «по приказу Яхве», другие же — «от поцелуя Яхве».

Однако после встречи с Бронзовым Змеем Элеазар часто спрашивал себя, не убил ли Яхве Моисея, просто открыв ему свое лицо. Ведь сказал же он ему на горе Синай: «*Не увидишь лица Моего, ибо не может человек узреть лик Господень и не умереть*».

Яхве ревниво скрывает останки Моисея и запрещает сынам Израилевым искать место его погребения, дабы поклоняться ему (Второзаконие, XXXIV,6).

Таково было откровение о судьбе Моисея, посетившее Элеазара благодаря пустыне Нового Света, в которую он отважился войти.

Вернувшись в лагерь, к своей семье, к двум своим фургонам, он совсем иными глазами взглянул на людей и вещи, что составляли доныне всю его жизнь.

17

«Кровавая рука» (Mano Roja) снискала зловещую славу своими многочисленными дерзкими злодействами — захватами дилижансов, ограблениями банков и караванов, угоном скота и прочими черными делами. За голову предводителя пятерки бандитов власти назначили впечатляющую цену, указанную на афишах во всех городах и пунктах сбора или проезда эмигрантов. Но пока что члены шайки ловко ускользали от полицейских облав и экспедиций, снаряженных для их поимки.

Об этих людях было известно крайне мало; знали только, что все они родом из Северной Мексики и зовут их Педро Ветеран, Фелипе Счастливчик, Луис Хитрец, Кривой Алехо и Лютый Хосе. И в самом деле, Хосе отличался какой-то особой, бесстрастной жестокостью, с которой он избивал или приканчивал свои жертвы, при том что сам был моложе и меньше ростом всех в банде. Вполне вероятно, он как раз и стремился искупить свою молодость избытком кровожадности. История его жизни укладывалась всего в несколько мрачных, хотя и банальных для местного общества эпизодов. Отец работал в серебряном руднике и погиб при обвале, оставив жену с тремя детьми. Хосе, старший из них, не смог ужиться со вторым мужем матери, который пил горькую и избивал жену и пасынков. В конце концов после очередной жестокой схватки с отчимом ему пришлось бежать, оставив того замертво лежащим на полу. С той поры он перепробовал все ремесла, доступные его юному возрасту и тщедушному телу, при необходимости постоянно скитаться, чтобы не угодить в руки полиции.

Но в глубине души Хосе никогда не забывал о матери, сестрах и пасторе их селения, который научил его грамоте и молитвам, а еще пению в церковном хоре. Временами, оставшись один, он принимался вполголоса напевать бесхитростный церковный гимн и пел до тех пор, пока слова странным комом не застревали у него в горле; тогда он разражался грубыми ругательствами и яростно пинал камни на дороге.

Он уже обнищал вконец, как вдруг однажды ему пришлось стать свидетелем погони: толпа деревенских жителей гналась за вором. Случай помог Хосе сбить с дороги разъяренных преследователей и таким образом выручить вора из беды. Через несколько дней Кривой Алехо, обязанный мальчишке жизнью, привел его в свою банду «Кровавая рука». Хосе завоевал уважение товарищей — он умел читать, не пил и дьявольски метко стрелял из револьвера, — уважение, но не любовь. Его малолетство и физическая слабость никак не вязались с холодной самоуверенностью, с какой он высказывался по поводу каждой их операции. По правде говоря, все они слегка побаивались его. Именно Хосе предложил банде перебраться дальше к северу, на те необозримые пространства, где двигались караваны переселенцев и проходили стада. Уже месяц, как «Кровавая рука» блуждала в пустыне, не находя для себя «выгодного дельца», и бандиты совсем было приуныли, когда внезапно Фелипе Счастливчик обнаружил повозки семьи О'Брайд.

Спрятавшись за обломком скалы, он следил за проезжавшими мимо фургонами. «Мужчина, женщина и двое детишек, — доложил он потом своим сообщникам.

— С ними пес черт знает какой породы. Он едва не учуял меня. Первым делом надо будет покончить с этой проклятой животиной».

Дело не представляло никакой трудности. Педро довольно потирал руки: наконец-то лакомый кусочек после месячного ожидания! Фелипе мысленно прикидывал, сколько они выручат от продажи четырех лошадей, двух фургонов и их наверняка ценного содержимого. Единственный глаз Алехо сверкал злобной радостью. И ни один из бандитов, казалось, не заботился о четырех трупах, которые они оставят на растерзание стервятникам и койотам пустыни.

Однажды вечером Хосе предложил, воспользовавшись темнотой, подобраться ближе к О'Брайдам и проследить за ними, чтобы вернее оценить их способность защититься от нападения. Никто не стал возражать.

Хосе нырнул в темноту; очень скоро ему удалось сориентироваться благодаря светлой точке — костру, разведенному путешественниками. Он сам удивился приступу гнева, одолевшего его при виде подобной беспечности. Как взрослый человек, глава семейства, мог подвергать такой опасности жену и детей?! Странно, ведь Хосе, напротив, должен был радоваться, что добыча легко идет ему в руки.

Беспокоил его только пес. Хосе медленно обогнул лагерь, держась подальше и с наветренной стороны, чтобы собака не учуяла его. Долгое время он не различал ничего, кроме силуэта высокого мужчины, который резко жестикулировал, стоя у костра. Хосе на цыпочках подкрался ближе, стараясь ненароком не задеть какой-нибудь камушек. Элеазар, держа в руке Библию, произносил пылкую речь. Жена и дети, вероятно, сидели по другую сторону костра, закутавшись в одеяла. Вскоре Хосе удалось приблизиться к пастору настолько, что он расслышал все им сказанное до последнего слова.

Пастор пересказывал свою беседу с индейским вождем, которому изложил план поселения в Калифорнии. Он нарисовал ему картину простой патриархальной жизни, основанной на библейских заветах, — именно такую он собирался вести на новом месте.

— Бронзовый Змей выслушал меня молча и серьезно, — говорил Элеазар. — Он ни разу не прервал меня. Потом в свою очередь взял слово. Он поделился со мною беспокойством своего народа по поводу нашествия бледнолицых. Указав на свой лук со стрелами, он сравнил его с моим старым карабином. «Все различие между нами заключено в этих двух предметах, — сказал он мне. — Стрела, выпущенная из лука на охоте, пролетает не более двадцати метров. Индеец-охотник должен вплотную подойти к стаду бизонов или даже замешаться в него. А для этого ему приходится надевать особую одежду и менять походку, движения, даже запах своего тела. Всему этому он с детства учится у старых опытных охотников. На самом деле индеец — брат бизона. Он состоит в той же семье, что волки, орлы и бобры. Бизон отдает индейцу свое мясо, чтобы накормить его, шкуру, чтобы прикрыть и согреть тело, рога и кости для изготовления оружия и инструментов. А индеец любит и чтит бизона из благодарности и сыновнего уважения. Он следует за ним во всех его странствиях — вот почему мы нынче оказались здесь. И совсем иное дело — бледнолицый человек. Его карабин убивает с трехсот метров. Он истребляет бизонов не из жизненной необходимости, но ради выгоды, чтобы продать его шкуру, а иногда и просто для развлечения. И вот теперь поголовье бизонов тает на глазах, а это страшно, ибо ставит под угрозу само существование их братьев индейцев. Бледнолицые — чужаки в нашей большой семье людей и зверей. Они для нас — кара Господня!» Вот, дети мои, какие ужасные слова привелось мне услышать от Бронзового Змея. Его взгляд исцелил Бенджамина. Но уста его глубоко ранили меня. Я раскрыл Библию, и мне бросились в глаза эти строки: «*И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.*

Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, надобного ему».

Следственно, родство между человеком и животным в раю было столь велико, что Бог доверил человеку дать имя каждому животному и даже надеялся, что тот подберет себе живое создание, близко схожее с ним самим, чтобы им возможно было спариваться. Но тут Его постигло разочарование. И Бог, видя свою неудачу, создал женщину, назначив ей делить ложе с человеком.

Что же касается животных, то человек, будучи существом плотоядным, вынужден убивать их, и домашних и диких. И это отвратительно. Индейцы ведут кочевой образ жизни, скитаясь из конца в конец необъятной прерии вслед за стадами бизонов. И братья их — волки — действуют тем же манером.

Но мы, ирландские эмигранты, принадлежим к оседлой расе, и если в настоящий момент нам приходится странствовать, то лишь по необходимости, чтобы отыскать место для постоянного житья. Мы знаем, что это место зовется Калифорнией. Там выстроим мы наш дом, там распашем наши поля, насадим сады и огороды. И тогда мы будем отвечать призванию оседлых народов, пахарей и земледельцев, имя которому — вегетарианство. Мы станем питаться только фруктами и овощами и никогда больше не прольем крови животных.

Хосе выслушал, как во сне, эти исполненные покоя и величия слова и, когда Элеазар умолк, одновременно с ним опустил глаза к раскаленным головням костра, что с треском выбрасывали в воздух снопы искр. И ему почудилось, будто голос пастора исходил из самой середины этой огненной каверны, как голос Яхве звучал из Неопалимой купины.

Внезапно он резко вздрогнул: кто-то легко коснулся его руки. Человек? Нет, всего только собака; Хосе признал в ней Василька, эскимосского пса, видевшего в темноте благодаря светлым глазам. Пес лизал ему руку и словно приветствовал своим голубым взглядом. Вместо того чтобы лаем выдать чужака хозяевам, он обращался с ним как с другом, целовал руку на свой собачий лад и всем своим поведением звал присоединиться к семье О'Брайд.

Позже, когда Хосе наконец решил возвращаться на стоянку «Кровавой руки», он без особого удивления заметил, что пес бежит за ним следом. Восторженное изумление сообщников исполнило его насмешливой гордостью. Они все не без оснований робели перед этим псом, ну так пускай теперь полюбуются, как он — смирный, ласковый, совсем ручной — трусит по пятам за своим новым хозяином!

Членам банды показался вполне естественным план Хосе: преследовать караван О'Брайдов на расстоянии и шпионить за ним по ночам. Так что назавтра, с наступлением сумерек, он вновь отправился к двум фургонам, проехавшим за день двадцать километров. Собака по-прежнему не отходила от него ни на шаг. Но как только Хосе остановился метрах в тридцати от костра, чье багровое пламя ярко освещало колеса фургона, пес со всех ног кинулся к хозяевам, встретившим его ликующими возгласами. Хосе, затаившегося поодаль, в темноте, непонятно отчего тронула эта радостная встреча. Его волнение усилилось, когда, подобравшись на несколько метров ближе, он стал свидетелем удивительного ночного концерта.

Благородная хрупкая кельтская арфа, извлеченная из фургона, покоилась меж колен Эстер. Сидя на легком ивовом табурете, женщина слегка нагибалась вперед, чтобы разобрать ноты на пюпитре, слабо освещенном дрожащими огнями двух факелов; ее пальцы проворно перебирали струны. Грустная чистая мелодия волнами аккордов взлетала к небу, где огромная круглая луна упрямо прорывала облачную завесу. Поистине то был голос зеленой Ирландии, струившийся хрустальными ручьями среди бесплодной выжженной пустыни. И внезапно в музыку вплелись человеческие голоса — разные, но на диво слаженные, затянувшие торжественную песнь:

В нашем краю над полями
Божьи витают ангелы.
В наших селеньях крылами
Дома осеняют ангелы.
Трав и цветов на лугах
Перстами касаются ангелы.
В наших открытых сердцах
Радость поселят ангелы.

Трудно описать волнение, охватившее Хосе, когда вслед за этим он услышал гимн Деве Марии, который в детстве пел по-латыни вместе с другими мальчиками в церковном хоре, а дирижировал ими пастор-баптист из их деревни!

Salve, Regina, mater misericordiae,
Vitae dulcedo et spes nostra, salve![1]

Хосе едва удержался, чтобы не присоединиться к хору четверых ирландцев! Потом они завели другую песнь, в жестком, почти воинственном ритме; отец, мать и каждый из детей вступали поочередно, четко скандируя слова:

Элеазар: *Я есмь глас, вопиющий в пустыне.*
Эстер: *Я есмь рыдание в печальной долине.*
Бенджамин: *Я есмь плач, оглашающий горы.*
Кора: *Я стон, улетевший в морские просторы.*
Элеазар: *Я есмь гимн во славу Учителя.*
Эстер: *Я есмь молитва к сердцу Спасителя.*
Бенджамин: *Я есмь смех, сокрушивший преграду.*
Кора: *Я песня, несущая детям отраду.*

18

Вернувшись к месту привала «Кровавой руки», Хосе обнаружил, что на сей раз голубоглазый пес не последовал за ним.

Наутро он изложил свой план остальным бандитам. Он, якобы случайно, встретит О'Брайдов на дороге, притворясь одиноким эмигрантом, пробирающимся, как и они, на запад. Далее он присоединится к этой ирландской семье и, таким образом, окажется в самом выгодном положении, чтобы обезвредить пастора, когда «Кровавая рука» нападет на караван. Товарищи Хосе настолько очерствели сердцем, что никого из них не покоробила хладнокровная низость, с которой он собирался осуществить свой замысел. Они полностью одобрили его, договорившись увидеться еще раз, чтобы как следует все обсудить перед нападением.

На следующий день, около полудня, Хосе, с тощим узелком за плечами, встретил О'Брайдов; это удалось ему тем более легко, что фургоны еле-еле продвигались по неровной местности, усеянной обломками скал и обугленными древесными стволами. Пастор больше всего опасался серьезной поломки одного из фургонов и вел своих лошадей крайне медленно и осторожно. Поздоровавшись и назвав себя, Хосе тотчас предложил Эстер помочь править вторым фургоном. Он зашагал перед упряжкой на пару с Бенджамином; вокруг них радостно прыгал Василек.

Вечером Хосе согласился разделить с хозяевами вечернюю похлебку, но сразу же после ужина скромно отошел от лагеря, устроившись на ночлег в расщелине скалы, укрывшей его от ветра и посторонних взглядов. Он чувствовал мрачную недоверчивость пастора и старался не вызывать в нем подозрений ни лишними разговорами, ни поступками.

Назавтра, когда серый горизонт еще не окрасился зарей, Элеазар прочел утреннюю молитву, долженствующую вверить предстоящий день покровительству Господа. Каждый из четверых ирландцев по очереди произнес магическую формулу мистика Ангелюса Шуазельского: «*Безбоязненно и с легким сердцем пускайся в неверное, полное случайностей странствие по жизни, любви и смерти. И будь спокоен: даже если ты оступишься, то никогда не падешь ниже руки Господней!*»

Эти слова принимали самый разный смысл в зависимости от того, кто их произносил — Элеазар, Эстер, Бенджамин или Кора. Затем все четверо одинаковым движением повернулись спиной к розовому встающему солнцу и решительно направились в сторону запада. Зато каждый вечер их лица обращались к заходящему свети-

---

[1] Славься, Царица небесная, матерь милосердная,
Сладость жизни и надежда наша. славься!

лу, а тени, бежавшие перед людьми по утрам, в сумерках тянулись позади. Именно по ним путники безошибочно определяли, что движутся в верном направлении — на запад, к Калифорнии.

Чем дальше они шли, тем более иссушенной, бесплодной и унылой становилась окружающая местность. Вскоре им стали попадаться унизанные шипами алоэ, агавы в форме канделябров и берберские смоковницы с мохнатыми ветвями. К полудню зной становился совсем невыносимым. Пастор бранил детей, непрерывно просивших пить. Им следовало не только экономить воду, но и остерегаться простуды, постоянно охлаждая раздраженное жарой горло. Ни в коем случае нельзя было выпивать более трех литров в день. Вот когда детям представился случай закалить волю и научиться владеть собой. Им надлежало помнить о страданиях Иисуса на кресте. Он мучился жаждой, а римские солдаты подносили ему на острие копья губку, пропитанную уксусом.

Солнце уже покатилось к горизонту, как вдруг глазам путников предстало мрачное зрелище. Перед ними на песке лежал труп в одежде мексиканского всадника, вернее пастуха, гаучо, судя по широким штанинам и шпорам со звездочками. Засуха превратила тело в мумию, окаменевшую настолько, что ни один стервятник, ни пернатый, ни четвероногий, не позарился на него.

Конь и оружие покойного, по всей вероятности, были похищены. Склонившись над трупом, Элеазар вынул из его правой руки клочок грубой бумаги. Перед смертью человек успел начертать на нем несколько слов по-испански, окровавленным пальцем. Хосе прочел и перевел их: «Мой друг убил меня, чтобы ограбить». С минуту пятеро путников молча постояли над телом. Один только Хосе приметил острый, испытующий взгляд, брошенный на него Корой. Несмотря на жару, его прошиб холодный пот. Пастор раскрыл свой Псалтирь и прочел над незнакомцем заупокойную молитву. Но он принял решение не погребать мертвеца, а двигаться дальше.

Дождавшись темноты, Хосе незаметно покинул лагерь и пошел в ту сторону, где, по уговору, затаились его сообщники. Бандиты решили напасть на семью О'Брайдов через сутки, в полночь. Затем Хосе вернулся к месту привала. Ему было не по себе оттого, что на этот раз Василек опять провожал его. Глупо, конечно, — ведь собаки не умеют говорить. И все-таки воспоминание об осуждающем взгляде Коры не давало ему покоя.

Назавтра решение Хосе окончательно окрепло. Впрочем, времени у него было в обрез. Он известил пастора, что обнаружил свежие следы, идущие параллельно их маршруту; скорее всего за ними следуют бандиты, и нужно готовиться к самому худшему. Каким оружием располагают О'Брайды? Пастор вынул свой старенький карабин и пистолет. Хосе положил перед ним оба своих револьвера и обещал нынче же вечером научить Бенджамина стрелять. Мальчик, уже оправившийся от укуса гремучей змеи, смотрел на него восторженными глазами. Эстер также предстояло показать свое умение владеть оружием. Таким образом, семья располагала четырьмя защитниками. «А я что же, совсем ни при чем?» — спросила Кора. Отец порывисто обернулся к девочке. «Твоя чистая душа — зеркало мира, — сказал он ей. — Что бы ни случилось, ты будешь правдивым свидетелем нашей судьбы».

Чуть позже, оставшись наедине с Хосе, Кора сказала:

— Василек мне все рассказал. Я знаю, кто ты!

— Кто я на самом деле, ты очень скоро узнаешь, — ответил ей Хосе и слегка потрепал Кору по щеке, словно напоминая ей, что она всего лишь маленькая девочка.

Кора насупилась и обиженно повернулась к нему спиной.

Следующей ночью, в густом безмолвном мраке, Хосе разбудил Элеазара, Эстер и Бенджамина: ему почудился шорох камней, как будто к лагерю подбирались несколько человек. Он предупредил, что люди, крадущиеся тайком, могут питать лишь преступные намерения и потому необходимо стрелять первыми.

— Это наш единственный шанс, — твердил он.

Но, к несчастью, Хосе плохо знал пастора.

— Стрелять первыми в людей, о которых мы ровно ничего не знаем?! — возразил тот. — Но тогда мы сами будем преступниками!

— Значит, вы собираетесь защищать своих детей после того, как они погибнут? — обреченно спросил Хосе.

Он уже понял, что Элеазар ему не уступит, и занялся Эстер с Бенджамином, велев им лечь под первый фургон и стрелять по любой движущейся точке. Сам же он распластался на брезентовой крыше фургона, чтобы вернее наблюдать за происходящим. Пастор укрылся во втором фургоне вместе с Корой.

Хосе надеялся первым заметить и расстрелять бандитов. Но все вышло иначе. Первый выстрел прогремел из-за стенки заднего фургона. Последовала короткая беспорядочная пальба. Хосе несколько раз выстрелил в направлении вспышек, мелькнувших в темноте. Затем вновь настала тишина, прерываемая только удалявшимся хрустом камешков под ногами одного или двух бегущих.

Хосе торопливо спрыгнул со своего наблюдательного поста и поспешил к Эстер и Бенджамину. Оба были живы и невредимы. Все бросились к заднему фургону, откуда прозвучал первый выстрел. Хосе не стал спрашивать, кто из двоих, пастор или Кора, воспользовался допотопным карабином. Он был почти уверен, что стреляла Кора, но к чему сейчас выяснять, действительно ли эта маленькая девочка решилась на такой геройский поступок. Главное, она осталась цела. К несчастью, этого нельзя было сказать о пасторе. Он недвижно лежал на левом боку, и Хосе содрогнулся, увидев на его правом бедре кровавую рану.

Им пришлось также с грустью констатировать, что у самой сильной и выносливой из четверки лошадей — Уголька — перебит хребет и конь не сможет двигаться дальше. Взяв фонарь, Хосе обследовал подступы к лагерю и нашел трупы двух злоумышленников. Он узнал в них Луиса Хитреца и Кривого Алехо. Фелипе Счастливчик и Педро Ветеран, по-видимому, бежали и вряд ли осмелятся повторить нападение. Но все же следовало сохранять бдительность.

Путники заставили себя немного поспать, но с первыми проблесками зари принялись снаряжаться в дорогу. Эстер обработала рану пастора. К сожалению, было ясно, что он не скоро встанет на ноги. Невзирая на мольбы Коры, Хосе решился прикончить вороного коня выстрелом в ухо. Но оставшаяся лошадь не могла тащить фургон в одиночку. Нужно было ограничиться одной повозкой, бросив другую и пожертвовав частью вещей и мебели, которые в ней находились. Сколько же слез и колебаний потребовал этот отбор! Тем не менее Эстер даже не пришлось просить за кельтскую арфу. Все единодушно решили предоставить ей почетное место в их теперь уже единственном фургоне.

19

Наконец они тронулись в путь. Хосе предложил сжечь брошенную повозку со всем ее содержимым, но пастор противился: к чему лишать других эмигрантов столь неожиданного наследства?!

В фургоне нашлось место только раненому, которого положили рядом с кельтской арфой. Шествие возглавлял Бенджамин на своем пятнистом Гасе. Эстер и Хосе шли по бокам фургона, который тащили Бак и Гризли; на спине этой последней ехала Кора. Хромота, с которой Эстер до сих пор кое-как удавалось справляться, теперь грозила ей тяжким испытанием. Но все это были пустяки в сравнении с невыносимыми муками пастора из-за жестокой тряски фургона. Лежа на жалкой, наспех устроенной соломенной подстилке, он отказывался от еды и только непрерывно просил пить, вконец изнуренный сильным жаром. Эстер держала его за руку, пытаясь отвлечь ласковыми словами.

На следующий день местность сделалась еще более неровной и холмистой, что предвещало близость первых отрогов Сьерра-Невады. Жара начала спадать, и редкие порывы прохладного ветра принесли путникам некоторое облегчение. Вскоре они углубились в лес, где сосны и секвойи чередовались с утесами. Затем им пришлось обогнуть озеро, не указанное на карте. С величайшим трудом они преодолели несколько бурных потоков, а дорога взмывала в гору все круче и круче. И на каждом шагу человеческие могилы, скелеты животных, зола костров и остовы раз-

битых повозок служили им мрачным свидетельством того, что они идут по верному пути.

Что стало бы с ними без Хосе?! Неизменно веселый, услужливый, изобретательный, он ловил в силки кроликов, подстреливал куропаток, удил форель в горных ручьях, а однажды даже свалил кабана, который на много дней обеспечил их свежим мясом.

По мере того как путники поднимались в горы, температура падала, а дорога становилась все более капризной. Иногда приходилось биться целыми часами, чтобы заставить лошадей с повозкой одолеть новое препятствие. Удастся ли им сохранить фургон до конца путешествия? Никто не высказывал вслух этого вопроса, но все мысленно задавали его себе. Вскоре деревья почти исчезли, а ночи стали такими холодными, что приходилось до самого утра поддерживать костер. И вот первый сугробик снега возвестил путешественникам, что они достигли верхней точки перевала; радости их не было границ.

Однако наутро их постиг жестокий удар. Выйдя на рассвете из палаток, они обнаружили исчезновение Гризли, их серой кобылки. Тщетно Хосе разглядывал следы, пытаясь определить, в каком направлении ушла лошадь. Может быть, она просто отправилась назад, повинуясь смутной тоске по прерии? После долгих бесплодных поисков, в которых активно участвовал Василек, пришлось ехать дальше без нее. Две оставшиеся лошади еще могли везти фургон.

Высокие неизведанные горы уготовили путникам немало других добрых и злых сюрпризов. Однажды, погожим солнечным днем, они вышли на огромное поле, заросшее горечавкой; ее лиловые цветочки сплошным волнующимся ковром уходили к горизонту. Затем потянулись холмы, густо заросшие низеньким кустарником с темно-фиолетовыми ягодами, — это была черника. Ее набрали побольше, про запас; Элеазар вспомнил о манне небесной, чудесным образом накормившей евреев во время их странствий по Синайской пустыне. «Калифорния, Калифорния, благословенная, обетованная земля!» — шептал пастор в мечтательном экстазе. Однако состояние его непрерывно ухудшалось, ибо он почти не принимал пищи.

Позже на них обрушилась гроза чудовищной силы, превратившая горные ручьи в бешено несущиеся потоки, через которые им пришлось перебираться под проливным дождем. К ночи они вымокли насквозь и наверняка закоченели бы от холода, если бы Хосе не удалось справиться с сырыми дровами и развести огромный костер; это был настоящий праздник, и даже Эстер присоединилась к смеху и ликованию детей, что прыгали и танцевали вокруг огня, дымясь паром, точно лошади после долгой скачки.

Но последняя злая выходка судьбы исторгла у Эстер невольные слезы. Дорогу им пересекла глубокая расщелина. Путники свалили несколько деревьев и уложили их поперек нее в надежде, что фургон, из которого вынесли всю поклажу, как-нибудь прокатится по этому импровизированному мосту. Но вдруг одно колесо сорвалось со ствола, и фургон, сильно накренившись, повис над пустотой. Хосе забрался под кузов, чтобы проверить оси. Когда он вынырнул из-под него, лицо его было бледно; он явно не решался сказать своим друзьям правду.

— Передняя ось лопнула, — признался он наконец.

— И это означает?.. — спросила Эстер, заранее угадывая ответ.

— Это означает, что фургона у нас больше нет, — хрипло вымолвил Хосе.

Наступило молчание, которое неожиданно нарушил пастор.

— Ну ладно — сказал он. — Я пойду сам. Впрочем, я уже почти пришел. Хосе, вырежь мне палку!

Кора с плачем бросилась к отцу и судорожно обняла его.

— Папа, папа, почему ты говоришь, что почти пришел, когда нам еще идти и идти? Я хочу знать, ответь мне, папа!

Элеазар бросил на дочь затуманенный взгляд и молча бережно отстранил ее. Но все остальные тоже услышали эту таинственную фразу и навсегда запомнили ее.

Итак, им пришлось распрощаться с последним фургоном и нагрузить на лошадей те немногие вещи и мешки, которые решено было сохранить любой ценой. И

опять в первую очередь подумали об арфе, привязав ее ремнями к спине Гаса, пятнистого конька Бенджамина. Ну а другому коню, полукровке, предстояло везти на себе несколько тюков с одеждой и остатками муки и овса. Решительно О'Брайдам суждено было ступить на землю Калифорнии беднейшими из бедных!

И поход продолжился. Все с тоскливым страхом следили за неровной, ковыляющей поступью Элеазара, который шагал тяжело опираясь на палку, что вырезал для него Хосе. Он шел молча, сжав зубы и пристально глядя прямо перед собой. Временами он приостанавливался, и тогда с его губ слетали бессвязные обрывки фраз; лишь по торжественному тону можно было угадать в них строки Священного писания.

На третий день дорога перешла в спуск, который привел путников в густой кедровый лес. Воздух заметно потеплел. Когда лес кончился, они вышли на широкую поляну, где тек прозрачный ручей, и вот тут-то все пятеро застыли на месте, ослепленные счастьем.

Поляна бельведером нависала над необозримой равниной, вернее, бескрайним зеленым садом. До самого горизонта, сколько хватало взгляда, тянулись ряды апельсиновых, лимонных, грейпфрутовых деревьев, чьи золотистые плоды, как тысячи фонариков, мерцали в тенистой листве.

Эстер и дети обернулись к Элеазару. По его изможденному лицу текли слезы.

— Калифорния, земля молока и меда, вот наконец и ты! И богатства твои превосходят все обещания, что Господь давал своему народу-скитальцу! — вымолвил он вполголоса.

Потом он знаком подозвал к себе Хосе и положил руку ему на плечо.

— Источник и Куст! — торжественно сказал он. — Нужно выбирать между этой журчащей водой, что струится у наших ног, спускаясь в долину, и Неопалимой купиной, чье пламя воздымается от пустыни к небесам. Иисус, сын Навин из колена Ефремова, ты выберешь Источник. Вручаю тебе народ мой — Эстер, Бенджамина и Кору, — дабы ты привел их живыми и невредимыми в Землю обетованную. Будь же милосерден и справедлив! Что до меня, то Купина открыла мне запрет Господа спускаться в сию животворную долину, так же как Он не допустил Моисея ступить на землю Ханаанскую. Впрочем, и силы мои уже на исходе. Я не могу больше сделать ни шага вперед. Жизнь по капле оставляет меня. Слушайте же мой приказ: дайте мне уйти одному туда, где Господь ожидает раба своего.

Близкие не посмели ослушаться; Элеазар скованной, размеренной поступью направился к рощице и исчез за деревьями. Он ласково коснулся листьев, и ему показалось, будто это сикомор — прощальная, нежная и робкая улыбка его родины Ирландии.

На следующее утро Эстер и дети пришли помолиться над телом Элеазара, а потом погребли его в легком песке лужайки, которую он избрал последним своим приютом.

Позже Хосе пришел один на эту простую лесную могилу и долго вел неслышный разговор с мудрецом, который усыновил и возродил его к новой жизни.

А Бенджамин гордо уселся на своего пестрого конька Гаса, бережно держа в руках арфу о тридцати струнах и готовясь спуститься в благоухающий цветами и фруктами сад бескрайней калифорнийской долины.

■

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Подельники

ПЬЕСА

Перевод с немецкого
Э.ВЕНГЕРОВОЙ и Н.КРЫГИНОЙ

Часть первая

Д о к , медленно поднимаясь.

Док. Меня называют Док. Я говорю. Говорю, чтобы меня кто-нибудь услышал. Я впутался в историю, которая заставляет меня не раскрывать рта, в ужасное, безмолвное дело, безмолвное, потому что оно проходит в молчании, а его участники молчат, даже если говорят друг с другом. Я биолог. Я хотел изучить жизнь, исследовать ее строение, раскрыть ее тайны. Я учился в Кембридже и в Колумбийском университете. В институте нашего города. Мне удалось создать искусственный вирус. Потом я перешел в частную фирму. Предложение было царским, его принятие — ошибкой. Я положился на свою известность и свой доход. Я привык жить не по средствам. У меня был огромный дом, я увешивал жену драгоценностями, баловал сына. Я верил в сказку о свободной науке. Я считал, что всегда смогу на досуге заняться исследованиями. Я вообразил, что инструменты, микроскопы, компьютер — мои. Но они не были моими. Чистая наука стала слишком дорогой для частной индустрии. Когда начался экономический кризис, я с треском вылетел из фирмы. Впрочем, как и многие другие ученые: физики, математики, кибернетики. Кафедры были заняты моими учениками, институты онкологии и биологического оружия переполнены. Я залез в долги, жена сбежала с любовником, прихватив сына и драгоценности. Я сменил имя и ушел в подполье. Я опустился на дно, увяз в трясине наших городов, стал отребьем, интеллектуальным пролетарием, невостребованным мозговым запасом человечества. Пришлось отказаться от науки и зарабатывать на жизнь. (*Берет стул, садится впереди слева от центра рампы.*) Я стал таксистом, работа свела меня с Боссом.

Слева появляется **Б о с с**, в шляпе и шубе, со стулом.

Познакомились мы случайно. Ему понадобилось такси. Мое такси. Два года назад, зимой. Закат был такой красный.

Босс садится рядом с Доком.

Его «кадиллаку» пропороли шины, его «роллс-ройс» был продырявлен пулями, за его «бьюиком» следил конкурент.

Босс. Катастрофа.

Док. Я везу вас уже к третьему крематорию.

Босс. Буду искать дальше, обшарю весь город.

© 1976 Diogenes Verlag, Zürich
© Э.Венгерова и Н.Крыгина. Перевод, 1997

Док. Вы директор похоронного бюро?
Босс (*смеется*). Шутка года.

Док ведет машину.

Вы знаете, почему я сижу рядом с вами?
Док. Привычка.
Босс. Я привык сидеть сзади. (*Смотрит налево.*) Абрахам Водянка.
Док. Не знаю.
Босс. Узнай он меня, вы бы сидели рядом с трупом.

Док ведет машину.

Я — Босс.
Док. Боссов много.
Босс. Я — Босс.

Док ведет машину.

Не гоните так.
Док. Я сброшу скорость до пятидесяти.
Босс. У меня неважно со здоровьем.
Док. Неудивительно.
Босс. Я мог бы вас прикончить.
Док. Перехожу на первую скорость.
Босс. Поезжайте медленнее, черт возьми.
Док. Но вы же грозитесь меня прикончить.
Босс. Так, сорвалось с языка.
Док. Вот как.

Док ведет машину.

Босс. У меня профессия такая — убивать людей.
Док. Понимаю.
Босс. За плату.
Док. До меня дошло.
Босс. Я ведущий специалист в этой отрасли.
Док. А Абрахам Водянка?
Босс. Конкурент.
Док. Значит, вы еще не самый главный.
Босс. Завтра ему солнца не видать.
Док. Красный.
Босс. Тормозните.

Док останавливает машину.

Док. Окажись Водянка на этом перекрестке, завтра вам бы солнца не видать.
Босс. Профессиональный риск. (*Смотрит направо.*) Джеф Волчья Пасть.
Док. Человек в спортивной кепке?
Босс. Этот.
Док. Упал как подкошенный.
Босс. Сэм его прикончил.
Док. Ваш человек?
Босс. Мой человек.
Док. Совсем еще зеленый. (*Трогает машину с места.*)
Босс. В соседний переулок.
Док. Хорошо.
Босс. Остановите.
Док. Пожалуйста.

Босс идет налево.

Босс. Здесь должен быть еще один крематорий.
Док. Снесли два месяца назад.
Босс. Мой последний шанс.
Док. Выше голову.

Босс снова садится, принимает таблетку.

Босс. Нитроглицерин. Для моего насоса. (*Выплевывает надкушенную таблетку.*) Поехали.
Док. Куда?
Босс. В «Томми-бар».

Док ведет машину.

Вы недооцениваете мою проблему.
Док. Какую именно?
Босс. Проблему гигиены.
Док. В самом деле?
Босс. Сначала мы просто бросали трупы на улице.
Док. Должно быть, это сердило полицию.
Босс. Загрязнение окружающей среды.
Док. Вам бы поставлять клиентуру в частные похоронные бюро.
Босс. У них слишком высокие цены. Мы не можем себе этого позволить. Сейчас налево.

Док ведет машину.

Док. Убийства уже нерентабельны.
Босс. А такси рентабельны?
Док. Тоже нет.
Босс. Скверные времена.

Док останавливается.

Док. «Томми-бар».
Босс. Проблемы бизнеса становятся все острее.
Док. Крематорий не решит ваших проблем.
Босс. Почему?
Док. Сожжете один труп, а задымите целый район.
Босс. Тогда моему бизнесу конец.
Док. Кое-кто может помочь делу.
Босс. Кто?
Док. Я.
Босс. Поделитесь своей мудростью.

Док что-то шепчет ему на ухо. Смех. Босс уходит направо.

Док. Я поделился ею, и с тех пор я больше не таксист.

Свет. Видна вся сцена.

Я технически применил некоторые основные законы органической химии, вот и все. Моя лаборатория находится недалеко от реки, на пятом подземном этаже старого склада, и лишь немногим известно, что он вообще существует. Проникнуть сюда можно только на грузовом лифте. Я стал некродиалитиком, занимаюсь некродиализом, а установка, которую я изобрел, — некродиализатор. (*Открывает дверь холодильной камеры.*) Сейчас июль, около пяти часов вечера. Я работаю целый день. Кое-кто заинтересовался нашими делами. Незваный гость предупредил о своем визите. Не люблю незваных гостей.

Из лифта выходит **Б о с с** в летнем костюме.

Босс. Если он явится, когда обещал, мы можем заказывать себе гробы.

Из холодильной камеры появляется **Д о к** с пустым ящиком. Лифт идет вверх.

Док. Он непунктуален. (*Уносит пустой ящик. Возвращается.*)
Босс. Я не нервничаю.
Док. Я тоже.
Босс (*замечает открытую холодильную камеру*). Да отключите вы аппарат.
Док. Мы должны прибрать холодильную камеру.
Босс. Сколько там еще?
Док. Пять.
Босс. Поставьте аппарат на максимум.
Док. Он и так работает на полную мощность.

Босс мечется по комнате.

Теперь у вас сдали нервы.
Босс. Они у меня железные. (*Пристально смотрит на Дока.*)
Док. Вы его знаете?
Босс. Нет.
Док. А он вас?
Босс. Нет.
Док. Удивительно.

Шум льющейся воды.

Босс. Наконец-то.
Док. Еще четыре. (*Идет в камеру.*)
Босс. Как он на вас вышел?
Док (*из холодильной камеры*). Пригласил в свой офис.
Босс. Только чтобы сказать вам, что хочет со мной поговорить?
Док. Только.
Босс. Здесь?
Док. Здесь.
Босс. Проклятье. (*Сует в рот сигарету.*) Мне это не нравится. (*Закуривает.*)
Док (*возвращается с пустым ящиком*). Мне тоже.
Босс. Официально ваш начальник Мак.
Док. Знаю.
Босс. Почему вы не назвали Мака?
Док. Я назвал Мака.
Босс. И что?
Док. Он желает говорить с начальником Мака.
Босс. Дьявол. (*Задумывается.*) Он, должно быть, вполне безобиден.
Док. Абсолютно.
Босс. Не доверяю безобидным личностям.
Док. Вы во всем видите подвох.

Шум льющейся воды.

Осталось всего три.
Босс. Поторопитесь.

Док идет в холодильную камеру.

Ему не в чем будет меня упрекнуть.
Док (*из камеры*). Абрахам Водянка и Джеф Волчья Пасть давно похоронены.
Босс. Он ничего не докажет.
Док. Вы вне подозрений.

Босс. Когда брали Исигаки, я тоже там был. (*Ложится на кушетку.*) Бабы?
Док. Время от времени.
Босс. Здесь?
Док. Почему бы нет? (*Уносит пустой ящик. Возвращается.*)
Босс. Ну-ну! (*Снимает левый ботинок. Поднимается.*) Разные?
Док. Одна и та же.
Босс. Она замужем?
Док. Думаю, нет.
Босс. Вы влюблены?
Док. Не знаю.
Босс. Проблемы бизнеса. Насос сдает. Головокружение. Ноги отекают. Один совет, Док: не связывайтесь с бабами. Я два года живу с одной красоткой.
Док. И хнычете об этом каждый день.
Босс. Я снял ей чертовски дорогие апартаменты.
Док. И раскаиваетесь в этом тоже каждый день.
Босс. Ревность меня доконает.
Док. Она уже доконала ваших соперников.
Босс. Я даже не знаю, с кем она мне изменяет.
Док. Проследите за ней.
Босс. Для этого я слишком горд.
Док. Раньше вы были не слишком горды.
Босс. Раньше я был моложе.
Док. Сходите к психиатру.
Босс. Ходил. Комплекс пуповины. Если он придет сейчас, я окончательно потеряю самообладание.
Док. Он непунктуален.
Босс. Слава богу.

Шум льющейся воды.

Проклятая старость.
Док. Еще только два.
Босс. Ну же! Быстрей!
Док. Просто купите его.
Босс. Если бы только не чертовски дурное предчувствие!

Лифт идет вниз.

Это он!
Док. Вот досада!
Босс. Он пунктуален.
Док. Сверхпунктуален. (*Уходит в холодильную камеру.*)
Босс. Господи, что же делать?

Из лифта выходит **К о п.**

Док (*из камеры*). В своем офисе он действительно производил впечатление абсолютно безобидной личности.
Босс. Мы не у него в офисе.

Лифт снова идет вверх.

Коп. Босс?
Босс. Коп?
Коп. Коп.

Босс предлагает Копу стул. Коп не садится.

Босс (*задумчиво*). Мы с вами уже встречались?
Коп. Вы встречали меня.

Босс. Когда?
Коп. Я это отлично помню.
Босс. Не припоминаю.
Коп. Еще успеете.

Входит **Д о к** с пустым ящиком.

Босс. Вы ведь знакомы? (*Кивает в сторону Дока, тот уходит.*) Я невиновен.
Коп. Мы все невиновны.

Входит **Д о к** с двумя стаканами и бутылкой виски, Босс садится.

Босс. Я обычный гражданин.
Коп. Мы все обычные граждане.
Босс. Я был при взятии Исигаки.
Коп. Мы все герои. (*Обращается к Доку.*) Вы не пьете, Док?
Док. Нет.
Коп. Ваше здоровье, Босс. (*Пьет.*)
Босс. Ваше здоровье, Коп. (*Не пьет.*)
Коп. Мерзость. (*Выливает виски из стакана.*)
Босс (*ухмыляется*). Док сам смешивает виски.
Коп. Мог бы предложить что-нибудь получше.
Босс. Не сообразил.

Док садится на кушетку, листает комиксы.

Коп. Может, потом сообразит. (*Обследует помещение.*) Хорошо вы тут устроились.
Босс. Просто пустые ящики.
Коп. Что вы там читаете, Док?
Док. Комиксы.
Босс. Он не любит полицию.
Коп. Я тут не по долгу службы.
Босс. Тогда бы вас вообще здесь не было.
Коп (*садится напротив Босса*). Я насчет вашего бизнеса.
Босс. У меня нет бизнеса. Я частное лицо.
Коп. У меня был разговор с Маком.
Босс. Мак управляет моим состоянием.
Коп. Миллионным состоянием.
Босс. Богатые предки.
Коп. О которых ничего не известно.
Босс. Помогали основывать наше государство.
Коп. Огромная вилла.
Босс. Ложная скромность — это дурной тон.
Коп. Мощная охрана.
Босс. Бесценное собрание живописи старых голландцев.
Коп. Для этого не нужны пятнадцать человек.
Босс. Восемь.
Коп. Пятнадцать.
Босс. Вы информированы лучше, чем я.
Коп. Отборные гориллы.
Босс. Обычные телохранители.
Коп. Одного внедрил я.
Босс (*остолбенев*). Кого?
Коп. Неважно.
Босс (*Доку*). Относишься к людям как родной отец, но кто-нибудь непременно окажется предателем.
Коп. Жестокое время.

Босс (*утирает со лба пот*). Душно тут, внизу.
Коп (*ухмыляется*). Ничуть.
Босс (*задумчиво глядит на Копа*). Вы меня раскололи?
Коп. Тактика.
Босс (*размышляя*). Что вам известно?
Коп. Все.
Босс (*поднимается*). Как вы на это вышли?
Коп. Мак рассказал, что на вас работает химик.
Босс (*глядя на Дока*). Мак много болтает.
Коп. Именно.
Босс (*переходит к Доку*). Док — безобидный пьяница, который в лучшем случае изобрел стиральный порошок.
Коп. Может, он гений.
Босс (*останавливаясь перед Доком*). Я даже не знаю его настоящего имени.
Коп. Это я уж как-нибудь выясню.
Босс (*обращаясь к Копу*). Я должен был дать ему работу.
Коп. Да что вы.
Босс. Он — жертва экономического кризиса.
Коп. Вот как?
Босс. Человеку пришлось стать таксистом.
Коп. В вашем случае о гуманности не может быть и речи.
Босс. Вы меня обижаете.
Коп. А вы меня смешите.

Шум льющейся воды.

Еще кто-то растворился.
Босс (*растерянно глядя на Дока*). Он в курсе дела.
Коп. Док, вы гений. Кто прошумел в канализацию?
Босс. Владелец гаража.
Коп. Сколько?
Босс. За что?
Коп. За владельца гаража.
Босс. Пять тысяч.
Коп. И сколько еще трупов в холодильнике?
Босс. Один.
Коп. Послушайте, Док.
Док. Что, Коп?
Коп. Проведите меня туда.

Док ведет Копа в холодильную камеру. Босс садится на кушетку, снимает правый ботинок.

Коп (*из холодильной камеры*). Это молодая Миллер.
Босс. Избавьте меня от подробностей.
Коп. Я думал, она в реке.
Босс. Она в холодильнике.
Коп. Задушена.
Босс. Я никогда не присматриваюсь.
Коп. Док, займитесь девушкой. (*Выходит из холодильной камеры.*) Кто заказал работу?
Босс. Ее брат.
Коп. Сколько заплатил?
Босс. Девять тысяч.
Коп. Цены устанавливает Мак?
Босс. Ну?
Коп. Этот Миллер мог бы заплатить пятьдесят тысяч.

Босс. Столько бы он не раздобыл.
Коп. Тот, кто в случае смерти своей сестры получит три миллиона, раздобыл бы.
Босс. У вас мания величия.
Коп. Я реалист. К делу. (*Снова садится.*)
Босс. Склад оцеплен?
Коп. Я уже говорил, я не по долгу службы.
Босс. Вы полицейский.
Коп. Именно поэтому вы должны мне доверять.
Босс. Именно поэтому я вам не доверяю.

Д о к выходит из камеры с ящиком, уносит ящик, возвращается, садится на стул Босса.

Коп. Сначала вы прибрали к рукам бордели и игорные дома, потом захватили рынок наркотиков.
Босс. Я перебесился в молодости.
Коп. Наконец, четыре года назад вы организовали одно предприятие.
Босс. Речь идет об очень скромной фирме.
Коп. Все же мы вытаскивали из реки массу трупов.
Босс. Своими неаппетитными деталями вы отравили мне все удовольствие от сигареты. (*Бросает сигарету на пол, затаптывает ее.*)
Коп. Какой вы впечатлительный.
Босс. Берегу свой насос.
Коп. По количеству убийств наш город вышел на первое место. Потом вы наняли Дока. Два года назад. Сегодня доброе имя нашего города восстановлено. По количеству убийств он занимает последнее место. И все потому, что Док придумал метод, как растворять в воде трупы. Преступление стало недоказуемым.
Босс (*недоверчиво присматриваясь к Копу*). Что вы хотите?
Коп. Пятьдесят процентов.
Босс (*вне себя*). Вы спятили. (*Мечется по комнате.*)
Коп. Ничуть.
Босс. Это предприятие — дело всей моей жизни.
Коп. Вы организовали самую большую банду убийц в истории человечества.
Босс. Вы создали самую большую коррупцию в истории нашего муниципалитета.
Коп. Рука руку плохо моет.
Босс (*в отчаянии*). Хотите меня разорить?
Коп. Если бы я хотел вас разорить, я бы вас ликвидировал.
Босс. У меня огромные накладные расходы.
Коп. Вся банда обходится вам всего в десять процентов.
Босс. Она пьет мою кровь.
Коп. Вы платите позорно мало.
Босс. За халтурную работу.
Коп. В этом деле вы дилетант.
Босс (*останавливаясь в изнеможении*). Пятьдесят процентов идут Маку.
Коп. А он еще больший дилетант. Ваше предприятие могло бы процветать как никогда.
Босс. И вы мне все испортили.
Коп. Не будьте сентиментальным.
Босс. Что вы предлагаете?
Коп. Привести ваше дело к небывалому процветанию. (*Обращается к Доку.*) Док, сколько вы получаете?
Док. Пятьсот в месяц.
Коп. Мало.
Босс. Таксистом он и того не получал.
Коп. Я собираюсь сделать Дока нашим компаньоном.
Босс. Дадим ему одну тысячную процента.

Коп. Я получаю пятьдесят, вы — тридцать, а Док — двадцать процентов.

Док разражается хохотом, смотрит на Босса, снова хохочет, бросается на кушетку.

Босс. Я взываю к вашему здравому смыслу.
Коп. Я ценю его талант.
Босс. На двадцать процентов?
Коп. Без Дока нам не развернуться.

Док приносит виски.

Босс. Вы коммунист.
Коп. Время больших боссов прошло.
Босс. Если из моих тридцати процентов оплачивать Мака и банду, я окажусь на мели.

Док наливает Копу.

Коп. Это лучше, чем оказаться на электрическом стуле.

Док смеется.

Босс. Мне не по вкусу ваши шутки. С вашими новомодными идеями вы вдребезги разобьете дело всей моей жизни.
Коп. Я готов взять Мака на себя.
Босс. Хотите легко отделаться?
Коп (*пьет*). Вот видите, Док, этот сорт уже намного лучше.

Лифт идет вниз.

Босс. Лифт.
Коп. Точно.
Босс. Я никого не жду.
Коп. Сюрприз.
Босс. Значит, все-таки полиция.

Лифт открывается, **Д ж и м**, в штатском летнем костюме, вкатывает на двухколесной тележке большой ящик.

Значит, Джим.
Коп. Мой лучший человек.
Босс. Я думал, он мой лучший человек.
Коп. Теперь он наш лучший человек.
Джим. Ящик, Коп.
Коп. В холодильник, Джим.
Джим. Слушаюсь, Коп. (*Увозит ящик в холодильник.*)
Босс. Кто в ящике?
Коп. Мак.
Босс. Вы сказали, что у вас с ним был разговор.
Док. А это результат.
Босс (*поражен*). Он был моим лучшим другом.
Коп. Он был не в состоянии определять платежеспособность наших клиентов.
Босс. Кто займется этим в будущем?
Коп. Док.
Босс. Таксист?
Коп. Из нас троих он единственный интеллектуал.
Босс. Мак тоже был интеллектуалом.
Коп. Он не годился.
Босс. У него были свои люди.
Коп. И у меня есть.
Босс. Не так-то легко будет установить отношения с клиентами.

Коп. Мак устанавливал их чересчур легко.

Из холодильной камеры выходит **Д ж и м** с пустым ящиком.

Джим, я иду с тобой.

Джим идет в лифт.

Док, ваш бурбон был великолепен. (*Выпивает стакан.*) Список следующих пятнадцати пациентов. (*Кладет список на кушетку, идет в лифт.*) С этого момента наше дело становится эксклюзивнее и прибыльней.

Лифт идет вверх.

Босс. Эта борьба за власть дорого обходится. (*Стонет.*) Принесите мне ботинки.

Док берет список, разваливается на кушетке, изучает список. Босс сам ищет ботинки, надевает их, вызывает лифт.

Дурное предчувствие оправдалось.
Док. Теперь я ваш компаньон.
Босс. Фараон тоже.
Док (*ухмыляясь*). Вы попали в руки порядочных людей.
Босс. А я ведь был при захвате Исигаки.
Док. Наступили другие времена.
Босс. Ну и духота тут, внизу.

Шум льющейся воды.

Док. Подумайте о вашем насосе.
Босс (*кивает, задумчиво смотрит на Дока*). Где же, где я встречал этого парня?

Темнота. Из холодильной камеры выходит **Э н н**, свет только на нее. Она в элегантном вечернем платье, меховое манто волочится за ней по полу.

Энн. Меня зовут Энн. Я любовница Босса. Была фотомоделью, не то чтобы знаменитой. Самый большой успех имела в рекламе садовых качелей. Она появилась в «Харперз базар». Я качаюсь на них в голубом купальнике над английским газоном. До этого у Босса была другая любовница. Моя подруга Китти. Она жила в фешенебельном районе. Когда она пригласила меня к себе, то сказала, что, если я приду, Босса не будет. Я пришла, Босс был, а Китти пропала. Когда Босс меня взял, у меня сразу возникло какое-то нехорошее чувство; с такими, как Босс, связываться нельзя, но с тех пор я живу с ним. Он меня балует. Я езжу в дорогой спортивной машине. Он подарил мне драгоценности и меховое манто, а совсем недавно — маленький холст Рембрандта, только я не должна его никому показывать. Я переехала в квартиру Китти. А Китти никогда больше не появлялась. Могу только догадываться, что с ней случилось. Босс очень влиятельный. Люди его боятся, но я не знаю, чем он занимается. И хорошо, что не знаю. Думаю, у него есть семья. Он упоминал однажды, что живет на большой вилле в еще более фешенебельном районе. Иногда он летает на западное побережье. Когда он в очередной раз улетел на побережье, я пошла в «Томми-бар». (*Подходит к рампе.*) Босс, собственно, запретил ходить в «Томми-бар», он желал, чтобы я посещала только дорогие рестораны, но иногда я все же ходила в «Томми-бар» — хотелось самостоятельности и острых ощущений, — и так уж вышло, что я встретила там Дока. Тогда на мне было это манто. (*Надевает манто.*) Док сказал, что живет совсем недалеко, у реки, но я все-таки испугалась, когда мы вошли в склад и спустились на лифте вниз. Войдя сюда, я недоверчиво огляделась.

Комната освещается. **Д о к** лежит на кушетке.

Док. Ну, как тебе?
Энн. Так глубоко под землей.

Док. Пять этажей вниз.
Энн. Ты здесь живешь?
Док. Здесь.
Энн. Днем и ночью?
Док. Всегда.
Энн. Но это же не квартира!
Док. А для меня квартира!
Энн. Неуютно.
Док. Мне не нужен уют. (*Листает комиксы.*)
Энн. Где-то капает вода.
Док. Страшно?
Энн. Чуть-чуть.
Док. Ты сама со мной заговорила.
Энн. В «Томми-баре».
Док. И пришла сюда по доброй воле.
Энн. Я знаю.
Док. Тебе было все равно куда.
Энн. И вот я здесь.
Док. Ты хочешь со мной переспать?
Энн. Я предложила.
Док. Вот кровать.
Энн. Я вижу.
Док. Раздевайся.
Энн. Потом.
Док. Виски?
Энн. Пожалуйста.

Док приносит ей виски.

Док. Если хочешь, можешь снова подняться наверх.
Энн. Я останусь. Ты ученый?
Док. Что-то вроде.
Энн. Это твоя лаболатория?
Док. Что-то вроде. (*Смеется.*)
Энн. Я опять ляпнула не то?
Док. Ничего.
Энн. Спьяну. (*Нажимает на кнопку холодильной камеры, дверь открывается.*)
Док. Я изготовляю промышленные алмазы.
Энн. И для этого нужно забираться так глубоко под землю? (*Делает шаг в холодильную камеру.*)
Док. Радиоактивное излучение.
Энн. Это опасно? (*Испугавшись, выходит из камеры.*)
Док. Только когда аппарат работает.

Энн нажимает на кнопку, дверь закрывается.

Мое изобретение.
Энн. А я сразу догадалась, что ты интеллектуал.
Док. Был им.
Энн. Что внизу?
Док. Канализация.
Энн. Теперь мне раздеваться?
Док. Потом.
Энн. Боишься?
Док. Нет.
Энн. Тут можно курить?

Док. Могла бы не спрашивать.
Энн. А вдруг все взлетит на воздух.
Док. Может.
Энн. Тогда я лучше не буду. (*Смеется, смотрит на Дока.*) Я тебя никогда раньше не видела в «Томми-баре».
Док. А я до сих пор никогда не был в «Томми-баре».
Энн. Ты действительно всегда живешь здесь, внизу?
Док. Я поднялся наверх первый раз за год. Еще виски?
Энн. Еще. (*Протягивает ему свой стакан.*)
Док. Лед?
Энн. Если он здесь есть.
Док. Здесь он всегда есть. (*Идет со стаканом Энн в камеру, говорит оттуда.*) У тебя шикарный драндулет.
Энн. Подарок.
Док. И манто не из дешевых.
Энн. Тоже подарок.
Док. А почему ты спросила именно меня, можно ли со мной переспать?
Энн. Случайно.
Док. А другого спросила бы?
Энн. Спросила.
Док (*приносит виски*). Дорогая проститутка или искательница приключений?
Энн. Не имеет значения.
Док. Все еще хочешь спать со мной?
Энн. Все еще.
Док. Я ничего не плачу.
Энн. Не имеет значения.
Док. Забавная девочка. (*Садится на кушетку.*) Давно у меня не было женщины.
Энн. Ну и шикарная же хата у тебя здесь, внизу.
Док. Когда-то я жил вполне прилично.
Энн. Разорился?
Док. В пух и прах.
Энн. Экономический кризис многих выбросил на улицу.
Док. Все мы знавали лучшие времена. (*Пьет.*)
Энн. Меня зовут Энн. (*Пьет.*)
Док. Меня называют Док. (*Пьет, задумчиво смотрит на нее.*) Почему ты хочешь со мной переспать?
Энн. Это тебя не касается. (*Пьет.*)
Док. Тогда раздевайся.

Она протягивает ему свой стакан виски.

Энн. Я раздеваюсь.

Свет только на Энн, Док исчезает на заднем плане. Энн подходит к рампе.

Потом я разделась. (*Снимает манто.*) Может, потому, что хотела отомстить Боссу. Или от стыда, что не смогла противостоять Боссу. Все получилось прекрасно. Тогда, в ту холодную февральскую ночь, я провела у Дока всего несколько часов и больше не собиралась с ним встречаться. Но когда Босс снова улетел на западное побережье, я снова встретилась с Доком, и теперь прихожу к нему, даже если Босс не улетает на побережье. (*Ложится на кушетку, включает незаметно встроенный в стену проигрыватель. Вивальди, «Лето. Allegro non molto».*) Сейчас июль. Это прохладное помещение глубоко под землей стало вдруг таким уютным. Мне тут все нравится — и эта ниша, и навес над ней, на который иногда капает вода, и маленький скрытый в стене проигрыватель — подарок Дока. Я счастлива с Доком. Я доверяю ему больше, чем

любому другому мужчине. Но до сих пор я не говорила с ним о Боссе. Не надо ему было знать, что я знакома с Боссом. И с Боссом не надо было знакомиться. И даже подозревать о его существовании. А теперь вот я должна рассказать ему о Боссе, но осторожно, не называя имени.

Вся комната освещена. Из холодильной камеры выходит Д о к с пустым ящиком, в изумлении останавливается.

Док. Ты еще здесь.
Энн. Я снова здесь.
Док. Ты же уехала наверх.
Энн. Значит, потом спустилась вниз.
Док. Уже утро.
Энн. И что?

Док уносит ящик.

Тебя всегда знобит, когда ты выходишь из соседней комнаты.
Док. Там прохладно.
Энн (*выключает проигрыватель*). Док.
Док. Что, Энн?
Энн. Я влюбилась в тебя.

Док молчит.

Вдруг.
Док. В таких, как я, не влюбляются.
Энн. Ты не такой, как другие.
Док. Я стал таким, как другие.
Энн. Я хотела остаться порядочным человеком.
Док. Все мы этого хотели.
Энн. Ты порядочный человек.
Док. Чушь. Не будь мне так нужны мои инструменты, умей я мыслить без электронного микроскопа или без компьютера, может, я и остался бы порядочным ученым, вот и все.
Энн. Нет ничего непорядочного в том, чтобы изготовлять промышленные алмазы.
Док. Сегодня все непорядочно.
Энн. Ты ничего не знаешь обо мне.
Док. Нам не нужно ничего знать друг о друге.
Энн. Меня содержит один человек.
Док. И что?
Энн. Я не могу с ним больше жить, с тех пор как познакомилась с тобой.
Док. Важная птица?
Энн. В определенных кругах.
Док. Его имя?
Энн. Я не хочу тебя впутывать.
Док. Я уже впутался.
Энн. Еще нет.
Док. Мы все во все впутаны.
Энн. Он подарил мне Рембрандта.
Док. Царский подарок.
Энн. Старая дама при свечах.
Док. Подделка.
Энн. Возможно.
Док. Или краденый.
Энн. Тогда не подделка.
Док. Ты боишься?
Энн. С тех пор как люблю тебя.

Шум льющейся воды.

Док. Изготовление промышленных алмазов требует постоянного наблюдения. (*Идет в камеру.*) Он что-то подозревает?
Энн. Не знаю.
Док. Ты в опасности?
Энн. Если он что-то подозревает.
Док. Не надо было в меня влюбляться.
Энн. Но я в тебя влюбилась.

Д о к возвращается из камеры с пустым ящиком.

Док. Энн.
Энн. Что, Док?
Док. Я тоже влюбился в тебя.

Молчат.

Тоже вдруг.

Она подходит к нему. Страстно обнимаются. Барахтаются на полу.

Энн. Что мне делать?
Док. Не жить с ним больше.
Энн. Я не могу уйти.

Целуются.

Он везде меня найдет.
Док. Я тебя надежно спрячу.
Энн. Где?
Док. У подружки моего партнера.
Энн. Кто твой партнер?
Док. Не имеет значения.
Энн. Тоже важная птица?
Док. Тоже.
Энн. На следующей неделе он летит на западное побережье.
Док. Это может быть слишком поздно.
Энн. Уходить раньше опасно.
Док. Прямо сегодня.
Энн. Сегодня он придет ко мне.
Док. Тогда завтра.
Энн. Не знаю, как получится.
Док. Нужно, чтобы получилось.
Энн. Завтра вечером?
Док. Здесь, внизу.
Энн. После десяти.
Док. После десяти. (*Поднимается.*) Не бери с собой ничего. Все должно выглядеть так, будто ты растворилась в пустоте.

Она поднимается, садится на кушетку, закуривает сигарету, оставляет пачку на полу.

Энн. Последняя. (*Курит.*) А что будет с тобой?
Док. Я должен оставаться здесь.
Энн. Из-за твоей важной птицы?
Док. Я вхожу в крупное дело. (*Садится на пустой ящик.*)
Энн. Твои промышленные алмазы?
Док. Да.
Энн. Грязное дело?
Док. Дела бывают только грязные.

Энн курит.

Через год я разбогатею.

Энн. Год может длиться вечность.

Док. Не всегда.

Энн. И если ты справишься?

Док. Мы оба уедем из города.

Энн. Если нам повезет.

Док. Я справлюсь.

Энн курит.

Потому что у меня снова есть шанс.

Энн. С твоими алмазами?

Док. С тобой.

Энн тушит сигарету, поднимается, берет манто.

Энн. Я должна идти.

Док уносит пустой ящик.

Док. Я должен работать.

Энн. Я должна еще раз вернуться к своей важной птице.

Док. Последний.

Энн входит в остановившийся лифт, виден только ее силуэт.

Энн. Док!

Док. Что, Энн?

Энн. Сходим ли мы еще в наш «Томми-бар»?

Двери лифта закрываются, лифт идет вверх. Темнота. Из холодильной камеры, шатаясь, выбирается **Б и л л**, голый, наполовину завернутый в пластик. Свет только на него.

Билл. Меня зовут Билл. Мне двадцать четыре. Сначала я изучал биологию, потом занялся социологией. Образование помогает человеку только в том случае, если он научился уживаться с себе подобными. Непорядочно рассуждать об атомах, молекулах, спиральных галактиках или соединениях углерода, когда коррумпированное государство, еще более коррумпированное общество или идиотский догматизм ведут мир к гибели. Я ученый, не моралист, личный жизненный опыт, который привел к этим выводам, существенной роли не играет. Я все равно стал бы анархистом, поскольку человечество развивается слишком медленно. Коль скоро общественные устройства порабощают личность, личность должна их разрушать. Революции с их огромными жертвами только создают необходимость заново изменять мир. Бессмысленно каждый раз изобретать новую идеологию, сооружать каждый раз новые утопии. Все это пустая болтовня. Лишь огромная беда вернет человечеству разум, а безумному миру годятся только безумные методы. Наша борьба направлена против любой политической системы и любого режима: все они никуда не годятся. Всеобщая коррупция непобедима, умно заложенная бомба — не утопия, а реальность, в нужный момент переведенная стрелка — не идеологический поступок, а осмысленное, решительное вмешательство в ход истории. Бездействие вредно. Соучастие преступно. Строительство планов — пустая трата времени. Только сумасшедшая гонка поможет продвинуться вперед. Воплотить этот принцип в жизнь — вот моя цель. Когда-то это казалось недостижимым. Несмотря на энциклопедическое образование, мне не хватает опыта насильственных действий, я настолько непрактичен, что абсолютно не способен вбить в стену гвоздь; но неожиданное стечение обстоятельств сделало недостижимое вполне реальным и возможным. Я пользуюсь случаем, вот и все.

Билл снова плетется в холодильную камеру. Из камеры, разминувшись с ним, выходит Д ж е к, дряхлый старик в черном выходном костюме: шляпа, очки без оправы, в руках два «дипломатических» чемодана. Шум воды в момент исчезновения Билла.

Джек. Я Джек. Если выступление Билла было нереально, то мое еще нереальнее. Это я сейчас спустил воду. А вообще-то я больше всего люблю читать чувствительные любовные романы и сонеты елизаветинской поры. Я угодил в ужасное место. Ванная комната, на полках — бутылки с кислотой, как в аптеке, на стене — сосуды с какими-то непонятными жидкостями, красный шланг, который, как вы видите, подключен к крану, все облицовано белым кафелем. Омерзительно. Впрочем, меня доставили сюда, запихнув в эти два чемодана. (*Швыряет чемоданы в холодильную камеру.*)

Дверь закрывается, снова слышен шум льющейся воды.

Сейчас в канализацию спускается мой племянник Билл. В общем-то я любил мальчика: он образован, мечтателен, нежен. Идеи, которые он развивал, повергают в изумление не только вас, меня тоже, современная молодежь определенно сдвинулась по фазе. Однако уже его мать была самой потрясающей нимфоманкой из всех, которых мне довелось повстречать. Чертовски развратная баба: черноволосая, длинноногая, гибкая. Грандиозная. Мой брат сходил по ней с ума. Ему было наплевать, что она изменяла ему со всем штатом химического завода и, кажется, со всем административным советом, но не будем сплетничать. Моему брату было достаточно того, что она согревала его старые кости, а когда я раскрыл ему глаза, он только усмехнулся. «Ник, — швырнул я ему всю правду в лицо, — Ник, она спит с каждым, она и меня соблазнила, в моем кабинете, под собранием сочинений Германа Гессе, во время авторского вечера в зале. Не помню, кто выступал: Е.Ф.Шуттертон, К.Л.Шуттертон, или Шуттертон-Шуттертон, или какой-то из молодых писателей, из тех, кто сейчас входит в моду. Я только слышал отдаленный гул голосов, пока она скакала на мне, и крики «браво!». Голая, братец, она была голая, ей-богу, а что, если бы такой вот молодой поэт вдруг застал нас врасплох. Ник, говорю, ты летишь в пропасть». Это не произвело на него впечатления. Он женился на ней, усыновил Билла и полетел в пропасть. Буквально. Я уверен, что в тот момент, когда они врезались в северный склон Айгена, Ник, с его диабетом, дремал, а эта пышнотелая баба упражнялась с пилотом. Гора сказала свое слово, все было кончено, по завещанию химические заводы перешли к Биллу, мне осталось место в правлении и культура — она прилипла ко мне навсегда. С некоторых судьба берет втридорога. (*Вставляет в петлицу белую гвоздику.*) Мой отец скупил основные издательства художественной литературы и завещал их мне. Пока мой брат загребал миллионы, современная литература разоряла меня, и мой конец после смерти Билла — тоже театр абсурда. Если бы только понять, как им удалось растворить меня здесь вместе с чемоданами. Странно, мое предложение относительно Билла, казалось, было принято. Но вернемся же снова к реальности. Вы, наверное, с умилением вспоминаете о расставании Энн с Доком, догадываясь, что они простились навсегда.

Свет. Док лежит на кушетке, затем поднимается, идет в холодильную камеру. Свет снова только на Джека.

Наутро, в начале девятого, Док отправляется в холодильник, начинает работать.

Лифт идет вниз.

Холодильник нужно очищать каждое утро, понятно, что он не заметил прихода Билла.

Из лифта выходит **Б и л л**, удивленно оглядывается, не замечая Джека, уходит в глубину помещения. Лифт снова идет вверх.

Это он, да-да. Вы, наверное, с трудом узнали молодого человека? Он вошел в склад всего за несколько минут до меня, я еще подумал, что «феррари» на другой стороне улицы похож на его машину; это и был его «феррари». До меня постепенно стало доходить: он, наверное, подслушал мое предложение и обошел меня. Но тогда почему погиб он? И если он, то почему я? Я все еще ничего не понимаю, отказываюсь что-либо понимать. В конце концов должна же быть какая-то логика. Представьте себе: я сижу перед телевизором, смотрю «круглый стол» с моими авторами и с радостью вижу, как в их сознание начинает наконец проникать простая мысль, что пора снова писать просто так, потому что пишется, пора снова сочинять просто так, по прихоти фантазии, — ведь весь этот ангажированный и социально обусловленный компот, который они стряпали в последнее время, был неудобоварим, пришлось сокращать или даже спускать по дешевке целые серии, увольнять редакторов тысячами, вышвыривать менеджеров. Я счастлив, я дышу полной грудью, наконец-то, наконец-то забьет родник чистой поэзии, возродится божественное сочинительство, но тут я вдруг слышу за спиной какое-то шевеление, хочу — все еще счастливый, все еще окрыленный — оглянуться назад и оказываюсь перед вами. Простите, мои мысли вечно блуждают в будущем, но с вами, дамы и господа, произойдет то же, если вас после смерти снова и снова будут переносить в прошлое — в позапрошлое, если быть точнее.

Свет. Из холодильника выходит **Д о к**, ложится на кушетку, листает комиксы, не замечает Джека. Свет на Джека.

Останемся же в этом позапрошлом.

Док возвращается назад, не подозревая, что из глубины помещения за ним наблюдает Билл.

Лифт идет вниз.

Лифт идет вниз. Со мной вниз. Действительно, у меня нет ни малейшего представления, что со мной произошло, а после того как меня растворили в какой-то неописуемой жидкости, это тем более невозможно установить. Да и зачем? С точки зрения драматургии я, вероятно, только незначительный второстепенный персонаж с узким кругозором. Итак, лифт со мной на месте. (*Идет к лифту.*) Чудовищно, мне кажется, что литература, которую я издаю, становится реальностью.

Свет. Джек заходит в лифт, берет оттуда портфель и зонт, выходит из лифта. Осторожно делает шаг в комнату.

Джек. Джек.
Док. Док.
Джек. Я был сегодня приглашен сюда неизвестным к пяти часам.
Док. Вы пунктуальны.
Джек. Надеюсь, я не ошибся адресом.
Док. Вы не ошиблись.

Дверь лифта закрывается.

Джек (*оглядывается*). Ужасно.
Док. Неуютно?
Джек. Как издатель самых изысканных поэтов нашего века, я привык к другому интерьеру.
Док. Я не читаю поэтов.
Джек. Я вижу. Комиксы. (*Идет назад к лифту.*)
Док. Не доверяете?

Джек. Субъекты вроде вас не внушают доверия.
Док. Вы разбираетесь в людях.
Джек. Вы, очевидно, не привыкли вставать, когда в комнату входит посторонний?
Док. Когда как.
Джек. Речь идет о химических заводах.
Док. А я-то надеялся, что вы хотите помочь исчезнуть кое-кому из поэтов.
Джек. Я член правления.
Док. Чем только не занимаются издатели художественной литературы.
Джек. Я говорю от имени всего правления.
Док. Говорите.
Джек. Сути дела не знает только председатель правления.
Док. Итак?
Джек. Вероятно, даже вы имеете представление о химических заводах.
Док. Я там работал.
Джек. Не могу вас вспомнить.
Док. Обо мне никто не вспоминает.
Джек. У нас заняты тысячи.
Док. Я не занят у вас уже семь лет.
Джек (*усмехается*). Жертва экономического кризиса?
Док. Шеф одного из ваших исследовательских отделов.
Джек (*обрадованно*). Сотрудники нерентабельных отделов были вышвырнуты без всяких церемоний.
Док. Я был вышвырнут без всяких церемоний.
Джек (*смеется*). Судьба.
Док. Одновременно был расширен штат отдела рекламы.
Джек (*сияет*). Дело есть дело.
Док. Перейдем к нему.
Джек. Я получил письменное предложение.
Док. Похоже, оно вас заинтересовало.
Джек. На определенных условиях.
Док. И кого вы желаете устранить?
Джек. Владельца химических заводов. Президента правления.
Док. Старого Ника?
Джек. Старый Ник мертв. Речь идет о его пасынке.
Док. По какой причине мы должны им заниматься?
Джек (*жестко*). Ваше дело принять мой заказ, а не задавать вопросы.
Док (*приходит в ярость*). Я должен разобраться в деле, а вы извольте отвечать.
Джек. Не хамите.
Док (*смеется*). Кто из нас клиент?
Джек. Я брат Ника.
Док. И что?
Джек (*высокопарно*). Химические заводы были основаны моим отцом. Я не могу допустить, чтобы они попали в руки человека, чье происхождение не поддается никакому описанию.
Док. И тем не менее попытайтесь.
Джек. Отец утонул в сточной канаве, шлюха мать пробралась в постель старого Ника, а их сын по завещанию наследует контрольный пакет акций и теперь является президентом компании и самым богатым человеком страны.
Док. Самой свободной страны.
Джек. Этому скандалу нужно положить конец.
Док. Только не надейтесь, что я разделяю ваше негодование.
Джек. Я рассчитываю не на ваше негодование, а на заинтересованность вашей фирмы. У нее фантастическая репутация.
Док. И прежде всего фантастические цены.

Джек. Это несущественно.
Док. Надеюсь.
Джек. Покончим же с пустяками. Мой шофер ждет.
Док. Сколько?
Джек. Сто тысяч.
Док. Миллион.
Джек (*возмущен*). Будьте немного поскромнее.
Док. При назначении цены я учитываю возможности клиента. (*Ухмыляется.*)
Джек. Конкуренты требуют пятьдесят тысяч.
Док. Если они будут живы утром.
Джек. Вы приставляете нам нож к горлу?
Док. Ваше невежество еще более фантастично, чем наша фирма.
Джек. Я впервые веду такие переговоры.
Док. Бог мой, представляю, как вы обходитесь со своими поэтами.
Джек. Я должен собрать правление.
Док. Можете трубить сбор.

Джек входит в лифт.

Джек. Сомневаюсь, что они согласятся.
Док. Они согласятся. Речь идет о химических заводах, а не о художественной литературе.

Джек поднимается в лифте наверх. Из глубины помещения появляется **Б и л л** в джинсовом костюме.

Билл. Папа!
Док (*удивлен*). Билл?
Билл. Комиксы.
Док. Ну да.
Билл. Я везде тебя искал.
Док. Я залег на дно. (*Садится.*)
Билл. Много лет назад.
Док. Время идет.
Билл. Я уж думал, ты...
Док. Я свожу концы с концами.

Шум льющейся воды.

Билл. Растворился труп?
Док. Мой бизнес.
Билл. Я могу посмотреть?
Док. Пожалуйста.

Билл идет в камеру.

Билл. Превосходная работа.
Док. Я не халтурщик.
Билл. Это окупается?
Док. Сносно.

Билл выходит из камеры.

Билл. Ясно.
Док. Как ты проник сюда?
Билл. Меня сюда послали! Когда я спустился сюда полчаса назад, здесь никого не было.
Док. Я, наверное, чистил холодильник.
Билл. Здесь, внизу, ты ведешь себя довольно беспечно.
Док. У нас есть связи. (*Смотрит на Билла.*) Студент?
Билл. Социолог.

Док. Мода.
Билл. До этого я занимался биологией.
Док. Это уже не наука для мужчин.
Билл. Я был ассистентом у Вайта.
Док (*смеется*). Мой ученик. (*Приносит виски.*)
Билл. Он сожалел о твоем переходе в промышленность.
Док. Ему тоже пришлось отказаться от биологии.
Билл. Ты был большим ученым.
Док. Я понимал кое-что в аминокислотах.
Билл. Мы обязаны тебе существенными знаниями о жизни.
Док. Мои существенные знания о жизни состоят в том, что во время кризиса я с треском вылетел на улицу. (*Пьет.*) Как странно, что мы с тобой встретились.
Билл. Странно.
Док. Я ожидал другого.
Билл. Я тоже.
Док. Самого богатого человека страны. (*Пьет.*) Не будем обманывать себя. Ты знаешь, на кого я работаю. Забавно было увидеть тебя. Я случайно оказался твоим отцом, а ты случайно — моим сыном, ничего другого мы друг другу сказать не можем. Прощай, Билл. И пусть лучше наследник химических заводов пришлет другого парламентера.
Билл (*спокойно наблюдает за отцом*). Я и есть наследник химических заводов.

Док молчит.

Моя мать вышла замуж за старого Ника. Два года назад.

Док пьет.

Она перебралась из одной хорошей постели в еще лучшую.
Док (*прыскает со смеха*). Карьера. (*Пьет.*) А я тем временем докатился до того, что занимаюсь расщеплением трупов. Тоже карьера.
Билл (*остается спокойным*). Три недели назад старый Ник с матерью на его частном реактивном самолете врезались в отвесную скалу.
Док. Соболезную.
Билл. Катастрофа года.
Док. Я уже давно не в курсе того, что происходит наверху. Перейдем к делу. (*Отбрасывает стакан назад.*)
Билл. Перейдем.
Док. Переговоры ты только что слышал?
Билл. Слышал.
Док. За твою голову дают миллион.
Билл. Я всегда подозревал, что мой сводный дядя занимается не только литературой.

Док поражен, он подходит к Биллу и угрюмо на него смотрит.

Док. Ты подпишешь чек на два миллиона и исчезнешь.
Билл. Я не придаю большого значения убийству Джека.
Док. Напрасно.
Билл. Зато я предлагаю десять миллионов...
Док. Шутишь.
Билл. ...за убийство президента страны.

Молчание.

Док. Убийственная шутка.
Билл. Кровавая серьезность.
Док. У меня есть чувство юмора, Билл, но должен тебя предупредить, что у фирмы его нет.

Билл. Я не шучу. Что касается трупа президента, то тебе не придется его растворять. Я не хочу лишать народ такого удовольствия, как участие в церемонии похорон.

Док (*сообразив*). Убирайся отсюда.

Билл. Я сделал предложение.

Док. Два миллиона за убийство Джека, и баста.

Билл. Ты посредник.

Док. Я не передам твое предложение дальше.

Билл. Передашь.

Док. Я отказываюсь участвовать в этом идиотизме.

Билл. Коп дал мне твой адрес.

Док молчит.

Иначе я должен буду обратиться к нему.

Док молчит.

Я тесно связан с шефом полиции. Он обратил мое внимание на существование фирмы и таким образом привел к идее толково ее использовать.

Док (*размышляет*). Почему ты хочешь убить президента?

Билл. Я представляю самое до сих пор радикальное направление анархизма.

Док. Это я уже понял.

Билл. Репрессивные тенденции...

Док. В наше время убийцы любят рассказывать байки.

Билл. Давай поговорим по делу. Десять миллионов в год, и фирма убирает одного президента за другим.

Док. Долгосрочный контракт?

Билл. Только так можно надолго парализовать страну.

Док. Дорогое удовольствие.

Билл. Я взорву весь мир, если просажу огромные прибыли, которые извлекаю из химических заводов.

Док. Революцию не покупают, ее делают самостоятельно.

Билл. Я и сделаю ее с вашей помощью. Мы больше не забойщики свай, мы живем в техническом веке. Кому нужна машина, тот не изготовляет ее сам. Он может ее купить. Кому нужно убийство, не должен убивать сам. Он может его заказать. Я покупаю у вас.

Док молчит.

Ты в доле?

Док. Двадцать процентов.

Билл. Ну вот.

Док. Решаю не один я.

Билл. Фирма предложила мне одно дело, я предложил ей другое, лучшее.

Док. Предложение Джека может быть принято.

Билл. От десяти миллионов не отказываются.

Док. Билл, еще раз: два миллиона за убийство Джека, и адью. (*Нажимает на кнопку лифта.*)

Билл. Я самый богатый человек в стране. Вы должны считаться со мной, а я с вами, иначе у вас уплывает выгодное дело, а у меня политика.

Док. Я поговорю в фирме.

Билл. Вот видишь.

Док. Тебе сообщат.

Билл. Когда?

Док. Скоро.

Билл. Ты образумился.

Док. На карте стоит твоя жизнь.

Билл. Я все ставлю на карту.

Док. Твоя борьба в одиночку — настоящее безумие.

Билл. Ты забываешь о потрясающей уязвимости сегодняшнего общества. С моими миллионами не нужна партия. С моими миллионами нужно просто использовать твои научные познания.

Док. Наука не имеет ничего общего с политикой.

Билл. Может, все-таки имеет. Тот, кто подвергает воздействию электрического разряда смесь метана, водяного пара, аммиака и водорода, получает аминокислоту, основной элемент жизни. Благодаря этому эксперименту ты стал знаменитым. Я повторю его в политике. Смесь — это наше общество, аммиак и метан — самые вонючие газы, а электрическая искра — мои миллионы, которыми я приведу в действие вас.

Док. Из-за меня?

Билл. Своими убеждениями я обязан твоей судьбе.

Док. При чем тут моя судьба?

Билл. Каждый действует исходя из личного опыта.

Док. Ты хочешь отомстить за меня?

Билл. Чти отца своего и матерь свою. Когда тебя вышвырнули с химического завода, я начал задумываться над общественной системой, породившей этот кризис, а когда моя мать легла со старым Ником, я начал размышлять над тем, как бы разрушить тот мир, который разрушил тебя.

Док. Билл.

Билл. Что, папа?

Док. Я предоставил себя в распоряжение фирмы. Почему? Потому что меня погубило общество? Потому что еще раз хотел самоутвердиться, показать, чего стою? Потому что презирал себя? Из ненависти? Из озлобления? Громкие слова. Может быть, просто по недомыслию, потому что ничего худшего не пришло мне в голову. Может, просто потому, что хотел жить чуть лучше: на пятом этаже под землей. Ты не можешь за меня отомстить, так как я сам давно за себя отомстил. Сам себе. Как обманутый муж, который из мести сам себя кастрирует.

Билл остается неумолимым.

Билл. Все равно я отомщу за тебя.

Док (*яростно*). Оставь меня в покое со своей местью.

Молчание.

Билл. Тихо здесь.

Док. Мне больше нечего тебе сказать.

Билл. Где-то капает вода.

Док. Просачивается сюда из реки.

Билл. Что бы ни творилось наверху, к тебе сюда ничего не просачивается. Мир тебя больше не интересует. Он поставляет тебе свои трупы и комиксы. Не я его уничтожу, он уничтожит себя сам. Я просто помогу. (*Идет в лифт.*) Десять миллионов. Каждый год.

Лифт закрывается и идет вверх.

Часть вторая

Посередине сцены стоит **Б о с с**. Темный костюм, в руках шляпа и красная роза. Подходит лифт. **С э м** на двухколесной тележке вкатывает большой дорожный кофр.

Сэм. Куда собрались, Босс?
Босс. Сюда, Сэм.
Сэм. Слушаюсь, Босс.
Босс. Подожди в «кадиллаке», Сэм.

Сэм исчезает. Лифт идет вверх. Босс остается с кофром один.

В этом сундуке лежит труп Энн, труп девочки, которой я подарил драгоценности, меха, спортивный автомобиль и украденного из Национальной галереи Рембрандта. (*Садится на кофр.*) Я себя не обманываю. Я произвожу двойственное впечатление. Как свободный предприниматель я вызываю симпатию, но мой бизнес внушает отвращение, хотя предприятия других бизнесменов только кажутся не столь радикальными. В сущности, деловой мир принципиально радикален. Слабый идет ко дну, сильный карабкается наверх, правдами или неправдами — как повезет. Ты не знаешь ни отца, ни матери? Не имеет значения. В семь лет сбежал из сиротского приюта? Не играет роли. В девять лет возглавлял банду? Неважно. В семнадцать пристрелил одного толстомордого в «Томми-баре»? Бывает. При других обстоятельствах я мог бы стать генералом, кардиналом, политиком или магнатом. Обстоятельства не главное, главное — характер: чтобы считать, управлять, убивать, любить и счастливо жениться, нужно иметь одно — душевные силы. (*Встает на колени. Достает бумажник, растроганно показывает фотографию.*) Моя семья. Моя жена Перпетуя, этой весной мы справили нашу серебряную свадьбу, моя дочь Анджела, ей двадцать четыре, моя дочь Приска, двадцать три, моя дочь София, двадцать два, моя дочь Регина, двадцать один, а вот эта славная мордашка — это Лоретта, ей двадцать. (*Прячет бумажник, поворачивается спиной к публике, торжественно кладет розу на кофр.*) На этом фоне понятно, почему пришлось убрать Энн. Я убил ее из тактических соображений: в общем-то она меня забавляла. Не потому, что спала с Доком. Смешно было то, что она панически меня боялась. Она, кажется, воображала, что я устранил ее предшественницу Китти. А Китти давно содержит бордель на западном побережье. И Энн совершила немыслимую вещь: изменила мне с моим же собственным служащим. Забавно. Вот что значит дать маху. (*Кладет шляпу на кофр поверх розы.*) То, что Док не догадался, с кем спит, — другое дело: что эти интеллигенты понимают в жизни! Да разве они умеют ею пользоваться! А Док со своим некродиализатором мне полезен, и еще как! Тем больше у меня было оснований не обижаться на него за связь с Энн, напротив, я готов был дать им свое благословение, видит бог, я человек великодушный, но тут на арену вышел Коп, Коп, которого я уже где-то встречал и на которого никак не могу выйти, он отстегивает Доку двадцать процентов, и мне приходится действовать, а достать Дока можно только через Энн, а выйти на Копа — только через Дока. Значит, единственным слабым местом Дока оказалась Энн. Потому что он позволяет себе роскошь испытывать угрызения совести. Как все интеллектуалы. Они воспринимают мир одновременно в двух видах: каков он есть и каким должен быть. В мире, каков он есть, они живут. Из мира, каким он должен быть, они берут мерки для вынесения обвинительного приговора миру, в котором живут. Известный старый трюк: чувствуя себя виновными, они себя оправдывают. Этот сброд не пригоден к борьбе за власть. Они барахтаются в сознании собственной вины. Они даже чувствуют себя ответственными за сотворение мира, но вся их ответственность — плод воображе-

ния, роскошь, позволяющая избегать любого решительного поступка. (*Снимает ботинки.*) Добрый Док! Он будет чувствовать себя ответственным за смерть Энн, из страха перед моей местью прекратит бунтовать, переметнется от Копа ко мне и еще больше отяготит свою совесть. Лифт идет.

Из лифта появляется **Д о к** с пакетом продуктов, шампанским и красной розой. Кладет продукты и розу на кофр.

Док. Привет, Босс.
Босс. Привет, Док. Я вас не узнаю. Наконец-то вы еще раз побывали наверху?
Док. Второй раз за два года. (*Идет с шампанским в холодильную камеру, отвечает оттуда.*)
Босс. А в первый раз?
Док. Познакомился со своей девушкой.
Босс. А сейчас?
Док. Она придет насовсем.
Босс. Скоро?
Док. После десяти.
Босс. Вы забыли про еще один раз. Когда Коп допрашивал вас в своем офисе.

Д о к выходит из камеры, Босс берет его розу.

Красивая роза. Кто ее преследует?
Док. Не имею представления.
Босс. Ей нужно только назвать имя, и с этим человеком будет покончено.
Док. Она молчит.
Босс. Проклятая бабья молчаливость. (*Смотрит на кофр.*)

Док ставит розу в пустую бутылку из-под виски, приносит ящик, покрывает его белой скатертью.

Вы хотите привести ее к моей любовнице?
Док. Там она будет в безопасности.
Босс. Если вы так считаете.
Док. Никто не заподозрит, что она у подруги Большого Босса.
Босс. Джо и Эл ее доставят.
Док. Надежные люди?
Босс. Первоклассные люди.
Док. Завтра.
Босс. Разумеется, завтра.
Док. Перед этим я хочу позавтракать с ней в «Томми-баре».
Босс. Вы начинаете кутить, дружище.
Док (*замечает вторую розу*). Еще одна роза?
Босс. Тоже для вашей девушки.
Док. Я не доверяю вашему дружелюбию.
Босс. У меня тоже есть сердце.
Док. Не трогайте мою девушку.
Босс. Подумайте о моем насосе.
Док. Мы хотим пожениться.
Босс. Когда?
Док. Позднее.
Босс. Надо же. Я предостерегал вас от любви.
Док. Это мое дело.
Босс. Разумеется.
Док. У меня двадцать процентов. Как только я накоплю достаточно, начну новую жизнь.
Босс. Кто растворяет трупы, не начинает новой жизни.
Док. Я выйду из дела.

Босс. Есть дела, из которых не выходят.
Док. Угроза?
Босс. Предостережение.
Док (*идет к кофру*). Новый товар?
Босс. Неважно.
Док. Кто?
Босс. Частное дело.
Док. Прекрасно. (*Ставит вторую розу к первой, накрывает стол на две персоны, ставит свечку, потом раскладывает еду: колбасу, сыр, рокамболи, икру, бриоши и т.д.*)
Босс. Док. Я знаю, что уже поздно. Вы накупили всего и ждете свою девушку. Но полчаса у вас для меня найдется? Наше дело разворачивается в гигантских масштабах.
Док. Приятно слышать.
Босс. Не знаю.
Док. Что вам не нравится?
Босс. Коп.
Док. Он подкинул нам дело века.
Босс. Он подкинул его себе.
Док. Мы партнеры.
Босс. Меня раздражает коррумпированный полицейский.
Док. Полиция всегда была коррумпированной.
Босс. Но не настолько же. Ладно бы Коп взял два или три процента, но хапнуть целых пятьдесят! Я постарался осторожно проинформировать прокурора, что Копа купили. Прокурор и не почесался.
Док. Может, Коп купил прокурора.
Босс. Патриот так не скажет.
Док. Я не патриот.
Босс. Прокурора нельзя подкупить.
Док. Подкупить можно любого.
Босс. Я знаю. Вы бродяга без роду и племени. Если вы не стыдитесь высказывать подобные подозрения, значит, вам безразлична судьба отечества.
Док. В наши дни преступники склонны к романтизму.
Босс. А о профессиональной этике вы, конечно, не слышали.
Док. Не в ваших кругах.
Босс. Вы сами подчеркнули, что мы деловые партнеры. Тогда и вам следует придерживаться принципов нашего дела.
Док. Это каких же?
Босс. Во-первых, нормальные цены. От Джека вы потребовали миллион. Нереально за устранение частного лица. Если мы будем придерживаться таких цен, то за год конкуренты развернутся так, что мы уже не сможем держать их в узде. Во-вторых, никакой политики. Я снова и снова вдалбливаю моим парням: депутаты и сенаторы — это табу, а президент тем более, он неприкосновенный символ. Я пойду на убийство наследника химических заводов, но буду препятствовать ликвидации президента. Иначе политики разорвут нас на куски.
Док. Мы уже все решили.
Босс. Мы?
Док. Коп и я.
Босс (*недоверчиво*). Вы встречались с ним?
Док. Сегодня после обеда.
Босс. Мне не удалось даже дозвониться ему.
Док. Он заходил сюда.
Босс. За моей спиной.
Док. Покушение на президента — дело решенное.

Босс. Похоже, моего мнения не спрашивают.
Док. Решает большинство.
Босс. Лучше бы мне оставаться с борделями, игорными домами или, на худой конец, с наркотиками. Но последнее слово в этом деле еще не сказано. Наследник заводов — социально опасный дилетант. Тому, кто сегодня хочет убрать президента, нужно просто за пачку банкнот нанять снайпера, а не бросаться десятью миллионами. Тем более не прибегать к услугам фирмы с такой репутацией, как наша. (*Швыряет Доку ключ.*) Принимайтесь за работу.
Док (*недоуменно*). Сейчас?
Босс. Сейчас.
Док. Но моя девушка...
Босс. Никаких «но».
Док. Пожалуйста. (*Надевает спецовку. Идет к кофру.*)
Босс. Она красивая?
Док. Кто?
Босс. Ваша любовница.
Док. Очень. (*Протаскивает кофр в дверь холодильной камеры.*)
Босс. Она тоже была красивая.
Док. Кто?
Босс. Моя любовница.
Док. Была?
Босс. Подготовьте ее там в холодильнике и разложите на атомы.

Док с кофром исчезает в камере. Дверь остается открытой.

А ведь я ей был как родной отец. (*Ковыляет к «столу», садится, зажигает свечу.*) Док! (*Кладет ноги на «стол».*) Мне тоже доставляют ветчину от Бузони.

Из холодильной камеры слышно, как открывается крышка кофра.

Поживее с ней.

Из холодильника ни звука. Босс пристально смотрит на свечу.

Поторопитесь, это мне тяжело далось, Док, поверьте, но моя любовница в своих апартаментах не сможет составить компанию вашей. Бузони — это класс. (*Ест.*) Задушена. Я повалил ее на кровать и поцеловал. (*Ест.*) Рокамболи. (*Швыряет рокамболи за себя, на кушетку, куда попало.*) Из ревности. И вдруг у меня возникло чувство, Док, что моя любовница была мне верна, Док, что все это — понимаете, Док, — что все это только мое воображение, Док, только мое воображение — я старею, насос сдает, ноги постоянно опухают, и все время картины в мозгу, Док, картины, видения: моя любовница с кем-то другим — совершенно голая... я вижу обоих, Док, они валяются на какой-то кушетке вроде этой. Давно надо было выгнать ее к чертовой матери. При первом же подозрении. Если бы я только знал... она и сегодня вечером занервничала, когда я пришел... в последнее время она часто нервничала... я давно уже что-то чуял... с прошлого февраля... я лег к ней в постель и как всегда сделал вид, что принял снотворное... Я уже несколько недель следил за ней, лежал рядом и выжидал... и вот она встает, упаковывает кофр и хочет смыться, испариться, раствориться в воздухе со своими драгоценностями, с меховым манто и Рембрандтом, которого я ей подарил... она даже не сопротивлялась. (*Поднимается.*) Великолепные оливки. (*Ест.*) Если бы я только знал, кто тот парень, к которому она так рвалась, с которым она спала, снова и снова. (*Отшвыривает ногой пустую пачку, которую Энн бросила на пол.*) Она тоже курила такие сигареты. А может быть, никакого парня вообще не было. (*Включает проигрыватель, Вивальди, «Лето. Allegro non molto», идет к двери в камеру.*) Нравится она вам? (*Кричит.*) Ее звали Энн. (*Нет ответа.*) Н-да, вероят-

но, она не в вашем вкусе. И к тому же труп. (*Возвращается назад к «столу»*.) Даже креветки раздобыли. (*Рассыпает креветки по «столу»*.) Моей девочке стоило лишь пальцем пошевелить. Зачем она дала задушить себя? Я ведь хотел только...

Из холодильной камеры выходит **Д о к**. Босс глядит на него в упор.

Странно, я уже больше не ревную.

Док. Она мертва.

Босс. Обожаю анчоусы. (*Ест.*) Видя эту женщину мертвой, вы можете себе представить, какой она была при жизни, понимаете, почему я ревновал?

Док говорит медленно, автоматически, как во сне.

Док. Ей было около двадцати пяти.
Босс. Это не ответ.
Док. Она красивая.
Босс. Я знаю.
Док. Самая красивая девушка, какую я когда-либо видел.
Босс. Я знаю.
Док. Вы не должны были ее убивать.
Босс. А я убил.

Док выключает проигрыватель.

Док. Босс!
Босс. Док?
Док. Я...
Босс. Ну?
Док. Ничего.
Босс. Ничего так ничего. Я нанял вас, чтобы вы растворяли трупы, а не философствовали. Она просто была потаскухой.

Док в спецовке и перчатках садится за стол, начинает педантично, механически есть.

Док. Я ее не знал.
Босс. Я знаю, что не знали.
Док. Мне больше не нужны ваши апартаменты.
Босс. Я думал, ваша любовница в опасности.
Док. Не стоит преувеличивать.
Босс. Вы говорили, что она боится.
Док. Уже нет.
Босс. Вам виднее.
Док. Я пристрою ее еще где-нибудь.
Босс. Дело ваше. Я думаю, вы будете счастливы с вашей любовницей. (*Озабоченно.*) Да на вас лица нет, дружище, вы бледны как смерть. Сочувствую вам всей душой. (*Садится напротив него, осыпает его лепестками двух роз, потом ест икру*.) Как человек чувствительный, вы близко к сердцу приняли смерть моей любовницы. Вы так глубоко потрясены, будто это была ваша любовница, а ведь она для вас совершенно чужой человек. Это потому, что вы не деловой человек. Док, говорю вам как отец, несмотря на мою скорбь. Если так пойдет дальше, вы окажетесь под колесами, жизнь становится все жестче, борьба за власть круче, народ звереет. Есть предложение, Док, у вас двадцать процентов, вы мне их уступаете, я даю вам пять тысяч в месяц, беру на себя все проблемы, и вы сможете спокойно сосредоточиться на своей работе. Щедрое предложение, не так ли? (*Облизывает пальцы.*) Икра превосходная. (*Надевает ботинки.*)
Док. Если уберут президента.

Босс. Но почему? Он хороший человек и ничего вам не сделал.

Док. Мое сотрудничество с фирмой должно обрести какой-то смысл.

Босс. Странный ответ, смешной ответ.

Док. Это мое условие.

Босс. Разумеется, Док, конечно. Если Коп тоже согласен, я готов убрать президента за десять миллионов. Ради вас. Скрепя сердце, поверьте. Вам известен мой патриотизм. Я как-никак был при взятии Исигаки. (*Идет в холодильную камеру, как трофей волочит за собой по полу манто Энн.*) Служил по интендантской части. Спасибо за закуску. Надеюсь, мы не объели вашу любовницу. (*Надевает шляпу.*) Пойду выпью с Сэмом. Или он тоже переметнулся?

Док. Возможно.

Босс. За кофром я пришлю.

Док. Пожалуйста.

Босс. Любопытно, какие девочки нынче околачиваются в «Томми-баре»? Не вешайте голову, Док, баба она и есть баба. А сейчас вам пора растворять мою любовницу! Уже одиннадцатый час. В любой момент может прийти ваша любовница. (*Заходит в лифт.*) Но где я уже встречал Копа? Видно, так никогда и не вспомню.

Лифт идет вверх. Док, сидя на стуле, механически накладывает себе ветчину и ест. Темнота. Свет на **К о п а**. Только сейчас становится заметно, что у него вместо левой руки железный крюк. Он громит жилище Дока, смахивает еду со «стола» и т.д.

Коп. Босс был прав. Он так и не вспомнил. И даже развалившись в своем «кадиллаке» по дороге в «Томми-бар», где он хотел набраться, как в добрые старые времена, он не вспомнил, что встречал меня дважды. Мою левую руку и правую ногу откромсал после его выстрелов компетентный хирург; более двадцати лет назад Босс ограбил ювелирный магазин, а молодой полицейский, вставший у него на пути, был я. Тогда-то он меня и покалечил, но не в этом дело. А дело в том, что благодаря этой встрече мы оба сделали карьеру. Он превратился в короля преступного мира, а я — в шефа полиции, причем мы зависели друг от друга, точнее, моя неудачливость от его удачи. Несмотря на то что я разгадывал его уловки, отыскивал его притоны, регистрировал его сделки, следил за его шлюхами и сутенерами, получал информацию о его связях с банками и синдикатами, даже натравливал их на него, он всегда выкручивался, ускользал от меня, прежде чем я успевал принять меры. Связи, популярность, деньги, патриотизм делали его недосягаемым. Чего стоил один только его взнос в два миллиона в фонд инвалидов войны. Тогда я изменил тактику, и удача постепенно покинула его, а он и не заметил. Он занялся наркотиками, я выжидал, он все наглел, я предоставил ему свободу действий, он захватил рынок, я прикинулся простачком; когда они с Маком организовали фирму, он ни о чем не подозревал. Тот, кого он изуродовал, которого он забыл, которого он, встретив вновь, даже не узнал — настолько ему было наплевать на этот эпизод, — всю жизнь как одержимый копил улику за уликой, чтобы предать его суду, но как же все это фантастически нелепо, какая ни с чем не сообразная потеря времени, какая чудовищная слепота всех вокруг, кто связывал мне руки! Но наконец пришло мое время, и я собрался накрыть Босса и его фирму, разорить это поганое крысиное гнездо, и тут мне дали понять, но не сразу, а — более жестоко — во время хождения по инстанциям, что я — спятивший калека, продажный фараон, что прежде чем отправиться в ад, я окажусь единственным обвиняемым по делу, по той простой причине, что в мире, у которого можно украсть справедливость, я один добивался справедливости, как будто это мое личное дело, а не дело всех. Но пора ставить точку. (*Лифт спускается вниз. Коп идет в холодильную камеру, что-то там разбивает, снова выныривает из нее, на крюке его протеза висит вечер-*

нее платье Энн, в правой руке — бутылка шампанского. Он бросается на кушетку.)

Д о к выходит из лифта с бутылкой виски. Садится.

Док. Я был в «Томми-баре».
Коп. Скоро утро.
Док. Босс там не появлялся.
Коп. Босс там больше не появится.

Лифт идет вверх.

Док. Пахнет.
Коп. Пусть!
Док. Воняет!
Коп. Должно вонять.
Док. Трупами.
Коп. Здесь нет ничего, кроме трупов.
Док. Это из камеры.
Коп. Я разнес вдребезги холодильную установку.

Док молчит.

Девушка Босса лежит голая в вашем инсталляторе. Вот ее платье. (*Машет перед Доком платьем Энн.*)
Док. Коррумпированные фараоны вызывают у меня отвращение.

Лифт идет вниз.

Коп. После меня придут еще более коррумпированные.
Док. Садитесь в лифт и проваливайте.
Коп. У меня встреча с вами и с Боссом.
Док. Я об этом ничего не знаю.
Коп. Теперь знаете.

Лифт открывается, **С э м** вкатывает в комнату чемодан Босса.

Сэм. Куда, Коп?
Коп. Куда-нибудь, Сэм. Холодильная установка сломалась.
Сэм. Слушаюсь, Коп. (*Сэм куда-то увозит чемодан.*)

Док поднимается.

Док. Дорожный чемодан Босса.
Коп. Видите ли, мы все-таки условились о встрече с Боссом. Пошел вон.
Сэм. Слушаюсь, Коп. (*Уезжает на лифте наверх.*)

Док открывает чемодан, смотрит на содержимое.

Док. Сэм его...
Коп. В «кадиллаке».
Док. Босс был прав.
Коп. Очевидно.
Док. Сэм переметнулся на вашу сторону.
Коп. Он давно уже предлагал удешевить руководство бандой.
Док. Все переходит к вам.
Коп. Все переходит в государственную собственность. (*Делает движение рукой.*) Был — и нет его. (*Смотрит в чемодан.*) Добрый старый Босс. Пожалуй, он был самым порядочным. Он так и не понял, что золотые времена частной индустрии прошли. Подобные ему сейчас погибают тысячами. Большая охота на крупную дичь.
Док. Кто велел убрать Босса?

Коп. Мало ему, видите ли, тридцати процентов. А ваша доля дала бы ему слишком большую власть. Он подписал свой смертный приговор, когда выманил вашу часть. Теперь фирма хочет все.
Док. Мне будет достаточно пяти тысяч в месяц.
Коп. Скромно.
Док. Я хочу выжить.
Коп. Боссу следовало бы принять это в расчет. (*Снова закрывает крышку чемодана.*)

Дверь лифта открывается, **Сэм** вносит в комнату два элегантных «дипломатических» чемодана.

Сэм. Джек.
Коп. Поставь его куда-нибудь.
Сэм. Слушаюсь, Коп. (*Ставит оба чемодана на рампу перед лифтом.*)

Джим выходит из лифта с телом Билла, завернутым в шерстяное одеяло.

Джим. Куда это, Коп?
Коп. Положи рядом с дорожным кофром.
Джим. Как прикажете, Коп. (*Сэм и Джим кладут труп Билла рядом с дорожным кофром.*) Мы подождем наверху, Коп.
Коп. Ждите наверху.
Сэм. Если задержитесь, мы спустимся.
Коп. Если задержусь, спуститесь.

Джим и Сэм уезжают на лифте. Коп разворачивает Билла.

Док. Билл.
Коп. Самый богатый человек в стране.

Док молчит.

Вы его знали?
Док. Я только вел с ним переговоры.
Коп. Симпатичный парень.
Док. Фантазер.
Коп. Не знаю.
Док. Я думал, фирма взялась за десятимиллионное дело.
Коп. Взялась.
Док. Мы об этом договорились.
Коп. Точно.
Док. Тогда Билла нельзя было...
Коп. Значит, можно.
Док. А как же президент?
Коп. Будет убит.
Док. Почему убили Джека?
Коп. Из тактических соображений.
Док. И кто обоих...
Коп. Не все ли равно.
Док. Сэм?
Коп. Нет.
Док. Джим?
Коп. Я.
Док. Почему?
Коп. Они выполняют чистую работу. Кто-то должен делать грязную. (*Док хочет броситься на Копа, Коп кидает ему в лицо платье Энн.*) Целый рой навозных мух. Отвратительно. (*Отмахивается от мух.*) И где-то все еще просачивается вода из реки.

Док молчит.

Вы действительно не знали парня, Док?

Док. Нет.

Коп. Странно. (*Наблюдает за Доком.*) Когда я говорил с ним, у меня сложилось впечатление, что когда-то вы были похожи на него. Удивительно, да?

Док. Случайность.

Коп. Правда? Вы, наверное, прежде тоже во что-то верили.

Док. Я был ученым, вот и все.

Коп. Знаю, химиком.

Док. Я исследовал один стиральный порошок.

Коп. Может быть, вы исследовали жизнь.

Док. С чего вы взяли?

Коп. Просто мне так показалось. Этот мальчик хотел изменить мир.

Док. За это вы его уничтожили.

Коп. Он должен был этого ожидать.

Док. Он был безобиден.

Коп. Я думал, вы его не знали.

Док. Мое впечатление от переговоров.

Коп. С его мировоззрением безобидность непозволительна. Крыса. (*Гонится за ней.*)

Док. Шедевр. Убрать клиента и получить десять миллионов.

Коп. Он даже не защищался. Это случилось у него на квартире. Мальчик так удивленно на меня посмотрел. После этого я выхлестал две бутылки виски.

Док. Фирма процветает.

Коп. С вашей помощью.

Док. Я не хотел его убивать.

Коп (*в бешенстве*). Вы же заключали с ним договор.

Док. В другом смысле.

Коп. Швырните самого богатого человека страны туда, где лежит голая любовница вашего бывшего партнера или чья она там была любовница.

Док. Позднее.

Коп. Позднее. Я понимаю. Вам неохота с ним возиться, вы имеете дело только с трупами. Билл напоминает мне одного паренька.

Док. Избавьте меня от ваших воспоминаний.

Коп (*останавливается перед Доком*). Пареньку было двадцать четыре. Он стрелял с крыши методистской церкви по школьникам. Из винтовки с оптическим прицелом. Убил восемнадцать. Я разоружил его. Он не оказал сопротивления. Он думал, что совершил хороший поступок. Я никогда не встречал более счастливого человека.

Док. Придурок.

Коп. Безусловно.

Док. И что же у них общего?

Коп. Оба думали, что правы. Вера не бывает трусливой. (*Отворачивается.*) Я должен кое в чем признаться, Док. Он не выписал мне чека. Я выстрелил раньше.

Док. Зачем?

Коп. Чтобы сорвать десятимиллионное дело.

Док. Вас купил Джек?

Коп. Джек мертв.

Док. Вы убили его.

Коп. В этом смысле я кажусь себе немного похожим на того парня с винтовкой на крыше.

Док. Вы сорвали оба дела?

Коп. Только потеря грандиозных состояний способна еще поразить этот мир, ничем другим его не удивишь.

Док (*кричит*). Но вы же в деле!

Коп разражается сатанинским хохотом.

Коп. Я никогда не был в деле. (*Выпивает бутылку шампанского, как бы случайно задевает проигрыватель, Вивальди, «Четыре времени года. Зима. Largo».*) Прокурор высмеял меня, когда я разыскал вашу фирму убийц, и вместе с ним в дело вошло все начальство.

Док. Надо выпить. (*Залпом выпивает виски.*)

Следует импровизированное шоу о Великой Коррупции, пока Коп ставит сначала один, а потом другой «дипломатический» чемодан на кофр, а потом садится на них, все еще держа на крюке вечернее платье Энн, а в правой руке — бутылку шампанского.

Коп. Когда я раскрыл механику, которую закрутил Босс, то ворвался в прокурорскую контору и стащил прокурора с письменного стола и с его личной секретарши: какого черта, торопись, арестуй эту акулу, посади за решетку его банду, иначе скоро в стране будут отправлять на тот свет чаще, чем трахаться. Прокурор спокойно застегнул ширинку и сказал елейным тоном: «Ай-ай-ай, сынок, зачем столько шума? И мы приложим руку к этой механике — мы вдвоем войдем в долю. А в качестве гонорара меня устроят тридцать процентов, живей, смелей, не будь дураком, славный мой Коп, не мелочись, действуй по-крупному, а остаток поделишь с Боссом». Тогда я, взбешенный этим высокопоставленным подонком, бросился к бургомистру и выкрикнул ему в лицо, достаточно резко: «Прокурор коррумпирован!» — «Не городи чушь, сынок, — небрежно заметил бургомистр, — против коррупции не попрешь, приходится с ней мириться. Войдем в долю втроем, только так можно спасти положение. Мне нужно всего пятнадцать процентов. Я великодушен, живей, смелей, милый Коп, не будь дураком, действуй по-крупному, остаток поделишь с Боссом». Я не согласился на эту подлость, я схватил за шиворот губернатора и начал трясти. Его превосходительство, смакуя свой ликер, выслушал мою информацию на предмет фирмы, прокуратуры и бургомистра — и бровью не повел. «Сынок, — сказал он с удивлением, — не понимаю я твоего негодования. Все мы люди, все человеки. Теряет тот, кто взяток не берет, кому это невдомек, проиграет все в свой срок. Войдем в долю вчетвером. Видишь, как я благосклонен, но терять барыш не склонен, будучи всем известным патриотом, которого однажды чуть не выбрали, а может, еще и выберут в президенты, я удовлетворюсь, пожалуй, тридцатью процентами, живей, смелей, добрый Коп, не будь дураком, не мелочись, действуй по-крупному, остаток поделишь с Боссом». Тогда я, полный горечи, бросился к верховному судье требовать правосудия. «Сынок, да ты романтик, — сказал судья патетическим тоном, — как сказали бы Отец, и Сын, и Святой Дух, о правосудии разглагольствуют только спившиеся писаки да разведенные бабы, держись от него подальше. Чего не может быть, того быть не может: хрен редьки не слаще. Войдем в долю впятером. Как верховный судья я не упрям, и нужно мне всего двадцать пять процентов, живей, смелей, бедный Коп, не будь дураком, не мелочись, действуй по-крупному, остаток поделишь с Боссом».

Док. Можно умереть со смеху. (*Отхлебывает еще из бутылки, тут же пьянеет.*) Потом вы являетесь сюда, разыгрываете крутого супермена, выворачиваете наизнанку фирму, а все ради чего: ради жалкой пары тысяч в месяц.

Коп. Что мне деньги. В отличие от вас, Док, я не придаю особого значения тому, чтобы выжить. Джим и Сэм ждут меня наверху или спустятся вниз, если наш разговор затянется. Это моя расплата. Я никогда особенно не обольщался, но верил, что хоть где-нибудь когда-нибудь можно добиться хоть какой-то справедливости. Еще крыса. (*Швыряет в нее бутылкой.*) И я был наивен, как этот мальчишка. И я безрассудно и нелепо боролся в одиночку. Всю жизнь. Напрасно ли? Не знаю. Сегодня убивают того, кто раскрывает преступление, а не преступника; но поскольку я не захотел участвовать в этом фарсе, я убил

Джека и мальчугана. Значит, то, что сделают со мной Джим и Сэм, справедливо, хотя это и убогая справедливость, но сегодня это уже кое-что, ведь другого правосудия не существует. Крысы! Крысы! (*Гонится за ними.*) Здесь, внизу столько крыс.

Док. Они сейчас вылезают из нор.

Коп. Они пищат.

Док. Ну и пусть.

Коп. Вон! Вон! Вон! (*Гонится за крысами.*)

Док. Вы разрушили холодильную установку. И если бы смогли, то разрушили бы весь мир.

Коп (*садится напротив Дока*). Я не воображаю, что мне удалось покончить с фирмой, именно сейчас клиенты валом повалят! Но на какое-то краткое мгновение мне удалось приостановить фатальное раскручивание вашего дела. Зачем? Нужно же сохранять хоть какое-то уважение к себе, иначе ситуация станет еще более унизительной, откровенно говоря, смешной. Но я не знаю, понимаете ли вы меня, вы ведь ученый и спрятались под землей. На пятом этаже. Еще две крысы. Здоровые, жирные крысы.

Док (*выплескивает ему в лицо остатки виски*). Вот тебе, грязный пес!

Коп (*поднимается*). А все-таки вы знали парня.

Док (*кричит*). Нет.

Коп. Его анархизм еще будет иметь успех. Сегодня все имеет успех. (*Берет стул, садится на переднем плане слева.*) Что значит сегодня убийство, Док? Нарушение приличий. И мое нарушение приличий обелило невинного агнца и предоставило обществу шанс увильнуть от обвинения в том, что оно становится обществом убийц. Как будто бы преступность давно уже не стала формой нашей цивилизации. Его анархизм был гениальной бредовой идеей. Он, как рождественский подарок, нравился всем. Прокурор, бургомистр, губернатор и верховный судья — все они были в восторге от мальчика. Сам того не желая, он был их соучастником. (*Равнодушно.*) Кстати, разыскивается его отец.

Док. Чей отец?

Коп. Отец Билла.

Док. Почему?

Коп. Теперь он наследник химических заводов.

Док молчит.

Самый богатый человек страны.

Док молчит.

Он, вероятно, где-то скрывается.

Док. Кто его ищет?

Коп. Фирма.

Док. Зачем?

Коп. Вдова Джека дает за его голову десять миллионов.

Док. Ну и пусть.

Коп. Чтобы унаследовать самое большое состояние страны.

Док. Меня это не касается.

Коп. Меня тоже.

Док. Вы глупец.

Коп. Вероятно.

Док. Вполне. Можете поручиться головой.

Коп. Я получу пулю. (*Берет сигару.*) Дайте прикурить.

Док подносит зажигалку.

(*Коп курит.*) Я взял сигары у мальчишки.

Лифт идет вниз.

(*Отдает Доку бумажник.*) Вот.

Док. Зачем это мне?

Коп. Бумажник Билла. С чековой книжкой и фотографией его отца.

Док молчит.

Видите, я узнал ваше имя.

Док. Бегите.

Коп. Бесполезно.

Из лифта выходят **Джим** и Сэм. Лифт снова идет вверх.

Сэм. Бог мой, сколько тут мух.

Джим. Проклятые твари. (*Отдергивает ногу.*) Крысы так и норовят вскарабкаться по ногам.

Коп. Ну-с, что скажете?

Джим. Там наверху жарко как в пекле.

Коп. В этом городе всегда жарко как в пекле.

Джим. Вы нас надули, Коп.

Коп. Может быть.

Джим. Звонил прокурор.

Сэм. Наверху собрались парни.

Коп. Я останусь внизу.

Джим. Назад, Коп. (*Достает из кобуры Копа револьвер.*)

Коп. Смешно, когда жизнь вдруг приобретает смысл.

Сэм. В холодильник, Коп.

Джим. Так надо, Коп.

Коп. Понимаю.

Сэм. Иди.

Джим. Мы все сделаем быстро, Коп.

Коп (*поднимается, курит*). Пошли. (*Идет к холодильнику, останавливается.*) Док!

Док. Коп?

Коп. Кто умирает, тот выходит из игры. (*Еще раз затягивается сигарой.*) Роскошные «гаваны» курил этот парень. (*Тушит сигару.*)

Коп, Джим и Сэм заходят в холодильную камеру. Док обследует бумажник, находит свою фотографию, съедает ее. Из камеры выходят **Джим** и **Сэм**.

Джим. Готово.

Сэм (*подходит к трупу Билла*). Я думаю, его туфли мне в самый раз. (*Снимает с трупа туфли.*)

Лифт идет вниз.

Подержи-ка труп, Док. (*Док держит труп Билла. Сэм разувает правую ногу.*) У меня всегда была маленькая нога. (*Надевает правую туфлю Билла.*) Превосходная кожа. Элегантные.

Джим. Шикарный галстук. (*Снимает с трупа галстук.*)

Из лифта выходят **Джо** и **Эл** в полицейской форме и с ящиками.

Поставьте товар куда-нибудь. Холодильник еще не работает.

Джо и Эл складывают ящики на переднем плане.

Сэм (*расхаживая взад-вперед в туфлях Билла*). Сидят как влитые.

Джим. Небось удивляешься, Док, откуда столько товара?

Сэм. И не только товара. Еще те, кто сбивали нам цены.

Джим. Красивые запонки. (*Снимает с трупа запонки.*) Опаловые.

Сэм. Шикарно.

Джим. Великолепный костюм.

Сэм. Класс.
Джим. Шелк. Подойдет моему сыну. К счастью, Коп выстрелил ему в голову.
Сэм. Все-таки Коп был отличным парнем.
Джим. Помоги-ка мне.

Снимают с трупа Билла костюм.

Сэм. А чем занимается твой сын?
Джим. Учится.
Сэм. На кого?
Джим. На врача.
Сэм. Будет как доктор Швейцер. Мой учится на парикмахера. Будет дамским мастером. В нем всегда было что-то артистическое.
Джим. Наследственность. Великолепная рубашка.
Сэм. Тоже шелк.
Джим. Слегка испачкалась.
Сэм. Отойдет в маминой стиральной машине.

Снимают с Билла рубашку. Джо и Эл уезжают наверх в лифте.

Джим. Если бы еще отыскать отца Билла, вот бы обделали дельце.
Сэм. Спился где-нибудь. Носки тоже?
Джим. Все. (*Снимает с Билла трусы и носки. Задумчиво смотрит на Дока.*)

В это время Джо и Эл приносят новые ящики.

Ты был биологом или химиком, Док?
Док. Химиком.
Джим. И конечно, никогда ничего не слыхал об отце Билла?
Док. Я не знал ни его, ни Билла.
Джим. Ну да.
Сэм. Да кого он там знает.
Джим. Черта лысого.
Сэм. Сколько ты получаешь, Док?
Док. Пять тысяч.
Сэм. Подумать только.

Сэм и Джим избивают Дока. Док валится на пол.

Будешь отдавать мне две тысячи в месяц, понял?

Вызывает лифт. Док корчится на полу. Джим обрабатывает его пинками.

Джим. Мне две с половиной тысячи.

Док, скрючившись, лежит на полу.

Сэм. И тебе еще останется пять сотен за твою поганую работу.

Джим оглядывается. Все помещение загромождено ящиками с трупами.

Джим. Черт возьми, у него сегодня полно работы.
Сэм. А что ему еще делать.
Джим. Единственная голова, которая нам нужна.

Сэм и Джим входят в лифт.

Сэм. Так держать, мой мальчик.

Лифт идет вверх. Свет только на Дока, который корчится на полу.

■

ЛАСЛО ДАРВАШИ

Рассказы

Перевод с венгерского Ю.ГУСЕВА

От переводчика

До недавнего времени Ласло Дарваши (род. в 1962 г.) был известен читателям как поэт, автор двух стихотворных сборников, с интересом встреченных критиками и публикой. Но, очевидно, по-настоящему он нашел себя, обратившись к «презренной» прозе. В которой и утвердился не просто как талантливый художник: его рассказы произвели впечатление нового, свежего слова в литературе, даже вехи, которая, кто знает, со временем может стать поворотной.

Новизна прозы Ласло Дарваши в том, что она, возможно, знаменует в литературе закат эпохи «текстов», эпохи, в Венгрии связанной с именами Петера Эстерхази, Петера Надаша и некоторых других. Или, если угодно, закат эпохи постмодернизма, когда кризис системы ценностей, привычной для данного уклада жизни, породил скептическое, ироническое отношение к китам, на которых стоит литература, и в том числе к такой «краеугольной» вещи, как сюжет, story.

Но значительность, незаурядность Дарваши в наибольшей степени, может быть, проявляется в том, что он не отвергает того, от чего отказывается. По чьей-то удачной формуле, в литературе он «отрицая, сохраняет». Сохраняет то, что способно служить главной цели писателя: изображать и выражать себя, а через себя — свое время, все, что в нем интересно и поучительно, как в положительном, так и в отрицательном смысле этого слова. То есть, уходя от постмодернизма, он берет из него такие особенности, как увлеченная игра со смысловыми и формальными моментами, обостренное внимание к слову, к приему, вообще — к тексту. Будучи вполне «модерным» писателем, он не отбрасывает классику; в частности, эрудированный читатель легко заметит у него отпечаток влияния Арона Тамаши с его любовью к изображению естественного, близкого к природе человека. Дарваши каким-то непостижимым образом создает цельность из таких, казалось бы, взаимоисключающих вещей, как натурализм подробностей и романтическая загадочность, недосказанность общей картины. Вероятно, поэтому его рассказы, в которых, как и в произведениях большинства современных постсоциалистических писателей, отражается жутковатый абсурд «реального социализма» (Дарваши к тому же вырос и начал писать в Румынии, и этот абсурд ему знаком досконально), при всем том несут на себе отсвет какой-то ласковой и лукавой, почти праздничной улыбки. Которую можно воспринимать и как проявление спонтанной радости обретения свободы.

Так что Ласло Дарваши и в этом верен себе: став прозаиком, он в чем-то существенном все же остался поэтом.

В горах

Умер мой отец. Тело его к утру стало легким, послушным, только во взгляде застыло еле заметное удивление — глаза остались открытыми, я подумал, что это, наверно, не зря, и не стал их закрывать. Какое-то время я смотрел на него, нагнувшись к бледному лицу совсем близко, потом взял его на руки, вынес во двор и положил пёред домом, на низкую, объеденную козой траву. Лицо ему я прикрыл лопухом: отец сам так хотел. Позавчера вечером, когда еще жил и мог говорить, он сказал мне шепотом, чтобы, когда он совсем перестанет дышать, я не сразу его хоронил: конечно, что-то отлетит сразу, но тело, ты сам увидишь, даже в этом безвыходном

© Darvasi László, 1993
© Ю.Гусев. Перевод, 1997

положении будет с жалким упорством оттягивать прощание с жизнью; знаешь, шептал он, жизнь — такая штука, которую переоценить невозможно. Я стискивал его липкую от смолы, дрожащую руку и только кивал, потому что отец всегда говорил правду. Да, и еще я думал, что в минуту смерти человек ошибается редко. Кажется, это была хорошая мысль. Должно быть, поэтому я улыбнулся. Я люблю улыбаться; в такие моменты я особенно сильно похож на него.

Стоит лето, август; кругом — беспощадная, удушливая сушь; новая вырубка продвигается с трудом. Лес съедает трупы павших косуль; дождя мы не видели несколько недель. Не умри отец, воды нам наверняка не хватило бы. Я хочу сказать — питьевой. Еще только середина месяца, а мы уже допиваем седьмую флягу. Той ночью, когда он был еще жив, звезды на небе искрились совсем низко. Время от времени отец кричал от боли. Я не зажигал ни лампы, ни даже свечей: в распахнутом окне ухмылялся широкий, разбухший диск луны, и серебристое сияние делило лицо отца на две части. Сразу не хорони, прошептал он, и мне хотелось, чтобы он сказал о смерти еще что-нибудь: я ведь понятия не имел, что о ней, то есть о них двоих, думать; но это были последние его слова. Потом у него только голова дергалась; целый день и потом еще целую ночь что-то не давало бедняге покоя.

С сегодняшнего дня я буду один тянуть пилу. Есть у нас и топоры, четыре штуки, да еще специальные секиры для обрубки веток. Предлагали нам бензопилу, но мы от нее отказались. А утро сегодня выдалось дивное: жара спала немного, над долиной белой фатой висела прозрачная дымка, ярко-зеленые верхушки елей обрели серебристо-синий оттенок. Много деревьев свалили мы здесь, на горе, вдвоем с отцом. Сегодня я тоже с радостью вышел бы на работу; думаю, и отец тоже; ей-богу, жаль, что он помер.

Звали его — Копф. Три или четыре года назад к нам на гору пришел настырный маленький мужичонка, которого я до тех пор ни разу не видел, и завел с отцом разговор. Я никогда так и не узнал точно, о чем там у них шла речь; да меня это и не особо интересовало: мужичонка-то из деревни пришел. Спорили они долго: мужичонка кричал, бил себя кулаками по голове, потом вскакивал и направлялся к лесу; вроде — все, он уходит. Но, сделав несколько решительных, театральных шагов, с усталой улыбкой возвращался. Отец же лишь упрямо тряс головой да иногда показывал на меня, на домик, который мы с ним недавно построили на месте старой избушки, и снова на лес. Копф, кричал мужичонка, ты чего голову мне морочишь? Но отец был непреклонен, как в работе. В тот раз мы пришли на вырубку с опозданием, однако норму надо было все равно выполнять. Устал я невероятно; ночью, не в силах заснуть от утомления, я вспомнил и мужичонку, и имя отца, и мне стало еще тревожнее: за монотонным стуком топоров, которым был заполнен минувший день, вспыхивали образы прошлого, не только отцова, но и моего собственного, про которое я еще никогда никому не говорил и, наверно, не буду. Хотя теперь-то, задним числом, я понимаю, что это было не бог весть какое сногсшибательное открытие — просто я понял, что мир состоит не только из леса, гор, нашего домика и лесоповала. И, хотя меня совсем не тянуло в суетливую, кишащую людьми, полную криков, рева моторов деревню, в ту ночь я все же решил, что теперь буду звать отца Копфом. Неожиданное это решение так меня взбудоражило, что я два раза подряд громко выпустил газы и собирался выпустить в третий, когда отец мягко сказал, дескать, ладно, ладно, теперь давай спи. Но я, если не ошибаюсь, впервые в тот раз его не послушался: сон все не шел ко мне. Утром я, весь измочаленный, дрожа от нервного напряжения, но решительно сказал наматывающему онучи отцу, который сейчас, с накрытым лопухом лицом, лежит на траве перед домом, — я сказал ему:

Копф, давайте сюда ваш топор, я наточу.

Отец поднял голову и посмотрел на меня, и в добрых его глазах были жалость и прощение, и седеющая щетина его сверкала, как тысячи крохотных иголок, и он даже, кажется, улыбнулся, но топор свой мне не дал, так целый день и работал с неточеным инструментом. Погрузившись в упрямое, обиженное молчание, я обрубал ветки рядом с ним, из-под топора летела, как снег, белая щепа; отец, однако, весь день держался так, будто ничего не произошло, и я мало-помалу понял: он хочет, чтобы я

вообще забыл это имя, а если оно, случайно или по ошибке, все-таки прозвучит здесь, в царстве елей, дубов и буков, пусть это будет пустой звук, лишенный всякого смысла. Так что больше я никогда не звал отца Копфом.

Вернее, один раз назвал. Сегодня утром, когда он не мог уже этого слышать.

Да, мне кажется, я должен был это сделать.

До свиданья, отец.

До свиданья, Копф, сказал я.

Потом взял его на руки, поднял и, словно он всего лишь задремал ненадолго, вынес его на траву перед домом, где обычно пасется коза; потому что он так пожелал, когда еще жил.

От отца всегда пахло смолой, он был стриженный наголо, худой и высокий, выше меня. Вообще-то я тоже лысый, вернее, стриженный под ежик. Мы с ним каждые две недели стригли друг друга: сперва отец меня, потом я его. Ножницы мы нашли еще в старой избушке: должно быть, их забыли там прежние обитатели; но о наших предшественниках мы никогда не говорили. Отец любил медовое пиво, творог из козьего молока, посыпанный сахаром, и бобовые консервы, которые мы получали снизу. Продукты нам привозили раз в месяц, точно по первым числам. Углежоги сгружали непромокаемые пластиковые мешки и пузатые фляги с водой у заброшенной заимки; это печальное и тревожное место было в добром часе пути от нашего дома, там кончалась дорога, ведущая снизу, и там же кончался наш мир; тропинкой, что вилась сквозь заросли колючей ежевики до нашего дома, пользовались только мы с отцом. Это, видно, был какой-то давний уговор, который в основном соблюдался; даже я редко-редко забредал на их широкие дороги, на которых спокойно умещались самые большие машины — иной раз аж до нашего дома долетало рычание тракторов, волочивших стволы в деревню. В глубоких колеях, вырытых в глинистом грунте их гусеницами, дождевая вода не высыхала по нескольку дней — в одной такой чистой, как небо, луже я однажды увидел себя. Странное это было чувство; я до тех пор приставал к отцу, чтобы он говорил со мной о том, как я выгляжу, пока он в конце концов не попросил прислать нам с очередной передачей зеркало. Маленькое, в узенькой алюминиевой рамочке, оно умещалось в моей ладони; с задней стороны в толстый картон были вделаны́ алюминиевые стержни, чтобы его можно было ставить, к примеру, на стол. Это зеркало для бритья, сказал отец. С тех пор я состригал волосы на лице, и мне совсем не мешало, что отец намного красивей, чем я.

Каждый первый день месяца мы с отцом отправля́лись за очередным грузом. Собственно, снизу мы могли получать все что угодно: надо было лишь попросить. Но просили мы редко; когда мне однажды захотелось зеркало побольше, отец сказал, что я не должен быть рабом прихотей. Как всегда, он был прав. Ведь в огромном, мрачном лесу, таком, как наш, прихоти в самом деле совсем не к месту. Они — признак слабости. Хотя, кажется мне, тут отец сам не вполне был безгрешен. Я его прощал: все мы люди. Снизу нам присылали съестные припасы, всякий мелкий металлический инструмент, одеяла, теплую одежду, белье и, конечно, бобовые консервы. Эти консервы отец ел очень здорово. Одну из жестяных, оклеенных коричневой бумагой банок он открывал прямо там, на Скорбной поляне; но сначала поднимал ее повыше и ронял на камень. Он никогда не говорил, зачем это делает. И я, если мне тоже вдруг доставались консервы, не раздумывая, просто из почтения подражал ему, полагая, что так, значит, надо, таков порядок вещей. Отец усаживался на траву возле полуразвалившейся печи и, не обращая внимания на репьи и колючки, прицепившиеся к его фуфайке, принимался есть, не жадно, а скорее благоговейно. Кадык его ходил вверх-вниз, он жмурил глаза и откидывал назад стриженую голову, давая теплой коричневой жиже стекать изо рта на подбородок и волосатую шею, а потом дальше, под зеленую рубашку.

Как-то весной, после страшной грозовой ночи, когда сумасшедший ветер чуть не свалил на наш дом огромную сосну, отец, стоя утром на усыпанной ветками и листьями поляне, сказал: буря — это песня свирели и зловещая круговерть. Отец любил говорить красиво, и я искренне, со всем жаром сыновней любви восхищался этим его даром, которым сам я был, увы, обделен; хотя, должен признаться, времена-

ми я его не совсем понимал. Например, сколько ни спрашивал я, почему поляна, где когда-то обитали углежоги, называется Скорбной, он мне так и не объяснил ничего. Что там случилось: убийство, предательство, смерть? Я чувствовал: прошлого — слишком много. Но приставать с расспросами я, по правде говоря, не любил, даже к отцу; мне хватало того, что есть. Да, я вполне мог поверить, что хорошего мне досталось столько, сколько никому больше. Солнечный свет прорезал густые кроны буков и косыми колоннами падал в кусты боярышника, из-за пылающего гребня которых приветствовали нас боязливые косули; кабанье семейство на почтительном расстоянии, хрюкая, разрывало толстый слой курящейся прошлогодней листвы; из поднебесья долетал пронзительный крик ястреба; серебряные нити паутины обвивались вокруг солнечных столбов; вообще же в лесу была тишина, словно молчание после очень красивой фразы, и отец ел бобовые консервы.

Нам приходилось делать по четыре, а то и по пять ходок, пока мы всё перетаскивали к себе. Время от времени мы останавливались передохнуть, и каждый раз отец спрашивал, не поменяться ли нам ношей. Он шел впереди, я — за ним; он нес мешки, я — фляги с водой. Это были необыкновенные дни; когда мы управлялись с перетаскиванием груза, отец выкладывал наше богатство на дубовый стол и принимался перебирать и сортировать его. Он наполнял продуктами опустевшие коробки, давал мне новую рубаху, теплую одежду или чистое одеяло, бросал козе плитку соли и, покончив с делами, съедал еще банку консервов.

Теперь, когда отец помер, я, ей-богу, не знаю, придет ли сюда еще та женщина. Сначала она ходила только к нему, и отец в таких случаях почти грубо бросал мне: ступай, погуляй часок. А однажды я вернулся, как раз когда они прощались. Я брел к избушке по колено в снегу; мне было грустно и тревожно: зимний лес, мороз, хрустящий снег и солнечный, блеклый от холода свет всегда пробуждают во мне печаль. Женщина погладила отца по раскрасневшейся щеке и перевела взгляд на меня. Я улыбнулся; а что мне еще было делать? Она улыбнулась тоже, показав белый, упрямый оскал; кончик языка скользнул по блестящей от слюны нижней губе; дыхание ее вылетало клубами, словно горячий пар, и смешивалось с моим.

Копф, сказала женщина, сын у тебя что-то очень уж бледный.

Даже не знаю, ответил отец, приглядываясь ко мне, и, взяв меня за шею, придвинул свое лицо совсем близко; я чувствовал, он всерьез что-то взвешивает.

Отец, думал я, милый мой отец.

Копф, сказала женщина, надо ему помочь.

Не будь эгоистом, произнесла она снова и тыльной стороной пухлой белой ладони потерла щетину на его подбородке.

Пожалуй, ты права, кивнул отец и отпустил меня, а потом на целый час оставил нас с ней одних; наверняка он ходил по моим следам, неуверенно петлявшим в снегу: вообще-то я никогда сильно от дома не удалялся. С тех пор так было всегда; на первую очередь я, конечно, не претендовал, хотя отцу на все про все уже хватало и получаса.

А женщина взяла меня за руку, повела в дом и усадила на отцов тюфяк. Но я вскочил и сказал, что мне лучше на своем, он жестче и вообще — мой; женщина, улыбаясь, сняла шубейку, подбросила в печь, на угли, пару полешек. Только теперь я увидел, какая она низенькая и плотная. Она обернулась ко мне. На ней был черный свитер с высоким воротом, юбка в клетку, и нитяные чулки, и еще башмаки с ребристой подошвой, какие носят зимой бабы в деревне. Я вдруг почувствовал невероятную слабость.

Покажи-ка, как ты обычно делаешь, сказала женщина, сев рядом. Я расстегнул ширинку и показал; но сейчас, когда она на меня смотрела, это было не так приятно.

Давно в последний раз делал, спросила женщина, улыбаясь.

Я тоже хотел улыбнуться, но у меня ничего не получилось.

Минут десять, сказал я, и рука моя замерла, и я чуть не расплакался. Тогда женщина обняла меня, поцеловала в ухо и показала, что и как. Я же в это время смеялся, кричал, даже хохотал, как отец: его смех я часто слышал, когда подходил близко к дому.

Теперь, когда отец умер, мне, наверно, какое-то время нельзя будет смеяться. Даже если женщина снова придет — а это должно случиться через несколько дней. И когда мы ляжем с ней в постель — если не за этим, то зачем же ей еще приходить, — я изо всех сил постараюсь не смеяться: стисну зубы, зажмурю глаза и буду твердить про себя: нет, нет! Вот только — выдержу ли? Дело в том, что она тоже часто смеялась. Она очень здорово умела смеяться; нелегко мне это признать, но куда лучше, чем отец. Придется попросить, чтобы она тоже пока не смеялась; по крайней мере, не очень громко. Надеюсь, она поймет. Вообще надо будет поговорить с ней, можно ли не смеяться, когда ты в постели с женщиной? Обязательно поговорю, если придет. Наверно, ей захочется взглянуть на могилу. Я ни разу еще могил не копал; зверей, правда, хоронить приходилось, но человека — ни разу. Это будет первая могила, для отца. Она будет красивой, я посажу там цветы: розы, гиацинты, гвоздики, тюльпаны.

Надо было мне передать с тем человеком, чтобы прислали черенки роз и цветочные семена. Это уже сегодня случилось, ранним утром, когда я упаковывал на дворе ненужную теперь отцову одежду: я вдруг обнаружил, что кто-то стоит в тени, на опушке. Он пришел незаметно, как дневная жара.

Я к Копфу, сказал человек и вышел на свет.

Я давно не видел других мужчин — и теперь лишь молча смотрел на него; смотрел, какой он высокий. Как отец. Его светлое, в шрамах лицо окаймляла рыжевато-каштановая подстриженная бородка; он был скорее плотным, чем толстым, и носил такую же зеленую рубаху с костяными пуговицами и такие же зеленые штаны, какие присылали нам снизу, из деревни. Люди такие красивые! Человек улыбнулся и подошел ко мне.

Я к Копфу, повторил он.

Только теперь я увидел, что сапоги его тоже такие, как наши: короткие, черные, резиновые, с белой суконной полоской по широкому верхнему краю.

Отец умер, сказал я. Человек перешагнул через веревку, на которой паслась коза, подошел еще ближе — и тут заметил покойника.

Когда?

Сегодня. На заре.

Он смотрел в землю. Вокруг валялись разбросанные инструменты, черенок лопаты, грабли, несколько банок с бобовыми консервами, щепки; теперь все это было уже мое.

Что теперь делать будешь? В деревню вернешься?

Надо похоронить его.

А потом?

Здесь останусь.

Один будешь жить?

Я пожал плечами: само собой.

Он подошел к отцу, присел рядом, смахнул с его лица лист лопуха. Долго смотрел в мертвенно-белые глазницы; отец лежал очень бледный, на ресницах его поблескивала роса, по лбу ползали мелкие рыжие муравьи. Человек закрыл отцу глаза; губы его шевелились, шепча что-то. Я протянул ему лопух.

Положите обратно, пожалуйста. Он так хотел.

Человек выпрямился, вытер о штаны волосатые руки — сначала ладони, потом тыльные стороны. На штанах остались влажные полосы. Теперь он изучал мое лицо. Набрал воздуха в грудь, медленно выпустил. Голос у него был глубокий, привыкший к доброте.

Только вот что: норма останется прежней.

Не беспокойтесь, я знаю.

Он потряс головой. Странно было, что он так удивлен.

И что, совсем ничего не изменится?

Все останется, как было.

Человек двинулся прочь. Он опять был в тени, когда я крикнул вдогонку.

Вы кто?

Младший брат Копфа, ответил он, но лица его я уже не видел.

Консервов бобовых больше не надо, крикнул я снова.

Человек кивнул, постоял несколько секунд на опушке — и исчез в лесу. Я знал, теперь отца можно хоронить. Солнце поднималось все выше, дымка над лесом растаяла. День опять будет жаркий. Очень жаркий. Сейчас я копаю яму. Земля тут каменистая, дело движется медленно.

Первая сказка

Тебе четырнадцать, прошептала мать, четырнадцать. Так и скажи, если спросят. Мальчик не отвечал; он зажмурил глаза и старался не думать о той девчонке. Автобус на неожиданном крутом повороте резко затормозил и затем с трудом набрал прежнюю скорость. Шофер выругался. Они только что пересекли границу; на севере громоздились могучие горные кручи, недалеко от дороги проплыли руины какой-то крепости, за нею мелькнул взорванный виадук; наконец за грязным стеклом потянулся лес — бескрайние угрюмые ельники, полумрак, тишина, нервный трепет в листве, нигде ни живой души.

Четырнадцать, понял, сказала мать.

Мальчишка опять не ответил. Перед ними сидел вонючий, в засаленной шляпе мужик. Он как раз обернулся, открыв в широкой ухмылке все свои желтые, с чернотой зубы. По лицу его ползали мухи, он иногда прогонял их, взмахивая рукой, — и все ухмылялся, ухмылялся, будто ему за это платили. Мальчик вытащил свой складной ножик, раскрыл его и сверкающим лезвием стал пускать зайчиков. Девчонка сидела через проход; она ехала одна, волосы у нее были светлые, золотые, как солнечный свет. Она бросила взгляд на ножик, потом на мужика в шляпе; но лицо ее было неподвижным, словно она старалась сохранить какую-то тайну. Впереди разместились семьи мешочников, там кто-то громко храпел. Вокруг сплошь были чужие, незнакомые, пахнущие потом люди. Заплакал младенец, потом замолчал внезапно. Кто-то напевал, повторяя все время одну и ту же мелодию. Выбравшись из леса, автобус снова замедлил ход и теперь держал скорость не больше пятидесяти километров. Все время, пока они ехали, мальчик представлял, как он совокупляется с белокурой девчонкой. Вот только мужик в шляпе то и дело оборачивался назад. Он глазел на огромные груди женщины, причмокивал, хлопал себя по лицу, отгоняя мух, и ухмылялся. Как-то у лестницы, ведущей в подвал, мальчику довелось подслушать соседей. Они рассказывали друг другу, какие у его матери тяжелые и большие груди: она даже, слышь-ка, два лифчика носит, а тот, который внизу, еще укреплен блестящей проволокой. Той ночью мальчик встал, подобрался к материной постели и посмотрел, какой у нее лифчик.

Девчонка вдруг приподнялась и, вытянув шею, напряженно воззрилась куда-то вперед. Потом натянуто улыбнулась, покосившись на мальчика: видно, ничего не увидела. Окна в заржавленных металлических рамах густо запотели от тяжелого воздуха, пропитанного кислым запахом пота, а ветровое стекло было слишком далеко отсюда. Женщина снова толкнула мальчика в бок.

Четырнадцать, не забудь!

Автобус пополз совсем медленно и вскоре, скрипнув тормозами, остановился. Стало тихо-тихо, словно после какой-то чудовищной лжи. Потом люди, все сразу, заерзали, завздыхали, зашептались, но это продолжалось лишь несколько мгновений. Мальчик быстрым движением защелкнул ножик и сунул его в карман. Он чувствовал, как мать придвигается ближе к нему. Девчонка нервно засмеялась и тряхнула тоненькой белокурой косичкой. А мужик, что сидел перед ними, сполз так низко, что почти ушел в драное сиденье; теперь они видели только засаленный верх его шляпы.

В автобус вошли трое парней в рабочих блузах. Мальчик про них уже слышал. Он знал, багаж их не интересует, они лишь смотрят тебе в лицо, наклоняясь так близко, что дыхание их почти обжигает, и ждут, пока у тебя дрогнут веки, пока ты закроешь глаза и даже в мыслях перестанешь сопротивляться. Только тогда можно надеяться на пощаду. Тут все точно, все рассчитано, как в аптеке. Это был новый метод,

и ввели его, видно, они, молодые; старики, те были сосредоточены на узлах, на перевязанных шпагатом чемоданах, во время досмотра громко ругались, а то и кулаки в ход пускали. Парни же не говорили ни слова и никого пальцем не трогали. Дальше всех в автобус прошел высокий бородатый блондин. Напряженно расставив локти, он улыбался и хищно принюхивался, медленно поворачивая голову то туда, то сюда. Потом замер с широко раскрытыми глазами — и вдруг, быстро нагнувшись к девчонке с белокурой косой, что сидела, неестественно выпрямив спину, схватил ее и поднял, словно тряпичную куклу. Девчонка, словно уже отдав Богу душу, покорно повисла у него в руках. Руки у нее безвольно болтались, голова склонилась набок, глаза закрылись. Двое других, подняв головы, закивали, ухмыляясь. Блондин потащил девчонку к двери; проходя мимо флегматично покуривающего шофера, он лишь кивнул ему: дескать, можно ехать. Мальчик слышал, как сидевший перед ними мужик не переставая икал от страха.

Автобус въехал на площадь и возле обитого жестью навеса остановился. Напротив была маленькая церковь, рядом — корчма, за ними — стройконтора с национальным флагом над фронтоном и серое здание полиции. Мальчик с матерью вышли последними; она крепко держала его за руку. На площади было грязно, солнце светило ярче и резче, чем дома, ветровые потоки, врываясь из узеньких улиц, устраивали потасовку, швыряя друг в друга пустыми картонными коробками, мятой газетой, пучками травы, гремя листами ржавой жести на крыше навеса у автобусной остановки. Мальчик загляделся на дохлую кошку, она валялась возле навеса, а рядом, в пыли, тянулась кровавая полоса: видно, кто-то пинком отшвырнул туда кошачий труп с мостовой. Но женщина быстро потащила сына дальше. Возле корчмы блевал старикашка; мальчик по взгляду матери догадался, что она старика знает и что она удивлена — потому, может, что старики блюют редко: напившись, они валяются, хлюпают носом и делают под себя.

В корчме уже сидел и выпивал мужик в шляпе; когда они вошли и звонок над дверью зазвякал, мужик поднял голову и оскалил зубы в ухмылке. Он сидел в дальнем углу, под портретом негра-боксера с лентой на лбу. Мальчик быстро сунул руку в карман. Женщина поздоровалась и, посадив сына недалеко от мужика в шляпе, прошла к стойке. Корчмарь, маленький, тощий и желтый, кивнул и закрыл кран.

Здоро́во.

Не заходил, спросила женщина.

Две недели не видал, подумав, сказал человечек и налил ей стопку палинки. Женщина смотрела на шкалик; над ними медленно вращались лопасти вентилятора, шевеля бумажные ленты с липучкой, свисающие над стойкой. Мальчик заметил, как корчмарь через плечо женщины посмотрел на него.

А это кто?

Сын, сказала женщина, сжимая шкалик в ладони.

Я так и думал, улыбнулся корчмарь, потом вдруг помрачнел.

Там их уже неделю как двое, сказал он. Второй помоложе.

Женщина медленно поставила пустой стакан на стойку; плечи ее передернулись.

Тогда налей еще, закашлялась она.

А ему, вопросительно посмотрел корчмарь на мальчика, который успел положить перед собой раскрытый ножик и, уперев ладони в исчерканный, весь в пятнах стол, не отрываясь смотрел на мужика в шляпе. Он подумал, что, если сюда вернется, обязательно разыщет девчонку. А почему подумал, и сам не знал. Наверно, все из-за этого мужика в засаленной шляпе.

Женщина повернулась и посмотрела на сына.

Давай и ему тоже.

Сколько парню годков-то, спросил человечек.

Женщина бросила на него быстрый взгляд и почти сердито ответила:

Четырнадцать.

Мужик в шляпе загоготал и бросил на стол мелочь.

Ладно, я ведь так, ты — мать, тебе виднее, пробурчал корчмарь и налил женщине еще сто граммов, а один шкалик отнес мальчику. Тот посмотрел в его удивитель-

но голубые глаза. Корчмарь улыбнулся снова. Зубы у него были желтые, волосы — жирные, в перхоти, и мальчик подумал, что человек этот проживет недолго.

Ладно, парень, выпей-ка вот, улыбался корчмарь.

Мальчик взял шкалик, следя, как мужик в шляпе закрывает за собой дверь. А тот, обернувшись на пороге, послал-таки им напоследок еще одну свою ухмылку. Вентилятор вдруг замедлил вращение, загудел, защелкал и совсем остановился. Корчмарь смотрел на ножик; рука его дернулась, словно он хотел потрогать его. Но мальчик был быстрее.

Вы тут девчонку знаете, белобрысую такую, с косой?

Корчмарь вернулся к женщине, которая не мигая смотрела на пустой шкалик. Голос корчмаря звучал льстиво, заискивающе; но мальчик чувствовал: то, что говорит этот человечек, матери все же приятно.

Прямо вылитый отец.

На другой склон горы, на территорию стройки, можно было попасть по улочке, что отходила от площади возле полицейского участка. Миновал полдень, когда они отправились в путь. Ветер свистел и шуршал, блуждая в щелях домов и в развалинах, потом, вырываясь оттуда, закручивал легкую пыль городка в желтые прозрачные воронки. Женщина держала сына за руку. Они торопливо прошли несколько одинаковых, убогих улочек и зашагали, поднимаясь все выше, по прихотливо вьющейся тропе, глубоко врезающейся в склон горы. Теперь с дороги уже невозможно было свернуть: слева срывался в бездну крутой склон с каменными глыбами, меж которыми торчали колючие сухие кусты; справа вздымалась почти отвесная, голая скальная стена. Солнце палило нещадно, сгоняя с небосклона даже малейшее облачко. Женщина не отпускала руку мальчика. Они подошли к выкрашенному в красный цвет деревянному шлагбауму. Здесь тропа становилась шире; на поляне, в тени деревянной будки, лежали два человека. Женщина остановилась и поздоровалась; мужчины привстали, потом поднялись. Один был пожилой, почти старик, второй — совсем молодой, как те трое, что вошли в автобус после границы. Эти тоже были в рабочих блузах. Женщина полезла в корзину, достала грязный полиэтиленовый пакет, развернула его, вынула мятые, захватанные бумаги.

Удостоверение, сказала она, протягивая бумагу пожилому. Молодой наклонился, заглянул в лицо мальчику. Так близко, что его дыхание обжигало кожу. Мальчик медленно опустил руку в карман. Пожилой изучал бумагу, по слогам разбирая слова.

Тебе сколько лет, неожиданно спросил парень. Мальчик смотрел на его лицо с красным шрамом; видно было, что он еще не бреется. На подбородке у него курчавился пушок; такой же пушок темнел там, где позже должны будут вырасти бакенбарды.

Четырнадцать, прошептал мальчик и зажмурился.

Молодой вдруг выпрямился.

Ха!..

Пожилой покопался в корзине, вытащил кусок запеченного мяса, откусил, пожевал, потом швырнул его за спину. Посмотрев на женщину, мотнул головой в сторону будки.

Туда ступайте!

Женщина было заколебалась, потом нахмурилась и бросила взгляд на сына.

Его не трожьте!

Сколько ему, еще раз спросил молодой.

Женщина пристально посмотрела на него.

Тебе самому-то сколько?

Будка стояла в середине поляны. Мальчик остался сидеть на плоском горячем камне. Те втроем ушли. Первой — женщина, потом — парень, последним — старик. Однако старик вышел раньше. Мальчик, лежа, как ящерица, на камне, ловил звуки, доносящиеся из будки. Там хрипели, скулили, тяжело дышали — можно было подумать, что в будке убивают кого-то. Пожилой вернулся, застегивая штаны. Со лба его градом лил пот, он изумленно качал головой и усмехался мальчику. Ух ты, мать твою...

Потом, в распахнутой рубашке, вышел и молодой; за ним показалась женщина.

Грудь у парня была голой и белой; белой, как известь. Он даже не вспотел. Женщина прятала в пакет бумаги.

Можно идти, спросила она.

Парень кивнул, глядя на мальчика. Тот встал перед ним.

Ты девчонку тут знаешь? Белобрысую, с косой?

Руку вынь из кармана, сказал, ухмыляясь, парень.

За поляной тропа неожиданно пошла вниз; земля оживала на глазах. Все больше вокруг становилось зелени; меж камнями, вырываясь из-под земли, журчали, играя друг с другом в прятки, шустрые ручейки. Потом, за плавным поворотом, перед ними открылось сверкающее плоскогорье — сплошная громадная стройка. С запада небосвод заволакивали тучи. Женщина наконец отпустила руку мальчика; они смотрели на небо. Несколько минут они стояли молча; мальчик видел, что у матери катятся по щекам слезы. Потом тропа ненадолго стала опять такой узкой, что идти по ней можно было лишь чуть ли не боком. Скальная стена, если дотронуться до нее, обжигала; коварные выступы оставляли ссадины на спине и руках мальчика. Женщина, хотя была крупнее и толще, да еще несла корзину, продвигалась вперед проворнее.

Внизу, там, где начинался бескрайний барачный город, они встретили группу людей в рабочей одежде. Их было примерно полдюжины, и они говорили о каком-то несчастном случае. Один, заметив женщину, отделился от остальных, влез на кучу песка и, помахав рукой, крикнул:

В двести двадцатый он перебрался. Ступайте налево, прямо, потом налево и опять прямо.

Но сведения оказались неверными: выяснилось, им нужен номер двести десятый. Барак был небольшой, человек на двадцать от силы. Привилегированный барак, для ветеранов. Мужчина лежал на нижних нарах на соломенном тюфяке и спал. Во сне он громко храпел; иногда у него вздрагивали плечи. Он тоже был в рабочей блузе. В глубине кто-то пиликал на губной гармошке; еще кто-то молился. На дальних нарах играли в карты. Женщина села на край тюфяка, поставила корзину у левой ноги. Мальчик остался стоять, всматриваясь в полутьму; он поискал глазами того, кто играл на гармошке, но не нашел. Зато силуэт того, кто молился, ему показался чем-то знакомым.

Мужчина внезапно проснулся и сел. Глаза его со сна были налиты кровью. Он непонимающе моргал, озираясь. Волосы его были всклокочены, подбородок щетинист и грязен.

Привет, сказала женщина, кладя руку ему на колено.

Я тебя уже ждал, ответил мужчина; потом посмотрел на мальчика.

Как вырос-то! Сколько ему?

Четырнадцать, ответил мальчик.

Женщина засмеялась и погладила мужчину по щеке.

Четырнадцать, повторила она и опять засмеялась.

Мужчина тоже улыбнулся, потом наклонился к жене, понюхал ее рот, шею и нахмурился.

Двое их было?

Она кивнула.

Мог бы и встретить.

Мужчина пожал плечами.

Конечно мог бы... Есть хочется.

Женщина потянулась за корзиной. Они поели. Мальчик тоже ел; ему вдруг захотелось бросить мясо за спину. Он посмотрел на мужчину; лицо у того лоснилось от жира.

Ты девчонку тут не знаешь? Белобрысая такая, с косой.

Мужчина помотал головой, потом обернулся к женщине.

Он что, всегда такой лысый?

Всегда, ответила женщина и закончила еду, вытирая рот. Губная гармошка смолкла, игроки тоже убрали карты, лишь монотонное бормотание молящегося все еще металось в сумрачном пространстве между дощатыми стенами. Из полутьмы появился

низенький лысый человек, кивнул им. На шее у него болталась на толстом шнурке губная гармошка. Опустив плечи, он встал в проеме открытой двери, глядя, как густеют сумерки. Тени вытягивались, росли, неуклонные, как привычка. Все кругом стихло, словно страшась близкой ночи; но это было всего лишь ползучее усталое безразличие, которое охватило не только людей, но и растения: несколько тощих, плохо подстриженных акаций, цветы на затоптанных клумбах между рядами бараков, пучки травы и желтого папоротника под стенами будок; медленным, сонным и равнодушным стал и воздух внутри. Мир был таков, словно кто-то его потерял. Молиться тоже перестали.

Посередине барака стоял маленький стол, женщина отнесла туда корзину, выложила остатки съестного, кивнула кому-то, затем вернулась с набитой чем-то авоськой. Мужчина смотрел на мальчика; потом перевел взгляд на женщину и на авоську. Женщина выложила содержимое на тюфяк. Женская одежда, нижнее белье, теплые вещи, полотенце, брусок желтого стирального мыла. Какой-то порошок в мешочке. Лекарства. Несколько пожелтевших фотографий, документы в полиэтиленовом пакете.

И все?

Женщина пожала плечами.

Все. Рабочую одежду и так дадут.

В женском поселке какая-то эпидемия на прошлой неделе случилась, сказал мужчина.

Хоронили там, прошептал кто-то из темноты. Мальчик знал: это тот, кто молился. И знал уже, кто этот человек. Мужик в шляпе; только сейчас без шляпы.

Женщина не ответила.

Мужчина смотрел на мальчика.

Он уже знает?

Знает, ответила женщина. Она прижала мальчика к себе. От нее уютно пахло палинкой.

До утра можешь с нами остаться, шепнула она.

Человек в двери повернулся и опять стал играть на губной гармошке. Женщина поцеловала мальчика в губы. Лишь они двое слышали, что она шепчет.

Маленький мой, шептала она.

Милый мой мальчик.

Витембергские камнеломы

Каждый раз, когда расцветает миндаль, я чувствую какую-то невыразимую грусть; наверное, так чувствует себя человек, которого в жизни еще никто не назвал ни разу по имени... Но в тот день ранней весны, когда в городе распустило цветы самое первое миндальное деревце, случилось еще кое-что, чего до сих пор никогда не случалось. Деревце, упиваясь солнечными лучами, стояло в теплом треугольном закутке между церковью и сине-желтой стеной корчмы, и в тот момент, когда лопнул первый бутон и на свет божий вырвались первые лепестки, — витембергские камнеломы остановили работу.

Витембергские камнеломы никогда еще не останавливали работу. И огромная, сияющая гора, что возвышалась над городом, стала теперь похожа на смерть.

Город замер. Он настолько привык к ритмичному стуку кирок, грохоту сыплющихся камней, никогда не стихающему гулу, бесконечным взрывам, крикам рабочих, тучам пыли, взмывающим в воздух, что на эту нежданную тишину мог ответить тоже лишь тишиной. И тишина эта была такой, что все вдруг услышали всё. Мы слышали, как сосед распахивает легкие ставни, потягивается, смотрит жмурясь на солнце, чихает и со вздохом прислушивается, как потрескивают в плечах у него суставы. Мы слышали, как в верхнем конце улицы кто-то отхаркивается, смачно плюет на горбатые спины булыжников и растирает блестящий плевок подкованным носком башмака. Где-то шипя жарилась на противне дичь. В молочных зубах малыша хрустела

подвядшая плоть осеннего яблока. Мы слышали, как работают зубчатые колеса в механизме церковных курантов и звук этот смешивается с воркованием горлицы. Слышали, как скрипит тяжело нагруженная телега на рынке, грохоча по воняющей рыбой, посверкивающей чешуйками мостовой. Слышали, как отчаянно вопит какой-то мужчина. Поблизости кто-то храпел. О, Камнелом, о, Камнелом, рыдала, ломая руки, девушка. На соседней улице гремела посуда, брызгала, вырываясь из крана, свежая вода. И еще мы слышали разговоры. Словно мячики из каучука, мягко ударялись друг о друга слова — все слова, высказанные, прошептанные, выкрикнутые, и это было так странно и страшно, что город в конце концов затаился, замер, настороженно прислушиваясь, и в конце концов мы слышали лишь, как с шелковым, едва слышным шелестом разворачивается лепесток за лепестком: другим миндальным деревьям тоже приспичило цвести, и скоро миндаль распускался уже по всему городу.

Отец мой болел третий год.

Но тут он вдруг сел в постели, худыми руками сбросил с себя плоский холмик перины и крикнул так громко, что фарфоровый камнелом в стеклянной горке уронил свой фарфоровый молот на фарфоровый же валун.

Что там такое?

Я посмотрел на отца и испугался. Редкие его волосы были взъерошены и торчали в разные стороны, несколько прядей прилипло к потному лбу. Щеки покрывала многодневная щетина. Он, как гусак, тянул ко мне тонкую, жилистую шею.

Что-то с камнеломами, тихо прошептал я — и услышал, как очень многие в тот момент прошептали то же самое.

Ишь ты, сказал отец и засмеялся, показав желтые, источенные годами зубы и бледные, бескровные десны. В последний раз он смеялся так два года назад, когда к нам забрел незнакомец, который искал семью Камнеломов. У нас иногда так бывает: появляются незнакомые люди, ищут какого-то человека по фамилии Камнелом, потом уходят. Вроде этого парня. Отец в тот раз тоже сел в постели, но не говорил ничего, только ухмылялся упорно да вращал глазами. От этого парень, высокий, бледный и белокурый, но с неожиданно низким голосом, совсем растерялся, задрожал и хотел было убежать.

Я взял его за руку и успокоил.

В этом городе всех зовут Камнеломами, сказал я.

Потом подвел к окну и показал ему гору. На склоне ее темнели бараки витембергских камнеломов, грязно-коричневое здание мастерской и огромные склады, обитые жестью. На извилистой грунтовой дороге, глубоко врезавшейся в склон горы над лесом, застряла повозка, груженная камнем. Лошади отчаянно ржали, вставая на дыбы; возчик ругался, хватаясь за голову. К повозке бежали, крича, рабочие в голубых комбинезонах. Как раз был аврал; работала первая смена. На горе готовились взрывать. Через несколько секунд взвыли сирены. Потом прогремел взрыв. Спустя несколько секунд — еще один. И, когда ветер отнес серно-желтое облако в сторону, взрывы повторялись и повторялись.

Видите, спросил я парня, поглаживая его по плечу.

Видите, да?

Нет. Не вижу, выкрикнул он хрипло, сбросил с себя мою руку и убежал, хлопнув дверью. С тех пор я ни разу его не видел. Кажется, чем-то мы сильно его разозлили. Или он испугался, не знаю. Отец тихо смеялся в своей постели, перина вздрагивала над его худым, ссохшимся телом.

Вы расскажете мне, спросил я.

Он мотал головой, дескать, нет, этого он тоже мне не расскажет, а сам все смеялся, смеялся. Было это два года назад; с тех пор отец думает лишь о своей болезни. Я удивлялся, как можно все это так долго выдерживать. Смотреть на паутину под потолком, на запорошенные пылью углы, спать, есть, испражняться и временами, обычно ближе к рассвету, вздыхая, выпускать газы.

Однажды он попросил взять его на руки и вынести к дороге, что вела на гору. Мы долго стояли у тополевой аллеи, где трепетала под ветром серебристая листва, и

слушали взрывы. В тот день взрывали особенно много; отец словно заранее это почувствовал. Ностальгия его одолела? Вполне возможно. Худое тело его дрожало от волнения, слюна стекала мне на рукав длинной, белой, прозрачной нитью. Черная земля под нами тряслась. Отец смущенно хихикал, словно̀ ребенок, над которым смеются взрослые. Так, на руках, я и отнес его домой; а когда положил на постель, он уже спал. Я подумал, что он, наверное, собирается подвести черту и хочет сделать это точно и красиво. Не стану скрывать, такое безграничное достоинство вызывало у меня восхищение.

Сейчас он снова сел и несколько раз подряд выпустил газы, ухмыляясь среди буйно распускающихся лепестков. Потом вдруг посерьезнел.

Тебе очень грустно?

Я лишь кивнул в ответ, с трудом удержавшись, чтобы не расплакаться. Чтобы скрыть выступившие на глазах слезы, я подошел к распахнутому окну. Где-то я читал, что грустить — бесчестно. Что по-настоящему надо бы запретить грусть, потому что она — расточительство души, низменное, пустое занятие; грустят — злые люди. Не знаю. Я, кажется, в жизни своей чаще был грустным, чем веселым. И если, случалось, у меня не было никаких причин печалиться или испытывать боль, или, скажем, я ощущал какую-нибудь маленькую, будничную радость, то и тогда, за каждой веселой минутой, в моем сознании все же стояла гнетущая тень какой-то неопределенной беды. Я очень страдал от этого, хотя в то же время страдание успокаивало и примиряло с жизнью. Как-то я попытался заговорить об этом с отцом, но он сделал вид, будто не понимает меня. Словно я объяснялся на неведомом языке. И вдруг — вот он, этот долгожданный момент... Я с досадой подумал, что сейчас, когда что-то наконец происходит, город, как назло, слышит каждое наше слово.

Именно сейчас.

Придется-таки тебе рассказать сыну, крикнул Камнелом от церкви.

Это он разнес весть о первых распустившихся цветках миндаля: деревце росло как раз перед его окном. Человек этот поведал мне однажды историю... или, может быть, не историю даже, а случай, за которым стоял образ. Один-единственный образ, не более. У нас в городе в окнах стоят — из-за неустойчивой, капризной погоды — двойные рамы. И вот в тот день одна горлица, из тех, что живут на церкви, налетела на окно Камнелома. За ней метнулась тень: видно, ее преследовал коршун. Туловище горлицы, пробив оба стекла, упало в комнате Камнелома и заметалось по полу, среди поблескивающих, кровавых осколков. Голова же птицы застряла между рамами и теперь как будто смотрела оттуда на собственное туловище. Постепенно крылья птицы замерли — и тогда же медленно закрылись глаза... Вот что мне рассказал Камнелом, который только что обращался к отцу.

Камнелом и отец были старыми друзьями.

Вот он снова кричит.

Ты что, не слышишь? Расскажи ему, Камнелом!

И тут закричал весь город. Люди вошли в раж. Улицы звенели от крика. Молчала только гора. Витембергские камнеломы не работали нынче. Можно было подумать, они прислушиваются к городу, к проклятому, ненавистному ору, который несется оттуда.

Расскажи ему!

Расскажи ему!

Лес, долина, поросшее корявыми деревьями плоскогорье — все звенело гулким эхом.

Отца это здорово разозлило. Покраснев от ярости, он орал и колотил кулаком по спинке кровати.

Цыц, бездельники! Цыц, засранцы!

Цыц у меня!

С разных сторон доносились приглушенные смешки; однако город вдруг снова затих. По небу плыла заблудившаяся пухлая туча с золотистой каймой, темная в середине. Вот она закрыла солнце; огромная тень скользнула по городу. Словно предупреждение об опасности, подумал я. Отец, сгорбившись, мучительно кашлял. Под ним

скрипели пружины. В такие минуты из лопнувшего матраца сыплется на пол тонкая древесная пыль.

Расскажите, снова попросил я, умоляюще наклонившись к нему, и меня не интересовало уже, слышат ли меня люди, не смеются ли они надо мной.

Отец протянул ко мне худые, костлявые руки.

Отнеси меня к окну.

Я взял его в охапку и поднял — в нем уже не было и пятидесяти килограммов. Мы подошли к распахнутому окну, и как раз в этот миг перед окном лопнула и выбросила лепестки набухшая почка миндаля. Ветка была совсем близко; отец потянулся через коричневый, свежепокрашенный подоконник и внезапным движением сорвал ее. Пальцы его ощупывали, мяли светлые, шелковистые лепестки. Вдруг рука его сжалась в кулак и задрожала.

Скажи, ты уже... делал?

И показал, что он имеет в виду. Худая рука его с зажатыми в кулаке свежими, но уже измятыми лепестками ходила туда-сюда на фоне синего, далекого неба. Мне не хотелось, чтобы меня слышали, и я только кивнул: да. Но напрасно. Отец кричал как оглашенный.

Ну, и сколько раз?

Он почти вплотную приблизил ко мне лицо; я вдыхал воздух, который он выдыхал.

Три... не четыре, прошептал я. Последний раз не вышло.

Это было здесь, в городе?

Да, здесь.

С одной и той же женщиной?

С одной и той же девушкой.

А когда не вышло, тебе было грустно, да?

Грустно, ответил я.

Как сейчас?

Я не ответил.

Мать ты помнишь еще, а?

Помню.

Помнишь, однажды мы чуть было не поднялись на гору? Не знаю, что такое было в тот день с твоей матерью. Ранним утром она вдруг сказала... Стояла осень, слякотная, с холодным туманом; с обожженных инеем листьев капала тягучая влага. В общем, она сказала: давай поднимемся на гору. Не сказала — потребовала. С ней была просто истерика. И даже гора словно как-то странно гудела издали. Туман мало-помалу рассеивался; тяжелые испарения превращались в невесомую дымку. На миндальных деревьях, словно жемчужины, сверкали крупные капли. Я пел тебе, помнишь?

Помню.

И мы пошли. В плетеной корзине лежали толстые, с мясными прожилками ломти сала, вареный язык с острой приправой, ветчина, брынза с зеленью, сыр, золотистые булочки, красное вино. Порезанный кружочками лук, тугие, готовые лопнуть помидоры. Виноград. Да, виноград тоже был. Светлый и темный. А между огромными, полукилограммовыми гроздьями — горький миндаль. Помнишь?

Помню.

Мы миновали заставу, вышли из города. Свет солнца был таким мягким и шелковистым!.. Лес словно ждал нас. Мать убежала вперед, и хотя звонкий смех ее на извилистой, окаймленной лиловатой ежевикой тропинке слышался вроде бы совсем близко, мы догнали ее только в овраге, где шумел поток. Она стояла на блестящих, омытых течением валунах, глядя на стремительную, в клочьях пены воду, и качала головой. С юбки ее падали капли.

Тело мужчины застряло между камнями; одна рука его торчала из воды, словно прося о помощи. Должно быть, поток загнал его в эту щель несколько дней назад. На нем был синий комбинезон витембергских камнеломов. Лицо было разбито до неузнаваемости. Не то чтобы у нас был шанс его опознать... но все-таки. Мертвое лицо легче увидеть, чем представить.

Ты тогда спросил: значит, вот что такое мертвый? Помнишь?

Помню.

Потом мы похоронили его. Уже смеркалось, когда нам удалось найти поблизости поляну с более или менее мягкой, влажной почвой и вырыть могилу. Мать плакала. А ты спрашивал: значит, вот что такое похороны? Ты бегал вокруг ямы и кричал. И все хотел спрыгнуть туда. Помнишь?

Помню.

Потом ты попросил, чтобы тебе отдали комбинезон. Камнелома мы бросили в могилу голым. Помнишь?

Помню.

Где тот комбинезон?

В комоде... В нижнем ящике.

Надень его и иди.

Я смотрел на него, не веря, что он в самом деле этого хочет. Но отец лишь улыбался и кивал, и казалось, он рад, что ему удалось сказать такую длинную речь.

Давай, давай. Делай, что говорят. Все будет в порядке.

Комбинезон был как раз на меня — словно по мерке сшит. Девятый размер, блекло-синий цвет. Я встал перед отцом, он заставил меня повернуться несколько раз, потом довольно похлопал по спине.

Хорошо. Все как надо, парень. А теперь поцелуй меня и иди.

Я поцеловал его и отправился.

Я думал о том, что сказал напоследок той девушке. Фамилия у нее была — Камнелом; у нее были длинные черные волосы, выпуклый мягкий живот, подрагивающие, округлые ляжки. Я сказал ей: иногда мне кажется, будто я знаю все. Конечно, я хвастался. Она посмеялась надо мной и была, наверное, права. Да, права, хоть я и твердил свое, упрямо, будто ребенок. Я сказал ей: поверь, бывают минуты, когда человек знает все. Но об этом — что он знает все — он в ту минуту не думает. Он поймет это позже. Но мгновение, когда он знал все, он запомнит. Это будет и прекрасно, и грустно. Потому что запомнит он только минуту, а не само знание, в котором по-настоящему и нужды-то нет, но все равно люди ради него готовы даже на смерть.

И что же это была за минута, спросила вдруг девушка. И, спрашивая, не улыбнулась, и что-то меж нами как будто хрустнуло, и она быстро схватила сорочку и прикрылась ею.

Я не ответил. Я смотрел на ее губы. И на пушок у нее на шее. Губы ее дрожали. Нет, не от страха, я в этом уверен. Просто она не хотела сдаваться так сразу. Наверное, думала, что она не может просто быть при мне. Что ее жизнь — это что-то совсем другое, ее собственное. Больше часа мы спорили с ней. В конце концов я побил ее. Я ударил ее несколько раз, удивляясь, что не получаю сдачи. Она лишь защищалась, молча, со стиснутыми зубами. И когда она совсем ослабела и я мог бы сделать то, что хотел, не встречая сопротивления, — я не смог уже этого сделать. И заплакал. И она заплакала тоже, хоть я и не понимал почему...

В дверях я оглянулся на отца. Он сидел, держась обеими руками за голову, и губы его шевелились, хотя он не произносил ни звука. Думаю, в этот момент он прощался со мной навсегда. Дверь я оставил открытой.

Я вышел за ворота. Кругом трудились, распускаясь, цветы миндаля. Гора молчала, а город говорил. Он говорил обо мне.

А сейчас он что делает?

Вышел за ворота. Шагает. Медленно, осторожно.

А комбинезон-то — будто сшит на него. Он в нем просто красавец!

Но какой у него жестокий отец, это ж с ума сойти!

Знаешь, Камнелом, любой жесток, когда умирает!

А что, у парня в самом деле была девушка? Та черненькая? По фамилии Камнелом?

А мне кажется, врет он все.

Может, один раз-то всего и было.

Может, и все четыре — только не получилось ни разу.

Вот он, здесь уже, мимо проходит. Кажется, он боится. Прямо дрожит, бедолага. Наверно, лучше все же ему вернуться.

Да пускай идет.

Все равно ведь не поднимется!

По-моему, он просто трус. Еще один трус собрался подняться на гору!

Вот он, вот он! Посмотрел на наши корзины. Я ему протянула яблоко. А он не взял.

К заставе идет. Смотри, улыбнулся.

Остановился, господи боже! Блюет...

Все, ему уже лучше. Пошел дальше.

Снова остановился, разглядывает миндальное дерево. Будто лепестки считает. И улыбается...

Эй, смотрите, он выходит из города.

Я его еще вижу! Ага, вот сейчас, сейчас войдет в лес...

Я слышал еще, как чей-то чужой голос спросил вдруг, где ему найти Камнелома? Стало тихо. Потом город засмеялся. Он смеялся самозабвенно... Смех становился все громче и громче. Вот он взлетел на безмолвную гору, и тогда, как по команде, загремели, дробя камень, словно и не думали отдыхать, словно и не смолкали ни на минуту, кирки и молоты витембергских камнеломов.

■

АНТУН ШОЛЯН

Рассказы

Перевод с хорватского Т.ПОПОВОЙ

Семейный ужин

Теперь я уже не только не умею постоять за себя, но даже сбежать далеко не могу. Я вижу в этом какой-то опасный упадок жизненных сил, связанный, вероятно, с возрастом или условиями жизни. И на сей раз мне, как обычно, удалось сбежать лишь в уборную. Не подняв с унитаза крышку и не спустив брюк, я воссе-даю на престоле своего крошечного королевства. Знаю, что этим ничего нельзя решить. Просто так уж у меня повелось — я привык спасаться в уборной от отчая-ния, замешательства и собственного бессилия. Обычно я выхожу из нее с облегче-нием, духовным, как другие облегчаются физически.

Но здесь, в этом туалете, облегчения я не почувствовал. Прежде всего, закрыв за собой дверь, я не мог найти выключатель и вынужден был звать на помощь хозяина, от которого, собственно, и сбежал.

— Да ты посмотри, Лела, — загрохотал хозяин дома так, что эхо разнеслось по всей квартире, — он даже не знает, как зажечь свет!

Заполнив своими исполинскими телесами проем двери моего убежища, он нажал одну из многочисленных кнопок на распределительном щите, который сго-дился бы для небольшого космического корабля; спустя несколько секунд неви-димые мерцающие трубочки озарили рассеянным светом эту санитарно-гигиени-ческую лабораторию.

— Прогресс, старина, прогресс! — загоготал он мне прямо в ухо. — Техника для народа! Ты, видать, отстал, не идешь в ногу со временем. Обрати внимание: сплошь итальянское оборудование — до последнего крючочка!

Керамические плитки на полу, облицовка стен и ванны, даже бачок для слива воды — все словно сыпью пестрело маленькими красными цветочками по белому фону, как будто ванная комната заразилась какой-то неведомой формы оспой. Холодное неоновое освещение дрожало, от цветочков рябило в глазах, и мне при-шлось значительно раньше, чем я намеревался, вернуться в комнату, где меня под-жидал хозяин, огромный и неотвратимый, как судьба.

Он восседал в новом бидермайерском кресле, высокий, массивный, как утес, между барочным письменным столом и ампирным комодом, прямо под хрусталь-ной люстрой. Все эти предметы, да и он сам были слишком громоздки для стан-дартной комнаты в типовом новом доме. И все было как с иголочки новым: и дом, и мебель, и громадный телевизор, и неимоверно толстые бухарские ковры на полу, и золоченые рамы развешенных по стенам картин. И только его королевская власть соединяла воедино всю эту разномастную пестроту.

В своем королевстве он явно ощущал себя куда вольготнее, чем я — в своем. В одной руке, будто яблоко, он держал хрустальный стаканчик с виски, а в дру-гой, подобно жезлу, — сигару марки «Корона», которую окружали ореолы голу-бого дыма, словно так это было испокон веков.

Да мне и самому казалось, что испокон веков все было именно так. Робко, даже раболепно присел я на краешек стула. Величественным жестом он подтолк-нул в мою сторону серебряный портсигар и хрустальную пепельницу, и они за-

---

© Antun Šoljan, 1987
© Т.Попова. Перевод, 1997

скользили по полированной глади стола. Но прежде чем подтолкнуть, он полюбовался ими, как бы желая подчеркнуть их несомненную ценность.

— Не знаю, что ты думаешь по этому поводу, — сказал он тоном важного господина, — но если человек хочет иметь что-то настоящее, что-то стоящее, тогда, братец ты мой, нет ничего верней серебра и хрусталя. Разве не так, Лела? — крикнул он в сторону кухни. — Разве не так?

Ответа из кухни не последовало. Прошло уже более часа, а мы ждали, пока его жена, Лела, с которой мы вместе учились на одном факультете, готовила, как он сказал, «скромный домашний ужин для старого товарища». Он безжалостно истязал меня, Лела из кухни не появлялась, и мне не оставалось ничего другого, как время от времени ускользать в уборную, ссылаясь на мочевой пузырь.

Он заставлял меня угадывать сорт виски, возраст его комода, цену, которую он заплатил за висящую на стене картину художника-примитивиста. Я должен был выносить его объятия, когда, подведя меня к окну, он показывал свою сверкающую новизной «тачку» среди других «тачек», припаркованных во дворе.

Я не мог просто не слушать его. Устремленный на меня взгляд, вопросительный тон хозяина требовали постоянного восхищения, одобрения, понимания, что ли? Он буквально наседал на меня. Особенно смешно было, когда, схватив своими толстыми пальцами какую-нибудь мелкую вещичку — серебряные щипчики для льда или зажигалку Dunhill, он совал мне их прямо под нос.

И в то же время нельзя сказать, чтобы человек этот был тупым, заевшимся выскочкой. Он, как и прежде, считался кем-то значительным, этакой гранитной глыбой, на которой покоятся основы общества. О нем всё еще писали в газетах, как тогда, когда он прославился как первый рабочий парень с завода паровых котлов, окончивший юридический факультет. И руки у него были, как и тогда, — большие, узловатые рабочие руки. Правда, теперь они стали белее и приобрели мягкость, так что кто-нибудь мог бы к ним и приложиться. Да и весь он излучал царственное величие.

И надо же случиться, что после многих лет, когда мне и в голову бы не пришло, что мы можем встретиться, я столкнулся с ним на набережной в Сплите. Можно подумать, что я специально летел из Загреба в Сплит, чтобы его увидеть! Или что он, подобно какой-то неистребимой амебе, размножился, запрудив все окрестные города, и повсюду поджидал меня, как судьба! Временами мне казалось, что он — плод моего собственного партеногенеза[1]. Ведь мы сами постепенно засоряем землю своим прошлым.

Во всяком случае, как когда-то, встреча с ним сама по себе была malum omen, предвестием несчастья. Я понимал, что надо срочно смываться. Но он уже на всю набережную оповестил, что встретил старого товарища; пихая меня локтями, похлопывая по спине, он буквально толкал меня к своему гостеприимному дому. Люди недоуменно оглядывались, не понимая, что́ перед ними — сердечная встреча или задержание. Пока я ломал голову, как бы от него отделаться, он уже окончательно меня заарканил и, так сказать, тепленьким затащил на этот ужин. Скромный, домашний.

Я, как обычно, сдался, отступил перед ним, безропотно подчинился тому, что мне было уготовано. А может, сбежать было нельзя: с некоторыми людьми нам предназначено не расставаться всю жизнь, как бы редко мы ни встречались. Это проблема поколений. Может, вообще нельзя сбежать дальше спасительного сортира. Известно, что у человека в некоторых ситуациях сами по себе штаны спадают, а побежишь, будут только мешать и путаться между ногами.

Мы действительно с ним редко встречались, но всегда в какие-то переломные моменты. И переламывались эти моменты всегда на моей спине, а переламывающей силой всегда выступал он. Он всегда ходил в одном и том же мятом пид-

---

[1] Партеногенез — форма полового размножения путем развития яйцеклетки без оплодотворения. (*Здесь и далее — прим. перев.*).

жаке, в рубашке с расстегнутым воротом и вечно с разных возвышений гремел о чем-то в микрофон, а я в тех же самых залах заседаний, кинозалах и аудиториях сидел где-нибудь в уголке, затерявшийся среди масс, и с трепетом ожидал, когда гром его риторики прогремит непосредственно надо мной.

И гром обязательно гремел прямо над моей головой. Я помню, как еще в гимназии, когда мы были мало знакомы, он на каком-то собрании обрушился на меня с такими филиппиками, что я в момент вылетел из школы. Забыл уже, за какие грехи вылетел; впрочем, наверняка за то, что теперь грехами не считается! Грехов нет, а грешники остались. Похоже, уже тогда, авансом на все последующие времена, он собственнолично сочинил мою мелкобуржуазную биографию, которая меня, нет, которую я буду сопровождать всю свою жизнь, и, пожалуй, сейчас я взялся за его жизнеописание только для того, чтобы восстановить справедливость.

Но ему мало было вытолкнуть меня в жизнь с соответствующей характеристикой, он не отставал от меня и потом. На строительстве электростанции, где я вкалывал, чтобы заработать себе право продолжить учебу, он в один прекрасный день появился в кожаном пальто и сразу же назвал меня очковтирателем, прогульщиком. Действительно, я однажды прогулял (в эпоху созидания и обновления меня засекли в кукурузе с одной девушкой в разгар рабочего дня), но так там прогуливали все; однако один я, лично, сполна оплатил его остроумие оратора: «Не потерпим донжуанов на строительстве плотины!»

На юридический мы поступили одновременно. Я не замечал, чтобы он особенно усердствовал в учении, но его фотографии часто помещались в газетах, и таким образом мое любопытство в отношении его персоны полностью удовлетворялось.

Само собой разумеется, как только проводилось какое-то бурное собрание, на котором кого-нибудь прорабатывали и изгоняли или хотя бы просто велись дискуссии на всякие острые темы, когда надо было определиться, занять принципиальную позицию, он тут же возникал «как мимолетное виденье»[1] и уже с порога, не дойдя до стола, палил по мне, точно все время, пока мы не виделись, только к этому и готовился. Я был и буржуем, и прозападным элементом, и политиканом, и критиканом. Он не отрицал лишь моих профессиональных способностей, но подчеркивал, что я — «специалист для мелкобуржуазных элементов» и к тому же страдаю «мелкособственническим стяжательством». Естественно, и я, да и он, наверное, понимали, что все это пустые слова: у меня в кармане не было ни гроша, а ему вообще было наплевать, есть у меня он или нет. Но кто тогда думал, что от слова зависит чья-то судьба!

И так постепенно, хотя я уже стал, так сказать, вариться в собственном соку, пар, вечно клубящийся над его котелком, в котором он заваривал кашу, видимо, только для меня, окутал нас обоих, объединил и даже сблизил. Для меня любое собрание теряло смысл, если он не присутствовал на нем. На совещаниях мы сердечно махали друг другу: он — из президиума, я — из зала. Казалось, и ему не терпелось меня встретить как хорошо знакомого и очень удобного врага. Мы привыкли друг к другу, а иногда могли даже и погулять вместе, и подискутировать об «исторической необходимости» или «объективном взгляде на действительность». Мы только что не породнились.

Особенно мы сблизились, когда он начал ухаживать за Лелой, одной из пяти девушек на нашем курсе (юридический, несмотря на равноправие полов, оставался весьма однородным), за девушкой истинно буржуазного происхождения и буржуазных наклонностей — мы, остальные, буржуазные замашки проявляли только на публичных сборищах, — за девушкой, на которую и я (впрочем, как и большинство на нашем курсе) положил глаз и из-за ее признанной всеми красоты, а отчасти и из-за оставшихся крох от ее буржуазного прошлого (дом на Новаковой улице, богатая тетка в Америке и что-то там еще).

---

[1] Так у автора.

Я говорю — «положил глаз», но мой глаз не обладал разящей силой, а характер у меня был переменчивый. Я ухаживал за многими девицами, а с Лелой постоянно спорил. Надо признаться, помимо всего прочего она была не глупа. Эмансипированная. Интеллектуалка. Мечтала о дипломатической карьере, специализировалась по международному праву. Но уже тогда прекрасно понимала, что буржуазное происхождение не даст ей продвинуться. «За иностранца выйти замуж мне не удастся, найти его непросто, — объясняла Лела свой внезапный интерес к тому, кто когда-то занимался паровыми котлами, — а без поддержки такого человека я ничего не добьюсь, это ясно как день. Да, впрочем, он не так уже и плох. Не лишен амбиций, хочет чего-то достичь».

До конца она мне все так и не успела объяснить — студенческие годы пролетели как миг. И эта пара, каждый из которой мечтал стать в жизни чем-то, исчезла из моего поля зрения. Прошло десять — пятнадцать лет. И сейчас на то, что происходило вокруг них, и на них обоих я смотрел уже совсем другими глазами — не такими безгрешными и не такими сентиментальными. Его фотографии, как и прежде, появлялись в газетах. Газеты меняли названия, фотографии оставались те же. Он и дальше продолжал меня преследовать, теперь чаще косвенно. Вероятно, сам не понимал, что преследует: изредка вспоминая обо мне, он уже был уверен, что я изменился, поумнел.

Для него, как и прежде, это были только слова, и поэтому, встретив меня после стольких лет в другом городе, уже в другом положении, он, памятуя наше прежнее братство во вражде, бросился ко мне шумно и сердечно, как к старому товарищу, затащил к себе в дом («Ты только посмотри, Лела, кого я привел!») и начал лапать своими ручищами, поить виски и предлагать сигары. Лела поздоровалась с куда меньшим жаром и сразу же удалилась в кухню, откуда и не появлялась до сих пор.

— Ну, рассказывай — где ты, что ты? — он никак не мог оставить в покое мои плечи. — Частная практика, говоришь? Значит, зашибаешь деньгу?

— Только теоретически, — ответил я.

— Эх, Загреб, Загреб! — вздохнул он. — А мы, видишь, так, попросту, провинциально. Я очень рад, что ты не ввязался в эту последнюю бучу, — он посмотрел на меня внимательнее и серьезнее. — Или, может, я что-нибудь пропустил в газетах?

— О таких, как я, в газетах не пишут, — сказал я.

— Нынче о какой только шушере не пишут. Ну, я очень рад! Я знаю, что в душе ты не такой! Но сам понимаешь — всякое бывает! Куда жиды, туда и велосипедисты.

— Велосипедисты?

— Ты что, не помнишь этого анекдота? О еврее, который бежит, потому что услышал, будто хватают жидов и велосипедистов? Не помнишь? А его спрашивают: «Ладно, а почему арестовывают велосипедистов?» — «Вот потому и бегу, — отвечает, — что никто не спрашивает, почему хватают жидов!»

Он загоготал так громко, что картины чуть не попадали со стен. Мне хотелось ему сказать, что при моем характере я всегда как-то соотносил себя с евреями, кем бы в данный момент они ни были, но не смог дождаться, когда он отсмеется.

И то ли от того, что я молчал, или за недостатком других общих и нейтральных тем для разговора, он заговорил о сортах виски и стилях мебели; я уже было начал привыкать к подсчету кубометров земли и древесины, когда он перешел на автомобили.

Не поймешь! Может, он хотел уловить отблеск излучаемого им нового сияния в моих мелкобуржуазных глазах. Может, хотел узнать, что́ такой специалист по мелкобуржуазному благополучию, как я, думает о его процветании. Может, просто хотел покрасоваться перед своим старым знакомым. Все может быть. Но мне казалось, что ему не терпится услышать из моих уст слова одобрения, призна-

ния, похвалы. Ждал похвалы? Как школьник, закончивший школу, добившийся всего в жизни сам. Признания? Будто накопленное им барахло свидетельствовало о наступлении того светлого будущего, к которому мы оба стремились.

И вдруг я осознал, что прежде, когда он нападал на меня, он был уверен, что именно все это представляло для меня единственную ценность, что только отсутствие у меня всего этого — источник моего раздражения, неудовлетворенности, критиканства, «отступничества». В то время как он выступал проповедником самоотречения и жертвенности — а в те годы все мы волей-неволей жертвовали собой и отказывали себе во всем, — ему, должно быть, казалось, что я протестую потому, что у меня нет машины, или что мне не хватает шоколада и апельсинов, или что я хочу владеть чем-то, чего ни у кого нет и быть не может. Что нет у меня терпения дожидаться светлого будущего.

И я понял, что вопросы, которые он задал мне еще на берегу, по дороге к нему домой, имели более глубокую подоплеку, чем просто интерес к жизни знакомого, с которым давно не виделся.

— У тебя в Загребе хорошая квартира? На Драшковичевой, говоришь? Драшковичева — это неплохо, — заключил он. Затем, помолчав: — Машина есть? Бог с ней, это, конечно, никакая не марка, но бегает — и ладно. А налог? Платишь налог? Ясно! В общем, живешь нормально. Так ведь?

Когда я положительно ответил на все его вопросы и даже подтвердил, что живу нормально, он переменил тон на еще более свойский. Вероятно, почувствовал, что подготовил почву для последующего монолога.

— Конечно, как бы ты ни презирал материальную базу, — излагал он свою теорию, указывая мне дорогу в лабиринте улиц, — но нужно идти в ногу со временем. Жизненный уровень нашего народа растет на глазах. И я рад, что ты не плачешься и не прибедняешься. Любим мы жаловаться на бедность. А сам видишь — все не так уж и плохо. Eppure, — ты сам признаешь, — si muove[1]. Главное, чтобы человек был доволен тем, что имеет.

И вот уже целый час он изводит меня своими достижениями в сфере роскошной жизни: показывает мне свой водонепроницаемый Rollex, заставляет жать на кнопки кондиционера. У меня уже потемнело в глазах от мелькания черной этикетки на бутылке с виски, которого мы изрядно налакались. А он явно перебрал лишнего: светлое будущее для него уже наступило. Хотя и с черной этикеткой. Земной рай был совсем рядом — протяни только руку. Паузы, когда он замолкал, чтобы выслушать мое одобрение, становились все реже, все короче, а опись его имущества — все детальнее. Не скажу, что и я был совсем трезвым, но алкоголь усиливал мою подавленность и чувство затаенной обиды. Нет, меня оскорбляло не то, что он вот так, без всяких объяснений перешагнул через все, что между нами когда-то было, словно от того уже ничего не осталось, словно наше братство с годами утратило свой враждебный характер и только укрепилось и упрочилось. С этим бы я еще смирился: я не злопамятный, легко прощаю, могу даже подставить другую щеку, если надо. Но меня вдруг осенило, что он с самого начала обвинял меня в моей якобы жажде иметь то, чем сегодня обладает он. Что уже тогда он сам именно этого хотел: только этого, и ничего больше. Он с самого начала говорил от лица этой вот керамики и кондиционеров; приписывал мне обнаруженную в самом себе болезнь. Но то, что для него означало росток светлого будущего, во мне жило лишь как пережиток прошлого. Именно так он все это себе представлял. На этом и зиждилось наше братство. Только теперь требовалось его подтвердить.

В дверях появилась Лела. По ее виду нельзя было заключить, слышала ли она что-нибудь из нашего разговора. Она вошла опустив глаза и явно избегая встре-

---

[1] А все-таки она вертится (*итал.*) — слова Галилея.

титься со мной взглядом: конечно, это можно было отнести за счет новой манеры ее поведения. Королевским жестом хозяин пригласил меня к столу, не преминув еще раз потрепать по плечу, как и подобает старому другу, — дань прошлым временам.

— Давай-давай, старик, вот и легкий ужин. Знаешь, так, запросто, по-домашнему! Ты, браток, свалился сюда как снег на голову, мог бы и предупредить!

Целая гора тарелок и я уставились друг на друга. Розовые креветки помахивали мне усиками, блаженствуя в теплом соусе. Кусочки молочного поросенка застенчиво выглядывали из зелени («Нет дичинки вкуснее свининки!»). Наконец, лоснящиеся блинчики с пылу с жару приумножали блеск серебряных подсвечников. Мы пили не просто вина, а вина особые, из погреба такого-то и такого-то дядюшки-винодела, специально приготовляемые и поставляемые к этому столу.

Во главе стола восседал он, здоровенный, как кряж, хозяин в своем доме, каждым своим глотком подтверждая его величие и несокрушимость. Это звучит несколько неучтиво, но надо сказать, что он к тому же чавкал, вдохновенно чавкал, потел, говорил с набитым ртом, громко, безостановочно, заглушая все звуки вокруг. Он непрерывно подливал в мой бокал и время от времени, словно кувалдой, дубасил меня по плечу своей ручищей.

— Конечно, старина, мы, наше поколение, не воевали, но тем не менее тоже боролись. Да еще как. Наше время было непростое, сколько разных пережитков! Так что и мы кое-что заслужили... ты согласен... малость заслужили... Конечно, характер у тебя был еще тот, это верно! В общем, плевать ты хотел на коллектив. Но и среди врагов встречаются нормальные люди. И вот видишь... теперь видишь и сам. Мы все заодно, в общем свои, мы все свои люди. А человек должен бороться за свое... ты согласен?.. ради своих...

Может, он хотел сказать «ради своих людей», но вовремя остановился, или «ради своих интересов». Или он имел в виду мои и свои, наши общие идеалы, продемонстрированные сейчас на его столе, переполнившие всю его квартиру.

— Мне одно непонятно, — сказал я, с трудом управляясь с горячим блинчиком, — почему я угодил во враги.

— Ну ладно, не цепляйся к словам. Попутчик, враг, уклонист, колеблющийся интеллигент. Что-то в этом роде! — отмахнулся он от меня, подцепив на вилку целый блинчик и намереваясь весьма неграциозно заглотать его целиком. — Теперь это неважно! Главное — мы все выбились в люди! Лично я, впрочем, всегда считал, что ты не так уж и плох. И мир вокруг меняется, и люди меняются. Все прояснилось, как в майский день, только в штанах потемки!

Он снова загоготал, вспомнив анекдот времен студенчества. Я комкал на тарелке свой блин, словно пеленку. Его жирный блеск уже давно потускнел. И правда, мир меняется и доходит на пути своего великого прогресса и до этих лоснящихся блинчиков. А мой хозяин и в этом изменившемся мире чувствовал себя как дома. Этот мир стал его миром, как его же миром был тот, существовавший раньше. И чем чаще повторял он свое сердечное «запросто, по-домашнему!», тем меньше в этом его мире, в этой его квартире я чувствовал себя как дома. Мы уже сидели, уставясь на грязные тарелки с остатками ужина: чистоту нашего братства уже ничто не могло обновить, уже не было источников, из которых мы могли бы почерпнуть нашу невинность.

Лела за весь ужин не проронила ни слова; мы с ней оба молча, потупившись жевали, молча лепили и катали по столу хлебные шарики, мы были подавлены огромным и могущественным миром, терзавшим нас, прикованных к этому столу, заткнувшим нам рты большими кусками своего несокрушимого величия. Он не позволил нам вставить словечко, да мы и сами не знали, о чем бы могли говорить.

— Да, мы выбились в люди! Так-то, старик! А не больно-то было легко прорываться через все эти препоны. И тем не менее не так уж нам было плохо. Жили — не тужили. Конечно, случались всякие мелкие неприятности, но всё позади. Самое паршивое, старик, — он доверительно нагнулся ко мне, — что нет больше

старого товарищества. Все наши расползлись, как раки, в разные стороны. Я всегда думал, что ты смотаешься за границу. И все же мы — одно поколение.

Мы явно переели и даже отупели от сытости. Да и пили без всякой меры. Моя психологическая потребность в уборной переросла в физическую. Но встать не было никаких сил. Я боялся, что если даже сумею добраться до туалета и запереть дверь, то потом оттуда не выберусь. Тупо, не сознавая как и зачем, я все-таки не хотел сдавать свои позиции ни в этом разговоре, ни в этом мире. Лела спаслась тем, что начала убирать со стола и взялась за мытье посуды, словно ее борьба за свое место давно уже проиграна. За ужином и речи не заходило об эмансипации или дипломатической карьере.

Он же был совершенно пьян, окончательно расслабился и впал в сентиментальность.

— Знаешь, старик, если хорошенько подумать — что такое это наше сегодняшнее время? — философствовал он, болтая в бокале остатки «Мартеля». — Не сравнить с тем, нашим. А ты как думаешь? Тогда была жизнь так жизнь! Ничего не осталось от прежнего подъема, от товарищества, от простоты отношений. Все так осложнилось, а нынешние, что помоложе, — и говорить о них не хочу. Перекрасились в разные цвета. И ничего не понимают. Просто одно удовольствие посидеть вот так, запросто, дома, со старым товарищем... да, да, с товарищем... как вспомню — прямо на душе хорошо делается... мне всегда хотелось вот так затащить тебя к себе, хотелось, чтобы ты понял необходимость моих поступков... мы же с тобой — одно поколение...

Его развозило все больше и больше, и вдруг, отбивая по столу такт кулаком, он запел о том, как просыпаются восток и запад, потом «Полюшко-поле», а потом про Чапаева. И наконец заплакал. Из его глаз катились настоящие, крупные слезы. Он плакал о старом времени.

— Ты тоже пой! — кричал он мне, всхлипывая. — Пой!

Он встал с бокалом в руке, и я подумал — сейчас мы вместе запоем «Интернационал».

— Мне тоже хотелось, — неуверенно стоя на ногах, сказал я, — хотелось как-нибудь с тобой встретиться и высказать тебе все прямо в лицо, хотелось, чтобы ты наконец узнал, что я о тебе думаю. А сейчас уже расхотелось. Да, собственно, давно расхотелось. Только смотрю на тебя и слушаю. Понимаешь? Смотрю и слушаю! И не как судья, а так, со стороны. Все другие чувства ты во мне уже убил. Сейчас мне только и остается, что слушать и смотреть на тебя со стороны.

Но, оказывается, он поднялся вовсе не для того, чтобы петь «Интернационал» или слушать мою исповедь. Просто пришла его очередь пойти в уборную. Туда ведь и короли ходят. Не с этим ли были связаны и его слезы?

Я, покачиваясь, стоял у стола с бокалом в руке. Поднял его, намереваясь выпить за пустой стол, за Лелу. Словно специально выждав за дверью этот момент, бесшумно, незаметно, бочком вошла она. Бросила на меня холодный, нелюбезный взгляд.

— Лучше бы ты не приходил, — сказала, отчетливо произнося слова. — И не приходи. Лучше бы было тебе вообще не приходить

— Прочь, еретик, с порога правоверных!..

— Все прошло и быльем поросло. К чему нынче жалеть о прошлом? Нет никакого смысла. Оба налакались, как свиньи, и разыгрываете друг перед другом какие-то исторические роли. Ты его только напрасно разволновал.

Я тяжело плюхнулся на стул, заполнив этим долгую паузу. Массивный бокал приковал мою руку к столу.

— Как ты все это выносишь, Лела? — сказал я наконец, надеясь услышать от нее спасительный рецепт. — Как можешь?

— Заткнись! — грубо, вызывающе прикрикнула на меня Лела. — Как-никак он мой муж. Будто ты в жизни достиг чего-то лучшего!

— Как ты можешь! — повторял я пьяным голосом.

— Проживешь сто лет вместе — полюбишь и пень. Чего тебе надо? Что ты хотел услышать от меня сегодня за ужином? Заполучить меня в союзники? Во имя старых времен и каких-то иллюзий? Как будто ты много лучше его? В ту же дудочку дудишь, только в тихом закутке! Все вы одинаковые! Он хотя бы настоящий мужик! Всегда ставил перед собой цель и всегда ее добивался. Пёр вверх!

От ее напористости я только беспомощно развел руками. Мои объятия заключили в себя всю комнату и даже нечто большее.

— Добился вот этого? — спросил я. — Этого?

— Как будто ты добился чего-нибудь получше! — сказала Лела. — У него хотя бы хватает порядочности настолько, чтобы заплакать.

Когда он вернулся, она поспешила ему навстречу, принялась утешать, вытирала слезы с мешков под глазами, и оба они что-то сочувственно бормотали друг другу, как будто меня здесь не было.

Я встал и, держась за живот, скрылся в туалете, где заперся на два оборота. Я сидел на унитазе и озирался по сторонам, как затравленный зверь, стараясь найти хоть какой-нибудь более или менее достойный выход. Но туалет был сконструирован на сугубо научной основе, как тюремная камера. Надо все вынести до конца. Надо заставить себя жить с людьми, с которыми приходится жить. Мы — одно поколение, старина! Мы все паримся и варимся в одном котле, сидим в этой квартире с хорошей планировкой. Все мы тут свои люди. И никто ничего не добился. Мы крутимся в одном круге и вот сошлись за ужином, как одна семья. Так на что же ушло столько лет? Неужели прожили их только для того, чтобы сегодня встретиться здесь? Неужели ради этого мы прожили свою жизнь? Жертвовали всем, чтобы достойно сыграть отведенные нам исторические роли? Он — с одной, я — с другой стороны медали?

Мне вдруг стало жаль напрасно растраченных лет, которые я промотал, которых мне сейчас так недоставало и которых сейчас недоставало и ему, хотя бы для того, чтобы все происходящее окончательно показало свое истинное лицо, свой абсурд. Мы были похожи на двух бездарных и тщеславных актеров; ни он не был доволен ролью Короля, ни я — ролью Дурака. Я бы, кажется, выдержал и это, если хотя бы он был счастлив! Я бы смирился с прошлым, но не могу смириться, потому что о прошлом сожалеет и он. Зачем же в таком случае было все, что было? Разве это обещал он нам в своих возвышенных мечтах, ради которых мы столько натерпелись? Разве ради этого он сживал меня со света? И прошлое и будущее воплотилось для него только в барахле, которым он себя окружил, в ненужных блестящих безделушках. Если бы я знал, что они для него так много значат, я бы их сам ему давно купил. Объявил бы для этого сбор средств. А сейчас у него остались только Лела да я. Он имеет все основания быть несчастным: лично я ни для кого никакая не награда. Но, к сожалению, и мне от него никуда не сбежать, разве что в сортир. Все мы одно поколение. И все наши роли безнадежно переплелись, и роль инфантильного, но жестокого Короля, и неудовлетворенного, язвительного Дурака, и эмансипированной женщины-дипломата. Сыгранные на сцене, где все бесконечно запуталось, наши роли сблизились, мы все сбились в кучу, как это, впрочем, всегда происходит, когда равнодушно начинает опускаться занавес.

Итоги опроса

Перед дверью стоял парень в тонкой прорезиненной куртке. Шея его была до подбородка замотана шарфом, кривоватые ноги в потертых джинсах закоченели от холода. Левой рукой он, будто ребенка, прижимал к себе прозрачную целлофановую папку, а в правой держал наготове карандаш, словно его немедленно надо было насытить информацией.

Катарина же левой рукой придерживала полуоткрытую дверь своей теплой квартирки, а правой — распахнувшийся на пышной, теплой груди халатик.

— Простите, пожалуйста, — проговорил молодой человек, стараясь не стучать от холода зубами. — Я — из журнала «Женщина и мир». Мы проводим опрос... я имею в виду наш журнал... что привлекает современную женщину в мужчине. И наоборот. Я был бы очень благодарен, если бы вы смогли... всего одну минутку... одну минутку...

Однако и эти двери, как и все остальные до них, стали перед ним неумолимо закрываться.

— Некогда мне, — бросила Катарина в щель, которая быстро сужалась. — Только что пришла с работы. Еще не ела. Как-нибудь в другой раз.

— Всего несколько вопросов, — настаивал он. В его голосе послышалась просительная нотка. — Только пять-шесть простых, легких вопросов. — Рука с карандашом робко, но с некоторой настойчивостью ухватилась за дверь, может быть, правда, оттого, что пришедший едва держался на ногах.

Позади Катарины, поверх ее растрепанных волос, можно было рассмотреть типичную для городских новостроек квартирку: крохотная, в квадратный метр, прихожая, уголок чистой, теплой кухоньки, откуда распространялся запах стоящего на столе свежесваренного кофе, освещенную лучами зимнего солнца клетчатую скатерть. Аромат кофе смешивался с исходящим от Катарины запахом шампуня, которым она, вернувшись с работы, вымыла волосы.

— Нет, нет, простите, не могу, — отнекивалась Катарина.

— Вообще-то я студент, — с отчаянием в голосе сообщил пришедший. — Из студенческого бюро услуг. Мне вдруг повезло... вот, получил работу. А сегодня на улице так холодно. И никто не хочет отвечать на вопросы. Будто никого не интересует, что в наше время женщинам нравится в мужчинах. И наоборот. Я еще не заполнил ни одного листа. — В доказательство он тщательно отточенным карандашом указал на первый, белый листок в папке.

Катарина как-то беспомощно глянула на белую чистую страничку, которая словно взывала к ней, потом на устремляющегося в ее теплую квартиру молодого человека. Замерзшее лицо, слезящиеся глаза и красные уши делали его еще более некрасивым. Куртка на нем была без подстежки: от холода он весь съежился и оттого казался особенно тощим.

— Ну ладно, — неуверенно произнесла Катарина, — так и быть. Заходите, выпейте чашечку кофе... Я как раз... вот сюда, на кухню...

Просиявший от благодарности студент сел за стол, положил папку и, подышав на застывшие пальцы, с признательностью принял из рук Катарины чашку. Катарина, ощущая удовольствие от его благодарности, уселась по другую сторону стола, напротив него. На фоне залитой солнцем балконной двери он представлялся темным силуэтом.

— Я только не хотела бы, чтобы мое имя... появилось в этом вашем журнале, — сказала Катарина. — Люди меня засмеют. Я и секс, боже мой!

— Опрос анонимный. Вы можете мне полностью доверять. Меня зовут Младен, — изо всех сил старался расположить ее к себе молодой человек, словно одно его имя могло послужить гарантией соблюдения тайны. В тепле он постепенно отходил: размотал шарф, расстегнул куртку.

— По правде говоря, — начала Катарина, — понятия не имею, что именно мне нравится в мужчинах. Иногда — одно, иногда — другое.

— Я имею в виду, на что вы прежде всего обращаете внимание — когда кого-нибудь... ну, оцениваете, что ли... ну, знакомитесь... то есть на какие физические особенности. Мужчины, например, смотрят у женщин на ноги, на грудь, на бедра, на всякое такое...

Младен посмотрел «на всякое такое» у Катарины. Катарина невольно улыбнулась и еще плотнее зажала халатик на груди. Впервые с начала их разговора она почувствовала, что находится у себя дома наедине с незнакомым мужчиной.

— Да... не знаю, — все так же неуверенно ответила она.

— Я вам помогу... наводящими вопросами, — сказал Младен, продолжая

впиваться взглядом в складки ее халатика, словно именно под ним скрывалось множество наводящих вопросов.

— Например, как вы относитесь к физической силе? Я имею в виду — привлекают ли вас в мужчине бицепсы, крепкое телосложение?

— Да по правде сказать я... я не знаю.

— Вам, конечно, больше нравятся мужчины высокого роста?

— Пожалуй, иногда, но...

— Я думаю, высокие?

— Ну, не обязательно...

Младен нахмурился, что-то забормотал, словно запоминая важные сведения, которые ему с большим трудом удалось наконец получить, и нацарапал какой-то таинственный иероглиф на листе из папки. Пока он писал, Катарина тоже кое-что отметила: его узкие плечи, нездоровый цвет лица, худые руки, плохие зубы.

— А кофе у вас просто отличный, — проговорил он, отхлебнув глоток. — Половой член?

— Да бросьте вы, — захихикала она.

— Ну, какой вам больше нравится. По величине — длина, объем и тому подобное?

— За кого вы меня принимаете? — обиделась Катарина. — Можно подумать, что я их так много видела... что могу сравнивать!

Младен стал оправдываться научным подходом.

— Опрос рассчитан на определенный возраст, на женщин, уже приобретших некоторый опыт. Имеются в виду работающие женщины от двадцати двух лет и старше.

— Да это просто глупости, — рассмеялась Катарина.

Младен добросовестно что-то записывал. Вполне возможно дословно — «это просто глупости». А может, только делал вид, что пишет — просто водил карандашом по бумаге.

— Как вы, например, относитесь к стеатопигии[1]? Отрицательно?

— У кого как, — сказала Катарина, которая понятия не имела, что такое стеатопигия и тем более как она к ней относится. Но ответила решительно, даже с раздражением: слишком беспардонным ей казалось то, что этот мальчишка таким образом выявляет ее неискушенность.

— Представьте себе человека, — не отступал Младен, — вам дорогого и близкого. Ну мужа... или друга... кого-то в этом роде.

— Нет у меня ни мужа, ни друга.

— Вы что же, живете совсем одна? — удивился Младен, осматриваясь по сторонам, точно после такого признания ее квартира предстала перед ним совсем в ином свете.

— Да, совсем одна, — подтвердила Катарина и тоже окинула взглядом свою кухню. И вдруг ощутила себя такой одинокой, одна, без мужчины с твердыми бицепсами, без этой самой стеатопигии. Одинокая работающая женщина, старше двадцати двух лет, с очень скромным любовным опытом и возможностями, чтобы оценить мужские достоинства... А на улице стужа. Кто же пойдет сюда в эту стужу, кроме невзрачного парня с глупыми, бередящими душу вопросами, на которые ему никто не захотел отвечать. Как будто так уж важно, у кого какой живот, какой процент волосатости на теле или величина члена; для женщины важно другое — чтобы с ней кто-то просто был.

— Все это глупости, — сказала она Младену, — все эти ваши физические особенности. Конечно, если кто-то кому-то нравится, по-настоящему.

Младен положил на стол карандаш, вздохнул, взгляд его потух, словно погрузился в туман, поглотивший весь почерпнутый им из опросов и жизни опыт.

---

[1] Стеатопигия — сильное развитие подкожного жирового слоя на бедрах и ягодицах человека.

— Все женщины так говорят, — сказал он. — И все же... все же выходит-то наоборот. Если бы было так, кто-нибудь, например, и меня мог бы считать своим мужчиной. Я хочу сказать — привлекательным, желанным. А это не так... сами видите. Не так.

Он осмотрел себя, стараясь заглянуть куда-то внутрь, словно был сверху облеплен неким чуждым для него уродством. Катарина невольно усмехнулась.

— Я думаю, некрасивых мужчин нет, — открыла она дискуссию. — Каждый отыщет кого-то, кому он нравится. В каждом есть своя изюминка. Человека надо только как следует узнать.

— Нет, — ответил Младен. — Я, например, никому не понравлюсь. Ни вообще женщинам, ни какой-нибудь конкретно. На словах для всех женщин эти «физические данные» не важны, но сами видите, вам бы, например, и в голову не пришло, чтобы я... чтобы и меня, ну только так, к примеру... чтобы и со мной...

Он запутался, почти готовый расплакаться над этой чашкой, над опросом, над самим собой.

— Вот выдумали, — испуганно забормотала Катарина, — да я вас первый раз в жизни вижу.

— Я это сказал только так, к примеру. Но даже и для примера: вы видите меня первый раз и сразу же знаете — последний! Тогда откуда же вы это узнаете?! А мне хочется быть таким мужиком, который понравился бы женщине с первого взгляда. Хоть одной женщине. Да не выходит! Значит, сами видите, существуют какие-то объективные физические критерии, по которым...

Катарина почему-то обиделась.

— Ну что вы тут расхныкались! Раньше или позже каждый кого-нибудь найдет! — сказала она с вызовом. И тут же подумала: чего это я на него набросилась? Так все говорят, значит, так оно и есть. А разве это правда, что каждый найдет? Разве это правда, что раньше или позже каждый найдет кого-нибудь? Надо только подождать. А может, люди испокон веков просто обманывают себя? А теперь и я повторяю эту привычную ложь, а сама никого не нахожу, потому что этому кому-то неоткуда взяться, а в конце концов, как и другие, ухвачусь за первого, кто подвернется.

— Вы знаете, почему в журнале «Женщина и мир» меня послали проводить этот опрос?

Катарина посмотрела на него и улыбнулась, обрадовавшись, что он переменил тему разговора.

— Не сказала бы, что вы уж очень подходите для такого дела.

— Проводить такие опросы посылают только девушек-студенток. Из парней взяли одного меня. Считают, что я не опасен, что, опрашивая женщин, не буду злоупотреблять. Не потому, что не захочу, а просто не смогу. Вам ясно?

— Ну что вы, — сказала Катарина.

Студент весь сник — этакая никому не опасная горсточка мужского невезенья: ему вдруг стало очень жалко самого себя. Он высказал все, что наболело, и опять ему представились страшные джунгли, где разгуливают красавцы и красавицы, холодный неуют комнаты, где он снимал угол и где неотступно мечтал о мужских достоинствах: о бицепсах, налитых, как толстая колбасина, о кулаках огромных, словно пудовая гиря.

— В конце концов мужчина теряет веру в себя, — заключил он. — Я, например, просто не верю, что какая-нибудь женщина может заинтересоваться мной.

— Кто это вам сказал? — неожиданно проговорила Катарина. Голос ее звучал как-то глухо. В нем слышалось сочувствие к нему и себе. Она встала, вытянув вперед руку, будто для того, чтобы убрать со стола чашку, но вместо этого обхватила молодого человека за голову, беспомощно и безнадежно замотавшуюся на высоте ее груди, которая для кого-то должна была стать чем-то, и начала распахивать халат его головой с влажным носом и дрожащими губами.

— Кто это вам сказал, кто вам сказал, кто сказал, — повторяла она сквозь

стиснутые зубы и, жмурясь от слепящих лучей солнца, водила по своему телу его холодным лицом.

Таким образом, опрос был продолжен в чистой белой постели, в однокомнатной квартирке, маленькой, словно клетка, в одном из новых, малонаселенных городских районов, в теплую и свободную от работы предвечернюю пору, о чем мог бы только мечтать любой мужчина, бродящий вот так по холоду с глупым опросом. В ту предвечернюю пору, когда женщина охотно принимает мужчину, в час, подобный теплому острову в холодном море времени.

При углубленном опросе ими были исследованы многие физические особенности. И все, конечно, окончилось как положено, как подобные дела, в общем, и заканчиваются, что опросом и было предусмотрено. Студент изголодался по женщине, может быть даже чересчур, а Катарину процесс его насыщения удовлетворил не настолько, насколько она ожидала. В результате опроса и женщина, и современный мир остались прежними. И ничто не изменило прежнего равновесия симпатий. Предвечерние часы неумолимо бежали, от острова уже был перекинут мост на материк.

Разгоряченный и взбудораженный, словно он вытянул счастливый билет в лотерее, освободив Катарину от астенического груза своего тела, Младен продолжал возбужденно двигаться, сначала по постели, потом по квартире, и даже не пытался остановить непрекращающийся поток слов, которые неудержимо извергались у него изо рта.

— Это просто фантастика, — лихорадочно произносил он свой монолог, будто опасаясь, что не успеет договорить до конца. — Такого у меня еще никогда не было. А у тебя? А у тебя? Ты понимаешь, это просто фантастика. Хотя, конечно, я не обладаю ни одной из тех особенностей, разве что не склонен к стеатопигии. Стеатопигия — это, говорят, отвратительно. Но черт с ней. Значит, все же можно вот так, с первого взгляда. Боже мой, это феноменально. А тебе со мной было хорошо? Правда ведь хорошо? Было хорошо, правда? Катарина, скажи: правда ведь хорошо?

— Да, — ответила Катарина.

Она смотрела на его тощее обнаженное тело, передвигавшееся по ее комнате в каком-то восторженном круженье. Потом перестала его слушать; ей вдруг страшно захотелось побыть одной. Но он уж совсем распоясался и с удобством расположился в ее крохотном королевстве. Походя перелистывал альбом с фотографиями (А этот кем тебе приходится, дорогая?), без спросу открыл стоящую на шкафчике бутылку коньяка и, причмокивая, отпил из нее несколько глотков, помочился в уборной, не удосужась даже плотно закрыть дверь, и, не прекращая говорить, шумно почесывался. Теперь, прерываемый чавканьем, его голос доносился уже из кухни.

Катарина неторопливо встала, надела халат и остановилась в дверях кухни. Голый, с прыщавой спиной, он сидел на корточках возле ее маленького холодильника и, не прожевывая как следует, глотал тонкие кусочки приготовленной ею на завтрак копченой колбасы, которые прямо пальцами извлекал из промасленной бумаги.

— Ты иди ложись, я — мигом, — с полным ртом произнес он небрежным, но повелительным тоном, размахивая кусочком колбасы, — мы еще потрахаемся.

— Ничего больше не будет, — тихо сказала Катарина.

Младен чуть не подавился и все так же, сидя на корточках, поднял на нее вопросительный взгляд.

— Тебе пора уходить, — сказала она.

Он встал, торопливо вытирая о голые бедра жирные пальцы.

— Да, да, конечно, у тебя дела. Я сейчас, сейчас. Ты так сказала, что я уж бог знает что подумал... А было феноменально, правда? Мы ведь снова увидимся, правда?

Катарина молчала, стоя перед ним, как сторож, и глядя на его худые ноги,

которые никак не попадали в штанины, на его угреватое лицо, на испуганные глаза, старавшиеся угадать ее настроение.

— Когда ты завтра кончаешь работу? Можно будет... в это же время? Что скажешь? Давай завтра. Мы просто созданы друг для друга. Завтра могли бы и подольше, а? Я бы принес сюда и книги.

Не кончив одеваться, он попытался ее обнять.

— Нет, нет, — отпрянула Катарина неожиданно резко, холодно и, протягивая ему куртку и шарф, стала размахивать ими, как щитом, оттесняя его к входной двери. — Мы вовсе не созданы друг для друга и не увидимся ни завтра, ни послезавтра.

— Да что на тебя вдруг нашло? — спросил Младен.

— И ничего не было с первого взгляда, и ничего феноменального не было. Этот первый взгляд был просто ошибкой. И мужик ты не бог весть какой, и ничего такого не сделал, чтобы хорохориться здесь как петух. Это моя, только моя ошибка. Давно не видела у себя в доме живого человека, вот и все. Только и знаю что на работу да с работы! А ты явился откуда-то, из того мира, где люди, наверно, умеют друг другу нравиться, и вопрос только в том, что именно кому нравится. В каких-то деталях! В органах! Как будто у тех людей все остальное в порядке, кроме этих деталей. Как будто все в порядке у этой твоей женщины в современном мире. Такое выдумывают, в такое могут верить только газеты да твой журнал! Дурачат людей своими идиотскими итогами опроса.

— Но, дорогая, послушай... послушайте, Катарина...

— Что еще за «дорогая»! Выдумал тоже! Когда ты тут появился, я подумала: раз мир предлагает мне это, как женщине, надо попробовать... хотя бы с тобой. К чему привередничать! Так ведь ни с чем и останешься. Подумала, может, мне и не подвернется больше случай. Разве можно отказываться только потому, что тебе, видишь ли, не понравились бицепсы или член. А может, я теряю огромное, невидимое богатство. Богатство, черт возьми! На богатство я, правда, и не рассчитывала. Просто мне страшно, очень страшно оттого, что у меня никого нет. И я боюсь: а вдруг любовь — это как раз то, что придет к тебе неожиданно, в один прекрасный день, после работы, случайно, глупо, нелепо, наверно, так всегда и встречают люди друг друга, но в конце концов все выходит скверно, бестолково, и одиночество от этого еще сильнее и глубже. Спасибо миру за такие подарочки! Этому дареному коню надо сначала заглянуть в зубы! И тогда поймешь, как вот с тобой, что прежде всего тут нужен хороший зубодер. Так ты и запиши в своих данных опроса!

Может, все это она сказала не совсем такими словами, но думала точно так, продолжая безжалостно выталкивать смущенного парня на лестницу, где дверь за ним захлопнулась прежде, чем он успел застегнуть ширинку.

Оглядевшись вокруг, одна в пустой квартире, Катарина на мгновение ощутила какой-то страх перед будущим. Но, войдя в ванную и встав под горячий душ, вдруг всем своим существом почувствовала гордость за свою маленькую суверенную территорию, за свою статистическую единицу, составляющую тот маленький процент, который свидетельствует, что она не согласится кое с чем и не примирится с ненужными подарками судьбы.

■

АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР

Кондор

РАССКАЗ

Перевод с немецкого Н.ФЕДОРОВОЙ

Ночной фрагмент

Прекрасной июньской ночью, ровнехонько в два часа, по коньку кровли шел кот и таращился на луну. Один его глаз поймал косой луч ночного светила и горел зеленым, словно блуждающий огонек на болоте, другой был черен, словно печная сажа; и вот напоследок, дошедши до края, кот глянул в окно, а я — из окна. Устремив на меня большие плошки ласковых глаз, он как бы с удивлением вопрошал: «Это что ж такое? отчего ты, любезный сосед и стародавний друг, смотришь нынче из окна в глухую ночь? Обычно-то, когда я в моих ночных странствиях иной раз мимоходом заглядывал в комнату, ты безмятежно спал и лицо твое на белой подушке цвело здоровым румянцем».

«Ах, мой милый, — отвечал я на безмолвный его вопрос, — времена изменились, да как — сам видишь... белые подушки на постели лежат несмятые, и полная луна рисует на них волшебно сквозистые окошки, хотя должна бы озарять мое спящее лицо; но я сижу здесь и, опершись о подоконник, намеренно высовываюсь в ночь — она уж на три четверти миновала, а я все смотрю в небо, потому что нынче на нем взойдет нечто редкостное и необычайное — такого оно дотоле не видывало. Светить это небесное тело, правда, не будет, однако ж, коли рассуждать по заслугам, есть в нем кое-что, превосходящее лучезарностью луну вкупе со всеми звездами, да и твои, почтенный, сверкающие глаза».

Вот так примерно я сказал коту, он же, будто понимая мою речь, опять устремил на меня свои по-прежнему большие и по-прежнему ласковые глазищи, взблеснувшие как слюдяные кружочки, и, выгибая мягкий меховой бок и прижимаясь к моей руке, тотчас уютно замурлыкал, ну а я продолжал добродушно с ним разговаривать: «За долгую лунную ночь можно много чего увидеть, ты, милый мой, наверняка это знаешь, коль скоро не вовсе чужд наблюдательности, а вот я понятия об этом не имел, поскольку мне вечно было недосуг вглядеться в этакую ночь всем сердцем, лишь сегодня, когда я в ожидании смотрел на небо — ведь желан-

© Н.Федорова. Перевод, 1997

ное космическое тело никак не являлось, — у меня было достаточно времени изучить жизнь вешней ночи».

Все, что я открыл моему благосклонному другу Котофею, чистая правда, а коли так, почему бы не открыть это и еще более благосклонному человеческому взору, который, возможно, наткнется когда-нибудь на сей листок, почему бы не сказать, что в самом деле нелепый и злосчастный рок приковал меня к этому окну и вынудил всю ночь завороженно смотреть в небеса. Пожалуй что нелепое занятие, но всяк бы сидел тут у меня наверху, доведись ему прежде испытать то, что испытал я.

Время это было тугое и вязкое, будто свинец.

Наверх я, к сожалению, поднялся слишком рано, когда на вечерних улицах еще кишели непутево-суматошные людские толпы, странным образом диссонирующие с прелестной луною, которая уже явила свой румяный лик вон там, между двумя большущими печными трубами, посылая привет моим окнам.

Но мало-помалу все, имя кому человек, закутались в ночные свои покровы, и лишь изредка доносились наверх возгласы гуляк, что искали глубокой ночью дорогу домой, а потом настала пора, столь любимая философами, поэтами и котами, — ночная тишь... у моего четвероногого приятеля губа не дура, прекрасное время выбрал для прогулок... Луна отделилась наконец от крыш и стояла высоко в синеве — блеск, и мерцание, и сияющий свет разлились по всему небу, серебром оплеснуло облака, с железных крыш, куда ни глянь, струились широкие серебряные потоки, а громоотводы, кровельные коньки и кресты колоколен обсыпались искрами. Тончайшая серебряная дымка пала на крыши необозримого города как пелена, укрывающая сотню тысяч объятых сном сердец. Одна лишь золотая точка сияла в океане серебра — горящая лампадка в чердачной каморке напротив, у бедной прачки, ребенок которой лежал при смерти.

Сколь ни прекрасно было все это, время с каждым часом тянулось медленнее — тени печных труб давным-давно поворотились в другую сторону, серебряный шар луны уже катился вниз по второй половине своей темной небесной арки... мертвенная тишина царила кругом — бодрствовали только я и та лампадка.

Однако ж то, что я искал, не показывалось.

Дважды, не заходя ко мне, прошел по крышам Котофей. Большой город подо мною, омытый неясной магией лунного света, лежал в глубочайшем сне — прислушайся и, наверно, услышишь его дыхание, — но небеса в заветном месте блистали пустотою, как было всю ночь. Я упорно ждал. Безмолвие словно бы усугублялось с каждой минутой. Луна зримо уходила к другому полушарию; стайка пухлых облачков, что низко на юге барашками бродили по синему выгону, слегка озарилась огнем, и даже отдаленные облачные гряды, которые еще с вечера врастяжку залегли по-над западным окоемом и долго струили в нашу ночь отсвет солнца Америки, потухли и сейчас теплились от луны, и по членам их плыл мягкий, блеклый свет, будто они легонько шевелились.

Тут пробило два, и явился Котофей. Нынешней ночью он стал для меня необычайно важен. У нас с ним завязалась немая беседа, которую я изложил в начале этого листка; впрочем, разговор наш длился не долго, потому что оба мы скоро устали от него, и каждый занялся своим делом: кот продолжил свою прогулку, а я — мое однообразное созерцание.

Лампада вдовы меж тем потухла, но я опасался, что вскоре зажжется совсем иной светильник, ибо восток уже наливался подозрительным жемчужным сиянием, будто наставало утро; воздух, до сих пор теплый и мертвенно-спокойный, встрепенулся — уже раз и другой я ощутил на лице прохладное дуновение утра, донесшее с гор явственный шум вешних вод.

И тут мне почудилось, будто на фоне светлой полоски неба между двумя длинными облачными лентами неторопливо парит темный диск; схватив подзорную

трубу, я поспешно нацелился ею в то место небосвода — звезды, облака, небесный свет мелькали перед глазами, но мне было не до них, с трепетом душевным я обыскивал поднебесье — и вдруг поймал в объектив большой черный шар и уже не выпустил его из поля зрения.

Значит, это правда, одно пророчество сбылось: на мягкой белизне рассветного неба, пока только чуть-чуть розоватой, словно цветок персика, обрисовался весьма большой темный шар, неприметно возносившийся ввысь, а под ним — висящая на незримых нитях, трепетная и дрожащая в линзе подзорной трубы, маленькая, как черточка на небесах, — гондола, согнутая игральная карта, и в ней три человеческие жизни, которые она может стряхнуть с себя еще до зари, вполне естественно, как вот это облако по соседству роняет каплю утренней росы.

Корнелия, бедное заблудшее дитя! спаси и оборони тебя Господь!

Невольно я отложил подзорную трубу — меня обуревал ужас, оттого что я никак не мог разглядеть канаты, которые соединяли гондолу с шаром.

Если и второе обстоятельство столь же неоспоримо, как первое, тогда, увы, сердце мое... ты знало и любило самую прекрасную, самую отважную, самую сумасбродную женщину!

Я не выдержал и снова взял в руки подзорную трубу, но шар уже пропал из виду, должно быть, его поглотила верхняя из тех облачных лент, на фоне которых растаяли его очертания. Я еще долго потом ждал, обшаривая взглядом небо, но более ничего не обнаружил.

Со странным чувством досады и страха я отложил подзорную трубу и смотрел в воздушное пространство, пока наконец не поднялся другой, раскаленный шар и не излил свой лучезарный свет на большой веселый город, и на мое окно, и на огромное, чистое, безоблачное, пустое небо.

Дневной фрагмент

Молодой человек, из дневника которого дословно взят вышеприведенный рассказ, был начинающий художник, живописец, неполных двадцати двух лет от роду, хотя с виду ему нельзя было дать и восемнадцати. Густые белокурые волосы, еще совсем по-детски кудрявые, обрамляли бесконечно искреннее, доверчивое лицо, румяное, пышущее здоровьем, с зачатком усиков, которые он очень любил и которыми чванился, как ребенок... два мечтательных синих глаза, чистый лоб, еще осененный всею невинностью детства. Из уединенного лесного края, где его растили, он в самом деле принес в большой порочный город все сердечное простодушие родной долины и столько учености, сколько вообще возможно в его годы.

И вот на заре, после той странной ночи, что описана им выше, сидел он в своей мансарде, наполнявшейся мало-помалу теплым утренним светом, — сидел, откинувшись на высокую спинку мягкого старомодного кресла, бесчисленные желтые гвоздочки которого, блистая в рассветных лучах, очерчивали вокруг него слепящую звездчатую арку. Руки его спокойно лежали на коленях, глаза вперились в пустой холст на мольберте, но помышляли не о будущих картинах, нет, в их глубинном, сумрачном огне была заметна страсть, которая мучительно и блаженно разгоралась в сердце и своенравной красою проступала в детских чертах — первые знаки большого города на чистой странице, возвещающие начало бурной жизни, полной блаженства и тревоги, но такой далекой от мирного острова его детства.

Любовь — прекрасный ангел, только зачастую это прекрасный ангел смерти для бесхитростного, обманутого сердца!

Его ночной товарищ, хозяйкин кот по кличке Котофей, разлегся на широком подоконнике и спал в лучах утреннего солнца. Неподалеку, поверх рисунка с изо-

бражением херувима, лежала подзорная труба. Внизу на улицах уже деловито шумела огромная столица, хлопоча об утолении сиюминутного голода и о сиюминутном изобилии.

Пока художник вот так сидел в своей тесной мансарде, которую небеса наконец-то доверху наполнили солнечным золотом, в другом месте разыгрывалась другая сцена: высоко под куполом небес в пустыне беспредельных воздушных пространств парил шар, уносил свою гондолу и храбрецов людей на запад в плавном теченье эфирного океана. Мертвая тишина кругом — лишь изредка ее нарушал легкий скрип тафты, когда восточный ветер скользил по оболочке, или почти невнятный вздох шелкового такелажа. Трое людей, тоже в глубочайшем молчании, сидели в гондоле, закутавшись до подбородка в теплые меховые шубы, прикрыв лицо двойной зеленой вуалью. Под одной вуалью угадывались мягкие очертания женского лица, красивого, бледного, с большими взволнованными и робкими глазами, — тем самым правдою оказалось и второе обстоятельство, которое предполагал ночной наблюдатель полета. Однако здесь, в гондоле, эта девушка ничем не напоминала ту дерзкую Корнелию, которая, подобно своей римской тезке[1], желала возвыситься над своим полом и, по примеру ее героических сыновей отважившись на попытку разорвать оковы угнетенных, хотя бы на собственном примере доказать, что и женщина может объявить себя свободной от произвольных границ, которые тысячи лет назад установил для нее варвар мужчина, — свободной и, однако же, никоим образом не утратившей ни добродетели, ни женственности. Получаса не прошло, а она уже была совершенно другая, ведь все, все проистекало не так, как она думала.

Чтобы уберечься от непрошеных наблюдателей, отлет назначили на самый ранний утренний час, еще затемно, и прекрасная девушка с замиранием сердца, едва сдерживая душевный трепет и бурю предчувствий в ожидании того, что вот-вот наступит, следила, как наполняли шар. Так или иначе, у всех собравшихся холодок пробежал по спине, когда невзрачная тафтяная оболочка раздулась в огромную сферу и туго натянула мощные канаты, которыми была привязана к земле. Принесли странного вида инструменты и приспособления и закрепили в специальных отделениях гондолы. Красивый высокий господин — в иных обстоятельствах благодушный, жизнерадостный, бодрый, нынче, однако, бледный и серьезный — несколько раз обошел вокруг летательного аппарата, тут и там проверяя его на крепость. В конце концов он спросил девушку, остается ли она при своем желании, а услыхав «да», бросил на нее странно-восхищенный взгляд и почтительно отвел в гондолу, заметив, что вовсе не намерен обременять ее повтореньем предостережений, которые изложил еще две недели назад, ведь она, несомненно, успела их обдумать. Минуту-другую он подождал, а поскольку ответа не воспоследовало, тоже поднялся в гондолу; последним же был весьма пожилой, убеленный сединами мужчина, которого она считала ученым ассистентом.

Аппарат был в исправности, и все они готовы к полету. Корнелия еще раз бросила взгляд на деревья сада, что, закутанные в рассвет, стояли вокруг и смотрели на происходящее, — и вот спутник ее громко отдал приказ:

— Ну, с Богом! Славному «Кондору» пора в полет — отпускайте канаты!

Приказ был исполнен, и тотчас же воздух тысячью незримых рук подхватил и стиснул огромную конструкцию, шар дрогнул, покачнулся, затем, плавно поднимаясь, оторвал гондолу от родимой земной тверди и, с каждой секундой наращивая скорость, в конце концов стрелою взмыл в вышину, в поток света денницы, и в тот же миг его выпуклую поверхность и стропы объяло пожаром утренне-

---

[1] Имеется в виду Корнелия (ок. 110 г. до Р. Х.), дочь Публия Корнелия Сципиона Африканского, разрушителя Карфагена, мать братьев Гракхов. Позднейшая литература сделала из нее идеал римской матроны. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

го солнца — Корнелия даже испугалась, вообразивши, будто шар весь пылает: как раскаленные стержни вырезывались на индиговом небе линии канатов, а сам он горел огнем, точно исполинское солнце. Уходящая вниз земля, еще совершенно черная и непроглядная, таяла во мраке. Далеко на западе покоилась на облачной гряде бледнеющая луна.

Так они воспаряли все выше и выше, и все больше распахивался перед ними кругозор. Два сердца, а быть может, и третье, пожилое, учащенно бились навстречу грандиозности минуты.

Царственное величие неторопливо разворачивало свои пергаментные свитки, и необозримость пространства мало-помалу являла свою извечную мощь. Воздухоплаватели как раз поднялись к архипелагу облаков, которые в это самое мгновение посылали земле свои утренние розы, но здесь, в вышине, были искристо-белыми льдинами, плавающими в немыслимо синих воздушных реках и зияющими навстречу кораблю своими провалами и трещинами. А подлетая ближе, они замечали, что льдины бурлят и зыблются белыми клубами туманов. В этот миг на земле взошло солнце, и она вновь стала видна во всю ширь. То был еще привычный и родной лик, какой мы видим с горных высей, только алеющий пленительно-свежим румянцем под лучистою дымкой утреннего солнца, которое сию секунду позолотило и окна мансарды, где сидел бедный молодой художник.

— Высоко ли мы, Коломан? — спросил шкипер.

— Почти на высоте Монблана, — ответил старик, сидевший в другом конце гондолы, — пожалуй, четырнадцать с лишним тысяч футов, милорд.

— Отлично.

Пока они говорили, Корнелия осторожно выглянула за борт гондолы и через воздушную бездну устремила взор вертикально вниз, на милую и покинутую, мерцающую теперь землю: не видно ли там знакомых мест? — но, увы, все было чужое, и привычный, мирный уют родимых пенатов уже неразличим, а значит, неразличимы и нити, связывающие нас с любимым уголком, который мы зовем родиной. Словно огромные тени, тянулись к горизонту леса, причудливые скопления гор несчетными волнами разбегались вширь, наплывая на белесые пятна, вероятно пашни и луга. Лишь какая-то река была видна совершенно отчетливо, тонкая трепетная нить серебра вроде тех, что на исходе осени вьются на темных полях. И надо всем как бы витал диковинно-желтый свет.

Отведя свои взоры от эфирных глубин, девушка невольно встретилась глазами с лордом, и его мягкий взгляд принес ей успокоение. Молодой человек как раз устанавливал и закреплял телескоп.

В этот миг, уходя из каморки художника, мы и увидали воздушный шар. Он, как мы говорили, плыл в неторопливом воздушном потоке на запад, но выше не поднимался, поскольку уже более двадцати минут ртуть в барометре стояла на том же делении. Мужчины работали со своими приборами. Корнелия плотнее запахнула шубку и забилась в уголок сиденья. Текучий воздух струился вокруг ее кудрей, и гондола легонько покачивалась. Девушка не понимала, что происходит в ее душе.

Лишь монотонные голоса мужчин нарушали безмолвие: один диктовал, другой записывал. У самого горизонта в смутной дали явились теперь громадные искрящиеся снежные поля — Корнелия никак не могла догадаться, что они такое.

— Это Средиземное море, уважаемая барышня, — сказал Коломан, — здесь мы возьмем всего лишь несколько проб воздуха и проверим электричество, ну а потом вы увидите это зеркало еще много более прекрасным, не серебряным уже, а сплошь сверкающе-золотым.

Молодой воздухоплаватель меж тем наполнил колбу крепким кофе, положил ее в негашеную известь и, плеснув на известь воды, согрел; затем он сдобрил кофе ромом и подал девушке бокал горячего бодрящего напитка. На сильном морозе

благотворное действие сказалось в тот же миг — будто новая жизнь разлилась по ее нервам. Мужчины тоже выпили кофе и тихонько о чем-то заговорили; молодой кивнул. Тогда старший принялся опорожнять за борт стоявшие в гондоле мешки с песком. «Кондор» заколыхался в своем потоке и, будто на великолепных крылах своего пернатого тезки, медленно и торжественно поднялся еще выше в горний эфир — и вот теперь сцена изменилась разительно и быстро.

Первый взгляд Корнелия опять бросила на землю — но та уже ничем не напоминала давно знакомый отчий дом: полыхающая в странной золотой мгле, она как бы отшатнулась назад, унося на своем высоком челе тонкий, сияющий золотом обруч Средиземного моря, расплываясь в незнакомые фантастические массы. Девушка в испуге отвела глаза, будто чудовище увидела, — но и вокруг гондолы повсюду клубились белые, тонкие, тягучие и зыбкие саваны; если смотреть с земли, то были всего лишь серебристые барашки поднебесья. К этому поднебесью она и обратила свой взор — да только и здесь все стало чуждо: вместо небосвода, вместо прекрасного синего купола, укрывающего землю, разверзлась кромешная черная бездна, неизмеримо глубокая, беспредельная, — та благодать, какою мы внизу наслаждаемся так бездумно, здесь, в вышине, исчезла без следа, разливы света были далеко, на прекрасной земле. Будто в насмешку, стали видны все звезды — крохотные, слабые золотые точки, безнадежно затерянные в пустыне, и, наконец, солнце, грозное светило, не дарящее ни тепла, ни лучей, резко очерченный диск клокочущего, пузырящегося, добела раскаленного металла — убийственный блеск стремило оно из черной пропасти и однако же было не способно удержать в этих эфирных пространствах даже малой толики света; лишь на шаре и на гондоле пылал яркий огонь, придавая что-то призрачное погруженному в ночь аппарату и, словно в волшебном фонаре, неживыми красками обрисовывая лица людей.

И все-таки — хотя воображение здесь отказывало, — все-таки они плыли в нашем ласковом, мягком воздухе, том самом, что обвевает поутру щечки младенца. Шар, как заметил старик, угодил в верхнее пассатное течение и, должно быть, стремился вперед с чудовищной быстротою, потому что гондола не поспевала за ним, а тафтяную оболочку словно бы поминутно трясла и дергала какая-то могучая длань, но звук при этом получался слабый, вроде хныканья ребенка, ведь тут, в вышине, и звуки изнемогали, утрачивая силу; когда же гондола отворачивалась от солнца, кругом не было ничего — одни только ужасные звезды, точно призраки, что бродят днем.

И вот теперь, после долгого-долгого молчания, белые как снег губы разомкнулись и робко, чуть внятно произнесли:

— У меня кружится голова.

Но ее не услышали.

Она плотнее запахнула шубку, пытаясь совладать с лихорадочным ознобом. Мужчины еще что-то такое делали — она не понимала что; лишь наводящий ужас молодой красавец, мнилось ей, временами бросал царственный взор в непроницаемый мрак и романтически играл с опасностью и пространством — в старике не заметно было ни малейшего возбуждения и беспокойства.

После долгого-долгого забвения юноша все-таки оборотился к девушке — взглянуть, что с нею, а она смотрела вокруг неподвижными, сумасшедшими глазами, и на губах ее алела капелька крови.

— Коломан! — воскликнул юноша, но здесь его громкое восклицание прозвучало глухо. — Коломан, надо снижаться; молодой леди очень плохо.

Старик оторвался от приборов, встал и посмотрел на девушку, взгляд его сверкал гневом, лицо выражало глубокое негодование. Неожиданно зычным голосом он вскричал:

— Я говорил тебе, Ричард, небо не для женщин... истрачено столько денег, а предприятие останется незавершенным; великолепный полет, самый простой и

самый спокойный за всю мою жизнь, пропадет даром... Спору нет, надо снижаться, а то ведь, чего доброго, умрет... Открывай клапаны.

С этими словами он опять сел, крепко ухватившись за канат, и закутался в шубу, а юноша резко дернул зеленую шелковую веревку — «Кондор», точно исполинская птица, взмыл на сотню саженей вверх и... начал медленно опускаться, все ниже и ниже.

Ричард держал в объятиях бесчувственную Корнелию.

Рассветный фрагмент

Не знаю, сколько времени минуло после полета, — но вот однажды утром, едва забрезжил рассвет, юный художник опять сидел в старомодном кресле с желтыми гвоздочками, вперившись в натянутый холст, на сей раз, впрочем, не пустой, а с большим наброском, уже заключенным в тяжелую золотую раму. Как человек, изголодавшийся по работе, отделывал он свою картину, и, видя, с каким упоением его взгляд скользил по нарисованному пейзажу, всяк решил бы, что эти глаза не иначе как изливали в картину тепло и нежность, которыми она столь явственно и чарующе дышала. Нередко юноша, отступив на шаг, вдумчивым взором оценивал и взвешивал всю композицию; затем он с жаром опять брался за работу. Отрадно видеть, как ангел искусства осеняет своим крылом наивное, обаятельное юношеское лицо, преображает его и без ведома обладателя делает неотразимо прекрасным, возвышая над будничною миной. Солнце все ярче и ярче озаряло комнату, где сам воздух, казалось, был полон затаенного ожидания, и вот около полудня слуга принес запечатанное письмецо.

Юноша быстро сорвал печать.

— Хорошо, я приду, — сказал он, и щеки его вспыхнули густым румянцем — знак чувства, которое он полагал спрятанным в самой глубине сердца и в последнее время с большой досадой и негодованием подавлял.

Слуга ушел, однако юноша отложил кисти.

Наутро, в девять часов, в изящном черном платье, в легкой шляпе на пышных белокурых кудрях, он вышел из города, и длинные, светлые улочки предместья скоро привели его к воротам красивого загородного особняка; войдя и поднявшись по широкой солнечной лестнице, он распахнул двустворчатые двери большого, полного картин зала. Здесь он попросил доложить о себе и стал ждать. Спустя некоторое время дверь против входа открылась, и на пороге явилась пожилая женщина, которая тотчас с материнскою радостью протянула ему руку и сердечно сжала его ладонь.

— Входите же, — сказала она, — входите... вас ждут едва ли не со страхом. Ах, Густав, сколько же я выстрадала!.. Она так-таки поставила на своем, а потом хворала... по всему видать, всяких ужасов насмотрелась и побывала, я чай, далеко-далеко, обратно-то целых три дня и три ночи добирались... С тех пор как выздоровела, добрая стала и такая кроткая, что у меня иной раз прямо сердце щемит; но о той истории она ни гуґу — словечка не скажет. Ну, входите же.

Юноша выслушал ее с хмурою миной и теперь молчал, только еще больше нахмурился.

Шагнув к двери, он отворил створку и исчез за нею. Просторная комната, где он очутился, была обставлена с самым тонким вкусом. У окна, среди целого леса заморских цветов, сидела молодая дама, и темно-зеленые листья камелий изысканно оттеняли мягкий отблеск ее белого атласного платья.

Когда молодой человек вошел, она встала и оживленно шагнула ему навстречу — выше среднего роста, исполненная благородной грацией знати, но и тою еще более благородной грацией нравственности, которая так украшает человека. Лицо ее, обычно одухотворенное и цветущее, сегодня было бледно. Большие черные

глаза смотрели из этой бледности на художника, слали ему ласковый привет.

Он, однако, не видел, что в ее существе трепетала легкая тень покорности или недуга, — его сердце находилось в плену минувшего, а взор был тосклив и сердит.

Мгновение царила тишина.

— Давненько мы не виделись, — мягко проговорила она, — к тому же я немного прихворнула.

На эти ее слова он ничего не сказал, только поклонился.

— Вы все время были в добром здравии? — спросила она.

— О да, — ответил он.

Удивительный, широко распахнутый взгляд порхнул к нему, но, так и не сказав ни слова, она отошла к камелиям, где стоял мольберт, что-то там подвинула, без всякой необходимости; что-то подправила, опять безо всякой нужды; заглянула в зеленую листву, словно искала что-то, — а потом вернулась к нему. Он стоял на прежнем месте, как человек, ожидающий приказаний, со шляпой в руке, не сдвинувшись ни на волос.

Дама вздохнула, потом, сделав над собою усилие, в конце концов еще мягче спросила:

— Вы, может быть, в это время и о нас думали?

— Я часто думал, — непринужденно отозвался он, — о вас и о наших уроках. Теперь-то краски на холсте, верно, вконец пересохли.

Она густо покраснела и с жаром воскликнула:

— Давайте же продолжим!

Поскольку она поспешила отвернуться, краска, залившая ее лицо, была видна только у висков, а сердитую вспышку в глубине глаз уловило одно лишь зеркало. Вне всякого сомнения (об этом говорил уже сам ее наряд), она никак не предполагала заниматься живописью; но теперь, когда он, положив шляпу, шагнул к мольберту, открыл ящик, достал кисти и прочие принадлежности, выдавил на палитру краски, а она безмолвно, широко открыв глаза, наблюдала за этими манипуляциями, и когда он учтиво подал ей палитру, — теперь она поспешно засучила свой атласный рукав, взяла палитру и с неизъяснимой горделивостью опустилась на стул.

Художник стоял у нее за спиною, и лицо его было совершенно бесстрастно.

Урок живописи начался. Пожилая женщина, нянюшка молодой дамы, временами входила в комнату и опять уходила.

Молодой человек, как наставник, ясным голосом, деловито и спокойно начал разбирать уже существующее на холсте изображение и сделал это в более хвалебном тоне и более коротко, чем всегда; потом он наметил следующий этап работы над картиною и перечислил нужные оттенки и краски, из которых надобно их смешать.

Она стала смешивать.

— Хорошо, — сказал он.

Теперь краски расположились на палитре полукругом, одна подле другой, — она принялась наносить их на холст, и в комнате воцарилась мертвая тишина; лишь изредка, точно звук падающих капель в гроте, ее нарушали краткие слова: «Хорошо... теплее... глубже...» Но мало-помалу умолкли и они; длинным черенком кисти художник показывал, что нужно соединить, а что — разделить, или вдруг решительно ставил светлую либо темную точку там, где без этого пятнышка было не обойтись, а она робела его поставить.

Юноша добился, чего желал; однако тот, кто увидел бы сейчас у нее за спиной его одинокое красивое лицо, заметил бы сквозящую в нем безмолвную жгучую боль, — но девушка не оборачивалась, а больше в комнате никого не было, только слепые стены.

Как часто дух разлада встает между людьми, поначалу это совершенно без-

обидный пустяк, его даже и не видят или не дают себе труда смахнуть — дыханьем ли, краем ли одежды, — а он потихоньку растет, и в конце концов между ними высится несокрушимый исполин, смутный и мрачный, — вот так же было и здесь. Когда-то — ах, не в прекрасном ли сновиденье? — ему грезилось, будто и в ней трепещет зачаток того пылкого чувства, что мрачным гнетом лежало теперь у него на душе, — когда-то, в прекрасном сновиденье; а потом опять явилась ее гордыня, ее жажда свободы, ее дерзость — все, все было совершенно не так, как подсказывало ему боязливо растущее, набухающее в сердце чувство... совершенно, совершенно не так! И он вдруг с отчаянием и злостью отшвырнул все это от себя и стоял теперь исполненный презрения, а поскольку она, ни на миг не поворачивая головы и не говоря ни слова, продолжала писать, он стиснул зубы и подумал, что ненавидит эту особу всеми фибрами души!.. Утренние часы текли один за другим, он слушал ее дыхание, и всякая секунда неизменно являла ему один и тот же образ; в комнате мало-помалу стало душно, и внезапно — сам не зная почему — он подошел к окну и выглянул наружу. Тишина — и в доме, и в саду; безрадостно-синее небо раскинулось над недвижной зеленью деревьев — юноше почудилось, будто он единоборствует с исполинской змеей, стараясь ее раздавить. Как вдруг за спиной послышался приглушенный звук, словно что-то положили; он оглянулся: действительно, палитра и муштабель были отложены, а барышня откинулась на стуле, крепко закрыв руками лицо. Мгновенье он смотрел на нее, и тотчас все его существо охватила дрожь; потом он тихо подошел ближе (она не шевелилась), еще ближе (она не шевелилась) — он притаил дыхание, глядя на прелестные пальчики, прижатые к розам ланит, и наконец увидал, как между ними ручейками бегут слезы, — сей же миг он пал перед нею на колени. Говорят, в пустыне есть сказочный цветок, который годами живет как невзрачная жесткая трава, но однажды ночью вдруг расцветает, пугаясь и трепеща от блаженства, вот так и здесь: он боязливо пытался заглянуть под ее пальцы, в лицо, — да только ничего увидеть не мог; он пытался мягко отвести ее руку, отнять ладонь от лица — да только она не поддавалась. И тогда губы его выдавили жаркие слова:

— Милая, дорогая Корнелия!

Она лишь еще крепче прижала руки к лицу, и еще жарче и обильнее потекли слезы.

А ему... каково было ему? Смертельным страхом наполнили его эти слезы, и все-таки они катились по его сердцу словно жемчужины ликующего восторга — где та огромная змея у окна? где угрюмое синее небо? Смеющийся свод раскинулся над миром, и зелень деревьев колыхалась морем блеска и мерцания!

Он все держал ее за локоть, но уже не пытался отвести руку вниз — она понемногу успокаивалась и наконец затихла. Не открывая лица, она тихо произнесла:

— Когда-то вы, мой друг, высказали свое суждение о том, что я хочу жить по образцу мужчин...

— Полноте, — перебил он, — я вел себя тогда безрассудно, дерзко...

— Нет-нет, я должна, непременно должна сказать вам, что все будет иначе... ах, я ведь просто жалкая, слабая женщина, донельзя слабая и жалкая даже в сравнении с тем дряхлым стариком... и небо не для меня!..

Она запнулась, и опять едва не хлынули слезы. Юноша наконец отвел ее ладони от лица; она подчинилась, но первый взгляд, брошенный на него, так ее испугал, что слезы мгновенно высохли. Как он преобразился! Из юношеских кудрей смотрело напряженное, серьезное лицо мужчины, осиянное незнакомым огнем сокровеннейшего чувства; но и она тоже была другая: в горделивых темных солнцах светилось глубочайшее смирение, и оба эти солнца были устремлены к нему, и, как никогда, кротко и ласково... беззаветно, растерянно, покорно... не говоря ни слова, они смотрели друг на друга... ярко пылал костер любви... сердце в беспамятстве... он легонько привлек ее к себе... она мягко откликнулась... жаркие губы

слились... тихий невнятный возглас — и в двух человеческих жизнях наступил неповторимо блаженный миг... наступил и миновал.

Эбеново-золотой венец, окружавший их головы, распался, пламя вспыхнуло и погасло — они разомкнули объятие... но смотрели уже не друг на друга, а в пол и молчали.

После долгой-долгой паузы юноша первым набрался смелости и негромко сказал:

— Корнелия, что же знаменует сей миг?

— Это вершина всего, что он способен дать, — тихо и горделиво отвечала она.

— Да, воистину, это самое прекрасное, что судил мне Господь в моей жизни, однако меня теперь не оставляет ощущение, словно это огромное блаженство таит в себе огромную долгую боль... Корнелия... как я смогу забыть этот миг?!

— Господь с вами, — испуганно вымолвила она, — Густав, дорогой мой единственный друг, который только и был у меня на всем белом свете, когда я в слепом заблуждении желала возвыситься над моим полом... забывать его никак нельзя; если б я когда-нибудь могла забыть, то возненавидела бы себя... И вы тоже сохраните для меня в любви и правде ваше большое прекрасное сердце.

Неожиданно он вскинул взгляд, поднялся, шагнул вперед, стал перед нею — высокий, сильный мужчина, — воскликнул:

— Я, наверное, и сам не знаю, сколь богато мое сердце; вот сию минуту в нем родилось решение, удивительное для меня самого, но это и к лучшему: в задуманное путешествие я отправлюсь без промедления, завтра же... я никак не могу поверить в новое счастье... быть может, встреча двух сердец — всего лишь мгновение, вспышка молнии, а потом опять настанет ночь? Давай испытаем наши сердца. Эта минута никогда не забудется, но что она принесет?! Да пусть приносит все, что ей дóлжно и можно принести... и солнце, что светит на небесах, в один прекрасный день непременно осияет плод нынешнего цветка, каков бы он ни был... я знаю только, что снаружи теперь другой мир, другие деревья, другой воздух — и я другой человек! О Корнелия, помоги мне высказать, сколь дивное звездное небо распахнулось в моем сердце, безоблачное, светлое, блистающее, словно мне дóлжно излить его в творения, огромное, как само мирозданье... но, увы, я не умею, я ведь даже не могу сказать, сколь безгранично, сколь невыразимо и вечно я люблю вас и хочу любить, пока жива хоть малая частица моего сердца.

И сам юноша, и его речи повергли Корнелию в необычайное удивление. Летами ему ровесница, она казалась пышно распустившимся цветком, он же порою был сущим отроком. Сознательно ли, нет ли, она до срока выманила из него любовь — в один миг он возмужал; прямо на глазах он делался все краше, ибо душа и любовь озаряли его лицо, и она смотрела на него с восторгом, а он стоял перед нею такой красивый, такой сильный, в нем уже угадывалась грядущая жизнь духа и грядущее величие оного, и все же он был еще невинен, как отрок, и не прозревал божественный огнь, что играл вокруг его чела.

Душа способна любить только душу, а гений воспламенит лишь гений.

Теперь и Корнелия встала, подняла на него свои прекрасные глаза, и в улыбке ее сквозило все, что было в ее жизни доброго, и благородного, и прекрасного, беспредельная полнота доброго сердца, а она не знала этого и думала, что слишком бедна и не сможет вознаградить то сердце, что сейчас раскрывалось перед нею. Он же в этот миг душою обещал себе, что, пока в нем есть хоть искра жизни, он будет стремиться предстать перед всеми на свете людьми в величии духа и деяний — только бы воздать ей за то, что она дарит ему свою прекрасную жизнь всего-навсего под залог его сердца.

Между тем они подошли к окну и, произнося в душе цветистые речи, внешне были молчаливы и все более скованны.

Странной бывает душа в своей невинности: когда блаженство первой любви впервые потоком обрушивается на нее и тотчас отступает, первое ее побуждение — бежать, даже от любимой, унести эту безмолвную силу в одиночество.

Вот так оба и стояли у окна, так близко и так далеко друг от друга. Вошедшая нянюшка снова вернула их к реальности. Ему удалось завести разговор о своем путешествии и о планах, а когда нянюшка заметила, что можно и письмо написать и рассказать в нем о горах, лесах и речках с тем же мастерством, с каким он частенько делал это на прогулках, — он искоса, несмело взглянул на Корнелию и увидел, как она покраснела.

Когда нянюшку в конце концов опять куда-то позвали, он тоже тихонько взял шляпу и произнес:

— Прощайте, Корнелия!

— Счастливого вам путешествия, — ответила она и добавила: — Напишите мне письмо.

Ей уже недостало храбрости хотя бы словом намекнуть на недавнюю сцену. Она не решилась попросить, чтобы он отложил поездку, а он не решился сказать, что предпочел бы не ехать, и они разошлись, но в дверях он еще раз оглянулся: его милая стыдливо стояла подле цветов.

Когда же он очутился на улице, она поспешила к образу Девы Марии, опустилась на колени и сказала:

— Милосердная Матерь Божия, заступница сирот, услышь мой обет: отныне и навсегда я стану кротким невзрачным цветком, который он с радостью укрепит на своем прекрасном сердце артиста и поймет тогда, как сильно я люблю его, люблю навеки.

И снова у нее хлынули слезы, на сей раз тихие, теплые и благодатные.

Так впервые расстались два человека, только-только успевшие найти друг друга. Кому ведомо, что принесет грядущее? Оба — невинные, смятенные сердца; самое жгучее и единственное желание у обоих — сделать все возможное, только бы оказаться достойными друг друга, только бы обладать друг другом, всегда, во веки веков.

Ах вы бедняжки, ведомо ли вам благородство человеческого сердца и ведомо ли его коварство?

Плодный фрагмент

После описанной выше сцены минул не один год, но сведения об этом периоде отсутствуют. Какой огонь, какая борьба пылала меж ними — кто знает? Сохранился лишь совсем маленький фрагмент более позднего времени, и я охотно познакомлю вас с ним.

Несколько лет назад в Париже я однажды в ресторации случайно стал свидетелем бурного спора по поводу достоинств двух картин, только что представленных на выставке. Как обычно бывает, один превозносил первое полотно, другой — второе, но все хором твердили, что ничего подобного новое время пока не видело, а поскольку никто не знал, кем эти картины писаны, страсти разгорались еще пуще.

— Я знаю художника, — воскликнул некий долговязый господин, — прошлым летом он часто поднимался на башню Нотр-Дам и был очень бледен и молчалив. Теперь он, говорят, в Южной Америке.

— Автор этой картины — Музар[1], — сказал другой, — он просто решил одурачить весь свет.

---

[1] Имя, очевидно, вымышленное; французский художник с такой фамилией в 30-е гг. прошлого века неизвестен.

— Да, явно кисть Музара, — вскричал третий, — уверяю вас, картины потому и подписаны вымышленным именем, что созданы рукой большого мастера.

Снова смех и громкие возгласы, спор продолжался, а я отправился из ресторации в Салон, взглянуть на эти хваленые полотна. Нашел я их легко, и воистину они поразили меня ничуть не меньше, чем других зрителей, стоявших рядом со мною. Это были ночные пейзажи — впрочем, нет, не пейзажи, а самые настоящие лунные ночи, да такие поэтичные, такие воздушные, такие пленительные, каких я в жизни не видывал. Перед обеими картинами все время толпились люди, и, как ни странно, при виде их даже у представителей низших сословий вырывался возглас восхищения, ибо эта натура никого не оставляла равнодушным. На первом полотне был большой город, увиденный сверху, — целое море домов, башен, церквей, купающихся в лунном свете; на втором — летний речной ландшафт в облачной, предгрозовой духоте лунной ночи.

«Густав Р., Германия» — сообщал каталог, и нетрудно вообразить, какая цепочка воспоминаний разом ожила во мне, едва я прочел «Густав», — теперь я прекрасно знал, кто этот художник. Вот, значит, как отыскалось счастье твоего сердца и расцвела твоя любовь! — подумал я. Бедный, обманутый юноша!.. Поймут наши читатели и то, о чем в Париже тогда говорили как о чудачестве, причуде художника: на каждой картине была изображена кошка — честный, добрый, простецкий Котофей.

Я оставался на выставке почти до закрытия, посмотрел и другие картины. А когда, уже направляясь к выходу, снова проходил мимо этих двух полотен, обратил внимание, как служитель галереи знаком показывает стоявшей перед ними даме, что пора уходить, Салон закрывается. Дама еще секунду помедлила, затем оторвала взгляд от картин и повернулась — никогда не доводилось мне видеть более прекрасных очей... Она опустила вуаль и пошла прочь.

Я тогда и помыслить не мог, кто она такая, лишь теперь, спустя годы, могу сообщить, что в тот день дама поехала из Салона прямо домой, на улицу Сент-Оноре; там она прошла к себе в спальню, опустила шторы и, всплеснув руками, зарылась лицом в диванные подушки. Тихий блеск и сияние этих чистых, безгрешных картин трепетали в ее мозгу, словно тихие-тихие укоры души, безмолвной, но глаголющей лучами света, которые проникают в самую глубину и существуют вечно, сияют день и ночь, — звуки умолкают, а им несть конца.

Париж ни о чем не ведал, когда знаменитейшая его красавица не появилась однажды ни в одном из светских кружков, красавица, которая воспламеняла тысячи сердец и тысячами играла, — Париж не ведал, что она сидит дома, в затемненной спальне, и жгучие беспомощные слезы текут по ее щекам, слезы, от которых ее истомленное сердце готово разорваться — но все напрасно, напрасно! Спокойная и холодная высилась перед ее душою мощь случившегося, и сломить ее невозможно во веки веков... а далеко-далеко от нее, в девственных скалах Кордильер, бродил незнакомый, сильный, исполненный презрения человек — искал новые небеса для своего мятущегося, творящего, жаждущего, по-прежнему безгрешного сердца.

Несколько слов об Адальберте Штифтере

Ненастным ноябрьским днем 1987 года к дверям гостиницы «Марияхильф» в городе Граце, столице австрийской земли Штирия, подкатил автобус с советскими туристами. Пассажиры — в их числе и автор этих строк — спешили сойти на землю и размять ноги, затекшие от многочасового сидения. В Грац мы прибыли из другого австрийского города — Клагенфурта, откуда выехали в семь часов утра. Дождь со снегом, застигший нас в пути, перестал, и в лучах проглянувшего солнца сверкнули золотом буквы на белой доске, укрепленной на стене здания. Я подошла поближе.

Гостиница «Мариях ильф»
(прежде «У Золотого коня»).
В июне 1857 года
здесь на 52-м году жизни
останавливался
писатель Адальберт Штифтер,
путешествуя в почтовой карете из Линца
в Клагенфурт...

Я поинтересовалась у моих спутников, знают ли они такого писателя. Филологи-германисты, что были в группе, разумеется, знали, читали в оригинале, а остальные? В лучшем случае когда-то что-то слышали...

Вряд ли будет преувеличением сказать, что австрийский писатель Адальберт Штифтер — один из величайших прозаиков XIX века. Однако его творчество трудно уложить в какой-нибудь литературоведческий «изм». И не потому, что он, как всякий большой художник, выходит за рамки того направления, которое представляет: Штифтер не представляет никакого направления вообще. Он многим обязан немецкому романтизму и его предтече Жан Полю, но больше тяготеет к эстетике веймарского классицизма и высшим образцом для себя считает Гёте. Штифтера нередко сближают с искусством бидермейера, находя у них общее в любовании налаженной домашней жизнью, красивыми и удобными вещами. Но идеал Штифтера значительно выше. Взглянем еще раз на дату, запечатленную на мемориальной доске: 1857 год. Штифтер позволяет себе роскошь отправиться в путешествие, по тем временам далеко не пустячное (Клагенфурт, потом Триест). У него только что вышел первый роман — «Бабье лето». Не лишним будет вспомнить, что в том же году Гюстав Флобер выпустил свою «Госпожу Бовари». Но сколь разительно отличается роман Флобера с его жестоким реализмом, который сам автор предпочитал называть натурализмом, от светлой идиллии «Бабьего лета», книги о духовном и нравственном самосовершенствовании человека через преодоление страстей, познание природы, служение искусству.

Что несомненно, так это не раз отмечавшееся родство Штифтера, певца Богемского леса, с такими американскими писателями и мыслителями, как Фенимор Купер, Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэвид Торо. Эмерсон говорил: «Красота — это печать Бога на добродетели». Разве не близки к этому слова, записанные однажды Штифтером: «Прекрасное — это не что иное, как Божественное в одеянии прелести»? В прекрасной природе, которую так вдохновенно описывает австрийский автор, он ищет проявления Божественного, наставление в добродетели, посылаемое человеку.

Адальберт Штифтер родился в 1805 году в местечке Оберплан в Верхней Австрии, в семье потомственного ткача и льноторговца. В 1817 году он потерял отца, погибшего от несчастного случая, и вскоре по настоянию деда, от которого не укрылись пытливый ум мальчика и его тяга к знаниям, был послан учиться в Кремсмюнстер, в бенедиктинское аббатство. Преподавание в аббатстве, где имелись богатая библиотека, музей, обсерватория, велось еще в духе «иозефинистского» просвещения (по имени императора Иосифа II) и ставило своей целью воспитание всесторонне развитой личности. Блестяще окончив гимназию у бенедиктинцев, Штифтер в 1826 году отправился в Вену, где записался в университет и начал слушать курс права, но посещал также лекции по математике и естественным наукам. Солидная подготовка позволила Штифтеру заняться преподаванием: он стал давать частные уроки и со временем приобрел репутацию превосходного учителя, что открыло ему двери в дома австрийской знати, даже в дом всесильного канцлера Меттерниха. В Вене Штифтер начал пробовать свои силы в искусстве, сначала в живописи, потом в литературе. Он писал пейзажи, маслом и акварелью, несколько вещей ему даже удалось продать. Весной 1840 года в «Венском журнале искусства, литературы, театра и моды» был опубликован его рассказ «Кондор». Литературный дебют Штифтера оказался удачным: читающая публика оценила достоинства сюжета и стиля автора. Поэтическое восприятие мира, выраженное с благородной простотой, точность в выборе изобразительных средств, музыка слова — таковы свойства прозы Штифтера, впервые обнаружившие себя в этом ее небольшом образчике. За «Кондором» последовали «Деревня в степи», «Полевые цветы», «Горный лес» и другие рассказы. К началу 50-х годов писатель смог уже собрать свои произведения, напечатанные в журналах, и выпустить их в нескольких томах под общим названием «Этюды». Вошла в «Этюды» и одна из самых знаменитых повестей Штифтера «Записки моего прадеда», которую он продолжал отделывать до конца жизни, стремясь придать ей возможно большую эпическую объективность. Герой этой повести доктор Августин, автор найденных его потомками «Записок», воплощает самый дорогой Штифтеру тип человека — носителя высокой нравственности, гуманиста и просветителя, одного из тех, кто неустанно «возделывает свой сад» и обустраивает землю. Перебирая «немых свидетелей прошлого» — старые вещи, оставленные предками, — правнук доктора размышляет об истории человечества, которая почему-то уделяет столько внимания ненависти между людьми, кровопролитию, между тем как на самом деле человечество продолжает существовать благодаря «златому потоку любви», скрепляющей семьи, родовые связи, создающей преемственность поколений.

В 1853 году у Штифтера вышли два томика рассказов для юношества «Пестрые камни» со знаменитым предисловием, в котором он изложил свои взгляды на предмет искусства. Взяться за это предисловие Штифтера вынудили нападки критиков, упрекавших его в мелочном описательстве, в пренебрежении к социальной действительности. (Особенно усердствовал в этих нападках писатель Фридрих Геббель.) Вынужденный оправдываться, Штифтер сформулировал, что для него является главным, а что второстепенным. Не бури и землетрясения, не извержения вулканов представляются ему великими, ибо они единичны и объясняются односторонними причинами. Напротив того: веяние воздуха, журчание воды, произрастание злаков, зеленеющая земля, сияние неба, мерцание звезд — вот что считает он истинно великим, ибо именно в этих малозаметных взгляду явлениях природы действует ее скрытая сила, сохраняющая и обновляющая мир. То же относится и к человеческому обществу: «...жизнь, исполненная справедливости, простоты, самообуздания, благоразумия, практическая деятельность в своем кругу, восхищение прекрасным, соединенные с ясным и спокойным волеустремлением, — вот что я считаю великим; душевные потрясения, страшные приступы гнева, жажду мести, воспаленный ум, который стремится к действию, все переворачивает вверх дном, меняет, разрушает и часто в возбуждении губит собственную жизнь, я считаю ничуть не более великими, а, напротив, более мелкими, ибо они суть производные единичных и односторонних сил...»

Революция 1848 года, которую Штифтер, несмотря на его в целом консервативные взгляды, вначале приветствовал, надеясь на благотворные перемены, позднее ужаснула его бесчинствами толпы во время октябрьского восстания в Вене и кровавой расправой с восставшими. Он покидает столицу и переезжает с семьей в Линц, где в 1850 году, сознавая необходимость служить делу народного просвещения, соглашается занять должность инспектора начальных школ Верхней Австрии.

Служба в ведомстве образования отнимала у Штифтера много времени и сил. Его угнетали бедность школ и учителей, повседневные заботы об их обеспечении. И все же он успевал заниматься делами искусства, сотрудничая в Совете по охране памятников старины, и, конечно, продолжал писать. После «Бабьего лета» Штифтер опубликовал несколько рассказов («Потомки», «Лесной странник» и другие), но в основном работал над большим историческим романом «Витико», где, опираясь на старинные хроники, изображал борьбу за власть в Богемии и Моравии XII века и роль в этих бурных и кровавых событиях легендарного героя Витико, который воплощает в романе принцип справедливости и бесстрашной верности долгу.

Последние годы жизни писателя омрачены несчастьем в семье — необъяснимым самоубийством его приемной дочери Юлианы (1858). У него развивается тяжелая болезнь печени. В 1865 году он уходит на пенсию; ему удается закончить роман и еще увидеть его напечатанным (1867). Личные страдания Штифтера усугубляет горестное для его родины событие — поражение Австрии в австро-прусской войне 1866 года. В январе 1868 года, измученный нестерпимыми болями, он полоснул себя по горлу бритвой и через двое суток скончался.

Замечательный и во многом загадочный писатель, Адальберт Штифтер, по сути дела, остался не понят современниками. Правда, они благосклонно приняли его ранние рассказы, еще окрашенные в романтические тона, но выработанная им с годами эпическая бесстрастность, неторопливость повествования (что впоследствии дало основание сравнивать его прозу с текстами Библии и исландских саг) постепенно стала вызывать у многих раздражение; объявив сочинения Штифтера «скучными», их отправили пылиться на полку.

Одним из первых понял и полюбил Штифтера Ницше, особенно восхищавшийся его романом «Бабье лето».

«Штифтер — один из самых замечательных, глубоких, подспудно смелых и поразительно захватывающих повествователей в мировой литературе...» — писал в 1949 году Томас Манн.

«Штифтер мог бы стать родоначальником нового, гуманного реализма», — сказал в 1966 году Генрих Бёлль.

XX век пересмотрел отношение к Штифтеру: после первой мировой войны начался его подлинный ренессанс, и в наши дни количество литературы *о нем* просто необозримо. Новейшие исследователи словно бы сняли с его вещей верхний слой, обнаружив под видимой монотонностью — скрытый драматизм, под, казалось бы, ясными, однозначными картинами — иносказание. Некоторые его повести, например «Авдий», получили совершенно новое толкование. Да и в безмятежной идиллии «Бабьего лета» усматривают теперь не бегство от реальной жизни, а противопоставление ее жестоким, враждебным природе законам других ценностей, а также поиск путей для их обретения.

Писателя Адальберта Штифтера у нас действительно мало знают. И это неудивительно: за последние 80 лет на русском языке его издавали всего один-два раза. Думаю, что читатели «Иностранной литературы» будут благодарны редакции журнала за публикацию рассказа Штифтера «Кондор» — первого значительного произведения этого автора.

С. ШЛАПОБЕРСКАЯ

ЮРИЙ КОЖЕВНИКОВ

«ПОЭЗИЯ — СИЗИФОВ ТРУД...»

Поэзия — сизифов труд,
И нет ему конца -—
Нет времени ни просто жить,
Ни пот стереть с лица.

Гора одна, валун один,
Сизиф всегда один,
Но сколько он втащил камней
На тысячи вершин...

Эти строки принадлежат перу поэта и переводчика Юрия Кожевникова (1922—1992). Написать о нем, высказать свое восхищение и благодарность, попытаться расширить круг знающих и ценящих его талант — впервые я ощутила такое желание, вернее, такую потребность, когда вышел в свет сборник Джордже Баковии в его переводе. Тогда же обещала Юрию Алексеевичу, журналу «ИЛ» и самой себе сделать это. Говорят, обещанного три года ждут... ну а я протянула целых шесть: три при жизни и еще три после смерти Кожевникова. Желание и потребность за это время превратились в тревожащий совесть долг, который я наконец попытаюсь выполнить сегодня.

Представленная подборка переводов извлечена из папок, носящих общее, чуть ироничное — так и видится мягкая усмешка Юрия Алексеевича — название: «Антология для домашнего употребления». Все стихи переписаны от руки, на отдельных листках, а самый первый содержит датированное 26 июля 1971 г. короткое вступление:

О незнакомые знакомцы,
Для вас я незнакомый незнакомец,
Я даже современникам неведом,
Но все же мы единая семья,
Которая надеется на эхо.

Двадцать с лишним лет собирались эти папки. Переводы были обречены на домашнее употребление по двум причинам: во-первых, умудренный жизненным опытом и, в частнос-

© Н.Мавлевич. Вступление, 1997

ти, многолетним опытом работы в ИМЛИ, Кожевников не обольщался возможностью публикации большинства из них — это, прежде всего, относится к переводам с известных ему румынского и французского; во-вторых, источниками для переложений с других языков служили переводы на румынский, выполнявший функцию языка-посредника. Просматривая румынские литературные журналы, Кожевников выбирал стихи, разбудившие эхо в его душе, и старался облечь услышанную мелодию в слова родного языка, сохранить ее отзвук для себя самого и для близких, единственных читателей, точнее, слушателей его антологии. Следует поэтому иметь в виду: публикуемые переводы испанских, шведских и иных поэтов — возможно, не переводы в строгом смысле слова, а поэтические отголоски, сохраняющие, однако, ту степень адекватности, которая возможна при таком двойном преломлении.

В предисловии к двуязычному румынскому изданию Эминеску (Бухарест, 1981) Кожевников сравнивает задачу переводчика с квадратурой круга: стремясь к бесконечному приближению к подлиннику, перевод никогда не сольется с ним. «На это переводчик может не надеяться, но он может надеяться на то, что переводимое им произведение обретет самостоятельную жизнь уже в другой, родной для него поэтической и языковой стихии». Вторичные, если можно так выразиться, переводы домашней антологии, однако, имеют некую самодовлеющую поэтическую ценность. Кроме того, неуемное любопытство Юрия Кожевникова к самым разным культурам и умение находить созвучность в непривычном материале сродни его страсти к путешествиям. Недаром единственный прижизненный сборник его стихов называется «Стихи из разных мест». Значимость открытий, которые он делал в каждом путешествии, нисколько не зависела от дальности расстояния. Путешествие за околицу могло оказаться столь же плодотворным, как поездка в Испанию. Главное — свежесть взгляда, готовность к новым впечатлениям, неостывающая способность удивляться всему — цветку, звуку, камню, собору, простоте и сложности мира — и бесконечное жизнелюбие.

И мальвы, выбежав к забору,
Таращат детские глаза, —

каждый раз, вспоминая Юрия Алексеевича, я вспоминаю эти его строчки.

По существу, вся жизнь Кожевникова была путешествием, незаметным для окружающих. Внешние и внутренние вехи этой жизни не совпадают. Многие из работавших с ним бок о бок не подозревали о масштабе его таланта. Дальним плаванием по странам и векам, походом за эхом был и его путь поэта-переводчика. Три главных порта были в этом плавании: Эминеску, Баковия, Вийон.

Сохранились наброски незаконченной статьи Кожевникова о художественном переводе, где он пишет:

«У переводчика должно быть свое амплуа. Это вовсе не значит, что он должен в своей переводческой деятельности ограничиться одним, двумя, тремя авторами, близкими ему по духу. Круг авторов может быть широк и разнообразен, но каждый раз переводчик обязан добиться душевного контакта с автором, пусть не во всем объеме его творчества, пусть только с автором одного, в данном случае переводимого произведения. Если такого контакта у переводчика не возникает при первом знакомстве с оригиналом, он обязан добиться его, перечитывая и вчитываясь в избранное произведение, вживаясь и изучая его. Процесс установления душевного контакта может длиться на протяжении всей работы над переводом. Так это обычно и бывает, ибо <...> творческий процесс перевода мало чем отличается от процесса создания оригинального художественного произведения.

Эмоциональный, духовный контакт — важнейший момент в переводческой деятельности. Его можно назвать моментом вдохновения. Если в разных инструментах совершенно одинаково настроить две струны, то тронь одну — зазвучит и другая. Переводчик — это и есть «другая» струна. И если она не звучит, то ее нужно настроить на соответствующую ноту и тональность.

В своей переводческой деятельности я несколько раз испытывал ощущение, похожее на вспышку бенгальского огня, от таких контактов, чаще всего с поэтами. Так было с Эминеску, с Баковией, Благи. Соприкосновение с творчеством этих поэтов превращалось в событие моей личной жизни, в интенсивное духовное переживание, порождавшее непреодолимое и бескорыстное желание перевести их стихи на свой родной язык. И если впоследствии эти переводы оказались частично напечатанными, то это уже «иной рассказ».

Вживание, о котором пишет Кожевников, длилось годами и не ограничивалось только эмоциональным постижением. Об Эминеску, поэте, любимом еще в юности, он написал диссертацию и монографию. Перевод Вийона сопровождался изучением литературы, философии, истории средневековья и продолжался десять лет. Кожевников сравнивает перевод с алхимией, «когда процесс соединения элементов приводит к чуду, к получению золота и только золота. Золото в литературе — это образ». Однако алхимия венчает, а не отменяет химию. Считая, что «гармония без системы не существует», Кожевников скрупулезно иссле-

дует ритмический, синтаксический, музыкальный строй румынского языка.

Почему он выбрал вторым, так сказать, рабочим языком именно румынский? А никакого выбора не было, вернее, выбирала судьба в лице армейского начальства: в конце войны Ю.Кожевников, служивший в пограничных войсках, поступил в Военный институт иностранных языков, где курсантов распределили по языкам просто и беспристрастно — в соответствии с алфавитным порядком. От А до В — английский, от Г до Е — болгарский, и так далее... на букву К пришелся румынский... Молодой поэт был жестоко разочарован, однако приказ есть приказ. «Начав изучать румынский язык, я никакого представления не имел о румынской литературе, — признавался Кожевников. — И практическое изучение языка не имело для меня внутренней цели. Все изменилось, когда совершенно случайный человек в вагонной тесноте, напоминавшей вавилонское столпотворение и царившей на железных дорогах послевоенного 1946 года, прочел мне несколько стихотворений Эминеску. (Это было по дороге в Молдавию, на практику. — *Н.М.*) После этого я раздобыл сборник стихов Эминеску, и с того момента в моей жизни произошел решительный переворот: я открыл для себя великого поэта. Такое ослепительное открытие нельзя было хранить про себя. Я испытывал необходимость кричать о нем на весь мир. Для этого было только одно средство — перевод. Изучение языка получило внутренний стимул, появилась цель, которая, чего я тогда не предвидел, стала одной из целей моей жизни»[1].

Насколько кропотливым был труд переводчика и какую невероятную требовательность к себе он предъявлял, можно судить по такому его признанию:

«...я более тридцати лет ждал того момента, когда строфа, открывающая «Лучафэрул», отольется в форму русского стиха, естественную и точную по отношению к подлиннику. <...> Я твердил про себя эти строки, возникали различные варианты перевода, туманные, приблизительные, порой в виде отдельных, плохо связанных между собою слов. Я их не записывал, зная, что это не то, что нужно. Я ждал. На некоторое время, иногда надолго, я забывал строки Эминеску. Другие заботы заслоняли их, но глубоко в подсознании они продолжали присутствовать, они уже были тем воздухом, без которого не можешь жить, которым дышишь, не замечая его. Шли годы, десятилетия (как это, наверное, неправдоподобно звучит, но было именно так!), и наконец наступила счастливая минута, взошла звезда — первые четыре строчки поэмы отлились в русские стихи»[2]. Переводы Эминеску, выполненные Кожевниковым и сочетающие безукоризненную точность с художественным совершенством, стали подлинной классикой:

Снова мачты покидают
Берега беспечные.
Сколько их переломают
Ветры, волны вечные?

Снова птиц зима торопит,
Гонит над раздольями.
Сколько в море их утопят
Волны, ветры вольные?

Идеалам ли обеты,
Судьбы ль бессердечные —
Гонят всех по белу свету
Ветры, волны вечные.

В песнях темными пребудут
Мысли подневольные —
За собой влекут их всюду
Волны, ветры вольные.

Кожевников представил соотечественникам все эпохи румынской поэзии, от фольклора до современной. Он перевел такие жемчужины народного творчества, как баллады «Миорица» и «Мастер Маноле»; его стараниями весьма полно представлено на русском языке творчество трех великих мастеров: Михаила Эминеску, Лучиана Благи и Джордже Баковии; из множества переведенных им новейших поэтов достаточно назвать имена Захарии Станку, Никиты Стэнеску, Аны Бландианы, Марина Сореску, Вероники Порумбаку, Виолетты Замфиреску; со многими из них его связывала многолетняя дружба. Не были обойдены вниманием переводчика и молдавские поэты, так, например, им подготовлен сборник стихов Григоре Виеру. Но, конечно, в этом далеко не полном пестром списке были у него особые предпочтения.

---

[1] Предисловие к кн.: *М.Эминеску*. Стихи. Бухарест, 1981, стр. 39.
[2] Там же, стр. 46.

Джордже Баковию, румынского поэта «серебряного века», Кожевников считал кровно близким Эминеску. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что родство между Баковией и его русским переводчиком было еще ближе, достигая почти тождества и заставляя думать чуть ли не о переселении душ. Многое из того, что Кожевников писал о Баковии в предисловии к сборнику «Желтые искры» (М., 1990), можно отнести к нему самому. Это касается и небогатой яркими событиями жизни, и главных ценностей этой жизни (на вопрос «Что вы считаете лучшими творениями в вашей жизни?» — он мог бы ответить словами Баковии: «Стихи и женитьбу»). Кожевников-переводчик виртуозно умел настраиваться в резонанс подлиннику, но в случае с Баковией обе струны одинаково настроены уже самой природой. Поэтому так органичен перевод, действительно обогащающий русскую поэзию чистейшей музыкой:

Фиолетовою тенью
Весь в росе пришел рассвет —
И Венеры силуэт
Кажется живой сиренью.

Стук в оконный переплет
Розою окровавлённой —
Посмотри, цветок мой сонный,
На сиреневый восход.

Плач воды все длится, длится,
Хоть и спит на свете все —
Мельничное колесо
Как в лиловом сне кружится.

Грудь лилейная — букет
Белых лилий, сонный-сонный...
Розою окровавлённой
Бьет в окно лиловый цвет.

Фиолетовые тени
Краской запятнал рассвет —
И Венеры силуэт
Как увядший куст сирени.

(«Утреннее»)

В тот памятный день, когда мы с Юрием Алексеевичем обсуждали несостоявшуюся статью о сборнике Баковии, он предложил мне, вместо всяких толкований и долгих объяснений, процитировать тютчевские строки:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые, —
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Интонация скорбной песни действительно пронизывает творчество Баковии, она же присуща поэту, о котором мы говорим сегодня, ограничиваясь, как того требует рубрика, лишь одной стороной его деятельности — поэтическим переводом. Однако это ограничение условно, оно подобно главе в учебнике физиологии: можно рассматривать отдельно любую систему организма, но действует она только совокупно со всеми остальными. Часто приходится слышать, что крупные поэты — плохие переводчики, поскольку неизбежно переиначивают любого автора на свой лад. С другой стороны, ремесленный перевод может быть формально точным, но мертвым. Мера свободы и точности — это, по существу, главная проблема перевода, как поэтического, так и прозаического. В соблюдении этой меры состоит искусство переводчика. Кожевников — поэт малоизвестный, но, бесспорно, подлинный, высокоодаренный. Да, выбирая стихи иностранных собратьев, он искал новые русла для выражения своего отношения к миру, в этом смысле его домашняя антология очень показательна. Но он в высшей степени владел и актерской стороной переводческой профессии, умел перевоплотиться и не заслонить собою автора. Достаточно взглянуть на диапазон его работ: от Вийона и румынского фольклора до Аполлинера и Хименеса.

Спутником последних лет жизни Юрия Кожевникова стал Франсуа Вийон. Стал он и членом семейства, присутствующим в разговорах, сидящим за обеденным столом, оценивающим хаотический поток событий, что прорвал заплесневелую за десятки лет плотину и грозит перемешать добро со злом. Перевод делался не на заказ, а по внутренней тяге. Воз-

можно, роль магнита сыграла трагическая ирония, которую Кожевников всегда остро чувствовал в искусстве и в жизни. К сожалению, он умер, не увидев готовой книги, которая вышла в 1995 г. в издательстве «Русслит». Книгу эту можно назвать шедевром в буквальном, средневековом смысле слова. Редкие по нашему времени полиграфические достоинства, бережная работа художника и, наконец, полный, впервые переведенный одной рукой текст Вийона с волнующим предисловием и педантичным комментарием (то и другое выполнено переводчиком).

Не стану обсуждать сравнительные достоинства переводчиков Вийона — это предмет особого разговора. Отмечу только, что перевод Кожевникова, на мой взгляд, наиболее целостен и отличается тем, что сохраняет старинный строй поэзии Вийона при полной естественности ее звучания, то есть избегает как тяжелой архаики, так и соблазнительной модернизации. Вот, например, в его версии знаменитая «Баллада, написанная для состязания в Блуа»:

У родника я жажду в летний зной,
Я лязгаю зубами в огневице,
В своей стране — я на земле чужой,
Зимой в лесу костром не отопиться.
Я гол, как червь, одетый в багряницу,
Жду без надежды и смеюсь сквозь стон,
В покоях пышных скукою сражен,
Среди веселья жду, что слезы хлынут,
Могучий, я бессилен, как Самсон,
Я всеми принят и всегда отринут.

Все постоянство в зыбкости одной,
Все смутно пред глазами очевидца.
Я сомневаюсь в истине простой,
Я, лежа на земле, боюсь свалиться.
Едва проснусь, ночь наяву мне снится..
Наукой правит случай, не закон,
Весь выигрыш я ставлю вновь на кон,
Наследства жду от тех, кто грош не вынут.
Я все имею и всего лишен,
Я всеми принят и всегда отринут.

К чему мне заниматься суетой,
Когда добычи не хочу добиться.
Кто громко хвалит, тот насмешник злой,
Кто режет правду — обмануть стремится.
Друг истинный поможет убедиться,
Что лебеди всегда черней ворон.
Кто пакостит, мне помогает он.
Я помню все, но смысл из знанья вынут,
Мне ложь и правда на один фасон,
Я всеми принят и всегда отринут.

Принц милосердный, знайте, что закон
Земной я чту с тех пор, как был рожден,
Но к мудрости я знаньем не подвинут.
Что нужно знать мне? Как достать дублон.
Я всеми принят и всегда отринут.

Предисловие к томику Вийона заканчивается благодарностью всем прямым и косвенным помощникам: жене, выверившей «весь перевод от первого до последнего слова», коллегам, поддержавшим и облегчившим работу, и Феликсу Мендельсону, создателю книги, «впервые представившей на русском языке почти все стихи Вийона и сделавшей с тех пор возможным соперничество на этом благородном поприще» (стр. 81). Казалось бы, незначительная деталь, однако я намеренно останавливаюсь на ней, потому что она свидетельствует о порядочности и скромности переводчика, качествах несуетных, неброских, а также о бескорыстном чувстве цехового братства, так часто вытесняемом явной или скрытой завистью. Все это вещи, не заменимые ни эрудицией, ни даже талантом и составляющие непременное условие мастерства. Ведь профессия, которой посвящена эта рубрика, требует, прежде всего, нравственной цельности. Юрий Кожевников был Мастером, и этим сказано все.

Н.МАВЛЕВИЧ

АНТОЛОГИЯ
для домашнего употребления

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ

(Румыния)

Люблю тебя

С алых губ сорвались и умчались
Две белые птицы.
Полетели искать тебя,
Трепеща крылами.

Их поранила грань горизонта,
И вся даль обагрилась кровью.

...И вернулись они,
Трепеща крылами,
Две красные птицы,
На белые губы.

Пишу я...

Пишу я, когда тоскую,
Чернилами слез бесконечных
На подушке поэму...
Жаль, никогда не могу прочесть ее утром!

Пишу я, когда ликую,
Улыбкой тайной, как птица
По небу, поэму.
Жаль, что у солнечных трелей памяти нету!

Пишу, когда кажется все мне серым,
Копотью радости и желанья
На подушке, на туче, бумаге.

Пишу, когда снова в тебе я свет обретаю,
Словно горный источник.
Пишу я улыбкой надежды,
Пишу, торжествуя, в тетради
И на обрывках разогнанных туч.

МАРИЯ ВИНС

(Швеция)

Я так одинока

Я так одинока,
и все же руке моей мягко в твоей,
хоть взглядом ты вдаль устремился,
за облаком мыслью следишь.

Я так одинока,
и все же лью слезы тебе на плечо,
хотя занимается утро
твое в незнакомой стране.

Я так одинока,
и все же мы в лодке с тобою одной,
а наши желанья, прощаясь,
по разным тропинкам идут.

Я так одинока,
и все же во мне твое имя поет,
лучится твой смех среди ночи,
во мне твои ласки, и только
живешь ты в чужой стороне.

ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС

(Испания)

***

О разум, дай
мне точное название вещей!
...чтоб слово мое стало
самою вещью,
воссозданной душой моею вновь.
...чтоб те, которые вещей не знают,
через меня бы познавали вещи,
чтоб те, которые о них забыли,
через меня о них бы вспоминали,
и даже те, кто любит эти вещи,
через меня б их постигали снова...
О разум, назови
мне имя точное свое,
его, мое, вещей!

Я — не я

Я — не я.
Я — тот,
кто идет рядом со мной и кого я не вижу,
кого порой замечаю,
кого порой забываю,
тот, кто скромно молчит, когда я говорю,
кто снисходительно прощает, когда я ненавижу,
кто разгуливает там, где я никогда не бывал,
кто останется в живых, когда я умру.

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР

(Франция)

Мост Мирабо

И наша любовь словно в Сене вода
Под мостом Мирабо
Все течет в никуда
Страсть за грустью волной набегает всегда
Дни плывут наяву
Минет ночь я живу

Друг на друга глядим держим руку в руке
И на нас как на мост
Словно в тихой тоске
Вечно смотрит волна пробегая в реке
Дни плывут наяву
Ночь прошла я живу

Утекает любовь как вода как река
Утекает любовь
Ах как жизнь коротка
Как желанием властным надежда крепка
Дни плывут наяву
Ночь прошла я живу

Дни текут бьют часы слышен времени ход
И недели и год
Кто любовь мне вернет
Под мостом Мирабо только Сена течет
Дни плывут наяву
Минет ночь я живу

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ

(Франция)

Притча о свече

Всю жизнь любил он
читать при свечке,
над нею часто
держал он руку, чтоб убедиться:
он жив,
живет.
И после смерти
все так же возле
свеча горела,
и только руки
теперь он спрятал.

САЛЬВАДОР ДАЛИ

(Испания)

Если вы отказываетесь изучать анатомию,
искусство рисунка, математику эстетики
и науку цвета, то позвольте вам сказать,
что это скорее признак лени, чем гениальности.

В первую очередь, рисуйте и пишите, как
старые мастера, после этого работайте
по вашему собственному вкусу — и вас
всегда будут уважать.

Художник, не стремись быть современным.
Это единственное, чего ты, к сожалению,
как бы ни старался, не сможешь избежать.

Художники, бойтесь совершенства.
Его вы не достигнете никогда! Если вы посредственны,
то сколько бы усилий вы ни прилагали, чтобы рисовать
очень, очень плохо, все равно будет видно,
что вы посредственность.

ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН

(Англия)

Кладбищенская элегия

Те, кто работал для Англии,
Похоронены дома.
Пчелам и птицам Англии
Кресты их могил знакомы.

Те, кто дрались за Англию,
Следя за падучей звездою,
Лежат — стыдно это для Англии, —
Покрыты чужой землею.

А тем, кто в правленье Англии
Принять норовит участье,
Могилы еще не вырыты,
И в этом ее несчастье.

ЭЗРА ПАУНД

(США)

Лишь то продлится в этом мире,
что ты доподлинно любил.
Все остальное станет тленом.
Пожрать у смерти нету сил
то, что ты истинно любил.
Один лишь клад тебе в наследство —
то, что ты искренне любил.
Мир чей? Он общий, мой, ничей он?
Его узнав, в аду бродил,
желанный рай ища на ощупь.
Наследство — то, что ты любил,
пожрать у смерти нету сил
то, что ты подлинно любил.

НИКИФОРОС ВРЕТТАКОС

(Греция)

Нет одиночества

Нет одиночества там, где человек
копает, или свистит, или моет руки.
Нет одиночества там, где дерево
листья качает. Там, где пчела,

отыскав цветок, на него садится,
там, где, касаясь святыми губами
материнской груди,
спит ребенок — там одиночества нет.

Творчество поэтов

Поэты обитают вне страха.
И, как солнце светит прямо, так и они говорят
без всяких околичностей. Никакая ладонь не может
заткнуть им рот,
запереть на замок их божественную страсть.
Зная, из какой глины слеплены короли, они умеют
отличать их законы от законов Господа Бога.
Они повторяют, как стража повторяет пароль,
недозволенную истину.
Поэт —
это дух земли, который возносится,
когда опускается тьма, и сияет, как молния,
в огромной ночной вышине.

НИКОС ПАПАС

(Греция)

Героическая роза

Греки десять лет
воевали с троянцами.

В гимназическом учебнике
на тридцать второй странице
до сих пор еще роза лежит,
до сих пор воюет с троянцами.

ДЖОН РОБЕРТ КОЛОМБО

(Канада)

Инвентарный список

Был
261 Папа римский.
Было
124 японских императора.
Было
36 американских президентов.

Было
        38 английских королей.
Было
        1968 лет христианства.
Было
        4666 лет Китаю.
Было

        5728 лет евреям.
Было
        1 448 365 дней,
зарегистрированных историей,
и несмотря на это
еще так мало любви,
так мало ее
в этом мире.

■

Американский авангард 60-х: тридцать лет спустя

УИЛЬЯМ ГАСС

Мальчишка Педерсенов

ПОВЕСТЬ

Перевод В.ГОЛЫШЕВА

Часть первая

1

Большой Ханс закричал, и я вышел. В хлеву было темно, а на снегу горело солнце. Ханс что-то нес от яслей. Я крикнул, но Ханс не услышал. Когда я подбежал к крыльцу, он уже был в доме.

Он принес мальчишку Педерсенов. Ханс положил его на стол, как окорок, и стал наливать чайник. Он ничего не говорил. Наверно, решил, что крикнул раз — и хватит шуму. Мама снимала с мальчишки одежду, залубеневшую от мороза. Она дышала с присвистом. Чайник налился, и Ханс сказал:

Принеси снегу и зови отца.

Зачем?

Принеси снегу.

Я взял из-под раковины большое ведро и лопату возле печки. Я старался не торопиться, и никто ничего не говорил. У крыльца был сугроб, я нарыл оттуда. Когда принес, Большой Ханс сказал:

Тут угольная пыль, неси еще.

Уголь не вредный.

Неси еще.

Уголь греет.

Этого мало. Заткнись и отца зови.

Мама раскатывала на столе тесто, и Ханс кинул мальчишку Педерсенов туда, как начинку. Почти вся его одежда уже валялась на полу, напускала лужу. Ханс начал тереть ему лицо снегом. Мама перестала снимать с него вещи и просто стояла возле стола оттопырив руки, как будто они мокрые, и глядела сперва на Ханса, потом на мальчишку.

Зови отца.

Зачем?

Сказано тебе.

Отец же. Он это.

Я знаю. Зови.

Я нашел картонный ящик из-под сгущенки и нагреб в него снегу. Оказалось маловато, как я и думал. Нашел еще один, из-под консервированного супа. Выбросил из него тряпки и губки и тоже набил снегом — разобрал весь сугроб. Снег протает сквозь дно, но это не мое дело. Мальчишка уже лежал голый. Я был доволен, что у меня длиннее.

Похож на больного поросенка.

Заткнись и зови отца.

Он спит.

Да.

© В.Голышев. Перевод, 1997

Не любит, когда будят.
Знаю. Хуже твоего, что ли, знаю? Зови.
Что от него проку?
Нам нужно его виски.
Оно ему самому нужно. В морде щель залить. Если осталось чем.
Чайник свистел.
А с этим что делать? спросила мать.
Погоди, Хед. Ну-ка, зови. Я устал разговаривать. Зови, слышишь?
С этим что делать? Все мокрое, сказала она.

Я пошел будить отца. Он не любил, когда его поднимали. Ему далеко и тяжело выбираться оттуда, где у него сон. А до мальчишки Педерсенов ему столько же дела, сколько мне. Мальчишка Педерсенов — это просто мальчишка. Он мало значит. Не то что я. И папа разозлится сослепу, выбираясь оттуда, где у него сон. Я решил, что ненавижу Большого Ханса — хотя для меня это никакая не новость. Я ненавидел Большого Ханса, потому что знал, как заморгает на меня папа — как будто я снег под солнцем и хочу его ослепить. Глаза у него были старые и всегда-то плохо видели, а налившись виски, выпучатся на меня и загорятся красной злобой. Я решил, что и мальчишку Педерсенов ненавижу — за то, что умирает там без меня и даже посмотреть не могу на это, — умирает, чтобы Хансу было интересно, а я должен наверх идти по скрипучей лестнице и выстуженному коридору туда, где папа лежит, как куча навоза под снегом, храпит и свищет. Плевать ему на мальчишку Педерсенов. Ему мальчишка Педерсенов ни к чему. Ни к чему, чтобы его будили, сливали его выпивку мальчишке в зоб, а вдобавок заначку его раскрыли. Это его и трезвого разозлило бы. Я старался не спешить, хотя зяб и мальчишка Педерсенов лежал на кухне.

Отец был весь завален, как я и думал. Я толкнул его в плечо и позвал по имени. Имя, наверно, он услышал. Храпеть перестал, но не пошевелился, только отвалился вбок, когда я его толкнул. Одеяло сползло с его тощей шеи, и я увидел его голову, всю в белом пуху, как одуванчик, но лицо было повернуто к стене, бледная тень носа лежала на штукатурке, и я подумал: сейчас ты не очень-то похож на пьяного драчуна. Но что он спит, я не был уверен. Затейливый был, гад. Имя свое услышал. Я тряхнул его посильнее и подал голос: пап-пап-пап.

Я слишком низко наклонился. Знал же его. Он всегда спал у стенки, и к нему приходилось тянуться. Хитрый. Всегда брал врасплох. Я помнил это, но думал про мальчишку Педерсенов, голого, в тесте. Когда папа выбросил руку, я пригнулся, но он попал мне сбоку по шее, глаза затянуло слезами, и я отпрянул, чтобы прокашляться. Отец лежал на боку, глядел на меня и моргал, а кулак его отдыхал на подушке.

Пошел отсюда к черту.

Я ничего не сказал — в горле что-то мешало, — но следил за ним. К нему подойти — все равно что к злой кобыле сзади. Но что ударил меня — хорошо. Не попал бы — еще хуже разозлился бы.

Пошел отсюда к черту.
Меня Ханс послал. Велел тебя разбудить.
Блин коровий твоему Хансу. Пошел отсюда.
Он нашел возле яслей мальчишку Педерсенов.
Пошел к черту.
Папа натянул одеяло. Стал пробовать, какой у него вкус во рту.
Мальчишка замерз, как насос. Ханс трет его снегом. Принес его на кухню.
Педерсен?
Нет, па. Мальчишка Педерсенов. Мальчик.
Из яслей украсть нечего.
Не красть, па. Он там лежал, замерз. Ханс нашел его. Он там лежал, а Ханс его нашел.

Отец засмеялся.

Я в яслях ничего не прятал.

Ты не понял, па. Мальчишка Педерсенов. Мальчишка...

Хрен ли там не понять.

Папа поднял голову и выпучился и жевал зубами место, где раньше отращивал усы.

Хрен ли не понять. Не знаешь, что ли? Видеть его не хочу, Педерсена. Зассыха. Фермер херов. На что он мне. Чего он пришел-то? Катись к черту. И не возвращайся. Узнай, чего там на хрен. Дурак. И ты, и Ханс. Педерсен. Зассыха. Фермер херов. Не приходи больше. Катись. Мля. Пошел, пошел. Пошел.

Он кричал, сопел и сжимал кулак на подушке. Волосы у него на запястье были черные и длинные. Они загибались на рукав ночной рубашки.

Меня Ханс послал. Большой Ханс сказал...

Блин коровий твоему Хансу. Он еще хуже коровий блин, чем ты. Толстый вдобавок. А? Я его проучил и тебя проучу. Пошел. Или горшок бросить?

Он совсем было хотел встать, и я выскочил, хлопнув дверью. Он уже понял, что не сможет уснуть от злости. Тогда он начинал швыряться. Однажды погнался за Хансом и вывалил через перила горшок. Папа хворал животом в этот горшок. Ханс взял топор. Он даже вытираться не стал и успел порубать часть папиной двери, пока не остыл. Остыл бы, может, и раньше, но папа там заперся и хохотал так, что трясся весь дом. Когда папа вспоминал горшок, он становился ужасно веселым. Я чувствовал, что это воспоминание живет в них обоих, шевелится у них в груди, как смех или рычание, — рвется на волю, как зверь. Пока я шел вниз, было слышно папину ругань.

Ханс положил на грудь и живот мальчишке парны́е полотенца. И растирал ему ноги и руки снегом. Талая вода и вода с полотенец стекала на стол, тесто под мальчишкой размокло и липло к спине и заду.

Он не хочет просыпаться?

Что там папа?

Когда я уходил, он проснулся.

Что сказал? Ты принес виски?

Сказал: блин коровий Хансу.

Не нахальничай. Ты спросил его про виски?

Да.

Ну?

Он сказал: блин коровий Хансу.

Не нахальничай. Что он собирается делать?

Спать, похоже.

Ты достань мне виски.

Сам пойди. Топор возьми. Папа топоров до смерти боится.

Слушай меня, Йорге. И не нахальничай. Мальчишка сильно замерз. Не волью в него виски — может умереть. Хочешь, чтоб он умер? Хочешь? Так поди к отцу и принеси виски.

Плевал он на мальчишку.

Йорге.

Плевал он. Совсем плевал. И мне неохота, чтобы голову разбили. Ему плевать, а мне неохота, чтоб в меня говном кидались. Ему на все плевать. Ему бы только виски было и чтобы щель в своей морде залить. Напиться как свинья — больше ничего не надо. А на остальное ему плевать. На все. И на мальчишку Педерсенов. Фермер херов. И на мальчишку его.

Я возьму виски, сказала мама.

Я бы Ханса туго завел. Я уж готов был отпрыгнуть, но когда мама вызвалась взять виски, он удивился не меньше меня и осел. Мать не подходила к отцу, когда он отсыпался. Давно уже. Много лет. Утром, когда она мыла лицо, она первым делом видела шрам на подбородке, куда угодила подкова его башмака, — и, может, видела, как он опять летит, выпуская на лету грязный но-

сок. Ей это, наверно, не труднее было вспомнить, чем Хансу вспомнить, как он бросился за топором, весь заляпанный папиным кислым желтым поносом.

Нет, ты не ходи, сказал Большой Ханс.

Пойду, раз виски нужно.

Ханс покачал головой, но не стал ее останавливать — и я тоже. Если бы остановили, пришлось бы идти одному из нас. Ханс еще тер мальчишку снегом... тер... тер.

Принесу снегу, сказал я.

Я взял ведро и лопату и отправился на крыльцо. Не знаю, куда ходила мама. Я думал, она сходила наверх, и ожидал это услышать. Она удивила Ханса не меньше, чем меня, сказав, что сама сходит, а потом еще раз удивила — вернувшись чуть не сразу: потому что, когда я принес снег, бутылка с тремя белыми перьями на наклейке была уже тут как тут и Ханс сердито держал ее за горлышко. Он подозрительно и осторожно шарил в ящике, а бутылку держал, как змею, на вытянутой руке. Он был ужасно зол, потому что ожидал от матери чего-то решительного, даже героического... я понимаю его... понимаю: иногда мы думали одинаково; а маме ничего такого и в голову не приходило. С ней никак нельзя было отыграться. И это не то что тебя надувают на ярмарке. Там они всегда норовят, и ты этого ждешь. И Ханс отдал маме что-то от себя, — в нас обоих это было, когда мы думали, что она пойдет прямо к папе, — отдал что-то важное, какое-то хорошее чувство; но она не знала, что мы ей его отдали, и поэтому вернуть его было не просто.

Ханс наконец срезал фольгу и отвернул крышку. Он рассердился, потому что понять это можно было только так: мать нашла один из папиных загашников. Нашла и не сказала ни слова, хотя мы с Большим Хансом искали без конца — искали всю зиму, искали каждую зиму с той весны, когда у нас появился Большой Ханс и я заглянул в уборную и нашел первую заначку. Прятать папа был мастер. Он знал, что мы ищем, и веселился. А тут — мать. Нашла она скорее всего случайно, но ничего не сказала, и мы не знали, давно ли это случилось, и сколько еще она нашла, ничего нам не сказав. Папа-то догадается. Иногда казалось, что он не догадывался: либо так хорошо спрячет, что сам найти не может, либо, не найдя где-то, думает, что не прятал тут или спрятал, но уже выпил. А про эту он догадается, потому что мы из нее отлили. Тут и дурак догадался бы, в чем дело. Если узнает, что нашла мама, — тогда держись. Он гордился своим умением прятать. Больше ему нечем было гордиться. Перехитрить Ханса и меня — это была задача. А мать он невысоко ставил. Вообще ни во что не ставил. И вдруг окажется, что женщина нашла, — тогда держись.

Ханс налил в стакан.

Положишь на него еще полотенца?

Нет.

Почему? Ему же нужно греть тело?

Где морозом прихватило — нет. Обмороженному тепло вредно. Потому и положил полотенца на грудь и живот. Он должен медленно оттаивать. Пора бы знать.

Полотенца пустили краску.

Мама тронула ногой одежду мальчишки.

Что с этим делать?

Большой Ханс налил виски мальчишке в рот, рот наполнился, но в горло не пошло, а потекло по подбородку.

Ну-ка, помоги посадить. Надо рот ему открыть.

Я не хотел к нему прикасаться и ждал, что Хансу поможет мама, но она все смотрела на одежду мальчишки, на лужу вокруг и даже не шелохнулась.

Давай, Йорге.

Сейчас.

Поднимай, не ссовывай... поднимай.

Сейчас. Поднимаю.

Я взял его за плечи. Голова у него откинулась. Рот открылся. Кожа на шее натянулась. Холодный.

Подержи ему голову. Задохнется.

У него рот открыт.

Горло заперто. Задохнется.

И так задохнется.

Голову ему подними.

Не могу.

Не так держи. Обхвати руками.

Черт.

Он был холодный. Я осторожно обхватил его рукой. Ханс сунул пальцы ему в рот.

Теперь точно задохнется.

Молчи. Держи, как я велел.

Он был холодный и мокрый. Я поддерживал его за спину. На ощупь был мертвый.

Наклони ему голову назад... не сильно.

На ощупь был холодный и склизкий. Наверняка умер. У нас на кухне лежал мертвец. Он был мертвый с самого начала. Незаметно было, чтобы он дышал. Он был ужасно тощий, ребра торчали. Мы собирались его запечь. Ханс поливал его соусом. Я обнимал его одной рукой, чтобы он не падал. Он был мертвый, а я его держал. Я чувствовал, как у меня дергается мускул.

Черт возьми.

Он мертвый. Мертвый.

Ты уронил его.

Мертвый? сказала мама.

Он мертвый. Я чувствую. Мертвый.

Мертвый?

Ты совсем не соображаешь? Голову ему уронил на стол.

Он мертвый? Мертвый? сказала мама.

Да нет, черт, нет еще, не мертвый. Смотри, что ты наделал, Йорге, виски всюду разлилось.

Мертвый же. Мертвый.

Еще нет. Нет пока. Хватит орать, держи его.

Он не дышит.

Нет, он дышит. Держи его.

Не буду. Не буду держать мертвеца. Сам держи, если хочешь. И поливай его виски, если хочешь. Что хочешь, то и делай. А я не буду. Не буду держать мертвеца.

Если он мертвый, сказала мама, что нам делать с его вещами?

Йорге, черт бы тебя взял, поди сюда...

Я пошел к яслям, где Ханс его нашел. Там еще осталась ямка в снегу и следы, незаметенные. Мальчишка, наверно, шел без сознания — так они петляли. Я видел, где он вперся прямо в сугроб, а потом попятился и повалился возле яслей, может стукнувшись о них перед тем, как упал, и потом лежал тихо, так что снег успел набраться вокруг, а чуть погодя и вовсе бы его накрыл. Кто его знает, подумал я, метель такая, что мы бы его только весной увидели. Хоть он и мертвый у нас на кухне, я был рад, что Ханс его нашел. Я вообразил, как однажды утром выхожу из дома — солнце высоко и греет, со стрех капает, снег конопатый от капели, лед на ручье иссосан, — выхожу, иду по насту к яслям... иду играть в мою игру с сугробами... и вообразил, что́ проигрываю, пробиваюсь сквозь большой сугроб, всегда спавший возле яслей, и ногой натыкаюсь на него, на мальчишку Педерсенов, который свернулся калачиком и уже отмякает.

Это было бы похуже, чем держать его тело на кухне. Случилось бы не-

ожиданно во время игры — и это было бы хуже. Никакого предупреждения, никак не подготовиться к тому, что произойдет, не сообразить, на что наткнулся, пока не увидишь, — даже если бы старик Педерсен приехал между вьюгами искать мальчишку и все бы поняли, что мальчишка лежит где-то под снегом; что, может быть, после сильного ветра кто-нибудь заметит его, как черный оголившийся камень среди поля, а скорее, по весне найдет где-нибудь на пастбище, оттаявшего, в грязи, и отнесет в дом, а потом повезет к Педерсенам, чтобы отдать матери. Даже тогда — если бы все про это знали и надеялись, что найдет его кто-нибудь из Педерсенов и самим не придется выковыривать его из грязи или тащить из лесу в сопревшей за зиму одежде, чтобы отдать матери, — даже тогда кто мог бы ожидать, что, пробив ногой наст, в проигранной игре с сугробом наступишь на мальчишку Педерсенов, скорчившегося возле яслей? Хорошо, что Ханс сегодня наткнулся на него, хоть он и мертвый лежит у нас на кухне и мне пришлось его держать.

Если бы Педерсен приехал спросить про мальчишку — подумав, например, что мальчишка добрался до нас и пережидает метель, чтобы вернуться, — папа встретил бы его, завел в дом выпить и сказал бы, что сам виноват — нагородил у себя снеговых щитов. Если я знаю папу, он посоветует Педерсену поискать в сугробах, под своей городьбой, а Педерсен так разозлится, что кинется на папу, а потом выбежит вон, призывая на его голову божью кару, как он всегда любит делать. Но раз Большой Ханс нашел мальчишку и он лежит мертвый у нас на кухне, папа Педерсену много говорить не станет. Поднесет ему выпить, а о снежных щитах — молчок. Педерсен мог приехать еще утром. Это было бы лучше всего, потому что папа еще спал бы. А если бы спал, когда пришел Педерсен, то про снеговые щиты не сказал бы, выпить Педерсену не поднес, гнутым хером, говнометом и засцыхой не назвал бы. Педерсен бутылку не оттолкнул бы, жвачку в снег не сплюнул бы, бога бы не призвал, а забрал бы мальчишку и отправился бы восвояси. Я хотел, чтоб Педерсен приехал поскорее. Чтобы забрал из кухни холодное мокрое тело. А то в животе у меня было так, что и поесть сегодня не надеялся. Я знал, что в каждом куске буду видеть мальчишку Педерсенов, разделанного на столе.

Ветер стих. Солнце горело на снегу. Я все равно озяб. Домой мне не хотелось, а холод заползал в меня, как заползал, наверно, в него, пока он шел. Сперва, наверно, облег его, как холодная простыня, в особенности — ноги, и он, наверно, шевелил пальцами в ботинках и хотелось переплести ноги, как бывает, когда ложишься в холодную постель. А потом она согревается, простыни согреваются, и тебе становится уютно, и засыпаешь. Только когда мальчишка уснул возле наших яслей, это было не как в постели — тут простыни так и не согрелись, и он тоже так и не согрелся. И сейчас был такой же холодный у нас на кухне, где свистел чайник и мама собиралась печь, а я стоял возле яслей и топал по снегу. Надо было возвращаться. Я смотрел туда, где была дорога, но никого не видел. Видел только бестолочь полузаметенных следов, которые терялись в сугробе. Вокруг — ничего. Совсем ничего — ни дерева, ни палки, ни камня, раздетого ветром, ни кустика, одетого снегом, — никакой приметы на месте, где следы появились из сугроба — словно кто-то вылез из-под земли.

Я решил войти через парадную дверь, хотя следить в гостиной запрещалось. Снег доходил мне до бедер, но я думал о том, как мальчишка лежит на кухонном столе, среди теста, липкого от воды и виски, словно на кухне вдруг наступила весна — а мы все это время не знали, что он тут, — и растопила верх его могилы, открыла его нам, окоченелого и голого; и кому же это придется везти его к Педерсенам и отдавать матери, раздетого, с мукой на голом заду?

2

Только спину. Зеленая клетчатая куртка. Черная вязаная шапка. Желтые перчатки. Ружье.

Большой Ханс повторял это снова и снова. Надеялся, что от повторения может перемениться смысл. Поглядит на меня, покачает головой и снова повторяет.

«Он загнал их в погреб, а я убежал».

Ханс налил стакан. Он был заляпан мукой и виски.

«Он ни разу ничего не сказал».

Ханс поставил бутылку на стол, и дно ее неровно погрузилось в тесто — бутылка наклонилась тяжело, точно дурная, — повела себя как все остальное.

Больше ничего, говорит, не видел, сказал Ханс, глядя на отпечаток мальчишкиного зада в тесте. Только спину. Зеленая клетчатая куртка. Черная вязаная шапка. Желтые перчатки. Ружье.

И все?

Он молчал и молчал.

И все.

Он допил стакан и заглянул на дно.

А почему это он все цвета запомнил?

Он наклонился, расставив ноги и облокотившись на колени, а стакан держал обеими руками и покачивал, глядя, как перетекает туда и сюда по дну оставшаяся жидкость.

Как это он помнит? И не ошибся?

Думает, что помнит, устало ответил Ханс. Думает, что помнит.

Он поднял бутылку с кружком налипшего теста.

Черт. И больше ничего. Он так думает. Этого мало? сказал Ханс.

Какой ужас, сказала мама.

Он заговаривался, сказал Ханс. Больше ни о чем не мог думать. Говорить хотел. Выговориться. Ты бы слышала, как он бормотал.

Бедный, бедный Стиви, сказала мама.

Он заговаривался?

Ну ладно, может такое присниться? сказал Ханс.

Он, наверно, бредил. Слушай, как он мог туда попасть? Откуда он взялся? С неба упал?

Он пришел в пургу.

В том-то и дело, Ханс, — в пургу. Весь день мело. Стихло только — когда? — под вечер. В пургу пришел. Скажи, мыслимое ли это дело? А?

Мыслимое, раз пришел, сказал Ханс.

Нет, послушай. Господи. Он чужой. Раз чужой — пришел издалека. Не мог он дойти в пургу — даже если бы наши места знал.

Пришел в пургу. Вылез из земли, как выползень. Ханс пожал плечами. Пришел.

Ханс налил себе виски, не мне.

Пришел в пургу, сказал он. Как мальчишка пришел, так и он пришел. Мальчишка тоже не мог дойти, а дошел. Он здесь ведь — так? Вон он, у нас наверху. Этому-то ты веришь?

Когда мальчик пришел, вьюги не было.

Начиналась.

Это не одно и то же.

Ладно. У мальчишки было сорок пять минут, может час, пока метель не разгулялась. Этого мало. Нужно все время, а не начало только. В метель, если идешь туда, где хочешь быть, надо быть там, куда идти хочешь.

Про то и говорю. Понимаешь, Ханс? Понимаешь? Мальчик мог дойти. Он знал дорогу. Вышел раньше. Кроме того, он испугался. Мешкать не стал бы. И ему повезло. Случай такой выпал, что могло повезти. А желтым перчаткам не выпал. Ему идти было дальше. И всю дорогу — в пурге. А дороги

он не знает, и пугаться было нечего — разве только метели. Никак не могло ему повезти.

Испугался, говоришь, мальчишка. Так. А чего? Ну-ка скажи.

Ханс не сводил глаз с виски, блестевшего в стакане. Он сжимал его в руках.

А желтые перчатки — он не боялся? сказал он. Почем ты знаешь, что он не боялся чего-нибудь, кроме ветра и снега, холода, воя?

Ладно, я не знаю, но ведь могло так быть, верно? Может, мальчик и не боялся, когда пошел. Может, просто отец хотел ему всыпать, и он сбежал. Не успел оглянуться, опять завьюжило, он заблудился и, когда до наших яслей добрел, вообще уже не понимал, где что.

Ханс медленно покачал головой.

Ну конечно, — слышишь, Ханс? — мальчик испугался, что убежал. Не хочет признаться в такой глупости. И все это придумал. Он же еще маленький. Он все выдумал.

Хансу это не нравилось. Ему не хотелось верить рассказу мальчишки — мне самому не хотелось, — но если он не поверит, мальчишка его обманул. В это ему тоже не хотелось верить.

Нет, сказал он. Разве можно такое выдумать? Додуматься до такого, когда обморозился и бредишь в жару и не соображаешь, где ты и что и с кем говоришь, — и выдумать?

Да.

Нет. Зеленое, черное, желтое: цветов таких тоже не выдумаешь. Не додумаешься засунуть отца с матерью в погреб, чтобы они там замерзли. Не выдумаешь, что он ни разу ничего не сказал, что ты его только со спины видел и во что он одет. Такое не выдумаешь, такое не приснится. Такое можно только раз увидеть, и тебя так ушибет, что и захочешь — не забудешь. Тебя заберет, пристанет, как репьи — как репьи, когда ты занят делом и хочешь стряхнуть их, а они не стряхиваются, только на другой бок ложатся, и не успеешь моргнуть глазом, как ты уже не делом занят, а обираешь с себя репьи. Я знаю. Ко мне так же приставало. Со всеми так бывает. И скоро устаешь их отдирать. Просто репьи бы — еще полбеды; а тут не репьи. Не репьи. Мальчишка что-то увидел, и его это ушибло, так ушибло, что, пока бежал сюда, ничего кругом не видел. Кроме этого. Так ушибло, что он делать ничего не мог — только лопотал об этом. Его ушибло. Такого, Йорге, не выдумаешь. Нет. Он пришел в метель, как мальчишка. Его туда не звали. Но он пришел. Не знаю, как, зачем и когда, но, наверно, вчера, в метель. К Педерсенам пришел, когда метель кончалась или только что кончилась. Пришел туда, затолкал их в погреб мерзнуть — и, верно, знал зачем.

У тебя тесто снизу прилипло к папиной бутылке.

Ничего умнее я сказать не мог. Похоже, что так и было, как говорил Ханс. Похоже — но не могло так быть. Никак не могло. Так или не так, но мальчишка Педерсенов убежал из отцовского дома, наверно, вчера под вечер, когда улеглась метель, а нынче утром нашелся у наших яслей. Что он тут, это ясно. Это я знаю. Я его держал. Я руками чувствовал, что он мертвый, хотя сейчас он, наверно, не мертвый. Ханс уложил его наверху, но я до сих пор видел, как он лежит на кухне, голый и худой, а на нем два парных полотенца, и виски течет у него по губам, и грязь между пальцами на ногах, и зад оттиснулся в мамином тесте.

Я потянулся к бутылке. Ханс отвел ее.

Но он не видел, как он это сделал, сказал я.

Ханс пожал плечами.

Тогда он не знает наверняка.

Он знает наверняка, говорят тебе. Побежишь ты в пургу, если не знаешь наверняка?

Пурги не было.

Она начиналась.

Я в пургу не убегаю.

Ерунда.

Ханс показал на меня запачканным концом бутылки.

Ерунда.

Он потряс бутылкой.

Ты выходишь из хлева — как сегодня утром. Ружья в желтых перчатках, думаешь, нет на тысячу миль вокруг. Выходишь из хлева и ничего особенно не думаешь. И только вошел в дом — только вошел, видишь человека, которого никогда не видел, которого и за тысячу миль отсюда не было, и даже в голове у тебя не было, так он был далеко, и он в этих желтых перчатках, зеленой куртке клетчатой, и ставит меня, твою маму и отца, руки за голову, вот так...

Ханс убрал за голову бутылку и стакан.

Ставит меня, твою маму и отца, руки за голову, а у него в желтых перчатках ружье, и он дулом водит перед маминым лицом, не торопясь так, тихонько.

Ханс вскочил и стал совать бутылку маме под нос. Она вздрогнула и отмахнулась. Ханс отстал от нее и пошел ко мне. Встал надо мной — черные глаза, как пуговки на большом лице, — и я старался сделать вид, что совсем не съежился на стуле.

Что ты делаешь? заорал Ханс. Ты голову у ребенка застуженную уронил на стол.

Ни фига...

Ханс опять выставил бутылку, прямо мне в лицо.

Ханс Эсбьёрн, сказала мама, отстань от мальчика.

Ни фига...

Йорге.

Ма, я бы не убежал.

Мама вздохнула. Не знаю. Только не кричи.

Фиг бы я, ма.

И не ругайся. Пожалуйста. Вы очень много ругаетесь — и ты, и Ханс.

А я бы не убежал.

Да, Йорге, да. Конечно не убежал бы, сказала она.

Ханс отошел, сел, допил из стакана и снова налил. Меня разозлил — теперь можно отдохнуть. Затейливый был, гад.

Еще как убежал бы, сказал он, облизывая губы. Может, и правильно сделал бы. Любой бы сбежал. Без ружья, без ничего — кто ты против него?

Бедный ребенок. Охохо. А что мы с этим будем делать?

Да повесь ты их, Хед, Христа ради.

Куда?

Свое ты куда вешаешь?

Ну нет, сказала она. Это бы не хотелось.

Черт возьми. Ну тогда не знаю, черт возьми.

Не надо так, Ханс. Такие слова мне тяжело слышать.

Она посмотрела на потолок.

Ох. Какой беспорядок на кухне. Глаза бы мои не смотрели. И печь еще не начинала.

Ничего лучше ей в голову не пришло. Сказать было больше нечего. До меня ей дела не было. Я не в счет. Вот кухня ее — это да. Я бы не сбежал.

Так займись, пеки, сказал я.

Говорильник закрой.

Он мог зырить на меня сколько влезет. Что мне его зыренье? Волдырь на пятке, еще одно неудобство, холодная постель. Однако, когда он отвел глаза, чтобы выпить, мне стало легче. Я ему яйца скручу.

Ну ладно, ладно, сказал я. Ладно.

Он уткнулся в свой стакан, раздумывал.

Им там в погребе жутко холодно, сказал я.

На дне желтели остатки виски. Я ему яйца скручу, как торбу.

Что ты делать собираешься?

Он опять напустил на себя грозный вид, но не особенно старался. Он чего-то видел в своем стакане.

Я мальчишку спас? сказал он наконец.

Может, и спас.

Не ты.

Нет. Не я.

Так, может, пора и тебе что-нибудь сделать?

Почему это мне? Не я думаю, что они замерзают. Это ты думаешь. Это ты думаешь, что он прибежал за помощью. Ты. Ты его спас. Пускай. Не ты уронил его голову на стол. Я уронил. Не ты. Нет. Ты его растирал. Пускай. Ты его спас. Но он не за этим шел. Он за помощью шел. Если тебя послушать. Не затем, чтоб его спасали. Ты его спас, но что ты теперь будешь делать, теперь как станешь ему помогать? Ты себя героем чувствуешь, да? — вон что сделал. Спасителем себя чувствуешь, а, Ханс? Приятно чувствуешь?

Щенок сопливый.

Сопливый, не сопливый. Неважно. Все ты сделал. Ты его нашел. Ты поднял шум, командовал тут. Он был не лучше мертвого. Я его держал, я чувствовал. По-твоему, он, может, и был живой, только такие живыми не считаются. А тебе надо было с ним возиться. Растирал. А я чувствовал, что он... холодный... Черт! Гордишься теперь? Он мертвый был вот тут, мертвый. И не было желтых перчаток. А теперь они есть. Вот что выходит из растирания. Растер — и гордишься? Не можешь поверить, что он наврал так складно, что тебя обманул. А он мертвый был. А теперь не мертвый — для тебя. Для тебя не мертвый.

И для тебя живой. Рехнулся, что ли? Он для всех живой.

Нет, не живой. Для меня не живой. И не был живой. Я его только мертвым видел. Холодным... Я чувствовал, черт! Гордишься теперь? Он в твоей постели. Ага. Ты его отнес. Он в твоей постели, Ханс. Это тебе он набормотал. Это ты ему веришь — для тебя он и живой. Не для меня. Для меня он не живой.

Ты не можешь так говорить.

А вот говорю. Слышал, как говорю? Растирал... Ты сам не знал, до чего дотрешься. Кроме мальчишки, еще чего-то пришло из метели. Я не говорю, что желтые перчатки, нет. Он не пришел. Не мог дойти. Но что-то пришло. Пока ты тер, ты об этом не думал.

Щенок ты сопливый.

Ханс, Ханс, не надо, сказала мама.

Все равно. Сопливый, не сопливый — все равно, говорю. Я тебя спрашиваю — что ты будешь делать? Ты́ поверил. Ты́ это устроил. Что теперь будешь с э́тим делать? Смешно будет, если мальчишка умрет, пока мы тут сидим.

Йорге, сказала мама, страх какой... У Ханса в постели...

Ладно. А если... А если недотер, если мало тер и слабо, Ханс? А он умрет у тебя в постели? Ведь может. Он был холодный, я знаю. Смешно будет, потому что в желтых перчатках-то не умрет. Его убить не так легко будет.

Ханс не шевельнулся и ничего не сказал.

Не мне решать. Я его не спасал — ты сам сказал. Мне это все равно. А зачем ты тереть начал, если знал, что бросишь? Ведь это ужас будет — если мальчишка Педерсенов в такую даль шел через пургу, перепуганный, и замерз, а ты его тер, ты его спасал, чтобы он очухался и наплел тебе незнамо что, и ты поверил — а теперь ничего не станешь делать, а только с бутылкой обниматься. Это тебе не репей, так просто не отцепишь.

Он все равно молчал.

В погребах сильный холод. Но им-то с чего замерзнуть?

Я развалился на стуле. А Ханс так и сидел.

Им не с чего замерзнуть, так что отдыхай.

Стол, где его было видно, был грязный. Весь в воде и ошметках теста. Тесто в коричневых полосах: полотенца пустили краску. Повсюду желтоватые лужицы виски с водой. Что-то похожее на виски капало на пол и вместе с водой собиралось в лужу возле сброшенной одежды. Картонные ящики обмякли. Вокруг стола и печки жирные черные тропинки. Я удивлялся, что картон раскис так быстро. Ханс держался руками за стакан и бутылку, как за два столба.

Мама стала собирать вещи мальчишки. Она брала их по одной, пальцами за углы и края, поднимая рукав так, как поднимаешь летом плоскую кривую засохшую лапку мертвой лягушки, чтобы скинуть с дороги. Она брала их так, что они казались не людскими вещами, а животными, дохлыми, гнилыми земляными тварями. Она унесла их, а когда вернулась, я хотел сказать ей, чтобы похоронила их — быстро зарыла как-нибудь в снег, — но она испугала меня: она шла с растопыренными руками, и они дрожали, пальцы сгибались и разгибались, — двигалась, как комбайн между рядов.

Я отчетливо слышал капли, слышал, как глотает Ханс, как стекают со стола вода и виски. Слышал, как тает иней на окне и каплет на подоконник, а оттуда в сток. Ханс налил в стакан виски. Я посмотрел мимо Ханса: из двери за ним наблюдал папа. Глаза и нос у него были красные, а на ногах красные шлепанцы.

Что тут у вас с мальчишкой Педерсенов? спросил он.

Мама стояла позади него с тряпкой.

3

А про лошадь не подумал? сказал папа.

Лошадь? Где ему взять лошадь?

Где угодно — по дороге, мало ли где.

Мог он добраться на лошади?

На чем-то же добрался.

Не на лошади же.

Не пешком же.

Я не говорю, что вообще добрался. Хоть на чем.

Лошади не могут заблудиться.

Нет, могут.

У них чутье.

Хреновина это, насчет лошадей.

В метель лошадь приходит домой.

Вон что.

Отпустишь ее — она придет домой.

Вон что.

Если украл лошадь и отпустишь, она привезет тебя, откуда украл.

Тогда, значит, не могла показать ему дорогу.

Тогда, значит, правил.

И знал, куда едет.

Ага — и приехал туда.

Если у него лошадь была.

Да, если лошадь была.

Если лошадь украл до метели и сколько-то на ней проехал, тогда, когда снег пошел, лошадь была уже далеко и не знала, в какой стороне дом.

У них чутье страшенное.

Хреновина это...

Не все ли равно? Он добрался. Не все ли равно как? сказал Ханс.

Я рассуждаю, мог ли добраться, сказал папа.
А я тебе говорю, что добрался, сказал Ханс.
А я тебе доказываю, что не мог. Мальчишка все выдумал, говорю.
Лошадь станет. Встанет головой к ветру и станет.
Я видел, как задом вставали.
Всегда головой встают.
Он повернуть ее мог.
Если лаской и сам не испугавшись.
Пахарь же лаской.
Не всякий.
Не всякая возить на себе любит.
Не всякая и чужих любит.
Не всякая.
Какого черта, сказал Ханс.

Папа засмеялся. Я просто рассуждаю, сказал он. Просто рассуждаю, Ханс, и больше ничего.

Папа увидел бутылку. Сразу. Он моргал. Но бутылку приметил. И ее увидел, и стакан в руке у Ханса. Я думал, он что-то скажет. И Ханс думал. Он долго держал стакан на весу, чтобы никому не показалось, будто он боится, а потом поставил его небрежно, так, словно у него причины не было и держать стакан, и ставить причины не было, а просто взял и поставил не думая. Я усмехнулся, но он меня не видел или притворился, что не видел. Папа про бутылку молчал, хотя увидел ее сразу. Думаю, благодарить за это надо было мальчишку Педерсенов, хотя его и за бутылку надо было благодарить.

Сам виноват, что снеговых щитов нагородил, сказал папа. Вроде бы столько здесь живет, что мог бы лучше знать природу сил.

Педерсен просто любит приготовиться, па.

Ни черта. *Готовиться* он любит, зассыха. Готовится, готовится. Вечно готовится. И никогда не готов. Хоть бы раз. Прошлое лето, вместо того чтоб за полем смотреть, к саранче готовился. Дурак. Кому нужна саранча? Вот так ее и накличешь — вернее способа нет, — приготовиться к ней если.

Ерунда.

Ерунда? Ерунда, говоришь, Ханс?

Говорю, ерунда. Да.

Тоже любитель готовиться? Как Педерсен, а? Всю мошонку вон изморщил думаючи. Рассыпешь яду для миллиона, а? Знаешь, что выйдет? Два миллиона. Умные, ох они умные! Педерсен накликал саранчу. Прямо призывал. На колени падал, просил. А я? У меня тоже саранча. Теперь он снегу стал просить, на колени падал, руки ломал. Ну и готов он, скажи? А? К снегу? К большому снегу? Бывает кто готов к большому снегу? Ох и дурак же. Держал бы своего мальчишку за этими щитами. Какого лешего... какого... какого лешего сюда его послал? Человек свое племя соблюдать должен. Смотри, папа показал на окно. Видишь, видишь, что я тебе говорил — снег... все время снег.

А ты видел зиму, чтоб снегу не было?

А ты небось готов был.

Снег всегда идет.

Небось и к мальчишке Педерсенов был готов. Ждал его там, хрен свой остужал.

Папа засмеялся, а Ханс покраснел.

Педерсен дурак. Дурака учить — что мертвого лечить. Святой Пит за всю жизнь не понял, что с неба падает и с пшеницей приключается. Всю жизнь шею выворачивал, на облака смотрел. Не удосужился приглядеть за ребенком в метель. Ты теперь заместо него постараешься? Так ты еще больше дурак, чем он, — потому что толще.

Лицо у Ханса было красное и набухшее, как кожа вокруг занозы. Он протянул руку за стаканом. Папа сидел на углу кухонного стола и болтал ногой.

Стакан стоял возле его колена. Ханс протянул руку и взял стакан. Папа смотрел, болтая ногой, и смеялся.

Хочешь попить моего виски, Ханс?

Да.

Вежливый бы спросил.

Я не спрашиваю, сказал Ханс и наклонил бутылку.

Я, пожалуй, испеку печенье, сказала мама.

Ханс поглядел на нее, наклонив бутылку. Не налил.

Печенье, ма? спросил я.

Чтобы к мистеру Педерсену не с пустыми руками — а то у меня ничего нет.

Ханс выпрямил бутылку.

Тут вот о чем надо рассудить, сказал он и заулыбался. Почему Педерсен мальчишку у нас не ищет?

А чего ему искать?

Ханс подмигнул мне сквозь стакан. Мигай не мигай, друга из меня не сделаешь.

А чего не искать? Мы ближе всех. Тут бы не было мальчишки — попросил бы помочь искать.

Как же, допросится.

Но он не приехал. Почему — рассуди-ка?

Об этом не хочу рассуждать.

По-моему, тут есть о чем рассудить, если не торопиться.

Нет о чем.

Нет о чем?

Педерсен дурак.

Это ты любишь говорить. Это я часто слышал. Ладно, пускай дурак. Сколько, по-твоему, он будет бродить, искать, пока сюда не заглянет?

Долго будет. Может, долго будет.

Мальчишка-то давно пропал.

Папа разгладил ночную рубашку на колене. На нем была полосатая.

Долго — это сколько долго? сказал Ханс. Мальчишка-то пропал...

Теперь уж Педерсен скоро явится, сказал папа.

А если не явится?

Что значит — если не явится? Значит, не явится. Ну и не явится. Мне один черт. Не явится так не явится. Меня это не касается.

Ага, сказал Большой Ханс. Ага.

Папа сложил на груди руки, как судья. Покачал ногой. Где ты нашел бутылку?

Ханс поболтал ею.

Прятать ты мастер, а?

Вопросы я спрашиваю. Где ты ее нашел?

Ханс был очень собой доволен.

Я не нашел.

Йорге, ты. Папа пожевал губу. Ты, значит, проныра.

Он не смотрел на меня и разговаривал как будто совсем не со мной. Так, словно меня тут не было и он рассуждал вслух. Спит он или проснувшись — меня этим не обмануть.

Это не я, па.

Я хотел показать Хансу, чтоб он заткнулся, но он был чересчур доволен собой и не обращал внимания.

Маленький Ханс не дурак, сказал Большой Ханс.

Нет.

Теперь папа не обращал на меня внимания.

Хотя зовут так же, сказал папа.

Тогда почему его тут нет? Он бы тоже искал. Почему его тут нет?

Ой, совсем забыла про Маленького Ханса, сказала мама и быстро взяла из буфета миску.

Хед, что ты там затеваешь? спросил папа.

Да печенье.

Печенье? На кой черт? Печенье. Я не хочу печенья. Кофе свари. Стоишь тут как столб.

Для Педерсена и Маленького Ханса. Придут, захотят печенья и кофе — и бузинное желе поставлю. Спасибо, что напомнил про кофе, Магнус.

Кто нашел бутылку?

Она загребла муки из ларя.

Папа сидел, качал ногой. Теперь перестал качать и встал.

Кто ее нашел? Кто ее нашел? Черт возьми, кто ее нашел? Который из них?

Мама пыталась отмерить муку, но руки у нее дрожали. Мука сползла с совка, просыпалась на край миски, и я подумал: ага, ты бы убежала, у тебя руки дрожат.

Ты бы у Йорге спросил, сказал Большой Ханс.

Как же я ненавидел его: на меня сваливает, трус. А у него ручищи толстые.

Этот сопливый-то? сказал папа.

Ханс засмеялся так, что у него заколыхалась грудь.

Что я спрятал, он в жизни не найдет.

Это ты прав, сказал Ханс.

Найду, сказал я. Нашел.

Врет ведь, а, Ханс? Ты нашел.

Папа, почему-то довольный, снова сел на угол стола. Кого он сейчас больше ненавидел — Ханса или меня?

Я не говорил, что Йорге нашел.

У меня врун работает. Вор и врун. Зачем я вруна держу? Видно, присох к нему, вон какое личико красивое. Но зачем я вора держу... глаза бегают, как шустрые козявки... Зачем?

Я не такой, как ты. Не пью целый день, чтобы ночь отсыпаться и еще полдня дрыхнуть, не загаживаю твою постель, и твою комнату, и полдома.

Ты тоже свое полежал. Маленький Ханс вдвое меньше тебя, а толку от него вдвое больше. У тебя — у тебя писька маленькая.

Папа говорил неразборчиво.

Так что скажешь про Маленького Ханса? Маленький Ханс не пришел. У Педерсенов, думаю, сильно беспокоятся: узнать бы что-нибудь не помешало, а? Но Педерсен не пришел. Маленький Ханс не пришел. Там сугробов тысяча. Мальчишка мог в любом утонуть. Если кто и видел его, то мы, а если и мы не видели, то до весны уж никто не увидит или пока ветер не переменится, а это вряд ли. А спросить никто не пришел. Довольно странно, я скажу.

Что же ты за паразит такой, сказал папа.

Я просто рассуждаю, и все.

Где ты ее нашел?

Я забыл. Хорошо, что напомнил. Мне выпить пора.

Где?

Прятальщик ты знатный, сказал Ханс.

Я спрашиваю. Где?

Не я, сказано тебе. Я не нашел. Йорге тоже не нашел.

Ты паразит, Ханс, сказал я.

Она вылупилась, сказал Ханс. Как тот, которого ветром занесло. Вдруг, откуда ни возьмись. И она так. А может, ее мальчишка нашел — под пальто прятал.

Кто? заорал папа и вскочил.

Да Хед ее нашла. Прятать ни черта не умеешь — она ее мигом нашла. Сразу знала, где искать.

Заткнись, Ханс, сказал я.

Ханс наклонил бутылку.

Она небось давно знала, где спрятал. Может, про все знает, где они спрятаны. Ты не очень хитрый. А может, сама ее купила, а? И она не твоя вовсе, а?

Большой Ханс налил себе. Тогда папа выбил у него стакан ногой. Папин тапок взлетел, пронесся мимо головы Ханса и отскочил от стены. Стакан не разбился. Он упал возле раковины и покатился к маминой ноге, оставляя тонкий след. Над совком взвилось белое облачко. Виски выплеснулось на рубашку Ханса, на стену, на буфеты и разлилось там, где упал стакан.

Мама стояла, обхватив себя руками. Вид у нее был слабый, она дышала с присвистом и стонала.

Ладно, сказал папа, поедем. Прямо сейчас, Ханс. Надеюсь, ты получишь пулю в брюхо. Йорге, сходи наверх, посмотри, жив ли еще паршивец.

Ханс тер пятна на рубашке и облизывал губы, когда я шмыгнул мимо папы и вышел.

Часть вторая

1

Ветра не было никакого. Сбруя скрипела, дерево скрипело, полозья издавали такой звук, как пила в мягком дереве, и все было белым вокруг ног коня Саймона. Папа держал вожжи между колен, и мы с ним и с Хансом жались друг к другу. Мы нагнули головы, стиснули ноги, и нам хотелось засунуть обе руки в один карман. Носом дышал только Ханс. Мне хотелось согреть зубы губами. Одеяло наше ни черта не грело. Под ним было не теплей, чем снаружи, и папа отпивал из бутылки, а потом ставил рядом с собой на сиденье.

Я старался удержать то чувство, с каким отправлялся — когда запрягали коня Саймона, когда мне было тепло и я решился поехать с ними по Северной Кукурузной дороге к Педерсену. Дорога поворачивает наискось и подходит к роще за его хлевом. Мы подумали, что можно поглядеть на дом оттуда. Я старался удержать то чувство, но тепла было столько же, сколько в ненагретой воде для ванны, и удержать его было трудно, как воду. Отправлялся я, чтобы совершить что-то необыкновенное и большое — как отправлялись рыцари, — что-то запоминающееся. Я воображал, как выхожу из хлева, вижу его со спины в кухне и борюсь с ним, валю его, стволом пистолета сшибаю с него вязаную шапку. Воображал, как выхожу из хлева, моргая от света, вижу его там, беру лопату и нападаю. Но это было раньше, когда мне было тепло и я совершал что-то большое, даже героическое и запоминающееся. А теперь не мог направить чувства на двор Педерсенов, на хлев Педерсенов и на веранду. Не мог увидеть там себя или его. Я мог увидеть его только там, где меня самого уже не было, — у нас на кухне, и дуло его ружья медленно ходило вверх-вниз перед маминым лицом, а мама отмахивалась от него и в то же время боялась шевельнуться, чтобы оно не выстрелило.

Когда я замерз как следует, чувство исчезло. Я не мог вообразить ни его самого, ни ружья, ни шапки, ни желтых перчаток. Не мог вообразить, как нападаю на него. Мы были нигде, и мне было все равно. Папа правил, глядя на покатую белую дорогу, и пил из бутылки. Ханс колотил пятками по доске под сиденьем. Я старался не открывать рот, дышать и не думать, какой черт меня дернул отправиться с ними.

Это не было похоже на санную поездку ранней зимой, когда воздух тих, земля тепла и звезды родятся, как снежные хлопья, и не падают. Воздух, правда, был тихий, солнце высокое и холодное. Позади нас в желобе дороги я ви-

дел следы наших полозьев и ямы от копыт коня Саймона. Впереди дорога терялась в сугробах. Папа щурился, как будто видел, а не знал, куда она идет. От коня Саймона шел пар. На сбруе висел лед. К пузу его прилипали снежные лепешки. Я боялся, что наст порежет ему колени, и хотел глотнуть из папиной бутылки. Большой Ханс как будто спал и дрожал во сне. Зад у меня болел как не знаю что.

Дорогу перегородил сугроб, и папа пустил Саймона в обход, там, где, по его расчету, не было изгороди. Папа думал вернуться потом на дорогу, но, когда мы объехали занос, я увидел, что это не имело смысла. Поперек дороги один за другим стояли высокие сугробы.

С какой это радости они нагородились? сказал папа.

Он заговорил впервые с тех пор, как велел мне сходить наверх и посмотреть, жив ли еще мальчишка Педерсенов. Живым он мне не показался, но я сказал, что, наверно, жив. Папа первым делом пошел за ружьем — не одевшись, в одном шлепанце, припадая на босую ногу, и понес его наверх, переломленное через локоть, дулом в землю. На заду ночной рубашки осталось темное пятно от виски, разлившегося по столу. У Ханса тоже было ружье и пистолет 11,43 миллиметра, который он украл на флоте. Ханс велел мне его зарядить и, когда я засунул его за пояс, сказал, что скорей всего он выстрелит и мне нечем будет жениться. Пистолет холодил мне живот, как ледышка, а ствол впивался.

Мама положила в мешок бутерброды и термос с кофе. Кофе будет холодный. И руки, когда стану есть, будут застывшими, даже если не сниму перчаток. Жевать будет больно. Горлышко термоса, если буду пить из него, будет холодное, я пролью на подбородок, и там кофе схватится льдом, а если из крышки, она прилипнет к губе, обожжет, как плохое виски, которое и слизнуть противно, а потом сорвет кожу.

Саймон попал в яму. Он не мог выбраться, напугался, и сани пошли боком. Мы ехали по насту, но сейчас правый полоз застрял в мягком снегу. Папа раздраженно хмыкал и успокаивал Саймона.

Вот дурость-то, сказал Ханс.

Он оступился. Не я же лошадь, черт.

Не знаю. Саймон только навоз толчет, сказал Ханс.

Папа аккуратно отпил.

Обойди и выведи его.

Йорге сидит с того боку.

Обойди и выведи его.

Сам. Сам обойди. Сам завел.

Обойди и выведи его.

Иногда снег казался голубым, как небо. Не знаю, что выглядело холоднее.

Да господи, пойду. Я с этого боку, сказал я.

Папаша твой с того боку, сказал Ханс.

Как-нибудь сам знаю, где я, сказал папа. Как-нибудь знаю, где нахожусь.

Да хватит вам, черт бы вас взял. Иду сейчас, сказал я.

Я сбросил одеяло и встал, но у меня все занемело. Ослепительность снега бросилась на меня и боль от окружающего пространства. Вылезая из саней, я ударился щиколоткой о железную скрепу. Боль пронзила ногу и отдалась во мне, как от топорища, когда неправильно ударишь. Я выругался и подождал перед тем, как спрыгнуть. Снег казался плотным и твердым, как цемент, и я ни о чем не мог думать, кроме боли.

Десять лет знаешь про эту скобу, сказал папа.

Снег доходил мне до паха. Пистолет впивался. Я побрел кругом ямы, стараясь идти на цыпочках, чтобы снег не доставал до паха, — но бесполезно.

На птицу хочешь выучиться? сказал Ханс.

Я взял коня Саймона за уздечку и стал тянуть и уговаривать. Папа ругался на меня сидя. Саймон лягался, брыкался и вдруг рванул. Правый полоз

зарылся в снег. Сани развернуло, и левым боком они сильно ударили Саймона сзади под колени. Саймон вскинулся, вышиб копытом щепку из саней, а потом дернул вперед, запутав вожжи. Сани встали прямо, и правый полоз вырвался из снега. Папина бутылка покатилась. Стоя в снегу, я увидел, как он пытался ее поймать. Саймон пошел вперед. Сани боком сползли в яму, вытоптанную Саймоном, и левый полоз поднялся над снегом. Саймон остановился, хотя папа упустил вожжи и только держался за сани и кричал про бутылку. Снег лез мне в глаза и за шиворот.

С какой это радости он в яму полез? передразнил Ханс папу.

Где моя бутылка? спросил папа, глядя с саней во взрытый снег. Йорге, пойди найди мою бутылку. Она тут где-то в снег упала.

Я попробовал отгрести снег, стараясь, чтобы больше не набивался в карманы, в рукава и за шиворот.

Слезай и сам ищи. Твоя же бутылка.

Папа свесился с саней.

Если бы не был таким дураком безруким, она бы не упала. Где ты учился лошадь вести? Не у меня ты этой дурацкой ухватке научился. Видел я дураков, но такого безрукого дурака не видел.

Он обвел рукой кругом себя.

Бутылка где-то тут упала. Не могла далеко деться. Закупорена, слава богу. Ничего, не пропадет.

Снег залезал мне между лопаток. Пистолет выскользнул из-под пояса. Я боялся, что он выстрелит, как сказал Ханс. Я прижимал его к себе правой рукой, не пускал его в штанину. Мне это не нравилось. Папа кричал, где искать.

Ты ее прятал. Ты же мастер прятать. Ты и найди. Я не умею искать. Ты сам сказал.

Йорге, ты понимаешь, мне нужна бутылка.

Тогда слазь к черту и найди.

Она мне нужна, понимаешь?

Тогда слазь.

Если слезу — я не за бутылкой слезу. Я тебя макну и буду держать, пока не задохнешься, сопляк нахальный.

Я стал ногами расшвыривать снег.

Ханс смеялся.

Постромка порвалась, сказал он.

Чего тут, черт, смешного?

Говорил тебе, что она перетерлась.

Я раскидывал снег. Папа следил за моими ногами.

Черт. Не тут. Он показал. Ты, Ханс, про все лучше всех знаешь, сказал он, наблюдая за мной. Узнал какую ерунду — сразу другим говоришь. И тогда другие знают. И могут сделать то, что надо сделать, а тебе делать не придется... Не тут, черт, не *тут*. Так ведь, Ханс? А сам в сторонку? Ты глубже рой. Как я раньше не догадался? Сказал другому — и с плеч долой. Захребетник ты, вот кто. Мелко роешь, я говорю.

Не мое дело постромки чинить.

Эй, руками работай, *руками*. Не запачкаешь. И с навозом ты так всегда. Почему это не твое дело? Некогда, что ли? — все с овцами любовь крутишь? Там поищи. Там она должна. Да не там, не там.

Я постромки никогда не чинил.

Там и чинить было нечего, с тех пор как ты здесь. Йорге, кончай пистолет свой дурацкий на пипиську нанизывать, двумя руками работай.

Я замерз, па.

Я тоже. Поэтому и надо бутылку найти.

Если найду, дашь выпить?

Давно ли ты взрослым стал — не вчера ли?

Я уже пробовал, па.

Ха. Чего же? Ты слыхал, Ханс? Пробовал он. Заместо лекарства, как мать говорит? Это — спиртное, спиртное, Йорген Сегрен... Ха. Пробовал, говорит. Пробовал.

Па.

Пробовал он. Пробовал он. Пробовал он.

Па. Я замерз, па.

Может быть. Да слушай, черт, что ты мечешься, как курица дурацкая?

Все равно нам крышка, сказал Ханс.

Крышка — если бутылку не отыщем.

Тебе, может, и крышка. Тебе одному бутылка нужна. Нам с Йорге она не нужна, а старику горе, а? Пропала в снегу.

Перчатки у меня намокли. В рукава набился снег. И в башмаки уже забирался. Я остановился, чтобы выковырять, куда доставал, пальцем.

Может, мамин кофе еще не весь остыл.

Ишь ты. Да. Может. Только это мой кофе, парень. Я еще не пил. И даже не завтракал. Ну, чего встал? Давай. Йорге. Холодно же, черт.

Это я лучше твоего знаю. Ты там сидишь сухой, угрелся и командуешь; а я делаю, и снег ко мне набирается.

Ишь ты. Да. Это верно.

Папа откинулся назад и ухмыльнулся. Он потянул одеяло на себя, а Ханс потянул обратно.

Согреться легче, когда двигаешься, каждый знает. Что, не так, Ханс? Согреться легче, когда двигаешься, верно?

Ага, сказал Ханс. Если у тебя одеяла нет.

Понял, Йорге? Будешь шевелиться — хорошо тебе будет, тепло. Жалко, если ссака-то твоя застынет. И мозолей на сиденье не натрешь, если двигаешься. Так, Ханс?

Да.

Ханс-то знает. У него там сплошная мозоль.

Языком молоть не устал?

Нету ее нигде, па. Может, мамин кофе еще не весь остыл?

Что ты ноешь, ищи давай. Потопчись кругом, тебе говорят, и найди. Да поживей, слышишь? Пока не найдешь, в сани не сядешь.

Я стал прыгать, не очень быстро, а папа высморкался в пальцы.

Правду говорят, что от мороза сопли текут.

Если найду бутылку, затолкаю в снег. Ногой затолкаю в глубокий сугроб. Папа не узнает, где она. И в сани больше не сяду. Они все равно никуда не доедут, хотя идти далеко. Оглянувшись, я увидел в желобе дороги следы полозьев. Они сошлись до того, как пропали из виду. Дома мне будет тепло — есть зачем идти. Меня пугало бесконечное белое пространство. Придется идти опустив голову. Повсюду вокруг наметены сугробы. Не хотел я вовсе ехать к Педерсенам. Это Хансова затея и папина. Мне было просто холодно... холодно... и страшно, и тошно от снега. Вот найду ее и глубже затолкаю в снег. А позже, гораздо позже, как-нибудь весной, приду сюда, найду бутылку в талом снегу, влипшую в слякоть, как в тесто, спрячу за хлевом и стану выпивать, когда захочу. Достану настоящих сигарет, может десять пачек, и тоже спрячу. А однажды войду, папа почует, что от меня пахнет вином, и подумает, что я отыскал его заначку. Разозлится, как черт, и не найдет, что сказать. Весна — будет думать, что все уже выбрал, как он говорит, урожай собрал.

Я поглядел вокруг, нет ли какой приметы, чтобы запомнить место, но все ушло под снег. Только сугробы, да снежные ямины, да длинным желобом дорога со следами полозьев. Может, тут, где мы застряли, топкая яма. Весной тут встанет камыш и прилетят черные дрозды. А может, сперва будет слякоть, а потом высохнет и потрескается. Папа никогда не догадается, как я раздобыл бутылку. Однажды он чересчур обнаглеет, и я суну его башкой под

насос или смажу по тощему заду полными вилами навоза. А Ханс чересчур заважничает, и его...

Я замерз, па.

Еще хуже, к свиньям, замерзнешь.

Нам все равно крышка, сказал Ханс. Никуда не доедем. Постромка порвалась.

Папа перестал наблюдать, как я топчусь в снегу. Он нахмурился на коня Саймона. Саймон стоял тихо, понурясь.

Саймон дрожит, сказал папа. Я забыл, что он взопрел. Такой холод — я и забыл.

Он сдернул с Ханса одеяло, как с кровати, и спрыгнул.

Ханс заорал, но папа его не слушал. Он накинул одеяло на Саймона.

Саймону нельзя стоять. Окоченеет.

Папа тихонько провел рукой по ногам Саймона.

Вроде сани его не ушибли.

Постромка порвана.

Потом Ханс поднялся. Он стал колотить себя по бокам и приплясывать.

Придется вести его домой, сказал он.

Куда домой? сказал папа и глянул на Ханса чудно, искоса. Идти далеко.

Можешь на нем ехать, сказал Ханс.

Тут папа совсем удивился и посмотрел на Ханса еще чуднее. Не похоже это было на Ханса. Чересчур холодно. От этого Ханс стал щедрым. От холода тоже есть польза.

Зачем?

Папа пробирался в снегу, похлопывал Саймона, но не спускал глаз с Ханса, как будто это Ханс мог лягнуть.

Ханс пустил длинную нетерпеливую струю.

Черт... постромка же.

Ханс говорил очень осторожно. Ханс ужасно замерз. Нос у него был красный. У папы был белый, но не похож на отмороженный. Он был белый, как всегда, — как будто эта часть у него давно умерла. Я подумал, какого у меня цвета нос. У меня был больше и конец острее. Мамин нос, сказала мама. Я весь был больше папы. И выше Ханса. Я ущипнул себя за нос, но перчатка была мокрая, и я ничего не почувствовал, кроме того, что больно от щипка. Значит, не особенно застыл. Ханс показывал на концы постромки, волочившиеся по снегу.

Свяжи ее, говорил папа.

Не будет держаться, качая головой, сказал Ханс.

Свяжи хорошенько, и будет.

На таком холоду хорошо не свяжется. Кожа затвердела.

Да нет, черт, не так затвердела.

Ну, она слишком толстая. Такую толстую не завяжу.

Завяжешь.

Оно вкось потянет.

Пускай вкось тянет.

Саймону сильно не вложиться, если вкось потянет.

Пускай старается как есть. Я тут сани не оставлю. Опять, чего доброго, заметет, пока я с новой постромкой вернусь. Или ты вернешься, а? Я, если домой приду, там и останусь и позавтракаю, хоть и к ужину приду. Если метель поднимется, я сюда не потащусь, чтобы замерзнуть, как мальчишка Педерсенов.

Да, сказал Ханс и кивнул. Заберем отсюда чертовы сани и Саймона домой, пока не окоченел. Я свяжу постромку.

Ханс слез, и я перестал пинать снег. Папа следил за Хансом из-за коня Саймона и улыбался, будто задумал какую-то пакость. Я полез было в сани, но папа закричал и велел мне искать дальше.

Может, найдется, когда сани стронем, сказал я.

Папа засмеялся, но не над моими словами. Он широко раскрыл рот, глядя на Ханса, и смеялся от души, хотя и тихо.

Да, может, найдется, сказал он и шлепнул Саймона покрепче. Может, и вправду.

Я не нашел бутылку, а Большой Ханс связал постромку. Ему пришлось снять перчатки, но связал он быстро, и я его за это зауважал. Папа повел Саймона, а Ханс подналег сзади. Сани вытащились из снега и вдруг пошли, заскользили. Раздался звук, как будто лопнула электрическая лампочка. По следу полоза расплылось коричневое пятно. Папа, широко расставив ноги и держась за уздечку, оглянулся на пятно.

Как же это? сказал он. Как же это?

А Большого Ханса разобрало. Он задрал ногу выше снега. Он ударил себя. Плечи у него затряслись. Он хватался за живот. Он качался взад-вперед. Ой... ой... ой, кричал он и держался за бока. По щекам его текли слезы. Ты... ты... ты, завывал он. Щеки у Ханса, нос и вся голова стали красные. Нашел... нашел... нашел, захлебывался он.

У папы все застыло. Белые волосы, торчавшие из-под шапки, казались твердыми, острыми и блестели, как снег. Большой Ханс не переставал смеяться. Я никогда не видел его таким веселым. Он ослаб, он спотыкался, а папа стоял как вкопанный. Ханс тяжело дышал, и грудь у него ходила ходуном. Через минуту он выдохнется и опять озябнет — и пожалеет, что нельзя глотнуть из этой бутылки. Он сделался пьяный оттого, что она разбилась. Пятно перестало расплываться, снег булькал и оседал. Можно растопить снег и выпить, подумал я. Я очень жалел о бутылке. Я ненавидел Ханса. Всегда буду ненавидеть Ханса — пока есть снег.

Когда папа велел мне лезть в сани, Ханс уже тихо пыхтел. Потом и он влез, неловко. Папа стянул одеяло с коня Саймона и бросил в сани. Потом приказал Саймону ехать. Я накрылся одеялом и попробовал унять дрожь. Наша печка, подумал я, черная... Господи... черная... красивая, черная как сажа... а в дырках горит густым вишневым. Я подумал, как из чайника на ней идет пар, живой пар, шипит, белый и теплый, не как у меня изо рта — этот вялым облаком висит, тяжелый и мертвый, в неподвижном воздухе.

Ханс встрепенулся.

Куда мы едем? спросил он. Куда мы едем?

Папа ничего не ответил.

Не туда ведь, сказал Ханс. Куда мы едем?

Животу моему было больно от пистолета. Папа щурился на снег.

Ей-богу, сказал Ханс, мне жаль бутылку.

Но папа правил.

2

В роще рос барбарис, лежал под деревьями и прятался в снегу. Дубы поднимались высоко, раскинув ветви; кора на них была черная и морщинистая. Кое-где я видел заиндевелые завитки травы, примерзшие к земле, и высокие, убитые ветром снежные кучи, из которых высовывал свои шипы барбарис. Ветер сбросил некоторые сучья на сугробы; солнце положило на их склоны тени других ветвей и перегибало через гребни. За рощей начинался подъем. Снежный. Папа и Ханс несли ружья. Мы пробирались вдоль сугробов пригнувшись. Я слышал наше тяжелое дыхание и скрип снега, земли, башмаков. Мы шли медленно и все мерзли.

Над снегом, между ветвями, я видел конек дома Педерсенов, а ближе — крышу хлева. Мы двигались к хлеву. Папа иногда останавливался и смотрел, нет ли дыма, но в небе ничего не было. Большой Ханс наткнулся на куст, и

шип проколол его шерстяную перчатку. Папа показал ему, чтобы не шумел. Я чувствовал сквозь перчатку пистолет — тяжелый и холодный. Где мы шли, снег с земли почти совсем сдуло. Я больше смотрел на пятки Ханса: выше смотреть — болела шея. А когда посмотрел — нет ли дыма, щеку мне обдал ветерок и прижал кожу к кости. Я мало о чем думал: не потерять бы из виду пятки Ханса да о том, что уши у меня горят даже под шапкой, и губы стянуло, и всякое движение причиняет боль. Папа вел между дубами, где сумасшедший ветер оголил землю и намел языки снега возле стволов. Иногда нам приходилось пробираться через маленький сугроб, чтобы каждый раз не делать крюк. Крыша дома поднималась все выше над сугробами, и наконец, когда мы миновали один угол, над крутым ярким скатом показалась на солнце труба, очень черная, как потухшая сигара, с белым снегом на конце вместо пепла.

Я подумал: огонь не горит, они, наверно, замерзли.

Папа остановился и показал головой на трубу.

Понял? огорченно сказал Ханс.

Тут я увидел, как с макушки сугроба слетело облачко снега, и глазам стало больно. Папа быстро взглянул на небо, но оно было ясное. Ханс, опустив голову, топал ногами и шепотом ругался.

Да, сказал папа, кажется, напрасно съездили. В доме никого.

Педерсены умерли, сказал Ханс, по-прежнему глядя в землю.

Замолчи. Я увидел, что губы у папы потрескались: сухая, совсем сухая щель. Под ухом ходил желвак. Замолчи, сказал он.

С верхушки трубы сорвалась легкая ленточка снега и пропала. Снег странно елозил у меня перед глазами, и я старался не шевельнуться в скорлупе моей одежды — один, испуганный пространством, налившимся в меня, белым, пустым, ослепительным простором, таким же, как пустыня вокруг, горящая холодом, вздыбленная волнами, и мне захотелось свернуться клубком, прижать лицо к коленям, но я знал, что, если заплачу, мои веки смерзнутся. В животе заурчало.

Ты что это, Йорге? спросил папа.

Ничего. Я хихикнул. Наверно, замерз, па. Я рыгнул.

Черт, громко сказал Ханс.

Молчи.

Я ковырнул снег носком башмака. Мне хотелось сесть, и если было бы на что, то сел бы. Только одного хотелось — прийти домой и сесть. Ханс перестал топать и смотрел сквозь деревья в ту сторону, откуда мы пришли.

Был бы кто в доме — огонь бы развел, сказал папа.

Он шмыгнул носом и утерся рукавом.

Любой бы — понимаешь? он повысил голос. Любой бы, кто в доме, развел бы огонь. Педерсены скорей всего ищут своего дурака мальчишку. Сорвались, наверно, и печь бросили. Она погасла. Голос его осмелел. А если кто пришел, когда их не было, он тоже первым делом развел бы где-нибудь огонь, и мы бы дым видели. В такой холод чертовский иначе нельзя.

Папа взял ружье, которое нес переломленным через левую руку, и неторопливо повернул стволом вверх. Оба патрона выпали, и он засунул их в карман пальто.

Это значит — в доме никого. Дым не идет, сказал он веско, и это значит, что в доме *никого* нет.

Большой Ханс вздохнул.

Ладно, пробурчал он, стоя поодаль. Пошли домой.

Мне хотелось сесть: вот тут диван, вот тут кровать — моя, белая и пухлая. И лестница, холодная, скрипучая. И во рту у меня холодная сухость и ломит зубы, как всегда дома, и в животе холодная буря, и щиплет глаза. Мальчишкин зад отпечатался в тесте. Мне хотелось сесть. Мне хотелось вернуться туда, где мы привязали коня Саймона, и оцепенело сесть в сани.

Да, да, пойдем, сказал я.

Папа улыбнулся — ну и гад, *гад*, — а он не знал и половины того, что я теперь знал, с занемелым сердцем и отгоревшими ушами.

Можем хотя бы оставить записку, что Большой Ханс спас их мальчишку. А то не по-соседски получится. Да и вон в какую даль ехали. Ну что?

Что по-соседски, а что не по-соседски, много ты в этом понимаешь? закричал Ханс.

Он выбросил патроны из ружья в снег и стал топтать их. Один закатился в сугроб, так что виднелось только медное дно, а другой разломился и утонул в снегу. Под ногой у Ханса рассыпался черный порох.

Папа рассмеялся.

Па, пойдем, холодно, сказал я. Слушай, я не храбрый. Нет. Мне все равно. Мне холодно, и все.

Хватит скулить, всем холодно. Большому Хансу вон как холодно.

А тебе нет, что ли?

Ханс втаптывал в снег черные зерна.

Да, ухмыляясь, сказал папа. Есть маленько. Есть. Он обернулся. Назад дорогу найдешь, Йорге?

Я пошел, а он снова засмеялся, громко и злорадно, чтоб ему сдохнуть. Я ненавидел его. Господи, до чего я его ненавидел. Уже не как отца. Как это обжигающее пространство.

Я никогда так не делал, как паршивец Педерсен, сказал он, когда мы тронулись. Такие, как Педерсен, всегда напрашиваются на неприятности. Прямо молятся о них. Пусть сам найдет мальчишку. Он знает, где мы живем. Это не по-соседски, но я его в соседи не выбирал.

Да, сказал Ханс, пусть старый черт сам ищет.

Держал бы малого за заборами своими. На кой черт он к нам его послал — заботу лишнюю? Сам снегу просил. На колени падал. И что, готов оказался? А? Готов? К снегу? К снегу никто не бывает готов.

Если бы я потерялся, старый черт к тебе не пришел бы, сказал я, но я не думал, что́ говорю, просто сказал. Сосед, рассосед — так ему и надо. Я чувствовал, как движутся подо мной сани.

Кто его знает, святого Пита, сказал Ханс.

Я двигался быстро. И не старался пригибаться. Я смотрел в просветы между деревьями. Искал место, где мы оставили Саймона и сани. Я подумал, что Саймона увижу раньше — может быть, пар из его рта над сугробом или возле дерева. Нога поскользнулась на тонком снегу, не сдутом с нашей дорожки. Правой рукой я все еще держал пистолет и потерял равновесие. Я хотел опереться на левую, но она ушла по локоть в сугроб и барбарисовые колючки. Я отдернул руку и сильно упал. Хансу и папе это показалось смешным. Только ноги, лежавшие передо мной, были не мои. Я готов был побожиться. Это было непонятно. Из-под снега, отброшенного моей ногой, высунулось конское копыто, и я нисколько не испугался и не удивился.

Похоже на копыто, сказал я.

Папа и Ханс молчали. Я посмотрел на них, издалека. Теперь ничего. Три человека на снегу. Красный шарф, варежки... чей-то лед и уголь... Картинка на январь. Но за ними, на голых холмах? Тут меня осенило: досюда он доехал верхом. Я посмотрел на копыта с подковой — они были не из этой картинки. На январской дохлых лошадей не будет. На снежных горках будет путаница санных следов, зеленые деревья, опрокинувшиеся санки. Хотя бы. Или застывшее озеро и шумные ребята на коньках. Три человека. Задом в снегу: один. Дохлая лошадь и пистолет. И я услышал вопрос, явственно, как будто мне крикнула девочка из календаря: ты собираешься встать и идти? Или это была рождественская картинка? Большое полено, и я лежу на теплом оранжевом дереве в моей фланелевой пижаме. Мне только что подарили духовой пистолет. А вопрос был: собираюсь я встать и идти? У Ханса и папы ноги стоят крепко, как лошадиные. Тоже подкованы? Их тела спрятаны? Кто их здесь

поставил? А на Рождество печенья сделаны по форме детского мертвого мокрого зада... может быть, с вишенкой, чтобы оживить бледность теста... угольком из печки. Но я не мог просто сказать, что это похоже на копыто или похоже на подкову, и идти дальше, потому что Ханс и папа ждали позади меня в шерстяных шапках и хлопали варежками... как на январской картинке. Улыбались. Я учился кататься на коньках.

Наверное, досюда он доехал верхом.

Наконец папа сказал вялым голосом: о чем ты толкуешь?

Ты сказал, что у него была лошадь, па.

О чем ты толкуешь?

Вот она, лошадь.

Ты что, никогда подковы не видел?

Обыкновенная лошадиная подкова, сказал Ханс. Пошли.

О чем ты толкуешь? снова сказал папа.

Человек, который напугал мальчишку Педерсенов. Которого он видел.

Хреновина, сказал папа. Это какая-нибудь из педерсеновских лошадей. Я узнал подкову.

Правильно, сказал Ханс.

У Педерсена только одна лошадь.

Это она и есть, сказал Ханс.

Эта лошадь бурая, так?

У лошади Педерсена задние ноги коричневые, я помню, сказал Большой Ханс.

У него вороная.

Задние ноги коричневые.

Я стал отгребать снег. Я знал, что лошадь у Педерсена вороная.

Какого черта? сказал Ханс. Пошли. Будем стоять на таком морозе и спорить, какой масти у Педерсена лошадь.

У Педерсена вороная, сказал папа. Ничего коричневого у ней нет.

Ханс сердито повернулся к папе. Ты сказал, что узнал подкову.

Я обознался. Это не она.

Я продолжал отгребать снег. Ханс нагнулся и толкнул меня. Там, где к лошади примерз снег, она была белая.

Она бурая, Ханс. Педерсена лошадь вороная. Эта бурая.

Ханс все толкал меня. Черт бы тебя взял, повторял он снова и снова тонким, не своим голосом.

Ты с самого начала знал, что лошадь не Педерсена.

Это было похоже на песню. Я осторожно встал и сдвинул предохранитель. Может, к концу зимы кто-нибудь наткнется в снегу на его ноги. Мне казалось, что я еще раньше застрелил Ханса. Я знал, где он держит пистолет — под своими журналами в комоде, — и хотя я никогда раньше об этом не думал, все развернулось передо мной до того натурально, что так, наверно, и произошло на самом деле. Конечно, я их застрелил — папу на кровати, маму в кухне, Ханса, когда он пришел с поля. Мертвые, они не сильно отличались бы от живых, только шуму от них меньше.

Йорге, погоди... осторожнее с этой штукой. Йорге. Йорге.

Его ружье упало в снег. Он вытянул перед собой обе руки. Потом я стоял один во всех комнатах.

Ты трус, Ханс.

Медленно пятясь, он загораживался от меня руками... загораживался... загораживался.

Йорге... Йорге... погоди... Йорге... Как песня.

После я разглядывал его журналы, засунув руку в трусы, и меня обдавало жаром.

Я застрелил тебя, трусливый Ханс. Больше не будешь кричать, толкать меня, тыкать под ребра в хлеву.

Эй, погоди, Йорге...послушай... А? Йорге... постой... Как песня.

После только ветер и теплая печь. Дрожа, я поднялся на цыпочки. Подошел папа, и его я тоже взял на мушку. Я водил стволом туда и сюда... с Ханса на папу... с папы на Ханса. Исчезли. В углах окна растет снег. Весной буду какать с открытой дверью, смотреть на черных дроздов.

Йорге, не валяй дурака, сказал папа. Я знаю, что ты замерз. Мы поедем домой.

...трус трус трус трус... Как песня.

Нет, Йорге, я не трус, сказал папа, приятно улыбаясь.

Я застрелил вас обоих пулями.

Не валяй дурака.

Весь дом пулями. И тебя.

Чудно́ — я не почувствовал.

Они никогда не чувствуют. Кролики чувствуют?

Он с ума сошел. Господи, Маг, он с ума сошел.

Я не хотел. Я ее не прятал, как ты. Я ему не поверил. Это не я трус, а вы вы заставили меня заставили ехать, вы сами трусы трусы с самого начала трусили.

Ты просто замерз.

Замерз или с ума сошел... Господи... одно и то же.

Он просто замерз.

Потом папа забрал пистолет и положил к себе в карман. Ружье у него было перекинуто через левую руку, но он дал мне пощечину, и я прикусил язык. Папа брызгал слюной. Я повернулся и, прижимая рукав к лицу, чтобы не так жгло, побежал назад той же тропинкой.

Говнюк ты, крикнул мне вслед Большой Ханс.

3

Папа пришел к саням, где я сидел скрючась под одеялом, и взял с задка лопату.

Полегчало?

Немного.

Попей кофе.

Оно уже холодное. Я все равно не хочу.

А бутербродов поешь?

Неохота. Я ничего не хочу.

Папа пошел с лопатой обратно.

Чего ты ей хочешь делать? спросил я.

Туннель рыть, сказал он, свернул за сугроб, блеснув лопатой, и скрылся из виду.

Я хотел его окликнуть, но вспомнил его ухмылку и раздумал. Саймон бил копытом. Я поплотнее закутался в одеяло. Я ему не верил. Только в первую секунду поверил, когда он сказал. Это была шутка. Мне не до шуток в такой мороз. Зачем ему лопата. Нет смысла откапывать лошадь. Ясно же, что не Педерсена лошадь.

Бедный Саймон. Он лучше их. Бросили нас на морозе.

В санях папа не вспомнил про лопату. Я мог с ней искать бутылку. Это тоже была шутка. Папа сидел и думал, как смешно ковыряется Йорге в снегу. Посмотрим, вспомнит ли про лопату. Смешно будет, если Йорге не вспомнит, думал он, сидя в одеяле и вертя головой, как курица. Когда вернемся домой, наслушаешься этого рассказа до тошноты. Я опустил голову и закрыл глаза. Ладно. Мне все равно. Я согласен на это, лишь бы согреться. Но все, наверно, не так. Папа тоже забыл про лопату, как я. Бутылка была ему очень нужна. А теперь ее нет. С закрытыми глазами было холоднее. Я попробовал думать о нижнем белье и о девушках из журналов. Шею у меня свело.

Тогда чья это лошадь?

Я решил еще посидеть с закрытыми глазами, посмотреть, смогу ли. Потом раздумал. В глаза мне хлынул поток света. Ярче, чем снег, и такой же белый. Я открыл глаза и выпрямился. Когда сидел с опущенной головой, она кружилась. Все расплывалось. Было много синих линий, и они двигались.

Узнали они лошадь или нет? Может быть, это лошадь Карлсона, а может, и Шмидта. Может, это Карлсон был в желтых перчатках или Шмидт, а мальчишка вернулся из хлева, не зная, что Карлсон пришел, и вдруг увидел его на кухне с ружьем в руках — а такое могло быть, если пришел Шмидт, — и мальчишка испугался и убежал, потому что не понял, как это в такую метель до них мог добраться Шмидт или Карлсон, если это были они, поэтому мальчишка испугался и убежал и добрел до наших яслей, а там его засыпало снегом, и утром его нашел Ханс.

А мы все были дураками. Особенно Ханс. Я поежился. Холод засел у меня в животе. Солнце скатывалось к западу. Небо вокруг него было дымчатое. Ложбины за некоторыми сугробами синели.

Он бы так не испугался. Зачем Карлсону или Шмидту выходить в метель. Если кто-то заболел, они ближе к городу, чем Педерсены и чем мы. В такую погоду дорога для них трудная. Они бы не захотели, чтобы их застигла метель. Но если лошадь краденая — у кого ее можно было украсть, кроме Карлсона и Шмидта, да разве еще Хансена?

Он заходит в хлев до снега, скорей всего ночью, и с лошадьми обращаться умеет. Овсом или сеном выманивает. Удирает. Начинается метель. Он погоняет, не жалеет ни лошадь, ни себя, пригибается от ветра, пытается разглядеть изгородь, какую-нибудь примету, дорогу. Доехал до рощи. Может, она ему незнакома. Лошадь въезжает в барбарис, вскидывается, падает на колени; или его сшибает в сугроб низкий дубовый сук, которого он не заметил, или съезжает с лошади, когда она встала на дыбы из-за колючек. Лошадь отходит, но недалеко. Потом останавливается — конец ей. А он... он оглушенный, обветренный, обточенный, как камень в ручье. Он замерз и устал: снег — та же холодная вода. Ветер воет. Он ослеп. Он голодный, замерзший, испуганный. Снег сечет ему лицо, обскабливает. Он стоит неподвижно, совсем один, на ветру. А потом его засыпает снег. Ветер закатывает настом. Только лопата, разворошив сугроб, или теплый дождь откроют его, лежащего рядом с лошадью.

Я скинул одеяло, спрыгнул и побежал по нашей тропинке, между сугробами и деревьями, поскальзываясь, круто сворачивая туда и сюда; изо всех сил старался прогнать оцепенение, а голову все время держал высоко, внимательно глядел вперед.

Возле лошади их не было. Копыто и часть ноги, которую я откопал, лежали у тропинки так, как будто были сами по себе. Как будто их сдуло с дерева сильным ветром — и я, когда увидел это, испугался. Теперь подул мягкий ветерок, и я обнаружил, что язык у меня саднит. Следы Ханса и папы шли дальше — к хлеву Педерсена. Возбуждение мое кончилось. Я вспомнил, что бросил одеяло в санях, а не накрыл им Саймона. Подумал, не вернуться ли. Папа сказал, туннель. Это, наверно, была шутка. Но что они делали лопатой? Может быть, нашли его у хлева. А что, если это в самом деле Шмидт или Карлсон? Я подумал, кого бы мне хотелось больше. По папиному следу я пошел медленнее. И теперь пригибался. Крыша хлева делалась все больше, небо мглистее; там и сям с макушки сугроба срывалось снежное облачко, словно его отщипнули, и быстро улетало прочь.

Они и вправду рыли туннель. Они не услышали моих шагов. Они рыли туннель.

Ханс рыл в огромном сугробе. Сугроб крутой дугой тянулся от рощи до хлева. Он подходил к свесу крыши и натекал на нее, как будто хлева внизу вообще не было. Казалось, что здесь скопился весь снег зимы. Если бы сугроб

не упирался в рощу, по нему хорошо было бы кататься на санках. Приставить к крыше лестницу, влезть — и оттуда. Наст на вид был крепкий.

Ханс и папа проделали в сугробе трехметровую нору. Ханс копал, а папа позади складывал выкопанное кучками. Я прикинул, что до хлева метров тридцать. Если бы дома и не так холодно, это была бы хорошая игра. Но целый день займет. Чертовы дураки.

Я подумал... сказал я, и Ханс застыл в туннеле с лопатой на весу.

Папа не обернулся и не остановился.

Помог бы копать, сказал он.

Я подумал... сказал я, и Ханс, бросив лопату вместе со снегом, вышел из туннеля. Я подумал, что вы не там роете.

Ханс показал на лопату. Давай копай.

Надо в чем-то снег носить, сказал папа. А то уже далеко, черт.

Папа пнул снег и взмахнул руками. Он вспотел, и Ханс тоже. Ужасные дураки.

Я сказал: вы не там роете.

Хансу скажи. Это он придумал. Любитель покопать.

Ты считал, что правильно придумал, ответил Ханс.

Ничего подобного.

Нет, вряд ли вы его тут найдете.

Папа усмехнулся. Но и он нас не найдет.

Он никого не найдет, если он там, где я думаю.

Вон что — думаешь. Ханс подошел поближе. Где?

Там, докуда доехал. Мне было все равно, что сделает Ханс. Пусть подходит сколько хочет. В снегу, возле лошади.

Ханс встрепенулся, но папа пожевал губу и мотнул головой.

Может быть, Шмидт или Карлсон, сказал я.

Ни хрена не может быть Шмидт или Карлсон, сказал папа.

Конечно, крикнул Ханс.

Ханс яростно схватил лопату и пронес ее рядом со мной, как топор.

Ханс работал как молотилка, сказал папа.

Вы никогда не кончите.

Да.

Он выше, чем надо.

Конечно.

Тогда зачем вы роете?

Ханс. Ханс хочет.

На кой черт?

Чтобы подобраться к хлеву незаметно.

Почему не пройти за сугробом?

Ханс. Ханс говорит, нет. Ханс говорит, что из верхнего окна он увидит за сугробом.

Ну и черт с ним.

У него ружье.

А откуда вы знаете, что он наверху?

Ниоткуда. Мы вообще не знаем, есть ли он. Но лошадь-то есть.

Он там, где я сказал.

Нет его там. Это тебе так хочется. И Хансу тоже, а? А его там нет. Если он там, кого мальчишка видел — привидение?

Я прошел туннель до конца. Все казалось синим. Воздух был мертвый и сырой. Хорошая была бы забава — кругом меня снег, зернистый и плотный, таинственность туннеля, игра. Снежный тупик, все приглушено, следы лопаты на стенах. Да, я понимал, что чувствует Ханс. Это было бы чудесно — зарыться в глубину, исчезнуть под снегом, заснуть не на ветру, в мягких простынях, в безопасности. Я выбрался наружу. Мы пошли за Хансом, чтобы ехать домой. Папа с улыбкой отдал мне пистолет.

Мы услышали хруст наста, взрезаемого лопатой, и пыхтение Ханса. Он орудовал лопатой, как вилами. Вокруг лошади комьями валялся взрытый снег. Втыкая лопату, Ханс крякал. Потом он стал бить лопатой по снегу, утрамбовывать его. Потом — срезать наст боком лезвия.

Ханс. Это бесполезно, сказал папа.

Но Ханс продолжал бить лопатой, тыкать и бить, совать ее туда и сюда, как будто хотел убить змею.

Зря стараешься. Бесполезно, Ханс. Йорге ошибся. Возле лошади его нет.

Но Ханс продолжал, шибче и шибче.

Ханс. Папе пришлось повторить — громко и строго.

Лопата пронзила снег. Наткнулась на камень и звякнула. Ханс упал на колени и стал разбрасывать снег руками. Увидев камень, он остановился. Он стоял на коленях в снегу, уставясь на камень.

Ханс.

Паразит. Убил бы его.

Его тут нет, Ханс. Откуда ему быть? Мальчишка видел его не тут, он видел его на кухне.

Ханс как будто не слушал.

Йорге ошибся. Нету его тут. Точно нету. Не может тут быть.

Ханс схватил лопату, как будто хотел размахнуться ей, и вскочил. Он поглядел на меня с такой злостью, что я забыл, насколько мне все безразлично.

Надо подумать, что делать, сказал папа. С туннелем не получится.

Ханс не смотрел на папу. Он смотрел только на меня.

Можем поехать домой, сказал папа. Можем поехать домой, а можем рискнуть пройти за сугробом.

Ханс медленно положил лопату. За ним потянулась к хлеву узкая тропка.

Ханс, поедем домой, сказал я. Давай поедем.

Я не могу ехать домой, сказал он ровным тихим голосом, проходя мимо нас.

Папа вздохнул, и мне показалось, что я уже умер.

Часть третья

1

Лошадь Педерсена стояла в хлеву. Папа ее успокаивал. Он гладил ей бок. Он положил голову ей на шею и шептал на ухо. Она вздрогнула и заржала. Большой Ханс приоткрыл дверь и выглянул в щелку. Он сделал знак, чтобы папа унял лошадь, но папа был в стойле. Я спросил Ханса, не видит ли он чего, — Ханс покачал головой. Я предупредил папу насчет ведра. Он угомонил лошадь. В ведре лежало что-то похожее на губки. Если это были губки, то они затвердели. Ханс отвернулся от двери и тер глаза. Он прислонился к стене.

Потом подошел папа и заглянул в щель.

Не похоже, что в доме кто-то есть.

У Большого Ханса сделалась икота. Он вполголоса ругался и икал.

Папа кряхтел.

Теперь лошадь вела себя тихо, а мы дышали осторожно, и если поднялся ветер и шуршал снегом, то мы этого не слышали. В хлеву было теплее, а слабый свет мягко освещал сено и дерево. Мы спрятались от солнца, и глаза отдыхали на спокойных инструментах и коже. Я прислонился к стене, как Ханс, и засунул пистолет за пояс. Приятно было освободить руку. Лицо горело, и меня клонило в сон. Можно было сделать нору в сене. Даже если там крысы, я все равно бы спал рядом с ними. В хлеву было тихо. На стенах висели инстру-

менты и сбруя, на полу лежали мешки и стояли ведра. Никто не возился в соломе, не шевелился в сене. Лошадь стояла смирно. Мы с Хансом отдыхали у стены; Ханс набирал в грудь воздух и задерживал его, и мы оба ждали, что скажет папа, но он не издавал ни звука. Только опасно протянувшаяся из-под его ног к ведру полоска белого солнечного света казалась живой.

Не похоже, сказал наконец папа. Отсюда не поймешь.

Так кто пойдет? подумал я. Это недалеко. И все кончится. Только двор перейти. Это не дальше, чем переход за сугробом. Оттуда только окна глядят. Если он и был, то ушел, никакой опасности нет.

Он ушел.

Может, и так, Йорге. Но если он приехал на бурой, которую ты нашел, почему не взял кобылу Педерсена?

Господи, прошептал Ханс. Он здесь.

Может, и в хлеву, мы все равно его не увидим.

Ханс икнул. Папа тихо рассмеялся.

Ну тебя к черту, сказал Большой Ханс.

Я думал, избавил тебя от икоты.

Дай посмотрю, сказал я.

Он, наверно, ушел, подумал я. Тут совсем близко. Он, наверно, ушел. Его и не было. Совсем близко — но кто перейдет? Сильно прищурясь, я разглядел дом. С нашей стороны ближе всего — столовая. Веранда была слева, подальше. Дойти до ближней стены, а потом пробираться под окнами. Он может увидеть тебя из окна на веранде. Но он же ушел. Однако мне не хотелось пересекать этот снежный, продуваемый пятачок, чтобы убедиться в этом.

Большой Ханс никак не мог перестать. Я считал в промежутках. Если бы не это, сзади бы меня ничто не беспокоило. Когда он задерживал воздух, наступала долгая тишина, а потом мы ждали.

Возле снеговика поднялся ветер. Теперь возле снеговика лежали длинные голубые тени. На востоке небо было ясное. Снег потихоньку пересыпался к веранде мимо снеговика. С хобота насоса свисала сосулька. Следов нигде не было. Я спросил, видели ли они снеговика; папа буркнул. Снег доставал снеговику до пояса. Ветер выдул ему глаза с лица. Немой дымоход — это пустой дом.

Там никого нет, сказал я.

У Ханса снова началась икота, и я выбежал.

Я добежал до стены столовой и прижался к ней спиной, крепко. Теперь я увидел тучи на западе. Ветер усиливался. Хансу и папе можно было идти. Я проберусь за угол. Я проберусь вдоль стены. Там веранда. Рядом с ней, один, стоял снеговик.

Свободно! крикнул я и двинулся дальше не прячась.

Папа осторожно вышел из хлева с ружьем в руках. Он шел медленно, чтобы быть храбрым, а я стоял на открытом месте, и я улыбнулся.

Папа сел, обняв колени, я услышал ружье, и Ханс закричал. Папино ружье встало торчком. Я попятился к дому. Господи, подумал я, он здесь.

Хочу пить.

Я держал дом. На него несло снег.

Хочу пить. Он показал мне рукой.

Замолчи. Замолчи. Я помотал головой. Замолчи. Замолчи и умри, подумал я.

Хочу пить, пить, сказал папа.

Папа дернулся, когда я еще раз услышал ружье. Он как будто показал на меня рукой. Мои пальцы скользили по доскам. Я пытался зацепиться ими, но спина соскальзывала. Я в отчаянии закрыл глаза. Я знал, что снова услышу ружье, хотя кролики не слышат. Он бесшумно пришел. Спина соскальзывала. В кроликов, однако, трудно попасть, они прыгают. А суслики, вроде папы, сидят. Я чувствовал лицом снежинки; они крошились, когда ударялись. Он

застрелит меня, ей-богу. Голова у папы набок? Не смотреть. Я чувствовал, как снежинки мягко падают мне на лицо и ломаются. Снег слепил, стягивал щели глаз. Эта трещина у папы в лице, должно быть, ужасно сухая. Не смотреть, да... ветер усиливался... снежинки быстрее...

2

Когда мне стало так холодно, что стало все равно, я прополз к южной стороне дома, разбил окно пистолетом — о нем я только сейчас вспомнил — и влез в полуподвал, порвав о стекло куртку. Ноги подламывались, я то и дело присаживался в темных углах, в холодных плесневелых закутках между ящиками. И вдруг заснул.

Я думал, что проснулся сразу, однако свет за окном был красным. Их загнали в погреб, вспомнил я. Но, хотя замерз так, что будто отделился от себя, я остался на месте и думал, не идет ли все к тому, чтобы я очутился в погребе взамен мальчишки, которого он упустил. Да, его не ждали. А мальчишка Педерсенов — может, он был вроде как бы вестью. Нет, мне больше нравилась мысль, что нас обменяли, как пленных. Я вернулся в свою страну. Нет, скорее мне дали страну. Новую необитаемую землю. Чем дальше, тем больше, пока мы ехали, я выскальзывал из себя — может быть, меня вытеснял холод. Так или иначе, голова у меня была чудная, с пересохшими глазами, затуманенная, всё разорванное. Да, он был быстрый и бесшумный. Кролик просто споткнулся. Помидоры ничего не чувствуют замерзая. Я подумал о мягкости туннеля, следах лопаты на снегу. А что, если снег глубиной в тридцать метров. Вниз, вниз. Бело-синяя пещера, синева темнеет. И отсюда отходят туннели, как ветви дерева. И красивые залы. Это уже февраль? Я вспомнил кино, где листы слетали с календаря, как листья. Девушки в красном кружевном белье уносились на лыжах из виду. Тишина туннеля. Глубже и глубже. Лестница. Широкая, высокая лестница. И балконы. Ледяные окна и мягкий зеленый свет. Ах. В феврале еще будет снег. Вот я съезжаю с хлева, шуршат полозья. Я опасно кренюсь, но все равно качусь дальше. Теперь в желоб, быстрый снежный желоб, и мальчишка Педерсенов плывет грудью вниз. Теперь они все утонули в снегу, так ведь? Мальчишка — за то, что убил свою семью. А я? Должен замерзнуть. Но я уйду до этого, вот что хорошо, я уже ухожу. Да. Чудно́. Я стал чем-то, что надо ощупать, найти больные места, как ржавчину и гниль в шурупах и досках, перетертые места в ремнях, и до этих мест было трудно достать, пальцы в перчатках не гнулись, концы их болели. Из носу текло. Как интересно. Странно. В ноге судорога, она меня, наверно, и разбудила. Как чужие я ощущал свои плечи в куртке, обод шапки на лбу, а на жестком полу — еще более жесткие — свои ступни и крепко прижатые к груди колени. Я ощущал их, но ощущал иначе, чем всегда, — как распор болта в стали, как тягу кожаного гужа, как натиск половицы на половицу в сплоченном полу, как тугой поворот плотно пригнанной пары колес, стесненность разбухших брусьев и глубоких зимних ключей.

Я не видел топку, но огня не было. Я знал, угли в ней остыли. В разбитом окне застряла радуга и бросила на пол цветные пятна. Один раз сквозь нее пробежал ветер, и снежинка повернулась. Лестница уходила в темноту. Если на ней появится щелка света, подумал я, придется стрелять. Я нашарил пистолет. Потом я увидел погреб, закрытую дверь, за которой Педерсены.

Умерли они уже? Должны были. Все умерли, кроме меня. Более или менее. Большой Ханс, конечно, не совсем — если только этот не догнал его, воющего. Но Большой Ханс бежал как трус. Это ясно. Может, даже лучше, что он жив и пропадет в снегу. У меня не было его журналов, но я помнил, как они выглядят, надутые в лифчиках.

Дверь была деревянная, с деревянным засовом. Засов я отодвинул легко,

но дверь застряла. Не должна была застрять, но застряла — заело сверху. Я попробовал разглядеть верх, встав на цыпочки, но пальцы на ногах не выгибались, и я валился на сторону. Не с чего ей застревать, подумал я. Нет никакой причины. Я снова дернул, очень сильно. Упала деревяшка, и дверь, задрожав, открылась. Подклинена. Зачем? Есть же засов. В погребе было еще темнее и пахло землей и плесенью.

Может, они свернулись клубком, как мальчишка, когда он упал. Может, у них иней на одежде и волосы схватило льдом. Какого цвета у них носы? Хватит мне смелости дернуть? Если хозяйка мертвая, посмотрю у ней между ног. Я не Ханс, чтобы их растирать. Большой Ханс убежал. Пропал в снегу. Здесь ни чайника, ни печки. Перед тем как такое устроить, надо всё рассчитать. Я подумал о том, как затвердели губки в ведре.

Я ушел за ящики, спрятался и стал следить за лестницей. В пятне света деревяшка была оранжевой. Он слышал меня, когда я разбил стекло, и когда выдернул дверь, и когда упал клин. Он ждал за дверью наверху, над лестницей. Чтобы я туда поднялся. Он ждал. Все это время. Ждал, пока мы стояли в хлеву. Ждал, когда выйдет папа с ружьем наперевес. Он не рисковал, ждал.

Я понимал, что ждать не могу. Я понимал, что надо выбираться обратно. Там он тоже будет ждать. Я медленно сяду в снег, как папа. Это будет обидно, особенно обидно после всего, что я пережил и теперь был на пороге чего-то чудесного — я чувствовал, как оно уже странно трепещет во мне, в той части меня, которая воспарила и спокойно смотрела с высоты на залубеневшую кучку моей одежды. Да, вот что папа забыл. Мы могли воспользоваться лопатой. И с ней я бы нашел бутылку. С ней мы бы поехали домой. У печки я пришел бы в себя, я бы отогрелся. Но когда я думал об этом, меня это уже не привлекало. Я больше не хотел прийти в себя таким способом. Нет. Я был рад, что он забыл про лопату. Но он... он ждал. Папа всегда говорил, что умеет ждать; что Педерсен не умел. Но мы с папой не сумели — только Ханс остался, когда мы вышли, а тот, кто по-настоящему умеет ждать, ждет. Он знает, что я не смогу ждать. Он знает, что я замерзаю.

Может быть, Педерсены просто спят. Надо убедиться, что старик не подглядывает. Такое дело. Папа притворялся спящим. Мог и мертвым притвориться? Она не очень-то интересная. Толстая. Седая. Но между ног у всех одинаково. Свет в окне слабел. Видневшийся там кусок неба был дымчатым. Осколки стекла отблестели. Я услышал ветер. Снег за окном поднимался. С балки свисала паутина, неподвижно, как проволочная сетка. Снежинки влетали одна за другой и исчезали. Я торопливо считал: три... одиннадцать... двадцать пять. Одна опустилась около меня. Может быть, Педерсены вправду спят. Я снова подошел к двери и заглянул. На банках лежали слабые полосы света. Я попробовал пол ногой. Вдруг подумал о змеях. Я двинул ногу вперед. Обошел все углы, но по полу никто не ползал. Все-таки — облегчение. Я вернулся и спрятался за ящиками. Ветер усиливался, нес снег, стекло поблескивало в неожиданных местах. Мертвые шляпки кровельных гвоздей в открытом бочонке белели матово. Господи боже. Наверху в доме громко хлопнула дверь. Он перестал выжидать.

За то, что убил свою семью, мальчишка должен замерзнуть.

Лестница была крутая и без перил. Она будто спотыкалась в воздухе. Слава богу, ступени крепкие и не скрипят. Под меня наливалась темнота. Ужас высоты. Но я просто взбирался наверх с санками под мышкой. Еще минута, и помчусь с края крыши, вниз по крутому сугробу, вздымая снег. Я застыл на ступеньке, вытянулся. Провалившись в пустоту, я полечу вокруг темной звезды. Не календарь на март. Может быть, меня найдут весной, буду висеть на этой лестнице, как зазимовавший кокон.

Я тихо пробрался наверх и толкнул дверь. На кухонных обоях были цветочные горшки, зеленые и очень большие. В каждом рос громадный красный цветок. Я засмеялся. Мне понравились обои. Я полюбил их; они мои; смеясь,

я ощупал зеленые горшки и обвел пальцами красный цветок. Слева от двери над лестницей было окно, смотревшее на заднюю веранду. Я увидел, что ветер несет снег на снеговика. Небо за ним было — сплошной свинец, а весь снег — пепельный. Через веранду шли следы, глубокие и четкие.

Я уже готов был праздновать, но вовремя одумался и юркнул в чулан, присел на корточки между метел и опустил лицо на руки. По длинному зеленому склону холма брели цепочкой овцы. Это была моя любимая картинка в книге, которую я получил в восемь лет. На ней не было людей.

Я злился, а папа хохотал. Она была у меня с весны, со дня рождения. Потом он ее спрятал. Тогда у нас уборная была за домом. До чего же там было холодно, а внизу — темно. Я нашел ее в уборной, разорванную, страницы валялись на мокром, замерзавшем полу. А в очке плавали кудрявые овцы. Там даже лед был. У меня сделался припадок, я катался и бил ногами. Папа шлепнул себя по ляжкам и захохотал. Я спас только краснощекого мордатого мальчика в голубом, хотя его как раз не любил. Корова была порвана. Мама сказала, что когда-нибудь я получу новую. И первое время, каждый день, хотя снег нарастал все выше, а небо было мертвое и дули ветры, я ждал, что снова придет тетя и принесет мне, как обещано, книгу. Она так и не пришла.

А журналы Ханса почти что мои.

Но он может вернуться. Но домой он меня не выгонит, нет. Ей-богу, календарь был чистый, линии четкие и ясные, краски яркие и веселые, а на льду — восьмерки, и красные губы пели, и снег принадлежал мне, и высокое небо тоже, обжигающе красивое, раскаленно-голубое. Но он может. Он быстрый.

Теплее ли тут, я не мог понять, но было не так сыро, как возле ящиков, и пахло мылом. На кухне был свет. Он проникал через щелку, которую я оставил в двери чулана для спокойствия. Но свет слабел. Через щелку я видел раковину, теперь молочную. Снежинки стали падать с неба, они терлись углами о стекло, а потом ветер снова подхватывал их и уносил. В сером они становились невидимы. А потом прилетали — вдруг — из серого, как полова с зерна, и касались стекла, когда их закручивал ветер. Что-то черное подпрыгивало. В глубине серого, там, где снег. Попрыгало чудно́ и пропало. Черная вязаная шапка, подумал я.

Выходя, я сшиб ногой ведро, а когда побежал к окну, левая нога подломилась, и я ударился о раковину. Свет гас. Летел снег. Он летел почти вровень с землей, мой снег. Поднимались клубы. Потом, в затишье, когда снег улегся и стали видны разросшиеся тени на сугробе, я увидел его спину на лошади. Я увидел взмах хвоста. И снова поднялся снег. Трепались большие полотнища. Он уехал.

3

Однажды, когда с дороги катилась пыль и на полях стояла высокая, с тяжелой головой пшеница, а листья всех деревьев посерели, скрутились и поникли, я, со старой метлой вместо ружья, пошел на луг, где одуванчики уже оделись пухом, а земля в низинах трескалась, и поднял из золотарника стрекочущую тучу кузнечиков, как перепелов, и перестрелял их на лету. Я чувствовал пшеницу в теплом ветре и все травы. Во рту я чувствовал вкус пыли, а дом, и хлев, и все ведра обжигали мне глаза. Я выследил коня Саймона в тени дерева. Я проскакал на метле по бурой луговой траве и из кулака, превратившегося в револьвер с курком, подстрелил индейца, сидевшего на Саймоне. Я скакал по сухой равнине. Я въехал в русло пересохшего ручья. Позади меня вздымалась пыль. Я скакал быстро и кричал. Трактор был ярко-оранжевый. Воздух струился над ним. За ним клубилась пыль. Я спрятался в русле и наблюдал за трактором. Я ждал, когда он повернет ко мне. Я следил и ждал. Глаза у меня были щелками. Я выскочил с гиканьем и поскакал по сухой равнине. У моего коня был золотой хвост. За мной клубилась пыль. На тракторе

сидел папа в широкополой шляпе. Из кулака, превратившегося в револьвер с курком, на скаку я подстрелил его.

Папа останавливал трактор, слезал, и мы шли через ручей к деревцу, под которым понуро стоял Саймон. Мы садились возле дерева, папа вытаскивал бутылку с водой, стоявшую между корнями, и пил. Прежде чем проглотить, он сильно болтал воду во рту. Потом обтирал горлышко и предлагал мне. Я делал глоток, как будто это была огненная вода, и отдавал обратно. Папа отпивал еще, вздыхал и поднимался на ноги. Потом спрашивал: ты накормил кур, как я велел? Я отвечал: да; и тогда он говорил: как охота? а я отвечал: неплохо. Он кивал, как бы соглашаясь, хлопал Саймона по крупу и уходил, но каждый раз не забывал сказать, чтобы я долго не играл на солнце. Я смотрел, как он идет над ручьем, еще без шляпы, обмахивая ею лицо. Потом я тайком отпивал из бутылки, обтирал губы и ее горлышко. Потом уходил по колено в амброзии, а потом, иногда, шел домой.

Огонь начал немного греть. Я тер руки. Съел черствое печенье.

Папа поехал на телеге в город. Светило солнце. Папа собирался встречать на вокзале Большого Ханса. Снег еще не сошел, но всюду была грязь, и поля снова зазеленели. Грязь кружилась на тележных колесах. Иногда пахло свежестью, а в ручье на исходе зимы была вода. Через щелку в двери уборной я видел, как он уезжает на телеге к поезду. В двенадцать лет у меня была привычка смотреть под ноги. Что-то блеснуло на воде. Так я нашел первую. Светило солнце. Тележные колеса поднимали на себе грязь, папа ехал к поезду, и по тесному ручью плыл снег. Под сиденьем у него была полочка. Можно было дотянуться рукой. Он уже тогда навострился прятать. И вот я нашел ее и вылил в очко. Эта уборная была у нас последний год; когда приехал Большой Ханс, мы ее сломали.

Я нашел яблоко и съел. Кожа на нем сморщилась, но мякоть была сладкая.

Большой Ханс сильнее Саймона, подумал я. Он брал меня с собой на работы, и мы разговаривали, а позже он показал мне картинки в своих журналах. Ты здесь видел у кого-нибудь такие? говорил он, качая головой. Такие титьки круглые здесь только у коров. И дразнил: смеясь, быстро листал страницы, чтобы только мелькнуло передо мной. Или подходил и шлепал меня по заду. Уборную мы ломали вместе. Большой Ханс терпеть ее не мог. Он говорил, что этот грязный нужник только для солдат годится. Но я ему сильно помог, он говорил. Он сказал мне, что у японок дырка поперек и без волос. Обещал показать одну на картинке, но, сколько я ни приставал к нему, так и не показал. Мы сожгли доски большой кучей за хлевом, и огонь был густо-оранжевый, как солнце на закате, а дым поднимался клубами, темный. Ссаками пропитались, сказал Ханс. Мы стояли у костра и разговаривали; огонь осел, потом загорелись звезды, и остались только тлеющие угли, а Ханс рассказывал мне о войне, шепотом и ревом больших пушек.

Папа любил лето. Он хотел, чтобы лето было круглый год. Как-то он сказал, что от виски у него делается лето. А Ханс любил весну, как я, хотя я и лето любил. Ханс разговаривал со мной, показывал то и се. Один раз он его у себя померил, когда он у него встал. Мы смотрели, как бегают по лугу жаворонки и моргают хвостиками, когда взлетают. Смотрели, как коричневая вешняя вода пенится на камнях в ручье, и слышали, как храпит конь Саймон и скрипит насос.

Потом папа невзлюбил Ханса и сказал, чтобы я поменьше с ним болтался. А потом, зимой, Ханс невзлюбил папу, как и надо было ожидать, и Ханс говорил маме со злостью о папином пьянстве, и однажды папа его услышал. Папа рассвирепел и целый день бросался на маму. Ночь была вроде сегодняшней. Дул сильный ветер, и шел сильный снег, я развел огонь в камине и сидел перед ним, мечтал. Пришла мама и села рядом, потом папа пришел, сам раскаленный внутри, а Ханс остался на кухне. Слышно было только огонь, а в огне, не поворачиваясь весь вечер, я видел мамино лицо, слышал, как папа выпивает, и за весь долгий-долгий вечер никто, даже я, не сказал ни слова. Утром Ханс

пошел будить папу, папа бросил в него горшок, и Ханс взял топор, а папа смеялся так, что весь дом трясся. Это было незадолго до того, как мы с Хансом возненавидели друг друга и стали искать папины бутылки порознь.

Огонь догорал. Кое-где он был синим, но по большей части оранжевым. Хоть и любил Педерсен готовиться, как сказал папа, дров у него в доме было мало. Хорошо было согреться, но погода меня не так пугала, как раньше. Я подумал, что с нынешнего дня буду даже любить зиму. Я сел поближе, потянулся и зевнул. Хоть у него он и толще... я был здесь, а он в снегу. Я был доволен.

Теперь он был на ветру, на холоду теперь, и сонный, как я. Голову опустил, как, наверно, лошадь, и трясется в седле, уставший от всего, трясется сонный, с закрытыми глазами, и снег лежит на отяжелевших веках и на ресницах; и на волосах у него снег, и в рукавах, и за воротом, и в сапогах. Я был рад, что это он, а не я торчит на ветру один, как палка, и лошадь скорее всего уже стала, опустив голову, против метели, и не хотел бы я лежать там сейчас совсем один, в морозной белой темноте, умирать там один, чтобы меня засыпáло, когда я еще пытаюсь дышать и знаю, что только весной медленно поднимусь на поверхность, а потом отмякну на молодом солнце и меня потревожат любопытные собаки.

Лошадь, наверно, стала, хотя прежнюю он заставил идти. Или и эту ему удастся гнать, пока она не падет, или сам не свалится, или что-нибудь не лопнет? Может и добраться до следующего дома. Может. До Карлсона или до Шмидта. Один раз уже добрался, хотя не полагалось бы ему и не было возможности. А добрался. Сейчас они с лошадью в глубоком снегу. И еще подсыплет. Еще наметет. Он в снегу сейчас, но еще может ехать и может доехать, потому что раз уже смог. Или он снежный житель. Живет там, как рыба в озере. Весной таких не бывает. Я сам себя удивил, когда засмеялся, — дом был такой пустой и ветер такой упорный, что это и за шум не считалось.

Я увидел, как он подъезжает к нашим яслям, лошадь проваливается позади них по колени. Я увидел, как он входит на кухню, из-за ветра его не слышно. Я увидел Ханса. Он сидел на кухне и пил, как папа пил — задирая бутылку. И мама была там, ее руки лежали на столе, как капкан. И мальчишка Педерсенов был тоже, голый, в муке, перепоясанный полотенцем, и с него капала вода и виски. Ханс наблюдал, наблюдал за грязными пальцами на ногах мальчишки — как наблюдал за мной, черными булавочными глазками, водя языком по зубам. Потом он увидит шапку, клетчатую куртку, перчатки, обхватившие ружье, и будет так же, как тогда, когда папа выбил у него ногой стакан, только на этот раз покатится по полу бутылка, выплевывая виски. Мама огорчится, что напачкали в ее кухне, встанет, помешает дрожащей ложкой тесто для печенья и поставит на плиту кофе.

Они исчезнут, как Педерсены. Он уберет их с глаз долой, по крайней мере на всю зиму. Но мальчишку оставит, потому что нас обменяли и мы оба в наших новых странах. Тогда почему он стоит там такой бледный, что я вижу сквозь него? Стреляй. Ну. Скорее. Стреляй.

Лошадь сделала круг. Он не знал дороги. Он не знал, что лошадь сделала. Он отпустил поводья, и поэтому лошадь сделала круг. Все было черное и белое, все одинаковое. Не было дороги. Не было следа. Лошадь сделала круг. Он не знал дороги. Был только снег, лошади до ляжек. Был только холод до костей да снег в глаза. Он не знал. Как он мог знать, что лошадь сделала круг? Как он мог править и погонять ее пятками, если некуда было ехать и все было черное и белое, все одинаковое? Конечно, лошадь сделала круг, конечно, он вернулся. У лошадей чутье. Хреновина это насчет лошадей. Нет, па, нет. У них чутье. Ханс сказал. Чутье. Ханс знает. Он прав. С пшеницей тогда был прав. Он сказал, ржа на ней, так и вышло. И насчет крыс был прав, что едят ботинки, они всё едят, — и лошадь круг сделала. Это было давно. Да, па, пускай давно, но Ханс был прав — а тебе вообще откуда знать, ты пил все время... не летом... нет, па... не весной и не осенью... нет, па, зимой — и сейчас

зима, и место твое в постели, вот и лежи и не разговаривай со мной, замолкни. Благодаря бутылке у меня бывала весна, а тебе тепло благодаря ему, который на лошади. Замолчи. Замолчи. Мне так хотелось кошку или собаку, еще с тех пор, когда был маленьким. Ты знаешь эти картинки у Ханса, девушек с большими коричневыми сосками, как бутылочные горлышки... Замолчи. Замолчи. Я горевать не буду. Ты теперь не человек. Твоя бутылка лопнула в снегу. Ее переехали сани, помнишь? Я горевать не буду. Ты сам всегда хотел меня убить, да, папа, ты. Я всегда мерз в твоем доме, па. Я тоже, Йорге. Нет. Это я мерз. Я был засыпан снегом. Даже летом иногда дрожал в тени дерева. И учти, папа, я тебя не трогал, нечего ко мне являться. Это он. Он, может даже, вернулся. О господи, только не это. Сделал круг. Просыпается. Сидит, трясется и думает, что лошадь идет дальше, а потом видит, что нет. Он ее каблуками, а она совсем стала. Он слезает и ведет ее прямо в хлев — а хлев, вон он, тот же самый, откуда он ее взял. В хлеву глаза у него привыкают и он видит что-то темное в той стороне, где дом должен быть, а метель минутами слабеет, и в такую минуту мелькает вроде бы что-то оранжевое, вроде бы огонек, и вроде бы я возле него, голову положил на локоть и почти сплю. Если бы мне дали собаку, я бы назвал ее Пастухом.

Я вскочил и побежал на кухню, вернулся с полдороги за пистолетом, потом побежал в чулан за ведром, которое тогда опрокинул с грохотом. Кран только засопел. Ковш в ведре под раковиной скрежетнул. Тогда я подбежал к камину и стал тыкать в него, расшвыривать поленья, потом замолотил по ним кочергой, так что искры полетели мне на волосы.

Я присел за большим креслом в углу, в стороне от камина. Потом вспомнил, что забыл пистолет на кухне. Босым ногам было больно. Комната была полна оранжевых отсветов и теней, все шевелилось. Ветер завывал, и дом скрипел, как лестница. Я был наедине со всем, что могло случиться. Я подумал, была ли у Педерсенов собака, у мальчишки Педерсенов была ли собака или кошка, а если была, то где она, и если бы я знал ее кличку и позвал — пришла ли бы она. Я стал думать про ее кличку так, как будто ее забыл. Я понимал, что все путаю, и напуган, и не в себе, и попробовал думать, черт возьми, снова и снова или, к дьяволу, или, наоборот, господи спаси, но ничего не выходило. То, что могло случиться, было передо мной, и я был наедине с этим.

У телеги было громадное колесо. У папы был бумажный мешок. Мама держала меня за руку. Высокая лошадь махала хвостом. У папы был бумажный мешок. Мы оба бежали прятаться. Мама держала меня за руку. У телеги было громадное колесо. Высокая лошадь махала хвостом. Мы оба бежали прятаться.

У папы был бумажный мешок. У телеги было громадное колесо. Мама держала меня за руку. У папы был бумажный мешок. Высокая лошадь махала хвостом. У телеги было громадное колесо. Мы оба бежали прятаться. Высокая лошадь махала хвостом. Мама держала меня за руку. Мы оба бежали прятаться. У телеги было громадное колесо. У папы был бумажный мешок. Мама держала меня за руку. Высокая лошадь махала хвостом. У папы был бумажный мешок. Мы оба бежали прятаться. У папы был бумажный мешок. Мы оба бежали прятаться.

Ветер улегся. Снег улегся. На снегу горело солнце. Камин остыл. Поленья были пепельные. Я оцепенело лежал на полу, подтянув колени, обняв себя руками. Огонь ушел в серое, пока я спал, ночь ушла, и я увидел, как плавает и мелькает пыль и оседает. Стены, ковер, мебель, все, что я видел с локтя, выглядело бледным и усталым, съежившимся, занемелым от холода. Было такое чувство, что всего этого я никогда не видел. Никогда не видел изнуренного утра, спитой, недужной зимней зари, комнаты, где вещи сложены на потом, а потом никто не приходит, и тихо оседающей пыли.

Я надел носки. Я не помнил, как вышел из-за кресла, — но когда-то, наверно, вышел. Я взял на кухне спички, из ящика возле камина газетные жгуты, сгреб золу в сторону и положил жгуты в камин. Сверху положил растопку

— наверное, бывший ящик из-под апельсинов. Потом полено. Я поджег бумагу, она вспыхнула, заусеницы на растопке загнулись, стали красными и черными, и, когда я подул на нее, она наконец занялась. Я не стал греть руки, хотя огонь был близко; вместо этого я тер себе плечи и ноги и приплясывал, но ступни еще болели. Потом огонь зарычал. Еще полено. Оказалось, что я не могу свистнуть. Я немного погрел спину. Снаружи снег. Холмистый. В ложбинах между сугробами залегли длинные густые тени, макушки с востока были яркие. Немного согревшись, я обошел в носках дом; на лестнице носки цеплялись. Я заглянул под все кровати, во все чуланы, за каждый стол и стул. Вспомнил, что трубы замерзли. Взял из-под раковины ведро, оттеснил дверью сугроб на задней веранде и набрал ковшом снегу в ведро. Снег закрыл снеговика до плеч. Насос весь ушел под снег. Следов нигде не было.

Я затопил плиту и поставил чайник со снегом. Снега нужно много, а воды выходит всего ничего. Плита была черная, как уголь. Я вернулся к камину, подложил дров. Он уже гудел, и в комнате стало веселее — для этого всегда нужен огонь побольше. Я втиснул ноги в ботинки. У меня было предчувствие, что увижу лошадь.

Парадная дверь была не заперта. Да и все, наверно, двери. Он легко мог войти. Я забыл об этом. Но теперь понял, что не должен он был. Я засмеялся — послушать, как звучит смех. Еще раз. Хорошо.

Дорога исчезла. Заборы, кусты, старые машины — все, что могло быть на таком дворе, ушло под снег. Всюду был только холмистый снег с длинными полосами теней, с яркими твердыми макушками, которые вот-вот обломятся, но не обламываются, да мглистое солнце вставало, раскладывая оранжевые планки, словно поваленные снежные щиты. Он уехал в эту сторону, но нигде не отметилось, что он уехал, — ни черного бугорка в ложбине, ни руки, ни ноги, торчащей из сугроба наподобие ветки, сорванной ветром, ни конской головы, оголившейся, как камень; ни там, где педерсеновские заборы еще виднелись, не лежал он, скрючась, подле лошади с подогнутыми ногами, ни даже в тенях, у меня на глазах сокращавшихся, — ничего такого, что могло показаться твердым, и не из снега, и когда-то живым.

Я увидел окно, которое разбил. Дверь хлева была приоткрыта и завалена снегом. Дом отбрасывал узкую тень прямо к краю хлева, и она доставала до высокого сугроба, где рыл туннель Ханс. Еще вырос. После я протопчу к нему тропинку. Может, углублю туннель. Весь сугроб превращу в дупло. Время есть. Увидел и дубы, обдутые догола, веточки на сучьях твердые, как перья. Тропинку, которой я шел от хлева к дому, замело, и солнце ярко горело на ней. Где я стоял возле дома, ветер крутил и намел целую стену снега. Я повернул голову, и солнце сверкнуло на стволе папиного ружья. Снег покрыл его крутым холмом, только конец ствола торчал наружу, освещенный солнцем, и сверкнул мне прямо в глаза, когда я повернул туда голову. До весны с этим нечего было делать. Еще один снеговик, он растает. Я стал пробираться к парадной двери; передо мной на снегу плясало темное пятно. Сегодня было чистое большое небо.

Приятно было, что не надо отряхивать снег с башмаков, и огонь разговаривал приятно, и чайник спокойно шумел. Горевать было не нужно. Я оказался храбрым, и теперь я был свободен. Снег меня охранит. Я мог бы похоронить папу, и Педерсенов, и Ханса, и даже маму, если бы дал себе труд. Я не хотел сюда идти, но теперь не огорчался. Мальчишка и я, мы совершили храбрые дела, достойные того, чтобы их помнить. А о том, кто таинственно явился из снега и так славно все для нас двоих повернул... при мысли о нем я вспоминал, что́ меня учили чувствовать в церкви. Зима в конце концов забрала их всех, и я надеялся, что мальчишке так же тепло, как сейчас мне, тепло внутри и снаружи, что его так же обжигает, изнутри и снаружи, радость.

ДЖ.П.ДОНЛИВИ

Самый сумрачный сезон Сэмюэла С.

ПОВЕСТЬ

Перевод Н.ВАСИЛЬКОВСКОЙ

Он жил на серой тенистой улице в Вене, на втором этаже, за четырьмя заляпанными грязью, вечно закрытыми окнами. Он лениво пробуждался по утрам и, шлепая босыми ногами, плелся по коридору в затхлую сырость ванной. Иногда задерживался, чтобы поглядеть на тонкую цепочку красных муравьев, исчезающую под плинтусом. Он достиг того возраста, когда тело начинает жить независимо, а душа изо всех сил старается вернуть утраченную власть.

Он усердно заботился о своем здоровье: не ел жареного и никогда не позволял религии покушаться на его аппетит и чувство юмора. Впереди была еще целая жизнь в этом странном городе-форпосте, куда просачивались лишь отголоски цивилизованного мира, и нужно было настроить ухо, чтобы уловить их. Пять лет назад он решил взять себя в руки, и вот теперь, много тысяч долларов спустя, он все еще регулярно ходил дважды в неделю, как на работу, к маленькому круглому доктору, который, склонив голову набок, сидел в полумраке и спокойно выслушивал его, лишь изредка посмеиваясь. Наконец он сделал одно открытие. Когда стоишь на месте — старишься быстрее.

Сэмюэл С. нашел для себя подходящий ритм жизни и постоянную струйку дохода: реализовывал скромные планы, которые могли обеспечить его если и не на всю жизнь, то хотя бы на полтора месяца вперед. Он заделался специалистом по американскому гостеприимству и набрал трех клиенток — эксцентричных представительниц венского старого света, которые во что бы то ни стало хотели угнаться за новым. Однако во время их второго интимного заседания с кукурузными лепешками и пародией на чаепитие у президента Гарварда вдруг разом пришел конец его радушию и временной профессии — он закинул ногу на ногу и сбил при этом поднос с мейсенским фарфором. На платьях двух из его клиенток выступили подозрительные пятна. Третья клиентка довершила скандальный разгром его званого вечера и собственных дружеских отношений: она упала со стула и, корчась от смеха, стала кататься по полу. Эта особа, вдовствующая графиня, явилась и на третий урок: как зажечь спичку о подошву ботинка. Она сочла это роскошным трюком, но Сэмюэл С. подозревал, что в душе она смеялась над ним, хотя так же внимательно, как и его психиатр, только с бóльшим изяществом напрягая ухо, выслушивала его мысли и разражалась смехом, когда назревал поцелуй.

Графиня, светловолосая, гибкая и сухощавая, считала чудовищным, что такой утонченный, остроумный и эрудированный человек, как Сэмюэл С., вынужден пропадать ни за грош в этом мире. В таких случаях Сэмюэл С. повторял:

— Ах, Графиня, главное, что вы меня цените.

© Н. Васильковская. Перевод, 1997

— Ах, это так, герр С., и я польщена, что вы так считаете.

Итак, Сэмюэл С. скользил, как на лыжах, вниз по духовным склонам, приближаясь к майским почкам и европейскому лету. Время от времени увязая концом своей лыжной палки в глубокой депрессии. Но все же он продолжал посещать Оперу, вечера Моцарта и Верди: Графиня брала его под руку, они медленно поднимались в фойе, и в мерцающем свете канделябров она рассказывала ему, кто есть кто на самом деле и кто кем себя воображает. Дважды, когда он провожал ее домой, возникало некоторое напряжение. Раз она сказала ему:

— Между нами семь лет разницы, герр С., — я ведь не скрываю своего возраста, хотя, может быть, и стоило бы, раз внешность позволяет, — и ушла.

Он остался стоять на темной, благоухающей сандаловым деревом лестничной площадке — дверь медленно закрылась перед его носом. Во второй раз она пригласила его:

— Входите, входите.

Она поставила пластинку с реквиемом Форе, налила ему Viertel[1] шампанского в высокий бокал, и Сэмюэл С. подумал: «Вот оно, пошло́. Я сорвал шелуху условностей и скоро окажусь в ее спальне». Но она вдруг громко и отчетливо сказала:

— Наша беда, герр С., заключается в том, что мы живем в каком-то придуманном мире. Ведь никого не волнует, что мы ходим в Оперу, и нет никакого прока в том, что мы — сливки этого захолустья, которое когда-то было городом. — И блеснула бледной улыбкой: — Ах, герр С., было бы так мило, если бы вернулись дни моей юности — мы могли бы проводить время где-нибудь на берегу реки, зная, что впереди еще целая жизнь.

Сэмюэл С. решил оставить эти странные рассуждения для герра Доктора и напрямую спросил его:

— Герр Доктор, вам не кажется, что Графиня водит меня за нос. Ведь ей же тоже должно хотеться.

Герр Доктор слегка почесал под глазом аккуратным пальцем и протянул свою дежурную фразу:

— Продолжайте, пожалуйста. — Холодный ответ во время не менее холодной австрийской зимы: крыши неделями были одеты в белое, днем тепло труб растапливало снег, а за ночь намерзала ледяная корка, по утрам блестевшая на солнце.

А потом, правда известив загодя, деньги у него кончились. И Сэмюэл С. тихо пошел ко дну. С лыжами, палками и всем остальным. Все глубже и глубже. Именно в тот момент, когда листики уже высовывали нос из набухших почек, — в самой середине апреля.

Ему приходилось заводить какие-то глупые знакомства ради очередной горсти монет. До тех пор, пока холод не подобрался под коленки и он уже еле таскал ноги. Однажды днем, в конце мая, на трех улочках, расходившихся лучами от крохотной пустынной площади, ему явились три призрака. Первый сказал: «Я — бедность, я приношу муки одиночества», второй промолчал и лишь загадочно выпустил ветры, и, наконец, последний призрак, студентка из Радклифа, сказала, что хотя она еще и носит коротенькие красно-синие полосатые носочки, но заведение это уже окончила. Сэмюэл С. остановился, его охватила дрожь. Он с трудом добрался до ближайшего почтового отделения, взял чистый бланк и отчаянно возопил к богатым друзьям из Амстердама, чтобы они выслали денег, кругленькую сумму, — поддержать его на плаву, потому что он тонет, тонет, тонет...

И Сэмюэл С. утонул. Деньги прибыли. Но к тому времени он уже задолжал за квартиру — явилась полиция и отобрала у него паспорт. В день, когда он хлопнул пачкой банкнот перед наморщенным носом хозяина и забрал свой

[1] Четверть литра (*нем.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

паспорт, его выселили. Он стоял на улице в ожидании такси, его бывший хозяин, облегченно крестясь, запирал за ним дверь. На Южном вокзале он сдал свое имущество, готовое ехать вместе с ним на юг — в Венецию, Триест или Стамбул, куда угодно, — и позвонил Графине. Но она сказала:

— Не уезжайте, перезвоните мне минут через десять. Одна моя приятельница, тоже вдова, нуждается в деньгах — у нее пустуют три комнаты.

Через двадцать минут у него была новая хозяйка. Он явился к ней прямо с вокзала. Вдова, аристократка, длинный нос, давно уже не живет в лучшей части города. Он поклонился, она улыбнулась. У нее были волосы, грудь, ноги — все как полагается. Так что они прекрасно устроили друг друга как хозяйка и жилец. Тогда же начался краткий период конных свиданий с Графиней: прогулки верхом в Пратере[1]. Как-то раз она остановила свою лошадь под деревом — ее белокурые волосы развевались на ветру — и сказала:

— Герр С., у вас есть одна поразительная черта: вы никогда не кичитесь своими манерами.

На три недели и два дня он получил короткую передышку и стал постепенно вытаскивать себя из глубоководной зоны. Каждый день он проходил быстрым шагом по кафельным плитам лестничной площадки — желтый шейный платок, шпоры звенят, сапоги начищены до блеска, — пощелкивая ивовым прутиком по ноге. В парке, в тени ветвей они скакали легким галопом. Вдыхая густой зеленый аромат деревьев. И тут бац! На четвертой неделе Графиня вдруг круто осадила лошадь под тем же так полюбившимся ей деревом и прервала на полуслове его радостный щебет, всадив короткий удар под дых.

— Герр С., вы блестяще ездите верхом. Но мне кажется, что хорошего понемногу, правда.

Возвращаясь домой, в свои апартаменты, Сэмюэл С. старался сохранять невозмутимый вид. Плюхнулся в пыльное кресло, скрестил ноги. Так. Он замучил свою лошадь — рвал ей поводьями губы. Графиня хотела уничтожить его — именно таким способом женщины мстили ему, когда он обходил их в кулинарном искусстве, светской беседе, верховой езде: крыть им уже было нечем. Теперь придется отправить в нафталин принадлежности для верховой езды, а вместе с ними и курсы по американскому гостеприимству, фонетике, классической живописи, семантике и желание продолжать борьбу. Послышались крадущиеся шаги. Его хозяйка — ухом к двери. Он осторожно приподнялся с кресла и тоже припал к двери ухом, а потом глазом — к замочной скважине. Глаз к глазу, и только, но этого оказалось достаточно, чтобы несколько недель спустя в 10.30 утра она решилась постучать.

— Герр С.

— Was ist[2].

— Герр С., может, вы простите меня сегодня утром.

— Я простил вас еще вчера утром.

— И все-таки, простите меня сегодня утром.

Эти маневры были прелюдией к их коротеньким встречам, которые завершились неистовой гонкой вокруг обеденного стола. Она была в хорошей форме и неуловима. Наконец, когда он уже был на грани апоплексического удара, разгоряченная и запыхавшаяся, она согласилась на компромисс.

— Герр С., я буду стоять с этой стороны стола при условии, что вы останетесь с той стороны.

Сэм С. остановился. Она прищурилась и улыбнулась. Двумя передними вставными зубами. Они стояли друг против друга, голые по пояс (она — сверху, он — снизу), и как бы между прочим вели нелепый разговор через объедки на столе. Внизу, на улице, по забрызганным гравием рельсам проскрежетали стальные колеса трамвая, в окнах задребезжали двойные стекла. Вся эта кани-

[1] Пратер — парк в Вене.
[2] Что (*нем.*).

тель тянулась, пока он не придумал ей прозвище. И сказал через стол:

— Гневная Агнесса.

— Герр Сэм, не называйте меня так.

— Скажите, почему у нас не может быть нормальных сексуальных отношений.

— Вы меня пугаете, герр С.

— Надо же. Я ее пугаю. Да это вы меня пугаете, Агнесса. Но если именно это послано мне Господом Богом для восстановления сил, я не стану противиться и просить о замене.

Хозяйке всегда требовалось время, чтобы переварить его реплики. Растянув губы в улыбку, она пыталась заглянуть в темное нутро этого получеловека, полуживотного плюс на две трети джентльмена (сумма не поддавалась вычислению), который, распустив брюхо, стоял с противоположной стороны стола из красного дерева. В ее голосе послышалось теплое дружелюбие — она уже начала втираться в его жизнь.

— Герр Сэм, вы слишком много размышляете.

— В настоящий момент я размышляю о том, почему вы не ложитесь со мной в постель. В вашем возрасте это уже отклонение.

— Герр Сэм, а чем вы занимаетесь, когда по три дня не выходите из своих комнат.

— Я думаю.

— О чем же вы думаете.

— А как вы думаете.

— Думаю, что это у вас заскоки.

— Продолжайте, пожалуйста, Гневная Агнесса.

— Почему вы живете в Вене.

— Чтобы, когда придет время покончить с собой, я бы мог без зазрения совести завещать жителям Вены прибрать мои останки.

— Как вам не стыдно.

— Но это сделает им честь на века. Венцы ведь не то что швейцарцы.

— Хоть я и не имею привычки говорить Gesundheit[1], но для вас сделаю исключение: Gesundheit, герр С., это вы верно подметили, что мы — не швейцарцы.

Эти взаимные выпады отвлекали от неурядиц в собственном внутреннем хозяйстве. И от странных пульсаций где-то в паху, которые по ночам уносили в мир грез, таких же безнадежных, как и попытки ухватить Агнессу за зад, который заносило на поворотах во время гонок вокруг стола. А потом — минуты, полные отчаяния. Остался ни с чем — она ускользнула на свою половину. Он сидел, сложив веснушчатые руки; перед глазами стоял великолепный десерт. Откуда-то из-за горизонта долетал шепот: «Эй. Когда же ты наконец исцелишься, исцелишься, исцелишься». Тогда медленно к окну — послушать протяжный и печальный звон колокола собора Св. Стефана и посмотреть, пробилось ли солнце. Почему-то очень захотелось отплыть в старость на океанском лайнере, забитом золотыми слитками.

Сэмюэл С. всегда носил пиджак. Идеальный узел галстука, белый воротничок, рубашка в тонкую полоску. Он плотно закупоривал окна в своей комнате, чтобы с улицы не проникали пыль и грохот трамваев. Невозмутимо вышагивал по тротуару — айсберг, скрывающий свое одиночество под водой. Ни матери, ни окружающему миру не было до него дела. В детстве, играя, он как-то услышал от приятеля: «Если я скажу маме, что не верю в Бога, она упадет замертво». Сэмюэл С. бросился домой — его мать гладила на кухне — и заявил: «Слушай, ма, а я не верю в Бога». На что она ответила: «Правда. Подай-ка мне брызгалку». Его первый урок. Люди слишком заняты, чтобы верить.

---

[1] Дай бог здоровья (*нем.*).

Последний день июля, воскресенье, десять часов утра. За окном пронзительно кричит всполошенный скворец, по ветке липы крадется кошка, водяная пыль дождя. Сэмюэл С. сидит, обхватив голову руками, уставившись в одну точку. Мысли прикованы к задаче по сферической геометрии — маленькое ухищрение, чтобы запустить мозговой механизм и заглушить душу. Едва различимый телефонный звонок под кучей грязного белья. Все это напоминает восхождение на гору. Он вытянул черный аппарат и услышал голос Графини. Все это время она думала. Не зайдет ли он к ней на чашечку кофе.

Сэмюэл С. бодро прогарцевал через весь город. Трамвай, потом пешком, мимо фасадов дворцов, по дорожкам парков, между колоннами серого каменного здания, цокая каблуками по черно-белым мраморным квадратам вестибюля. Мельком оглядел себя в зеркале. Небрежно бросил последний шиллинг лифтеру. Маленький штраф за маленькую роскошь. Старинные двери лифта закрылись. Подъем на третий этаж. Ее площадка, огромная резная дверь. Улыбки сельского вида прислуги до самой гостиной. Он слегка коснулся губами руки Графини — ритуал, описанный в книгах; он считал нужным соблюдать его. Графиня закинула ногу на ногу. Самая соблазнительная часть ноги, чуть выше колена, слегка расплылась. Сэмюэл С. стоял, не понимая, что все это значит. Как в детстве, когда он пришел в гости к своему другу, пообедал вместе с его семьей, вытер рот салфеткой и уже хотел было встать из-за стола, но его спросили: «Куда это ты собрался». Сэмюэл С. оглядел комнату и ответил: «Домой, а что. Разве еще не все».

— Вам, наверно, интересно знать, зачем я вас позвала, герр С.

— Нет.

— В столь ранний час... Не может быть.

— Вы правы, я соврал. Мне интересно.

— Вы мне нравитесь.

— Надо же.

— Почему «надо же».

— Видите ли, Графиня, ваш вопрос лишен смысла. В этом мире люди всегда говорят одно, а подразумевают другое. Я хочу сказать, что подобные сообщения сбивают меня с толку.

— Перейдем к главному. Я решила назначить вам определенный пенсион. Пожизненно.

— Вот так так, разбогател бедняк.

— Я ожидала другую реакцию.

— Черт.

— И это все, что вы можете мне сказать.

— На своем жизненном опыте, Графиня, я убедился, что всегда говорю не то, что требуется. Особенно в тех случаях, когда угадывают мои желания.

— Но есть некоторые условия.

— Ну-ну.

— Я не шучу, герр С.

— Скоро начнете.

— Я вас не совсем понимаю.

— Вы хотите меня купить. Чтобы всякий раз, когда у вас будет меняться настроение, преспокойно давать мне пинка.

— Насколько я понимаю, вы предпочитаете откусывать понемногу от руки дающего. Вероятно, таким способом вы собираетесь избежать голодной смерти.

— Думайте что хотите. Но я не глуп и уже давно понял, что глумление над чужой бедой — одна из тех величайших добродетелей, которыми набиты жители этого города.

— Вы считаете мое предложение глумлением.

— Не само предложение, а те условия, которые вынуждают меня отклонить его.

— Да-а. Но ведь вы еще не знаете условий.

— Зато я знаю человеческую натуру. У некоторых людей припасены ключи для любого замка. У меня же есть единственный ключ, да и подходит он только к одному замку. В общем, я прошу вас, пожалуйста, не играйте в теннис моим сердцем или, что̀ еще хуже, моим полупустым кошельком.

— Вы абсолютно неблагодарный человек.

— Может быть.

— К тому же еще и трус.

— Возможно, вы и правы. Но вам меня не купить. Хотя можно угостить еще одной чашечкой кофе. Кстати, каковы же ваши условия.

Сэмюэл С. попытался вспомнить, каким образом он снова очутился на улице, — он звонко царапал брусчатку Бальгассе. Почему-то все это смахивало на курение сигареты во время Великого оледенения. Нога попирает Северный полюс, кольца дыма обхватывают луну. Душа ноет, как избитое тело. На протяжении всей этой длинной череды неудач. Еще со школьных лет — он тогда разглядывал профиль девочки, кото́рая ему нравилась. Она сидела в противоположном углу класса, по диагонали от него. После уроков — тайное провожание ее до дома: выяснение адреса, занятий отца и сколько он платит за электричѐство; сумма казалась мистически прекрасной. Однажды его чуть было не поймали прямо под окнами, на посыпанной гравием подъездной аллее, — он выведывал, что там едят. Изучение номеров автомобилей и рода занятий гостивших у них родственнико́в. На одного дядьку была потрачена целая суббота — пришлось проехать шестьдесят пять киломе́тров на автобусе, чтобы только полюбоваться, как тот поливает свою лужайку. Потом, по прошествии года, когда девочка уже была изучена досконально, наконец-то решился поздороваться с ней. Она посмотрела сквозь меня, как сквозь кусок стекла.

Сэмюэл С. останавливается возле киоска, заглядывает в бездонные рыбьи глаза женщины.

— Zwanzig «Lucky strike», bitte[1].

Сует двадцатишиллинговую бумажку. Протягивает руку за сигаретами и сдачей. Бросает взгляд на медяки. Семидесяти пяти грошей не хватает. Он снова наклоняется к дыре.

— Вы меня обсчитали. Но если вам от этого станет легче...

Сказав «Guten Tag»[2], Сэмюэл С. пожал плечами и, опустив голову, побрел по кривым и серым средневековым улочкам. Что за опрометчивое решение отказаться от пожизненного пенсиона. Нравственно-этическая струна натянута до отказа: одно неловкое движение — петля оторвет мне голову. Собирался все утро, вытя́нул перед собой руки с растопыренными пальцами: в них было ледяное спокойствие. Подобрал носки под цвет галстука, намазал туфли и с военной выправкой шагнул в кошмар, залитый светом прожекторов. Абстрактное алгебраическое уравнение: П — похоть, Ф — финансы, помноженные на ряд переменных величин, С — смех, У — ужас, и все это равняется Д — ты в дерьме.

Сэмюэл С. пересек Зингерштрассе, сразу — за угол, а там — в прохладную тенистую аллею. Порой можно оставаться в живых, просто запечатлев свой образ в мозгу знакомых. Например, Графини, алчный, неблагодарный скот. Долго слонялся по Вене, этому огромному перекрестку кровей. Все очень хорошо перемешаны. Нет только ирландской. Зашел взглянуть на «Сердца Габсбургов». Мое при этом даже не дрогнуло. Распрямив плечи, двинулся дальше. Пока не сдали нервы — я заплакал. По гречишным блинчикам, густо облитым кленовым сиропом, копченой грудинке и сливочному маслу. Осеннему утру, безоблачному синему небу, сморщенным листьям каштанов на лужай-

[1] Двадцать «Лаки страйк», пожалуйста (*нем.*).
[2] До свидания (*нем.*).

ках, хранящих безмолвный благоухающий воздух тех далеких ушедших лет.

Сэмюэл С. нырнул в дыру в стене, прямо под выцветшей старомодной вывеской. Он был словно ходячий уголок мира: почки — канализационные трубы и города, легкие — лесные массивы, печень — озера. Кажется, пришло время пощеголять в легких серых туфлях с сетчатым верхом для проветривания. Человеческая слабость непредсказуема. И женщины должны выслушивать любую ахинею, которую им преподносит мужчина. Графиня подсовывает мне свою не первую свежесть с еженедельной предоплатой. А я, как дурак, отказываюсь. Хотя красная цена мне — чашка кофе и рогалик.

Устроился в полутемном кафе. Руки сжимают чашку с блюдцем. Длинный поникший нос втягивает пьянящие пары черного кофе. Разламывает рогалик и начинает жевать. В ожидании августа, который наступит завтра. Все симптомы ностальгии. Прислушивается: две девушки за соседним столиком пытаются объясниться с официантом на ломаном немецком, потом переходят на английский, показывают пальцем на его чашку кофе и рогалик и говорят, что хотят то же самое. Сэмюэл С. ворвался со своим венским, чтобы объяснить смущенному официанту, что они хотят. Шатенка повернулась к нему и заговорила:

— Вы, кажется, знаете английский.

— Да.

— Спасибо, вы нас выручили.

— Не за что.

Сэмюэл С. оглядел ее загар, чистые руки, обгрызенные ногти, золотое колечко — жемчужина в бирюзе. Свежий сладкий аромат ладного загорелого тела. Соседнее — слишком толстое. В этом полумраке нахлынул прежний мир. Гарвард и все, что его там окружало: шейкер для коктейлей, пара распорок для обуви, карманные часы, огромные, как луна. И вот сейчас — мурашки по спине от этого американского говора и шелеста карты над их чашками.

— Простите, вы не могли бы нам помочь, мы, кажется, заблудились.

Сэмюэл С. медленно поворачивается, снимает кепку и кивает головой. Нервное подергивание небольшого бугорка плоти между большим и указательным пальцами.

— Ну разумеется.

— Мы хотели посмотреть «Сердца Габсбургов».

— Выйдете из кафе, повернете налево. Потом — направо. Опять налево, еще раз направо, второй поворот налево — и прямо перед вами будет церковь. Там и хранятся «Сердца Габсбургов».

— Вы — американец.

— Верно.

— О господи.

— А что.

— Не может быть. Неужели вы...

— Что.

— Сэмюэл С.

— Вы знаете меня.

— Так это вы. Надо же. Я никогда не видела вашей фотографии, но была уверена, что обязательно вас узнаю. Вам интересно, откуда я знаю про вас. Друг моего дяди — профессор Нью-Йоркского университета — вас знает. Когда мы собирались в эту поездку, он сказал, что вы — одна из достопримечательностей Европы.

— Аллегория отчаяния.

— Надо же. Он и впрямь предупреждал, ха-ха, что примерно так вы и ответите. Ну ты подумай, Кэтрин, это ведь в самом деле правда. У меня даже ваш адрес есть.

— Меня оттуда выселили.

— Надо же, какая жалость. Кстати, я — Абигайль, а это — Кэтрин.

Следующие четыре дня Сэмюэл С., обливаясь потом, вел стоическую нервную борьбу. Тигренок выскочил из кровати, через всю комнату бросился к раковине и подставил под сильную ледяную струю свою мордочку, чтобы продрать склеенные сном глазенки. Одна иконоборческая выходка: впервые за пять лет он не явился на встречу с герром Доктором. У Абигайль были длинные волосы и ослепительно чистые белки глаз, отороченные шелком длинных ресниц.

В первый день он повел обеих смотреть «Сердца Габсбургов». А на третий он намекнул, что толстой Кэтрин не мешало бы растрясти жир — покататься верхом в Пратере. Абигайль сказала, что он слишком много себе позволяет и какой же он после этого американец.

— А какие бывают.

— Понятия не имею. Но вы не похожи на тех американцев, которых я знаю.

— Почему же.

— Ну ладно. Вам нравится сыпать оскорблениями, что ж, я это тоже умею делать. В общем, спасибо за экскурсию, но, знаете, вы несколько староваты, вроде столько и не живут. И туфли у вас не лучше. И галстук. Да вы и сами-то не такой уж худой. А воротничок этот ваш совсем не подходит к рубашке: наряжаетесь под английского денди, а на самом деле у них в таком зачуханные чиновники ходят.

— Вы знаете, в чем ходят английские чиновники.

— Да уж, так случилось. Это особая категория: они считают, что яйца у них не простые, а золотые.

Чтобы избежать дальнейших откровенностей, Сэмюэл С. предложил выпить чаю, надеясь, что консультации ювелира не потребуется. Толстую Кэтрин необходимо куда-нибудь сплавить. Или взорвать динамитом. Поток взаимной преданности несет двух подруг до тех пор, пока им не понадобится один и тот же мужчина. И тогда бац! Ни капли сожаления под севшим на мель суденышком дружбы. Надеясь на понимание, он шепнул Абигайль:

— Я хочу заниматься с тобой неприличными вещами.

В ответ — только взгляд. Враждебность и никакой надежды. Они в молчании вышли на тихую средневековую площадь Хайлигенкрейцерхоф. Она остановилась у садовой ограды на Прелатентракт и залепила в него из обоих стволов.

— Мы не так глупы, как вам кажется. Может, вы и опытнее, но я тоже не вчера родилась. Мы приехали в Европу, чтобы расширить свои познания в человековедении. Ну и конечно, чтобы кого-нибудь подцепить. Я знаю, что не такая уж красивая, поэтому мне и приходится иметь дело с чудаками вроде вас. Вы мне в отцы годитесь. Или в дядья — как раз дядин друг и говорил мне о вас. Но я не настолько слепа, чтобы не заметить, что вы — все-таки мужчина. Знаете, вы ошиблись насчет меня. Я — не динамистка. А вот вы — беспросветный сноб. То вы всех презираете, то кому-нибудь зад лижете. Сами знаете, кто вы. Ничтожество.

Следующие несколько секунд Сэмюэл С., задрав голову, взирал на закрытые ставнями окна и крону дерева, чувствуя на лице слабое тепло солнечных лучей. Впервые за пять лет ему в голову пришло следующее. Австрийцы отмечены печатью духовности. А вот он — животное, которое пока еще не значится в зоологических справочниках.

Четвертый день преподнес аромат липы в полном цвету и вязкий гравий в парке. Хозяйка предложила исполнить увертюру. А опера могла бы быть в постели. Сэмюэл С. переспросил, неужели это правда, Агнесса, неужели это действительно правда. Так-так, то есть вы имеете в виду, что мы сбросим всю одежду, вы будете тискать меня, а я — вас и наши тела переплетутся. Лицо Агнессы сморщилось: герру С. не следует так кричать — их ведь могут услышать.

— А что здесь такого. Пусть хоть весь мир узнает. Итак, начинаю петь арию.

И вот сегодня, в день женского изобилия, Сэмюэл С. лениво выбрался из дома с письмом в руках и вскочил в трамвай. Насвистывал — ко всему прочему пришел очередной чек из Амстердама. Щелкнул каблуками, явившись на место свидания. Они взобрались на левый склон Каленберга[1] полюбоваться панорамой Вены. Он поправлял некоторые погрешности в ее речи, она перебила его:

— Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете, что я — дура.

— Я этого не говорил.

— Зато вы с таким видом отвернулись, будто вам все про меня стало ясно. Между прочим, я перечитала всю классику. И считаю все эти книжки барахлом.

— Продолжайте, пожалуйста.

— А еще я прослушала курс по теории человеческих отношений. И на этот счет могу вам сказать кое-что новенькое. Все это тоже дерьмо. Только я не стала бы глумиться над этим, как вы. И все эти знаменитые французские соборы, которые вы считаете такими замечательными, полная дрянь. Я лучше полюбуюсь обычной бензоколонкой и получу от этого больший кайф, чем от ваших паршивых витражей.

— Продолжайте, пожалуйста.

— Да хватит корчить из себя умника с этим своим дурацким «продолжайте, пожалуйста».

— Но я серьезно. Во французских соборах ведь заключена истинная красота. Или вы просто дразните меня.

— Очень мне надо вас дразнить.

— Хорошо, тогда я делаю официальное заявление. На самом деле вы — обычная стопроцентная американочка, которой не терпится поскорей стать взрослой и не такой, как мама с папой. Но годы вас научат — в жизни все получится не так, как вы ожидаете.

— Знаем мы эту отеческую мудрость. Но вы-то сами так и не распростились со студенческой общагой, правда. На что вы живете. На подачки. Вы и не скрываете этого. Таскаетесь по библиотекам — проводите колоссальные исследования. Вы из тех, кому уютно и спокойно только в цитаделях образования. Ну и почему же вы не возвращаетесь домой, в Штаты. Сами знаете почему. Потому что вы не выдержите конкуренции. Вас выставят за дверь с такой скоростью, приятель, что вы и пикнуть не успеете.

Сэмюэл С. не смог сдержать слезы — они, как валуны, покатились из обоих глаз. И даже поднять руку, чтобы утереть их рукавом. Ее голос был где-то далеко — таким кажется едва различимый приглушенный рокот прибоя, когда лежишь на берегу: ветер стих и море совсем рядом. Как ее губы, ласково шепчущие:

— Ой, простите меня. Надо же, я не хотела вас обидеть. Я просто пошутила.

Веснушчатый нос Абигайль. Маленькие карие глаза. Большой рот, открывающийся во всей своей зубастой красе. Когда она вставала, хотелось рассмотреть и все остальное. Сейчас она сидела. А Сэмюэл С. стоял.

— Вы победили.

— Да бросьте вы.

— Да, ваша взяла. Я сам напросился. Что ж, я пойду.

— Не уходите.

Сэмюэл С. рывком нахлобучил кепку. Махнул официанту — тот, покачивая гигантским черным брюхом, поспешил смахнуть в черный бумажник купюру, брошенную Сэмюэлом С. на стол со словами «сдачи не надо». Офици-

[1] **Каленберг — гора в Вене.**

ант — грозовая туча — скупо улыбнулся и, поклонившись, удалился. Сэм С. медленно стянул свитер со спинки стула и взглянул на Абигайль.

— Вы не хотите, чтобы я ушел.

— Я не хочу, чтобы вы ушли.

— Ни у одного человека еще не хватало духу сказать мне все это. И все-таки я ухожу. До свидания.

Коричневый свитер волочился по земле — огибая столики, Сэмюэл С. уходил с залитой солнцем террасы. Вверх по ступенькам, на улицу, мимо старой церкви, в тесный раскаленный автобус, который, шумно трясясь, покатил вниз по петляющему шоссе в тенистый и сонный городок Гринцинг. Потом через дорогу, под навесом ждал трамвая, чтобы вернуться в Вену. Обхватив руками колени, Сэмюэл С. сидел на жесткой, повторяющей форму зада скамейке и силился не обращать внимания на тупую боль в «тылу». Как же пережить эти двадцать четыре часа до встречи с герром Доктором завтра в пять. Ничтожество. Пустозвон. Размякший и заплывший жиром не от успехов, а от неудач. Одиноко торчащий посредине громадного нуля.

Конечная остановка, сверкающий подземный торговый центр. Сэмюэл С. пересек площадку — она почему-то напомнила ему Америку. Застыл на мраморных плитах пола, среди суматошной толпы вышедших на обед венцев, лязга и скрипа прибывающих и отъезжающих трамваев. Испустил протяжный стон — боль перебралась в почки. Пальцы вцепились в бумажник и кошелек с мелочью. На него уставились, стали расступаться — по вожделенной дорожке он устремился в мужскую уборную. Сумасшедший пульс — невозможно сосчитать. Плеснул в лицо водой, судорожно глотнул ртом воздух. Справился с паникой: облегченно вздохнул, выпрямил спину, потащился назад по мрамору пола и навалился на поручни эскалатора. На улице он плюхнулся в такси и прошептал свой адрес. Дикобраз, растерявший все свои иглы.

За четырьмя плотно занавешенными окнами Сэмюэл С. пустил воду в ванной и смерил температуру. Хотя и не профессиональные, обширные познания в медицине: все его болезни развиваются слишком быстро. Трудно определить, какая из них убьет первой. Трясущейся рукой вытащил термометр — красная ниточка вытянулась до 102 [1]. Выронил его из рук — термометр разбился о носок туфли. Хватит ли времени, чтобы успеть добраться до вешалки в прихожей и повиснуть на руках. Проходит две минуты. Три. Вот и дверной проем. Черная дыра. Всегда открыта. Шагнуть туда, во тьму, и уже никогда не возвращаться назад. Кинуться вниз, не касаясь ступеней. Начинаешь падать, летишь назад, в свое прошлое, выкрикиваешь что-то на улицах — зовешь тех, с кем начинал свою жизнь. У них были волосы и руки, они ласкали, садились вокруг, просто садились вокруг тебя, маленького мальчика. Эх, если бы сейчас они опять погладили бы тебя, приговаривая: «Ну-ну, малыш, не бойся, успокойся, маленький».

Истошный вопль с лестничной площадки. Сэмюэл С. оцепенел на своей «дыбе», стал биться в заветную дверь. Страдальческий голос Гневной Агнессы.

— Герр С., герр С., что вы там делаете. Вы затопили все здание, вода уже льет по лестнице.

— Я умираю. Умираю.

— Сначала закройте кран.

Вода низвергалась через край ванны равномерным водопадом. Сэмюэл С. ошеломленно взирал на движение потока — настоящая река бежала по коридору и из-под двери вытекала наружу. Собственный микро-Дунай. Несущий свои воды вниз по ступеням, струящийся к парадному сводчатому входу, выбегающий на тротуар — там уже собралась небольшая толпа зевак. Их это забавляло: нескрываемое Schadenfreude[2], улыбки, чуть ли не похлопывание друг друга по спинам. Сэмюэл С. выскочил на улицу со шваброй в руке в со-

[1] По Фаренгейту. Соответствует 38,9 по Цельсию.
[2] Злорадство (*нем.*).

провождении Гневной Агнессы — она размахивала другой шваброй над его головой. Толпа загоготала. И он был исцелен. Именно в этот самый миг, в этот самый день.

В среду, из-за этого комического дневного спектакля, Сэмюэл С. засыпал, терзаемый мыслью, что его могут выселить; эта мысль загоняла его в узкие дымоходы — болтающиеся ноги сдирали пласты сажи. Воскрес сегодня утром, в четверг, и, преодолевая минуту за минутой, дотянул до пяти часов. Пять минут ходьбы по кривой тенистой улочке. Сердце колотится, температура неизвестна. Мимо серой каменной церкви, где холодно даже летом. Лучи солнца пробиваются сквозь легкий прохладный туман. Прошествовал через громадные дубовые двери парадного подъезда и мощеный внутренний дворик. Миновал фонтан и клубы пара, вырывающиеся из открытой двери прачечной. Полутемный мрачный сводчатый вход, статуя Девы Марии. Свеча, горящая перед ее кротким лицом, крошечным красным ртом, голубым покрывалом. Сэмюэл С. отсчитал сорок шесть каменных ступеней, на каждой опираясь рукой о колено. На третьей площадке — массивная дверь. Громко стукнув, ступил в широкую прохладную прихожую и кинул кепку на вешалку. Поворот стеклянной шаровидной ручки. Следующая дверь, за рабочим столом сидит герр Доктор. Кивнул головой. В одной руке — свежезаточенный карандаш, другая покоится на желтом листе бумаги. Два высоких сверкающих окна смотрят в тенистый зеленый сад: под деревьями — белокаменные статуи, окруженные живой изгородью кустов самшита, два жирных сизых голубя, усевшись на сирень, клюют листья. Здесь часто играла маленькая тихая девочка в белоснежных перчатках.

— Добрый день, герр С.

— Ух, Док. У меня что-то головка пошаливает.

— Присаживайтесь, пожалуйста.

— Заклинило продолговатый мозг.

Сэмюэл С. приземлился и раскинулся в коричневом мягком кожаном кресле, добела истертом локтями, спинами и седалищами пациентов. В паузах между репликами — громкое тиканье огромных золотых настольных часов, отсчитывающих оплаченные минуты. В застекленном шкафу — семь толковых словарей и один технический: Сэмюэл С. частенько вынуждал герра Доктора туда заглядывать. На стене — дипломы из Вены, Гейдельберга, Берлина, Кембриджа. Горькое напоминание о горстке пепла, оставшейся от собственной ученой степени. Решительно скомканной однажды вечером и сожженной на глазах у спокойно улыбавшегося друга. Запах дыма, латыни, пергамента. Ты не ожидал, что все останется по-прежнему, что это всего лишь ярлык, залепляющий глаза: натыкаешься на стены, стоишь, неспособный ощутить вкус персика или заорать во время оргазма.

— Итак, герр С.

— Вчера я был полностью уничтожен. Прямо-таки раскатан в лепешку. Я отступил от своего правила: не возноси себя, принижая других. Я познакомился с одной девушкой. Чисто случайно. Она слышала обо мне. Даже о том, что я был самой колоритной и экстравагантной фигурой в Европе. Я решил, что это обстоятельство дает мне зеленый свет. Но она проскочила под носом и лягнула меня прямо в душу. И я подумал, Док, когда же я наконец соберусь жениться и завести детей — мне не хочется стать развратным стариком.

— У развратного старика, герр С., может быть жена и десяток детей.

— Ага, Док, вот вы и подключились — я все-таки вынудил вас высказать свое мнение.

— Продолжайте, пожалуйста, герр С.

Сэмюэл С. поджал губы. Герр Доктор разжал свои и потянулся длинными плоскими пальцами за маленьким белым мундштуком. В тисках взгляда Сэмюэла С. его рука примерзла к пластмассе. В затемненной комнате на стене качаются тени от залитых летним светом листьев. Герр Доктор осунулся. Си-

дит, посасывая пустой белый мундштук. В принципе, можно сделать разные выводы. Даже в грудном возрасте каждый человек хотя бы пару раз сталкивается с отсутствием взаимопонимания. Одна надежда, что у герра Доктора была полногрудая мамаша. За эти пять лет я, наверно, свел его с ума. Стоит мне войти, как он весь сжимается, готовясь к защите. И натягивает маску невозмутимости, когда я выдыхаюсь от серии собственных ударов, напичканных довольно дикими домыслами. Я сказал ему:

— Док, весь мир должен был полюбить меня с самого младенчества, а вместо этого коварно выскочил из густой зеленой чащи и выпихнул меня на поляну.

Герр Доктор медленно встает. Обходит меня сзади. Я смолкаю. Он просит продолжать говорить, пожалуйста. Спрашиваю зачем. Говорит, что ему просто захотелось размяться. Я понял, что довел его до улыбки — он прошел в угол к своему креслу и захихикал. Вероятно, герр Доктор все-таки выстоит.

— Я действительно разрыдался, герр Доктор. Значит ли это, что я окончательно свихнулся.

— Нет, герр пациент.

— Что мне было делать. Я решил: подожду минуту с опровержением. И на сей раз воздержусь от схватки. Она меня раскусила. Потом я поразмыслил. Что ж, хорошо. Она меня раскусила — значит, мы вполне можем узнать друг друга поближе. И я смогу пробраться сквозь заросли в самую глубь ее джунглей. Но, Док, меня беспокоит то, что я ищу все более молоденьких. Вот в чем дело.

— Продолжайте, пожалуйста.

— Я вот что скажу, герр Доктор. Вы думаете, раз я тяну руки к этой крошке, значит, я пытаюсь соскрести чуточку ее дрожжей, чтобы поддержать собственный процесс брожения. Слушайте, что́ она могла найти во мне. Нет денег, раз. Странный, только и всего, плюс с головкой не того. Сколько еще пройдет времени, прежде чем я исцелюсь. И смогу предложить кому-нибудь выйти за меня замуж и завести детей. Я даже расстался со всеми своими псевдомодернистскими взглядами. Позволяю здоровым предрассудкам вновь закрасться в мою жизнь. Разве это плохо, Док. Их должно быть полным-полно. По крайней мере, перед смертью я все же намерен получить удовольствие. И даже был бы не прочь, чтобы за упокой моей души отслужили мессу, если бы она стоила чуть подешевле.

— Понимаю, герр С. Будьте добры, продолжайте, пожалуйста.

— Что ж. Я родился в Потакете, Род-Айленд, США, в довольно холодный октябрьский день. Моя мать застонала от удивления, обнаружив, что чрево преподнесло ей этот орущий четырехкилограммовый подарочек. Который, сам того не подозревая, вырос на задворках жизни. И всегда разбивал нос о забор, когда старался дотянуться до яств за этим забором.

— Не надо иронизировать, пожалуйста.

— Можете ничего не говорить мне. Я просто пересматриваю свое прошлое, чтобы понять, где именно я сел не на тот поезд. Который повез меня в Холостяцк. Док, вот уже пять лет я исправно хожу сюда дважды в неделю. Утром, лежа в постели, я занимался подсчетами. Вышло, что столько же стоит шикарный автомобиль. Такой дорогой вещи у меня не было ни разу в жизни. Знаете, я мог бы дважды в неделю по пятьдесят минут тереть его тряпочкой. И еще: за меня хотят выйти замуж да еще приплачивают мне, а я удираю. От самого обильного яства из всех, что меня когда-либо манили. Я хочу исцелиться. А вчерашний день показал, что я не исцеляюсь.

— Пожалуйста, не кричите, герр С.

— Боитесь, что соседи услышат.

— Пожалуйста, продолжайте.

— Нет, вы ответьте мне. Вы боитесь, что соседи услышат.

— Нет, герр С., я не боюсь, что соседи услышат. Пожалуйста, продол-

жайте. И позвольте мне предупредить вас: все признаки выздоровления у вас налицо.

— Док, не надо говорить этого. Я так одинок. На самом деле, очень одинок. Как же мне заполучить эту крошку.

— Здесь нет готовых рецептов.

Сэмюэл С. подтянул плотные коричневые носки, вздохнул. Тихое жужжание вентилятора. Тиканье часов. За окном заливается свистулька той самой маленькой голубоглазой девочки с длинными каштановыми волосами и в белоснежных перчатках; ей разрешили издавать подобные звуки, когда приходит домой ее папа. Ежедневный маленький праздник ровно в пять пятнадцать. Которого она с нетерпением дожидалась, катая по гравийным дорожкам игрушечную коляску и мысленно разговаривая с куклой.

— Кажется, на сегодня хватит, Док. Но я хотел бы посидеть здесь до скончания отведенного мне часа.

— Этот час — ваш, герр С.

— Я знаю, что этот час — мой. И знаю, что это вас раздражает. Я просто хочу посидеть здесь и помолчать. Мое говорение ни к чему не приводит. Дело в том, Док, что мне не дают найти хорошую работу, хорошую женщину. Возьмите, например, здешнее крупное международное агентство. Это же настоящая большая грудь. И хочется к ней припасть. Но когда замечают, что я разглядываю ее и уже подбираюсь поближе, меня останавливают: «Пошел вон. Мы сами тут сосем, давай-давай, проваливай». Они урвали все лучшее на пиршестве жизни. А меня отпихнули локтем — ползаю под столом и подбираю крошки. Увертываясь от их каблуков — они, ради смеха, давят мои растопыренные пальцы.

Сэмюэл С. стоял у закрытых дубовых дверей подъезда герра Доктора. Кепка плотно сидит на голове этим августовским вечером, без пяти шесть, в четверг, в Вене. Можно спуститься по Гольдеггассе, чувствуя, что тебя только что отделали. Именно здесь, к востоку от Мюнхена, Парижа и Галифакса (Новая Шотландия). Спокойным, размашистым шагом — по улочкам, прилегающим к Св.Стефану: его большой колокол как раз бьет шесть. На углах по всей Кернтнерштрассе ранние «уличные пташки» уже занимают свои позиции. Бледно-голубые и розовые хлопчатобумажные платья, на плечи наброшены свитера — вечером работать прохладно. Сэмюэл С. сворачивает в узкий серый переулок, заходит в какое-то подобие мавзолея, отделанного дымчато-желтым мрамором. Уселся в отдельную кабинку, положил руки на столик, уткнулся лбом в запястье. Официантка наклоняется к его унылой фигуре.

— Добрый вечер, герр С. Вам плохо.

— Я собираюсь спустить свои синапсы в сливовицу. В противном случае все кончится тем, что я, в голубых парусиновых туфлях, буду играть на электропианино на берегу студеного моря.

Большой колокол пробил восемь. Сэмюэл С., стоя на столике, раскланивался после исполнения замысловатого танца под названием «глупейший гавот» — разнообразные ужимки и вихляние отдельными частями тела. Хозяин остолбенел — Сэмюэл С. стал обучать американскому футболу. Урок третий: введение мяча в игру; вместо мяча — рюмка со сливовицей. Потом задавал вопросы восхищенным зрителям, слизывающим со своих лиц сливовую влагу: «Каждого ли из вас любят. О каждом ли нежно заботятся». За вопросами последовала песенка:

Окропи меня
Пыльцой,
Осыпь мне лютиком
Макушку,
Высади-ка
На лужок
После всей
Петрушки.

На стол полетели шиллинги и приветственные крики. Присутствующие венцы ограничились сдержанными аплодисментами. Зато заулыбались во весь рот, когда Сэмюэл С. скинул пиджак, намотал на шею желтые подтяжки, взял сигару и, раскинув крестом руки, исполнил в этом гвалте четыре умиротворяющие арии из Моцарта. Собрав даже случайных прохожих — они столпились в дверях и на тротуаре, чтобы разглядеть в облаке дыма Сэмюэла С., поднимающего флаг на большом пальце ноги и складывающего из складок своего живота детскую попку. Дикая история. Менее стойкие стыдливо отворачивались и закрывали лицо руками, подсматривая сквозь пальцы. Сэмюэл С. возвестил на английском языке, что он оказался в глубокой жопе — без респиратора, без фонарика, без компаса: помашите мне на прощанье.

Пятница. Раннее утро. После весьма бурного четверга Сэмюэл С., распластанный, в беспамятстве лежит под столом, подтяжки так и висят на шее. В левой руке зажата монахиня — маленькая черная куколка. С воплем «боже правый» зашвыривает ее в дальний угол. Все вокруг желтого цвета. Боли в ахилловом сухожилии, липкая проспиртованная слюна во рту. Ночь прогулок по канату над бездной, курс на Одессу (Техас), через заледеневшие просторы, с богатым выбором расчесок для продажи. А теперь — утро. Солнце медленно ползет по стене, тоненький луч заглядывает в щель между занавесками. Сэмюэл С. с трудом встает на колени. Выползает по хлюпающему мокрому ковру в коридор сделать пи-пи. Мир дожидается, когда же печень выдавит по капле весь яд. Теперь назад, на скрипучий волосяной матрац. Подбирается к маленькой монахине — под ее белый воротничок подсунута записка:

ВАМ НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ СВОИ МОЗГИ

Искренне Ваша,

гражданка Австрии

Сэмюэл С. повалился на кровать. Перед глазами заляпанные темными пятнами брюки из кавалерийской саржи, ободранные носы стоптанных туфель, обвисшие подтяжки — сломанные золотые крылья. Уставился в потолок. Треснутый гипсовый медальон — впишешься в него, когда придет время отправляться на небеса. Прямо так, лежа на спине. Отсюда — в никуда. И никакого риска, да-да. В любом случае все уже потеряно. Мозги вареные, а не обследованные. Глаза смотрят внутрь, а не наружу. Уши едва улавливают внешний мир. Гневная Агнесса прокралась мимо двери. Пытается выяснить, стою ли я хоть одного содрогания. Пронзительный визг трамваев удаляется. Погружение в сон. Снится разъяренный бык, вырывающий маргаритки и ревущий: «Я — царь зверей». Естественно, приближаюсь к нему, чтобы вступить в переговоры, — животное нападает. Несется за мной через двор, загоняет в сарай — я стою, дрожа от страха, на тюках сладко пахнущего прессованного сена. Шепчу ему оттуда — животное выпускает из ноздрей клубы дыма. «Слушай, бычок, может, мы договоримся. Я свожу тебя на травку». Рога просвистели прямо под носом. Очередное пробуждение. Капельки пота на лбу. Пора пи-пи. Исключительное напряжение всех сил — скатился на пол. Поднялся с колен и, тряхнув головой, покачиваясь, побрел в ванную.

Сэмюэл С. осторожно пролавировал между вечно занятыми маленькими муравьями по их заболоченному миру ворсистого ковра. Выполз из одежды, будто из старой кожи. Наполнил ванну до краев кипятком. Закрыл кран. Скомкал туалетную бумагу и обложил дверной звонок. Закопал телефон в гигантской куче грязного белья. Сколол булавками занавески, везде включил свет. Разложил на кресле простыню, полотенце. Сгреб книги в стопку — так, чтобы дотянуться до них рукой. Один том прихватил с собой в ванну.

Сэмюэл С. медленно погрузился в горячую воду. Один муравей, отбившийся от стада, полз по его ноге. Взобрался на колено и заметался по кругу — этот островок безопасности постепенно уходил под воду. Муравей поплыл: судорожно барахтаясь, пытался добраться до берега. Он был в отчаянии. Уси-

ки отчаянно шевелились. Сэмюэл С. великодушно подставил ему палец. Поборов инстинктивное желание убить его. Муравей остановился у самой большой на руке веснушки, двигая челюстями. Легким щелчком Сэмюэл С. отправил его в безопасное место. В ту же секунду раздались два отчетливых удара во входную дверь.

Сэмюэл С. похолодел в горячей воде. Хозяйка. Или полиция — если тебя и не арестуют, будут выяснять, какой зубной пастой ты пользуешься. Еще три удара.

Это не местный. Обычно венцы, пользуясь твоим отсутствием, расспрашивают о тебе соседей и, если те знают достаточно, уходят вполне удовлетворенные. Еще четыре удара. Полиция. Выследили меня без всяких церемоний. И хотят заставить оплатить все мои пьяные проделки. На которые я спустил все деньги, полученные из Амстердама.

— Отзовитесь.

Слишком уж жарко в ванной, чтобы оставаться хладнокровным. Услышав голос Абигайль. Есть ли какой-нибудь смысл или нужда усугублять мучения. Человек чувствует себя виноватым в том, что отверг тебя, и потом является, чтобы сообщить тебе об этом в подробностях.

— Отзовитесь. Я знаю, что вы здесь. У вас горит свет. Это я, Абигайль.

Сэмюэл С. с усилием вылез из ванны, роняя капли, прошлепал по коридору. Завернулся в простыню и полотенце, разложенные на кресле, и двинулся к входной двери, чтобы прервать крики, проникающие сквозь тонкие, как картон, стены.

— Чего вы хотите.

— Я хочу поговорить.

— А я нет. Я не одет.

— Я только хочу вам кое-что сказать.

— Что именно вы хотите сказать.

— Еще не знаю. Но я хочу поговорить.

— Не хочу повторять все сначала. Вы победили. С меня хватит.

— Что за тупое упрямство. Почему вы не посмотрите на вещи трезво.

— На что смотреть трезво.

— Я хочу узнать вас поближе.

— Придумайте для меня хоть один повод узнать вас поближе.

— Вы могли бы положить свою голову мне на плечо.

Чтобы найти ответ на это, на Шпицбергене потребуется шесть месяцев совещаний с группой бомбейских дантистов на дрейфующей льдине. И двадцать секунд в Вене.

— Сколько вам лет.

— Достаточно.

— Я почти вдвое вас старше.

— Тогда не ведите себя как ребенок. Откройте дверь. Давайте дружить.

— Это самые чреватые отношения в мире.

— В чем дело. Вы что, трус.

— Да. А вы кто.

— Я — еврейка. На три четверти.

— А я — антисемит. На четыре четверти.

— Отлично. Я избавлю вас от расовых предрассудков.

Придерживая простыню зубами, Сэмюэл С. отомкнул дверные запоры. Его первая посетительница. Во всем коричневом: узорчатая шелковая блузка, кожаная юбка. Большая переметная сума через плечо. На ногах — замшевые ботинки. Остановилась на пороге затхлой полутемной гостиной и пронзительно присвистнула.

— Елки-палки.

— Вы же хотели войти.

— Я читала о европейской нищете, но это прямо для романа. У вас в прихожей мокро. Вы похожи на привидение.

— Если вам что-то не нравится — вон дверь.

— Что вы такой обидчивый.

— Я никого не зазываю к себе в гости. Если сами приходят, я не несу ответственности за те ощущения, которые здесь испытывают.

— Вы шарлатан, самый натуральный шарлатан.

— Я уже сказал — вон дверь.

— Да я бы сама не прочь свалить отсюда. Но не сделаю этого только по одной причине. Это самое грязное жилище из всех, что я видела. Здесь правда очень грязно. И нужно что-то сделать. Зачем вы везде электрический свет включили. А дневной загородили занавесками. Сейчас три часа дня.

— Для меня сейчас полночь.

— Можно я присяду.

— Садитесь.

Сэмюэл С. вразвалку прошел в ванную. Смочил голову холодной водой, продрал расческой спутанные волосы, прочертил неровный пробор по левому склону черепа. Жизнь сделала новый поворот. Прямо в маленький оазис. Нафаршированный фальшивыми фигами, которые тают в воздухе, как только протянешь к ним руку. И в довершение всего — хозяйка, разводящая в подвале улиток в стеклянном садке. Те с хрустом жуют виноградные листья. Графиня сообщила, что с наступлением темноты с ней произошло что-то странное: она в ярости билась над своей escargot[1] — а утром, кажется, опять пришла в себя.

Сэмюэл С. вышел из ванной — подбородок вздернут, плечи расправлены, глаза сияют, как солнце. Белый накрахмаленный воротничок, рубашка в голубую полоску. Абигайль сидит нога на ногу. Листает справочник по банковскому делу. Поднимает карие глаза; при электрическом освещении ее губы кажутся пунцовыми.

— Простите за то, что я сказала тогда, на Каленберге. Я познакомилась с вашими друзьями, и они объяснили мне, что вы проходите курс лечения. Если бы я знала это, я никогда не сказала бы то, что сказала.

— Люди говорят то, что хотят сказать. И говорят всерьез. А поступают совсем наоборот.

— Черт, мне стыдно. Даже и не знаю, что ответить. Может быть, откроем окно.

— Окна заклеены.

— Не могу привыкнуть к этим европейским запахам.

— Такой воздух здесь уже четыре месяца. И я не вижу причин его менять. Мне дурно от свежего воздуха.

— Неужели вам нравится это пещерное существование.

— Нет.

— Почему же вы так живете.

— Потому что нет средств жить по-другому. И потом, никто не станет наводить здесь порядок.

— Вы сами должны навести здесь порядок.

— У меня нет желания наводить здесь порядок.

— Извините, что вмешиваюсь не в свое дело.

Сэмюэл С. с неприступным видом застыл у импровизированного письменного стола, заваленного кипами бумаг. Подожми все форпосты жизни, честолюбивые замыслы, далекие проекты. Чтобы какой-нибудь случайный налетчик, размахивающий кривым ятаганом, не поотрубал их все. Подойди к финишу живым — это единственное, что имеет значение. Тщательно прощупывай свой путь, пока все зубы на месте. Остерегись протягивать руку к тому маленькому цветочку: он врос корнями в подземный электрический кабель и шарахнет тебя так, что отлетишь в другой конец лужайки. Я протягиваю руку.

---

[1] Улиткой (*франц.*).

— Зачем вы пришли сюда.

— Переспать с тобой.

Сэмюэл С. отослал кровь вниз, в пальцы ног, но кровь снова подпрыгнула вверх. В половине четвертого дня. Мечтаю, чтобы она замялась. Мечтаю, чтобы она размякла. А сам малодушно медлю и мямлю.

— Послушай, как ты можешь такое говорить.

— Уже сказала, Сэм.

— Дай-ка я присяду на минутку. Сложившуюся ситуацию надо обмыслить.

— Ничего, если я встану.

— Да, вставай, подожди, я расчищу тебе место.

— Все нормально. Я стою.

— Нет-нет, минуточку, тебе нужно место. Отодвинь это кресло.

— Да все нормально.

— Только сброшу полотенце и простыню.

— Не надо утруждаться.

— Я не утруждаюсь.

Сэмюэл С. стоит на задних лапках. В отличие от тех многих случаев, когда он прижимал женщин к ногтю, предварительно накрыв их остальными частями тела. Отыскать собственное место, открыть свою собственную дверь. Пахнуло студенческими годами: тщательно обдуманные процедуры, чистый, промытый вид, штанишки благоухают, как новогодняя елка.

— Можно я буду называть тебя Сэм.

— Называй как хочешь.

— Я слышала, что ты хотел заняться любовью, Сэм.

— Давай пока займемся чем-нибудь другим.

— Слушай, что за странный разговор. Если хочешь, я заберу назад свое предложение.

— Не надо.

— Ладно, но вроде как неприлично предлагать себя еще раз.

Абигайль стоит, втянув живот, выставив грудь. Маленький изящный мускул подрагивает на ее смуглом локте. Сэмюэл С. снова откидывается в свое кресло. Подносит руку к сочащемуся влагой лбу. В комнате цвета морской волны. Сразу после войны ее снимал изготовитель глазных протезов. Возле окна у него стоял специальный верстак; за ним он споро работал все дни напролет: выдувал маленькие, изящные стеклянные пузыри; заказчик сидел рядом и сверкал при дневном свете здоровым глазом. Мастер тем временем наносил легкие мазки, подлаживая мертвый глаз под живой. Хозяйка говорила, что он сделал и ей.

— Ты будешь что-нибудь говорить, Сэм.

— Съешь кекс. Он уже засох, но еще не заплесневел. Я весь в холодном поту.

— Ты раскрываешь все свои карты.

— Потому что хочу жить со всеми в ладу.

— Слушай, Сэм, тогда я сяду. Подожду, пока мы поладим. И ты рассчитываешь, что все будут этого дожидаться и никто не даст тебе в челюсть. Для твоего же собственного блага, чтобы не слишком долго раздумывал.

— У меня есть свои собственные методы ведения боя.

— Только на тот случай, если ты уверен, что можешь победить противника.

— Понятно.

— О господи, прости за то, что я сказала.

— Затем я и торчу здесь все эти пять лет. Чтобы выправиться. Так что я могу принять к сведению эти замечания.

— Надо же, пять лет.

— Мог бы и еще пять лет.

— Ты можешь себе это позволить.

— Я не позволяю себе этого. Я на мели. Живу на подачки богатых друзей — им больно мне отказывать.

Молчание. Ее карие глаза и мои голубые. Хрупкие суставы пальцев обтянуты нежной кожей. Берет рукой кекс, купленный на обед в момент слабости и малодушия, и запивает прохладной прозрачной венской водой.

— Сэм, ты честный человек. Угощаешь меня кексом, хотя он и черствый. Думаю, я смогла бы привыкнуть. Знаешь, главной целью моего приезда в Европу было расширение границ жизненного опыта. Ну мы его и набрались. Прямо уже в Гавре. То есть через час после высадки, по дороге в Париж один француз, водитель грузовика, пытался уломать нас с Кэтрин. Так, говорит, вы изучите Европу. Я сказала ему, что у него воняет изо рта. Тогда он сделал наглое предложение. Меня это даже развеселило, ну а Кэтрин заехала ему по физиономии. Он-то не ожидал, что мы так хорошо знаем французский. Тогда он выкинул нас из своего грузовика. Я считаю европейцев грязными и неотесанными. Ты европеизировался. Это неправильно.

— А что.

— Европейцам следует повзрослеть. Они считают, что у них есть духовные ценности. Им бы надо стать мудрее.

— Ты так думаешь.

— Свои проблемы надо решать. Куча людей с поврежденной психикой решают их через какое-то время. Возьми меня.

— Мы возьмем тебя.

— Из меня пытались сделать фортепьянного вундеркинда. Мои родители богатые. Я выросла в тепличных условиях. Моя мать старалась высосать из моего отца все соки. Но не успела — на арене появилась другая куколка, тоже заинтересованная в его соках; пока они воевали, отец получил короткую передышку.

— Продолжай, пожалуйста.

— Не высокомерничай.

— Я просто слушаю, продолжай.

— Так что у меня тоже были свои проблемы. Моя мать устроена как опухоль. Ну, может, не совсем так, но иногда казалось, что, поглощая отцовские соки, она расцветает. Омерзительный образ. А отец говорил, что любит меня по-настоящему, то есть как мужчина женщину, представляешь. Ну, я сказала, что это отклонение. Вообще-то мой отец неплохой мужик: смеется, острит и все такое. У него отличное чувство юмора. Так что мы могли и пошутить. Его беда в том, что он еврей только наполовину.

Августовская пятница. Вдалеке пять раз мерно прогудел колокол. Сэмюэл С. вглядывается через стол в эти темные глаза. Изготовителю глазных протезов понадобилась бы крупинка черного стекла на крупной капле коричневого. Ее американская попка при ходьбе готова лопнуть от спелости. Одна ее нога смуглее и тоньше другой. Крошка, вынырнувшая из самой глубины и гущи венского туристического сезона. Эта хрупкая фигурка. Эти узкие плечи. Все будет погребено под моим жиром. Тонкие пальцы, темно-розовые ногти. Первобытная чистота деревяшек, прибитых осенью к песчаному океаническому побережью в Мэне. Улыбки умирают на ее губах и вновь возвращаются к жизни, как только загрустишь об их исчезновении. О, крошка. Крошка.

— Знаешь, Сэм, я из Балтимора. Не знаю, может, и не верится, но мой отец вырос на задворках кафе-мороженого, а его родители не знали английского; и если бы мои подружки познакомились с моими дедом и бабкой, то перестали бы водиться со мной. Я ходила в престижный университет, и знаешь, если бы у меня не было денег, те девицы отшили бы меня. Америка набита снобами. Ты ведь давно там не был. Ты не знаешь.

— Знаю.

— Это тебе так кажется. Тебе надо съездить и посмотреть, как там все

переменилось. Подчиняется общественному мнению. В смысле, массам. Я даже и не знаю, как это у меня глаза открылись. Их выпускают из колледжей пачками. Ты ведь не представляешь. Дядин приятель сказал, что ты изолировался. Только представь себе все эти мозги, отягощенные образованием. Я просто испугалась. И вытряхнула свои знания. Потеряла девственность. Тебя это шокирует.

— Если тебе так хочется.

— Слушай, с тобой трудно говорить, но меня прорвало. Дядин друг — единственный мужик, чье мнение меня интересовало, — сказал, что ты — один из самых загадочных объектов в Европе. И что за жизнь ты ведешь в Вене. И что, если тебе недодают сдачи, ты тихо и вежливо говоришь: «Вы меня обманули», раскланиваешься и идешь дальше. Это произвело на меня впечатление. А потом... Хочешь знать правду.

— Говори, если хочешь.

— Так вот, потом, когда я увидела тебя, я была разочарована. Прежде всего, было странно познакомиться с тобой таким образом. Потом, когда ты клеился, я вот что подумала. Ну что за старомодный мужик. Мой отец мог бы составить ему компанию. Видишь, я говорю тебе все без утайки.

— Вижу.

— Потом, когда я влепила тебе парочку замечаний и ты раскис прямо на наших глазах, я подумала: или он не в себе, или он и впрямь какой-то особенный. Когда распускает нюни американский мужик — это сопровождается словами. Но ты как бы и не плакал. Крупные слезы катились сами по себе. Вот почему мне хочется узнать тебя поближе. Мне кажется, что ты самый интересный человек из всех, кого мне доводилось встречать в Европе. Мне кажется, что я смогу у тебя чему-то научиться.

— Это все.

— Да, все. Ты какой-то неиспорченный. Я хочу сказать, я не знаю, что я хочу сказать. Но, о господи. Я — женщина. А ты — мужчина. Слушай, мы же в Европе, и мы одни. Разве все это тебя не волнует.

— Я взволнован.

— Послушай, Сэм.

— Послушать что.

— Послушай, я же сказала тебе, зачем я здесь. Мне как-то неловко. Неужели я должна говорить это еще раз. Я повторяю, что ты можешь дать мне кое-какие знания. Я могу дать тебе себя.

— Это все.

— На этот раз все. А что еще. Чего ты ожидал.

— Я хочу жениться.

— Елки-палки. Ты что, спятил.

— И завести детей.

— Слушай, может, мы сменим тему. Я имею в виду женитьбу. Черт возьми. Надеюсь, ты не делаешь мне предложение. Я говорила только насчет переспать.

— Я не хочу переспать.

— Не надо орать. Я не глухая. Может быть, ты хочешь, чтобы я ушла. Я уйду.

— Я не стану тебя удерживать.

— Значит, ты не стал бы меня удерживать. Слушай-ка, лучше бы тебе трезво взглянуть на факты в этой жизненной лотерее. И взять то, что выпало. Тебе больше не подвернется случай с такой молоденькой девушкой. Ты уже седой, значит, твои возможности на исходе. Тебе даже нечем козырнуть.

Сэмюэл С. смотрит в эти два горящих карих глаза. Сердце прыгает у него в груди. Колени ее скрещенных ног — кожа натянута, получились два белых пятна. Ярко-голубая вена на лодыжке. Что такое крошка. Проспрягай по-латыни. Проспрягай по жизни. Крошка — это такая маленькая, тощая, загоре-

лая штучка. С мозгами, которые отключились, словно свет, когда уложил ее в постель. Избавляется от груза знаний, когда ищет наслаждений. А когда начинает размышлять, обнаруживает много горя.

— По всем мировым канонам я — неудачник. Но я живу здесь. Я занимаюсь своим делом. Я не принимаю посетителей. Ты находишься здесь только по одной причине: молодые интеллектуалы не проявляют к тебе интереса. Не то чтобы ты некрасивая, но и никто не скажет, что от подбородка и выше ты — победительница конкурса красоты. И, хотя я спятил настолько, что считаю тебя чертовски хорошенькой, я знаю, как на это смотрят ребята твоего возраста. Нахальство тебе не идет. Это неприятно, жестоко и невоспитанно.

— Погоди, Сэм.

— Это ты погоди.

— Но, Сэм, именно такого разговора я и ожидала. Я рада, что пришла. Я знаю, что это было неприлично говорить насчет переспать и всего остального. Мне было неловко просто взять и прийти сюда. Я могла застать тебя с кем-то или за чем-то. Хоть мне и говорили, что ты поступаешь так: ложишься на дно, как подводная лодка, и не подаешь признаков жизни по нескольку дней. Я не считаю тебя неудачником. Правда.

— Кто же я.

— Отвечу тебе так же, как ты мне. Люди твоего возраста могут смотреть на тебя свысока. Но на мой взгляд, у тебя есть та зрелость, которой нет даже у моего собственного отца.

— Если бы ты просто увидела меня за столиком в кафе такого, какой я есть, ты бы не обратила на меня внимания.

— Ты упрям как осел, черт тебя побери.

— Правильно.

— Разве мужики не стараются отвертеться от женитьбы. Ты вот ищешь жену и хочешь детей, чтобы в старости не быть одному. А я, слушай, я хочу пожить и словить удовольствие, прежде чем надеть ярмо.

Абигайль сидит, положив локти на стол. Торопится в будущее. Перевязав прошлое маленькими симпатичными бантиками. А я благополучно прибавил к своей жизни еще три мучительных дня. В молодости, с трепещущим, как колибри, сердцем, не понимаешь, где скрыт нектар. Полно препон в виде мелких, незначительных условностей, которым подчиняешься, чтобы нравиться людям. Но вот наконец нектар. Очень долго добирался, глядя себе под ноги. Вытягиваю вперед руки, обхожу все преграды. Наталкиваюсь на нектар.

— Слушай, Сэм, это что, семинар. Есть у тебя кофе. Я приготовлю. В чем дело, я что-нибудь не так сказала.

— Нет.

— У тебя такой смешной вид. Есть у тебя кофе.

— Ты нарушаешь заповеди американской женственности.

— О чем ты. О том, что я сказала, что приготовлю кофе. Скажи, за кого ты принимаешь американских женщин. Знаешь, мы ведь не калеки. Я даже приберусь у тебя. Ты не убирал свое жилище по меньшей мере месяц.

— Три месяца и восемнадцать дней.

— Ничего себе, ты даже подсчитывал.

Эта пятница катится к закату. Укорачивая чью-то жизнь. Рассыпаются в прах пыльные воспоминания об университетском общежитии и былых вечерах. Солнце валится за Альпы. Сэмюэл С. сказал, что он сходит за угол и купит кофе в зернах. Не могла бы она одолжить ему денег. Ее брови сдвинулись, она полезла в кожаную сумочку и протянула через стол пятидесятишиллинговую купюру, улыбнувшись уголком губ. Когда он уходил, она поинтересовалась, где веник.

Кровь стучит в висках Сэмюэла С. На лестнице, на полпути вниз, он останавливается и подносит руку ко лбу. Иногда бывает нужно с сочувствием, по-медвежьи крепко обнять самого себя. Если больше никто по-матерински

нежно не обовьет тебя руками. И не прижмет к себе, не убережет от невзгод. Которые сейчас совсем рядом. Брошусь ли я к ней на грудь, задыхаясь и покрываясь испариной, со словами: выходи за меня, стирай мне носки, мели мне кофе, придавай моим гренкам нежнейший золотистый оттенок.

Звякнул звонкий колокольчик — Сэмюэл С. вошел в магазин «Кофе». Хозяйки, две седые полные сестры преклонного возраста, уже почти перестали его обжуливать. Теперь они обходились с ним как с директором почтенной психбольницы. К которому они могли бы обратиться в один злополучный день и порадоваться, что герр директор самолично займется их болезнями. Они кланяются, насыпав ему в руку сдачу. Danke, Herr Professor, danke[1].

Сэмюэл С. останавливается на хорошо знакомой улице. Свежесть, прощальная летняя дымка, запах венской зимы, появляющийся с наступлением сумерек. Ветер становится порывистым. Изготовитель люстр в белом переднике у окна медленно превращается в призрак Абигайль, ее маленького ладного тела. Американской девушки, которая собралась позаниматься домоводством. И как она называла его: Сэм. Наверно, он сильно отстал от жизни со своими убеждениями, что все жены корячатся на кухне над кастрюльками, а их муженьки, вытянув ноги в теплых носках, почитывают газеты. Жены его американских друзей продемонстрировали ему, что будет, когда он попросит яичницу и кофе с гренками. Он получит яичницу. Брызжущую маслом и ловко скинутую со сковородки прямо ему на колени. И кофе. Конечно же, щедро вылитый ему на руку. Так погибла мечта стать королем, в одиночестве восседающим за столом; в соседней комнате возится дюжина ребятишек, а перед ним появляются чай, бекон, может быть, даже и яичница, и жена, как всегда, говорит: «Ах, ваша милость, по вкусу ли вам трапеза, не изволите ли еще горячего чаю или кусочек бекона». Неужели он, карабкающийся сейчас домой по этим ступеням, станет когда-нибудь королем. И скажет: «Еще бекона». Станет мужем и обзаведется женой. Станет отцом и обзаведется сыном.

На темной лестничной площадке, тускло освещенной слабым светом снизу, Сэмюэл С. остановился перед своей дверью: весь низ разукрашен вмятинами от ударов, краска изборождена царапинами. За дверью — подарок от Бога, который на последнем заседании совета министров сказал: сегодня будут испытаны жизненные принципы Сэмюэла С. При содействии одной миленькой крошки. Которая предложит Сэму свое тело, не обставив это обычными условностями. Предварив чашечкой доброго венского кофе. Если он не соблазнится ее телом и откажется от удовольствия, крошка уберет его квартиру и вымоет посуду. Если он и после этого останется непреклонным, ей придется собрать грязное белье, постирать его, накрахмалить и все перегладить, потом подать ему яичницу из двух яиц и вареную Gutsratwurst[2] на дымящейся тарелке с шипящей тушеной капустой. По мнению наших диетологов, его желудок несомненно выдержит эту смесь; если он даже после этого не набросится на крошку, мы направим к нему ангела в качестве наставника для начального обучения, после чего он будет избран младшим помощником старшего помощника казначея нашей организации и награжден титулом Святого Строптивца Сэма Сомкнутых Уст и Безумного Безбрачия.

Сэмюэл С. поднимает руку. Чтобы вставить ключ в дверь. Поворачивает его, вваливается. В облако пыли. Абигайль стоит посреди комнаты, облизывая губы. Сэмюэл С. кладет кофе на стол в гостиной. Она поворачивается и улыбается.

— Так ведь лучше, Сэм. Я только подобрала бумаги и все остальное. Надо же, здесь так тихо и одиноко, что мне становится грустно. Пойду умою лицо, а то я вся в пыли.

Сэм С. провожает глазами до ванной ее маленький огнедышащий зад,

[1] Спасибо, господин профессор, спасибо (*нем.*).
[2] Венскую колбаску (*нем.*).

который, виляя, расправляет под своей кожей крылья для полета. Два красивых крепких сухожилия над гладкими икрами ног. Но вот она возвращается в комнату — волосы причесаны, лицо умыто и блестит на свету.

— Сэм, у тебя в квартире никакой звукоизоляции. Я слышала соседнюю квартиру. Наверно, ты слышал, как я писала.

— Слышал. Эту музыку.

— Знаешь, я не из тех дамочек, что спускают воду в толчке, когда писают, чтобы не было слышно, как они писают. Человеку нужно писать, и все это делают, так что же из того, что это услышат. Конечно, другое дело, если бы я шумно какала, — тогда бы я немного смутилась от этих звуков. Тебя это волнует.

— Мои волнения утихли.

— Ну а мои — встрепенулись. Меня воспитывали так, что я пукала, когда хотела. Но рыгаю я, по-моему, не так часто. Меня всегда интересовало, кто из моих подружек хоть раз пукал во время свидания. Ни одна не созналась. А я из-за этого дела потеряла четырех кавалеров, трое из них были очень перспективными. Можешь просто по-человечески себе представить: один маленький невинный пук и...

— И.

— И все.

— Возьми свою сдачу.

— Ой, да что ты, зачем.

— Возьми сдачу.

— Надо же, щепетильный какой.

— Есть определенные условия, при которых я беру деньги, и условия, при которых не беру.

— Ты меня поражаешь. Правда-правда.

Абигайль, опершись руками о край стола, рассеянно глядит в глаза Сэмюэла С. Ее неподвижная нижняя губа резко выделяется на лице. Вздернутый нос примостился между глаз, таких нежно-карих: она думает, что они заставят мои дрогнуть и я отведу взор. Дружелюбие в уголках ее губ. А глаза вспыхивают и опускаются.

— Ты смутил меня, Сэм. Раньше ни одному парню это не удавалось.

— Вот как.

— Ничего, если я попрошу тебя обращаться ко мне по имени. Ты ни разу не назвал меня Абигайль.

— Абигайль.

— Не просто так, а когда ты что-то говоришь. Черт. Вечно я попадаю в самые скверные ситуации.

Влага в глазах Абигайль. Она неуклюже делает два шага вперед. Поднимает руки к горлу. Пальцы расстегивают верхнюю пуговицу блузки. И следующую.

— Сэм, ты сказал, что я не гожусь в победительницы конкурса красоты от подбородка и выше. А как насчет от подбородка и ниже.

— Черт возьми.

— А вот здесь.

— У тебя все в порядке.

— А здесь, пониже. А повыше.

— В порядке.

— А теперь, как тебе все в комплексе. Ценная бандероль без упаковочки.

— Дай-ка я сяду.

— Сэм, мы все-таки этим займемся.

— Нет. Подожди. Ты забыла, что я говорил насчет женитьбы.

— Мы не должны сейчас об этом думать. Посмотри на меня от подбородка и ниже. Ну правда, как я тебе.

— Нечто.

— Правда.
— Чтобы вспоминать. В глубокой старости. И позже, на том свете.
— Вот уж никогда не ожидала, что у самого Сэма такое чувство юмора.
— С твоей стороны это тоже юмор. Так думать.
— Раздевайся, Сэм.
— И танцевать.
— А как же.

Тихие звуки нового мира, отгороженного ветхими малиновыми занавесками в этой комнате цвета морской волны. А над Веной нависает ночь. Между громадными одинокими призрачными тенями зданий улицы какого-то мягкого бежевато-серого цвета. Самое время прогуляться — ты укрыт от посторонних глаз. Фигуры исчезают с тротуаров, устремившись к своему супу, Bratwurst[1] и ломтю хлеба. Продолжаешь идти, прислушиваясь к цоканью каблуков: остановишься — и можешь погибнуть прямо на месте. Без ритуальных услуг и оплакиваний. Тебя упакуют и отправят на хранение в глинистую почву Центрального кладбища с эпитафией:

Вообще-то
он был
неплохим парнем

Сэмюэл С. разделся. Сопровождая его в постель, Абигайль сообщила, что он совсем не волосатый. Он обхватил руками ее миниатюрное тело и стиснул. Она сказала: «Ты сильнее, чем я думала». Волосяной матрац заскрипел, когда Сэмюэл С. взгромоздился на нее: потом заскрипел вторично, когда она переместилась на него. И заглянула ему в глаза.

— Ты ничего не собираешься делать.
— Нет.

Абигайль медленно отодвигается от этого моржа. Вытягивается на спине, уставившись в потолок.

— Ты самый мерзкий вредитель на свете. Ты не знаешь, как это может подействовать на девушку.
— Знаю.

Абигайль отворачивается, полуприкрыв веками мерцающую черноту расширившихся зрачков. Чуть вздрагивают губы.

— Не можешь знать.
— Ты не знаешь, чем может для меня обернуться траханье без всяких перспектив на будущее.

Абигайль приподнимается на локтях. Ее глаза широко раскрыты. Едва заметно тряхнула головой, бледные груди закачались над смуглым животом.

— Я не могу выйти за тебя. Что будет делать такая девушка, как я, лет, скажем, через тридцать или сорок после твоей смерти. Но я могла бы пожить с тобой целых два месяца. И я не прочь варить кофе и делать все остальное. Елки-палки. Зачем я тебе все это говорю. Что ты о себе воображаешь. Как будто умеешь пернуть в си-бемоле или еще что-нибудь.
— Ты угадала.

Уши Абигайль навостряются. Сэмюэл С. приподнимает локтем одеяло и испускает виртуозную шестнадцатую.

— Ничего себе. Ты прямо камертон. Без дураков, это действительно был си-бемоль, Сэм. Ты, наверно, думаешь, что это шуточки, а на самом деле это потрясающе.
— Выходи за меня, и я дам тебе органный концерт.
— Не сомневаюсь, что ты это сможешь. Я верю тебе. Но почему же ты не можешь довольствоваться тем, что имеешь. Тем, что я предлагаю. Много ли ты видел тел красивее моего. Пока ты ходил за кофе, я сняла нижнее белье и

[1] Жареной колбасе (*нем.*).

смогла продемонстрировать все разом. Разве у меня не обалденное тело.

— Я балдею.

— Слушай, не думай, что я собираюсь остаться.

— Не думаю.

— Не останусь, не бойся.

— Для тебя это всего лишь туристический маршрут. Для меня — полный земли ковш парового экскаватора, который высыпается на мой гроб.

Абигайль садится на кровати, поджав ноги, опираясь на ладони. Каштановые волосы падают ей на щеки. Грудь с маленькими твердыми сосками тихо покачивается. Стоит одному из них слегка задеть твой глаз, как вся решимость улетучится.

— Сэм, послушай. Я буду откровенна. От меня требуют подписать контракт с неудачником, а ведь у меня в запасе есть еще три-четыре года, чтобы найти парня или мужика побогаче меня или такого, кто преуспевал бы не хуже моего папаши. Кроме того, мне нравится спать с разными. Правда, я не шучу. Может быть, они и не умеют использовать задний проход вместо тромбона, но мне очень любопытно встретиться и с другими инструментами. У некоторых мужчин они изогнуты вправо, у других — влево. Прямо удивительно: никогда не бывает двух одинаковых. А их конец всегда напоминает разные фрукты: у кого-то яблоко, у кого-то грушу, у тебя вот, например, вишню. Ничего себе вишенка. Я не шучу. Сами-то мужики этого не знают. Они думают, что унижают меня. Что ж, я их разочарую. У меня чисто научный, биологический интерес. Я могла бы им кое-что порассказать. Ну, слушай. Еще один семинар. Итак, твой смотрит строго по центру. Впервые такой вижу. Никогда не определишь кривизну и истинный размер, пока он не встал. Не пропадать же ему теперь даром. Ну как. Ха. Может, я поиграю на этой дудочке. Подую в ее маленькую дырочку.

— Нельзя отрицать, что ты можешь заставить его встать и запеть.

— Сэм, я проделала весь этот путь в Европу, чтобы хорошенько потрахаться.

— Я проделал весь этот путь в Европу, чтобы исцелиться.

— Разве я не могу исцелить тебя, Сэм.

— Я уже вывел из строя трех докторов, пытавшихся исцелить меня.

— А разве у меня не большая, аппетитная грудь.

— И мой нынешний доктор готов хоть сейчас уплыть по Дунаю в Венгрию.

— Иди ты к черту. Я буду спать. Спокойной ночи.

Сэмюэл С. приподнялся на локте, и ему показалось, что он услышал, как на простыню шлепаются слезы. Протянул руку, чтобы схватить ее за зад, она оттолкнула его. Пережить те часы, которые отбивает далекий печальный колокол. Переспать с ней означает потерять ее навсегда. Ее голова на подушке, нос уткнут между пальцами, гибкими, как янтарные четки, — каждый имеет свою собственную форму и кривизну. Каштановые волосы рассыпались по спине. Гладкая кожа под глазами. Губы раскрыты. Изо рта пахнет тушеной капустой. Она не знает, что именно женская застенчивость толкает мужчину на удивительные поступки. Включая и траханье.

Сэмюэл С. погружался в сон. Это напоминало движение автомобиля: шум мотора слышен задолго до его появления на пустынной мощеной улице и еще долго после его исчезновения из виду. Во сне он ступает на цыпочках по белым пушистым облакам высоко над синим бушующим морем: стремится к проволочной ограде, — гигантский бобовый стебель вплелся в стальную сетку. Пытается вскарабкаться на нее и наверху цепляется за проволоку. Срывается вниз — проволока выдирает из бедра большой кусок мяса.

С воплем проснувшись и откинув одеяло, Сэмюэл С. хватается за ногу и натыкается на копну волос, от боли резко отталкивает ее. На теле две кровоточащие дуги — глубокие отметины от зубов.

— Черт, что ты делаешь.
— Кусаю тебя.
— Ты спятила.
— Да.
— У меня вся нога в крови.
— Не волнуйся, это не смертельно.
— Черт, ты опасная.

Сэмюэл С. сползает с кровати. Обернувшись, бросает взгляд на эту волчицу и вампиршу — ее глаза горят из-под капюшона простынь. При попытке встать — дрожь в коленях и ноги вдруг подкашиваются. Ручеек крови до самой лодыжки. Доктору придется справиться об этом случае в своей таинственной энциклопедии. А у меня тем временем разовьется гидрофобия и, корчась в судорогах, я взлечу на небеса. Внезапная догадка вспыхнет прямо в жемчужных вратах. Откажешься переспать с женщиной — она сжует твою ногу.

Четыре сорок шесть утра. Внизу за окном, по промерзшей просыпающейся улице грузовики с овощами, грохоча, несутся на Нашмаркт. Скрежет, звон и голубая вспышка въезжающего на стрелку первого трамвая. До рассвета еще полчаса. Завернувшись в простыню, Сэмюэл С. сидит в кресле. Смотрит на окрасившуюся в желтый цвет комнату. Выключает свет. Слышит шорох миниатюрного тела Абигайль, переворачивающегося на бок.

— Ну ладно. Укусила я тебя. А разве у тебя никогда не было желания укусить. Может, ты слишком культурный. А я — примитивная. Может, мне нравится вкус крови. Просто надо было заняться со мной любовью.

— С траханьем ради траханья я завязал.

— Очень остроумно. Чего же ты тогда раздевался. У тебя извращенное сознание.

— Ты права.

— Что ж, я так и думала. О Господи. О Иисусе. О Иеровоам. О Сид. О Джо. Хорошие совестливые парни с университетским образованием, перед которыми я задирала нос. Надеешься подцепить зрелости, а тут... Ты что-то там говорил насчет внезапных озарений. По твоей милости и на меня снизошло одно. Я предпочитаю иметь дело с мужиком, у которого он не встает, чем с тем, кто им вообще не хочет пользоваться. У меня голова разболелась. Хорошо бы аспирину.

— Я принесу.

— Ничего страшного. Не утруждайся.

Большие карманные часы Сэмюэла С. громко тикают на столе. Серый свет расползается по зданиям. Скрежещут трамваи. Вена спешит на работу. За плечами — маленькие ранцы. Выныривают из подъездов, толпой несутся по улицам, на углах собираются в кучу, ждут. Молитва за всех маленьких тихих детей, покончивших с собой в Австрии. Аплодисменты почтенным венским матронам с ребятишками. Гудок в си-бемоле для меня. И крошки. Которая всегда будет взрослее меня.

Скрип волосяного матраца. Маленькое лицо Абигайль — белый овал в обрамлении темных волос — поворачивается к Сэмюэлу С. Поджав ноги, она сворачивается калачиком под одеялом.

— Сэм, что с тобой происходит. Ты не мог бы мне объяснить. Я уж и не знаю, что еще сказать — от тебя все отскакивает, как камешки от айсберга. Я вовсе не самонадеянна. И хотя это звучит дико, ты мне нравишься. Скажи, ты действительно веришь во все, что ты выдумал. Это ведь женщины так мыслят. Черт. Я хочу сказать, что же я́ мыслю. Именно сейчас, в шесть часов утра. Кэтрин торчит в гостинице, и ей не терпится выведать все подробности. Мне кажется, ты ведь, наверно, догадываешься: раз я с тобой так откровенна, значит, и о тебе разболтаю по всему свету. Вот что ты думаешь.

— Нет.

Зевнула.

— Скажи мне, ты когда-нибудь гадил в самолете.

— Нет.

— В самолете, который несется на высоте около шести тысяч метров, и ты думаешь: «Если бы это долетело до земли, не хотелось бы, чтоб оно шлепнулось на меня, когда я слушаю тихое урчание музыки». Я спятила. Елки-палки. Как твоя рана. Кровь проступила на простыне. Мне так стыдно. Я не думала, что укушу так сильно. Может, чем-нибудь перевязать. Я не чистила зубы со вчерашнего завтрака, это плохо.

Абигайль медленно вылезает из-под одеяла. Нерешительно ступает на пол. Направляется к завернувшемуся в простыню Сэмюэлу С. — левой рукой этот стоик прижимает к бедру тонкую окровавленную хлопчатобумажную ткань. Абигайль осторожно откидывает простыню с его бледной веснушчатой ноги.

— Дай-ка я посмотрю. Вот что делают мои зубки.

— Вот что наделали твои зубки.

— Боже, прости меня. Пожалуйста, разреши мне хоть полечить тебя.

Абигайль осматривает рану. Склонившись, хватается за голову, на ее узкой спине проступает длинная цепочка белых выпуклых позвонков. Протяжный стон, на лице — страдание. В Сэмюэле С. это отдается дрожью. Абигайль бухнулась на колени. Маленькая фигурка скомкалась, стала еще меньше.

— Сэм, ты можешь мне помочь. Мне нужна помощь. Впервые у меня это случилось с моей собакой. Я делала это со своей собакой. И была укушена. Ты должен знать, обречена ли я из-за этого.

Ледяные пальцы вцепляются в Сэмюэла С., терзают нити ткани. Огромная студенистая медуза в океане страхов, которыми мир обволакивает тебя, когда ты погружаешься все глубже и глубже. Но ты должен вырваться и побежать. Изо всех сил. Прочь по лестничной площадке, вниз по ступеням, вдоль по Strasse[1]. Выпей залпом два литра кислого молока, чтобы улучшить работу кишечника, попрощайся с хозяйкиными улитками, попрощайся с Графиней. Прощайте, прощайте, ненормальные. Кто же доктор, а кто пациент. Где же страхи. Вот они. Страхи повсюду.

Откройся
Страхи твои внутри
Пусть выйдут
Ворота за ними запри
А соберутся
Назад вернуться
Беги Беги

— Сэм, ты не собираешься разговаривать. Ты, наверно, шокирован, да. Прости, что я смеюсь, но слушай, я кусала и других мужчин. Странно, но иногда выходила такая потеха, что я хохотала до упаду. Ты встревожен.

— Я встревожен.

— А мне, по-твоему, надо тревожиться.

— Не знаю.

— Я не чувствую себя больной, но, наверно, больна.

Шаги на лестничной площадке. Шарканье мимо двери. Герр Профессор с верхнего этажа. Утренний поход за кубиками льда. Как-то раз Сэмюэл С. столкнулся с ним в подъезде — он сообщил, что ставит опыты. Ищет лед, который бы никогда не таял. Вроде спички, которая горела бы вечно. Разбирается ли герр С. в науке. Hausfrau[2] говорила, что он обучался в Гарварде. Герр Профессор объяснил, что кубики обычного льда служат в его опытах контрольными экземплярами. Понимает ли его герр С. Герр С. понял. Профессор удаляется, шаги все тише и тише, вверх, на чердак; он давно погрузился в старческое слабоумие, но до сих пор блестяще говорит по-древнегречески. Один

[1] Улице (*нем.*).
[2] Хозяйка (*нем.*).

или два раза они подробно обсуждали на этом языке что-то возвышенное, прямо на лестничной площадке. Hausfrau не могла понять ни единого слова и шипела: «Тише» — из-за своей двери.

— Я писала своему отцу письма из университета, раздевшись догола, и сообщала ему, в каком виде пишу. В голом виде. Не знаю, чувствую ли я себя абсолютно нормальной. А ты, Сэм.

— Не знаю.

— Чего ты так закутался. Боишься, что я тебе его откушу.

— Может, у меня нет желания выступать основным блюдом после твоих закусок.

— Ты рассуждаешь как ребенок, знаешь.

— Знаю.

— И ты доволен этим.

— Доволен.

— Я думаю, что ты к тому же и вуайер.

— Вполне может быть.

— Быть ребенком и извращенцем в твои годы не пристало. Не знаю, зачем это я трачу время на чтение тебе нотаций. А впрочем, если уж у наших отношений нет никакой перспективы, мы могли бы хоть дать друг другу совет.

— Яд.

— Обязательно. Ну и в каком смысле яд.

— Это то, что ты изрыгаешь на меня.

— Елки-палки. Давай сменим тему. Жаль, что я не знала, под каким углом ты смотришь на жизнь.

Сэмюэл С. тянется к своему бедру, чтобы смахнуть каплю крови. Ту же окровавленную костяшку пальца подносит к носу и утирает бусинки холодного пота. Застывает. Сфинкс, верховный псих, окаменевший любовник. Доверенное лицо выдумщиц: богатых белокурых графинь и обнаженных крошек, проводящих семинары. Распухший от гордости, к прискорбию, подкрепленной принципами. Разросшийся до августейшего неудачника мирового масштаба. Чтобы принять командование парадом ничтожеств: по Альпам, через Мюнхен, минуя Париж; отплыть на плоту из Бреста, высадиться на побережье в Нью-Джерси, чуть левее Стейтен-Айленда и воздвигнуть на ближайшем болоте Пантеон Бесславия, заросший камышом. Часовню, куда могли бы стекаться друзья со всего мира, чтобы посидеть у его пьедестала и попросить прощения за их земные богатства и процветание.

— О чем ты все время думаешь, странный Сэм.

— Я представляю себя президентом банка с капиталом в миллиард долларов.

— А что, если бы я пришла за кредитом.

— Я дал бы тебе.

— Дал бы. Ой, чем все это кончится, Сэм.

— Чем-нибудь кончится.

— У меня в голове каша. Можешь дать мне какой-нибудь совет, а.

— Что ты хочешь услышать.

— Ну, например, что́ у меня не так.

— То, что я говорю, не имеет никакого значения.

Абигайль поднимается на ноги. Руки стиснуты в кулаки, вытянуты по швам. Шелковистые завитки темно-коричневых волос в низу живота — маленькая подушечка, на которую можно положить голову.

— Хрен ты хвастливый. И не вздумай кому-нибудь рассказывать то, что я тебе сказала.

— Ты считаешь, что об этом стоит рассказывать.

— Просто никогда и никому не говори, вот и все. Я знаю, что подобную чушь любят выслушивать психиатры. Они упиваются этим. У них грязные мысли.

— Ты так думаешь.

— Я так думаю.

— Минуту назад ты просила о помощи.

— Правильно. Но ты же не можешь мне ее оказать. Ты берешь, но ты не можешь давать. Я пугаю тебя, разве нет. Слушай, хочешь услышать новость. Ты тоже начинаешь пугать меня. Пускай я чокнутая, но ты, ты — чудовище. Ты ничего обо мне не знаешь. Вообще ничего. Пойми это. Ты понял.

— Понял.

— Хорошо, если понял. И ты считаешь, что между нами с отцом что-то было.

— Я ничего не говорил. Я понял. Я ничего о тебе не знаю.

— Правильно, не знаешь. А мы с отцом любим друг друга. Боже мой, Сэм, боже мой. У тебя есть что-нибудь выпить. Я очень прошу.

Сэмюэл С., в простыне, направляется в ванную. Перешагивает через четырех маленьких муравьев, обследующих кусочек Bratwurst, недожеванный шестнадцать не столь веселых дней назад, во время полоскания в ванне. Дружно навалившись, муравьи волокут его к себе — запасаются продовольствием на зиму. Я полез под умывальник, представляя, что, пока рука тянется в отверстие чугунного пьедестала, оттуда ужалит змея.

Абигайль протягивает руку за выпивкой, касается его руки. Подносит стакан к губам, выпивает залпом. Возвращает стакан за второй порцией виски. Сэмюэл С. берет бутылку за горлышко, льет. Она запрокидывает голову. Стакан пуст. Утренний свет искрится в ее слезах.

Сэмюэл С. сидит— штук сорок шишек на один большой живот. Абигайль, качнув грудью, подается вперед, чтобы поставить пустой стакан на стол. Густые темные брови приподняты, губы плотно сжаты, машинально накручивает на палец прядь волос. Сдвинув ноги, она встает с постели. Достает из переметной сумы свое нижнее белье. Встряхивает легким черным шелком. Оглядывается на Сэмюэла С.

— Не смотри, как я буду одеваться.

Воет сирена на соседней фабрике. Семь часов: странный, ароматно-удушливый запах просачивается сквозь закупоренные окна. Топки в котельной загружены, и дымовые трубы пробуждаются к жизни. Абигайль, в замшевых ботинках, стоит перед щербатым зеркалом и водит по волосам расческой. Поднимает свою сумку, перекидывает ремень через плечо — рядом с ней в луче солнечного света вскипает столб пыли, — застывает в дверном проеме.

— Прощай. Прости за увечье.

— Ты знаешь, что нужно сказать в трамвае.

— Знаю. Einmal zur Oper, bitte[1].

— Sehr gut[2].

— Хотелось бы, чтобы в наших отношениях было побольше солнечного света. Я пришлю тебе открытку. Знаешь. А, ладно. Прощай.

На кухне Сэмюэл С. сварил себе кофе. Оперся локтями на деревянную разделочную доску около плиты. Мечтает. Порубить бы тут лук и чеснок и нашпиговать ими конину для нежности. Именно так нашпиговал он своими принципами полное фиаско. Выпустил то, что особенно хочется удержать. Как всегда, опаздывает сказать: останься. Ее сердце просто бы с треском захлопнулось перед моим носом. А в былые времена имелись друзья: было кого навещать по субботам — отогреваться от холодного мира.

Вместо того
Чтоб плясать одному
Одетому
В пояс из кобры
И муфту
Из шерсти верблюда

[1] Один до Оперы, пожалуйста (*нем.*).
[2] Прекрасно (*нем.*).

Понедельник, прохлада, чистое небо, сияние солнца. Воспоминание о том, как он прижимается к ее маленькому крепкому заду. Сэмюэл С. принимал ванну: теплые воды омывали грудь, лизали мочки ушей. После того как рана была тщательно промыта и обработана, он взял курс на восток. Сделал три мили вниз по течению реки Вена — едва различимая, она бежала по бетонному руслу и исчезала под Нашмаркт. Проследовал мимо Оперы, по запруженной толпой Кернтнерштрассе. Заказал чашку кофе и рогалик в том самом кафе, где он познакомился с Абигайль.

В три часа он позвонил Графине. Она сообщила, что слишком измучена и издергана для очной ставки. Сэмюэл С. сказал, что он может перезвонить в это же самое время. В будущем году. Церковный колокол пробил четыре, он сел в 71-й трамвай, который закружил по улицам, названным в честь философов. За окном трамвая проплывают ворота Бельведер Гартен, белые дорожки, аккуратно подстриженные кусты, окаймляющие опрятные зеленые газоны. Надо было заронить свое семя в Абигайль.

В этот вторник, девятого августа, Сэмюэл С. вошел во внутренний дворик дома герра Доктора. Моросит мелкий дождь, начавшийся еще вчера днем, когда Сэмюэл С. бродил по Центральному кладбищу. Мрачный был день: все время перед глазами — далекий купол крематория. Прогуливался по пустынным дорожкам еврейской части кладбища, мимо разрушенной церкви, стен с оспинами от пуль, отполированных гранитных надгробий с выбоинами от осколков снарядов. Шел дождь. Он наблюдал за двумя женщинами, которые возводили стену: они перемешивали цементный раствор, клали кирпичи, слизывали стекавшие с носа капли дождя. Закатанные рукава открывали их сильные загорелые руки. Такая жена могла бы сдвинуть гору. И свернуть тебе шею. А потом, в День поминовения усопших, купить цветы в цепочке ларьков у массивных кладбищенских ворот и возложить их на твою могилу. В конце концов обретешь покой на этом квадратном километре смерти: все могилы заросли кустами, маленькие деревянные кресты сгнили — осталось пустое место. И как это только приходит в голову снимать с неприятелей белье и перепродавать им же по нитке.

Сэмюэл С. дотронулся до кепки и прошел мимо Hausbesorger[1] герра Доктора, выглядывающей из своего крохотного оконца, — она держала на руках кошку и водила пальцем по ее приплюснутому носу, между огромных желтых глаз.

На нижней площадке лестницы возле статуи Святой Девы Марии он произнес Gesundheit и еще раз коснулся кепки; тут уже послышалось осуждающее цоканье языком — чье-то лицо высунулось во двор из двери прачечной. Вена была построена из камней с прослойкой из глаз.

На мгновение задержаться у двери герра Доктора. Так бережно нес сюда одну мечту — и вот огонек с шипением побежал по ее запалу. Взрыв. Озарение. Платформа Северного вокзала такое же подходящее местечко для мечтаний, как и любое другое. Передай герру Доктору, который стоит у окна и смотрит в сад за домом, свои кошмары.

— Что случилось, Док. Почему вы стоите. Обычно вы сидите за своим письменным столом. Кто-то следит за вами оттуда, из сада. Я слышал, в Вене — великая чистка среди докторов, тех, что запрашивают за работу слишком много.

— Вы садитесь, герр С.

— Обязательно, Док. Сегодня у меня определенно есть для вас несколько интересных новостей. Которые с самой субботы витали вокруг варолиева моста, а теперь столпились прямо над девятым и пятым нервами, теми, что вы демонстрировали на черепе налима, помните. Итак. Это случилось. И я отверг первую бесплатную бабу. Она предлагала себя без дополнительных усло-

[1] Домовладелицы (*нем.*).

вий и соблазняла меня всю ночь напролет. Вы слушаете, Док. Я еще собирался рассказать вам об одной грандиозной мечте. Эй, вы чем-то встревожены. Вам следует выкурить сигару. На ваши гонорары это можно себе позволить.

— Герр С.

— Was ist, Док.

— Я бы предпочел, чтобы вы не говорили со мной по-немецки. Герр пациент.

— Стоп. Что-то не так, Док.

— Да, герр пациент.

— Может быть, вы услышали, что я создаю союз «Пациенты за снижение гонораров врачей». Так-так.

— Я собираюсь вам кое-что сообщить, герр пациент, и я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Вы в высшей степени умный человек, и я уверен, что вы поймете.

— Я слушаю, герр Доктор. Что у вас за проблема.

— Герр С., вы сводите меня с ума.

— Приехали.

— Это признак того, что вы в полном порядке и действительно исцелились.

— Подождите, Док.

— Пожалуйста. Подождите вы, если можно. Этот час бесплатный, за мой счет. Именно поэтому мне хотелось бы продолжить.

— Как вы собираетесь распорядиться полученными от меня деньгами.

— Герр С., вы прекрасно знаете, что за эти пять лет мои расценки повысились, а ваша плата — нет.

— Верно, Док. Но все-таки, что вы делаете с моими деньгами.

— Герр пациент, могу я напомнить, что это мое личное дело.

— Послушайте, это только подогревает мой интерес. Я весь нетерпение и успокоюсь, только когда узнаю.

— Я их вкладываю.

— Во что.

— Пожалуйста, герр С., я ответил на ваш вопрос.

— Нет, не ответили.

— Какое имеет значение, во что я их вкладываю.

— Ну если это не имеет значения, то почему бы не сказать мне.

— Я вкладываю их в производство.

— Производство чего.

— Химических препаратов.

— Каких химических препаратов.

— Мне кажется, наша встреча окончена, герр С.

— Нет. Я хочу выяснить, во что вы вложили мои деньги. И я буду сидеть здесь, пока не узнаю.

— Ну что ж, герр С. Я вкладываю их в противозачаточные таблетки и боеприпасы.

— Прекрасно.

— Я ответил на ваш вопрос.

— Ага.

— Рад это слышать.

— Что ж, Док, вы действительно решили избавить себя от моей бестолковой болтовни. Это умно с вашей стороны — вышвырнуть меня в равнодушный мир. Еще три месяца со мной, и вы бы обратились в соляной столб.

— Возможно, герр С.

Сэмюэл С. — в кресле; раскинул руки на кожаных подлокотниках. Пока он здесь, он здесь навечно. Нависшая тишина слушает тиканье часов герра Доктора, отсчитывающих абсолютно бесплатные минуты. Уснуть бы. Пока герр Доктор все еще сидит по другую сторону стола. Боксерская груша. Соля-

ной столб. Для разбивания моих кулаков. Последний час после сотен. И на сей раз бесплатный. Как стакан пива там, в Штатах. За счет заведения, приятель. Самый вкусный стакан. Чуть ли не из всех предыдущих. Эта последняя встреча подарила мне самое величайшее озарение: если я даже исцелюсь, я никогда не узнаю об этом.

— До свидания, Док.

— Прощайте, герр С.

Сэмюэл С. поднимается. Герр Доктор стоит. За его спиной — окно; внизу, на дворе маленькая девочка свистит в свистульку. Герр Доктор разминает большой палец. Это означает, что он хочет пожать мне руку. Вопреки моим принципам. Оскорблены лучшие чувства. Начинать дела с пожатия рук, когда знаешь, что несколько мгновений спустя они поползут вверх, чтобы вцепиться тебе в горло.

— Док, последний вопрос, прежде чем я в последний раз закрою за собой эту дверь. Неужели вы думаете, что вы когда-нибудь исцелитесь.

— Нет, герр С.

— Док, можете мне не верить, но вы — классный малый. Как бы то ни было, спасибо за все, что вы пытались для меня сделать.

— Герр С., и я, добровольно, выскажу свое мнение. Вы странный человек. И очень жаль, что вы собирались превратить меня в соляной столб, потому что я готов был слушать вас и дальше.

На улице вся бравада гаснет в холоде капель летнего дождя, падающих прямо в сердце. Пульсация в отметине от зубов на бедре. Слезы наворачиваются на глаза Сэмюэла С. Медленно поплелся прочь. Отсчитал сорок ступеней, дух рванулся куда-то, и он рухнул. Руки сложены, как крылья, ладони сжимают лицо — он лежит на площадке, наискосок от дверей подъезда. Нерассказанная мечта. Провожает Абигайль и Кэтрин на вокзал. Помогает разместить в купе их багаж. Как и подобает джентльмену. А потом хватает Кэтрин. За ее обширные телеса. Загоняет ей до самого горизонта. Оборачивается. И видит, как заходят на вокзал. Две фигуры. Темная и светлая. Графиня и герр Доктор. Когда они проходили мимо — носильщики тащили их элегантные белые чемоданы, — Сэмюэл С. был раздавлен колесами поезда. А потом он умирал и думал: не хочется, чтобы твои друзья узнали, что ты умирал, визжа от боли; хочется, чтобы они думали, что ты храбро встретил смерть — сомкнув уста и не проронив ни звука.

Как летняя мушка,
Что выпорхнула в зиму
И замертво рухнула наземь.

■

ДОНАЛД БАРТЕЛМИ

Рассказы

Перевод АЛЕКСЕЯ ЗВЕРЕВА

Восстание индейцев

Мы защищали город изо всех сил. Стрелы команчей сыпались на нас градом. Боевые дубинки команчей стучали по земляным желтым мостовым. Вдоль бульвара Марка Кларка насыпали шанцы, сделали живые изгороди, стянув кусты блестевшей на солнце проволокой. Никто ни черта не мог взять в толк. Я заговорил с Сильвией. «И это называется хорошая жизнь?» Стол был завален яблоками, книгами, долгоиграющими пластинками. Она подняла на меня глаза. «Нет».

Патрули десантников и добровольцев с повязками на рукаве охраняли высокие плоские здания. Мы допрашивали одного из команчей, попавшего в плен. Вдвоем скрутили, закинув ему голову назад, а третий лил воду в ноздри. Он дергался, захлебываясь и вопя. Не веря наспех составленным, невразумительным и неточным сводкам о потерях на окраине, где убрали деревья, фонари и лебедей, чтобы не мешали стрельбе, мы решили раздать тем, кто выглядел вроде бы понадежнее, саперные лопатки, а подразделения, у которых было тяжелое оружие, развернуть, чтобы хоть с той стороны нам ничего не угрожало. И вот я сидел, надираясь все сильнее да сильнее и все яснее да яснее чувствуя себя влюбленным. Мы разговаривали.

— Знаешь у Форе такую пьеску — «Долли»?

— У какого Форе, у Габриеля?

— Конечно у Габриеля.

— Тогда знаю, — говорит. — Даже, извини, играю ее иногда, если не в настроении или когда мне очень хорошо. Хотя вообще-то она для четырех рук.

— Ну и как же ты ее играешь?

— Гоню как можно быстрее, — объяснила она, — а какой там в нотах темп указан, мне все равно.

Интересно, когда ту сцену в постели снимали, ты что чувствовала, видя, как на тебя пялятся операторы, и эти, которые декорации таскают, и осветители, и техники по звукозаписи, — нравилось тебе? помогало эпизод сыграть? Потом была еще сцена, где ты под душем, ну а я в это время ошкуривал дверь, она внутри полая, и все время заглядывал в пособие с картинками да еще слу-

---

© А.Зверев. Перевод, 1997

шал, что мне советует человек, который с такими дверями уже имел дело. Сам я тоже до этого столы делал, и когда с Нэнси жил, и когда с Алисой, и когда с Юнйс, и когда с Марианной.

Краснокожие все прут да прут, вот как народ, который чем-то страшно напугали и он по площади разбегается, а крику, а воплей этих пронзительных, того и гляди, развалятся наши баррикады, возведенные из манекенов, рулонов шелка, папок с продуманными подробными описаниями рабочих проектов (включая те, которыми предусматривается поступательное совершенствование ситуации с иными расами), из оплетенных бутылок с вином, из комбинезонов. Я произвел анализ материалов, использованных для сооружения ближайшей ко мне баррикады, и обнаружил: две пепельницы керамические, первая темно-коричневой окраски, вторая темно-коричневая с оранжевым пятном на язычке, куда кладут сигарету; сковородка из жести; двухлитровые бутылки красного вина, виски «Блэк энд уайт», разлив по 0,75, скандинавская тминная, коньяк, водка, джин, шерри номер 6; выделанная под березу полая дверь с ножками литого железа; одеяло ярко-рыжего цвета с бледно-голубыми полосками, красная подушка, голубая подушка, соломенная корзина для мусора, две стеклянные вазы под цветы, штопоры, открывалки, две тарелки, десять чашек, керамические, темно-коричневые, изогнутая дудка югославской работы, деревянная, темно-коричневая, а также другие предметы. Решил, что не понимаю ровным счетом ничего.

В больницах обрабатывали раны порошками, назначение которых было не очень ясным, потому что остальные лекарства кончились в самый первый день, уже с утра. Я решил, что ровным счетом ничего не понимаю. Друзья свели меня с мисс Р., учительницей, по их словам, человеком недогматических взглядов и отличным специалистом, тоже по их уверениям, — она справлялась и со случаями потруднее, к тому же на окнах у нее в доме стальные решетки, так что никакой опасности. Я как раз узнал из уведомления Международной помощи бедствующим, что Джейн в баре на Тенерифе подверглась нападению лилипута, который ее избил, только мисс Р. мне про это разговаривать не позволила. «Вы, — говорит, — ничего не знаете, ничего вы не чувствуете, вы погрязли в самом диком и чудовищном невежестве, и я вас презираю, мальчик мой, сердце мое, mon cher. Можете ее навестить, но вы не должны навещать ее сейчас, вы должны навестить ее через день, через неделю, через час, ах, я от вас просто больная...» Я хотел не оценивать эти замечания, как учит Кожибский. Но это трудно. А тут они возьми да прорвись к самой реке, и мы бросили в этот сектор на усиление батальон, наспех сформированный из зуавов и таксистов. От него ничего не осталось к середине дня, а начинался день таким приливом энтузиазма на сборном пункте и на улице под его окнами, все как в первый раз почувствовали, что есть она, есть конусообразная эта штука, мускул пульсирующий, который ведает циркуляцией крови.

Но нужна-то мне ты одна, только ты мне нужна в разгар этого восстания, когда по желтым земляным мостовым носятся, источая угрозу, коротконогие уродливые воины с обросшей мехом шеей и пикой в руке, а по траве раскиданы раковины, которые, ну надо же, у них вместо денег. Только когда мы вместе, я на самом деле чувствую себя счастливым, и только для тебя делаю я из полой двери этот стол с ножками литого железа. Я держу Сильвию, вцепившись в ее ожерелье из медвежьих когтей. «Гони прочь своих молодцов, — говорю я ей. — У нас с тобой впереди еще много лет». По тротуарам растекается какая-то желтоватая вонючая жижа вроде экскрементов, а может, это у нервозности такая консистенция, ведь город никак не поймет, за что это на него обрушилось, и отчего вдруг все облысели, и почему сплошь ошибки да ошибки да одни измены кругом. «Если повезет, — говорит мне Сильвия, — ты до утренней службы доживешь». И со всех ног кидается по рю Честер Нимиц, издавая резкие крики.

Потом выяснилось, что они прорвались и в наше гетто, а жители нашего гетто нет чтобы сопротивляться, решили поддержать их отлично организованное планомерное наступление, вооружившись кто молнией от куртки, кто телеграммой, кто медальоном, в результате чего оборона на участке, занимаемом отрядом ИРА, рухнула и была сметена. Мы поспешили подбросить в гетто дополнительный запас героина, а также гиацинтов, заказав еще сто тысяч этих бледноватых нежных цветков. Развернули карту, попробовали оценить ситуацию с накурившимися жителями, учитывая и эмоции сугубо личного характера. Наши кварталы были окрашены синим, а занятые ими — зеленым. Я показал эту сине-зеленую карту Сильвии. «Твоя часть зеленая», — сказал я ей. «Ты первый раз давал мне героин год назад», — говорит она. И кидается со всех ног по аллее Джорджа Ч.Маршалла, издавая резкие крики. Мисс Р. запихнула меня в большую, совсем белую комнату (свет мягкий, все тут колеблется, пританцовывает, с ума сойдешь, тем более что там еще какие-то были и за мной наблюдали). Там было два стула, я сел на один, а на другой села мисс Р. На ней что-то голубенькое, а рисунок по ткани красным. Ничего я в ней не находил такого уж особенного. Даже разочарование испытывал оттого, что она совсем простоватая, да еще эта голая комната и книжек ну ни одной.

В моем квартале девушки носят длинные синие шарфы до самых колен. Случалось, девушки у себя в комнате команчей прятали, набросают свои синие шарфы, так ничего и не разберешь в помещении, один синий туман. Распахивается дверь, входит Блок. Оружие у него, цветы, хлеба несколько буханок. И так приветливо держится, добрый такой и бодрый, что я ему решил кое-что рассказать про то, как людей мучают, примеры из специальной литературы привел, из самых лучших работ французских, и немецких, и американских, а еще обратил его внимание на мух, вон их сколько слетелось, видно, предчувствуют, что установится новый, более сдержанный цвет.

— Так какое сейчас положение? — спрашиваю.

— Положение среднее, — отвечает. — Мы удерживаем южную часть, они контролируют северную. Дальнейшее — молчание.

— А Кеннет что?

— Да она не Кеннета любит, — выложил он мне напрямик. — Она пальто его любит. То на себя напялит, то залезет под его пальто и спит. Я как-то вижу, пальто это по лестнице само идет. Решил проверить. Расстегнул. А там Сильвия.

И я как-то заприметил пальто Кеннета, которое само шло по лестнице, но оказалось, это ловушка такая, а в пальто сидит индеец из команчей, как выхватит короткий свой жуткий такой нож и хрясь мне по ноге, ну я через перила, да в окно, да в другую ситуацию. Не верю я, что твердая субстанция тело твое, пусть самое расчудесное, и ожиревший, растекшийся твой дух, пусть изыскан он и гневен, не верю, что нервным напряжением можно их вернуть и раз, и два раза, и сколько захочешь, и говорю тебе: «Стол-то видела?»

На площади Костлявого Каретника вооруженные силы зеленых и синих противоборствовали, не уступая. Рефери выбегали на поле, отмечая линии разграничения. Выходило, что у синих поля стало больше, у зеленых меньше. Заговорила мисс Р.: «Бывший король Испании, он из Бонапартов, одно время жил в Бордентауне, штат Нью-Джерси. Ничего хорошего из этого не получилось. — Она помолчала. — Страсть, возбуждаемую в мужчине женской красотой, лишь Бог способен насытить. Замечательно сказано (это Валери сказал), но не этому надо мне учить вас, козел и мерзавец, свинья вы этакая, цветок души моей». Я показал свой стол Нэнси: «Видела?» Она высунула язык, красный, как кровь в пробирке. «Я тоже такой стол как-то сделал, — напрямик выкладывает Блок. — Да их в Америке везде делают. Сомневаюсь, чтобы хоть один нашелся американский дом, где нет такого стола или хоть следов,

что раньше такой стоял, вон на ковре кружочки от ножек остались». Потом в саду офицеры Седьмого кавалерийского играли Габриэли, Альбинони, Марчелло, Вивальди, Боккерини. Я заметил Сильвию. У нее под длинным голубым шарфом была желтая лента. «Скажи мне наконец, — завопил я, не выдержав, — ты за кого?»

— Единственный дискурс, который я признаю и одобряю, — начала мисс Р. своим сухим скучным голосом, — это литания. Я нахожу, что наши кормчие и наставники, равно как рядовые граждане, должны в своих высказываниях ограничиваться тем, что может быть высказано без риска. Вот отчего, слыша слова «пьютер», «змея», «чай», «шерри номер 6», «салфеточка», «фенестрация», «корона» и «синий», когда их произносит кто-то из наших деятелей или обыкновенный юнец, я не испытываю разочарования. Их даже можно выписать столбиком, — подчеркнула мисс Р., — вот так:

пьютер
змея
чай
шерри номер 6
салфеточка
фенестрация
корона
синий.

У меня преимущественно цвета и жидкости, — говорит она, — однако вы могли бы дополнить мой список и чем-то другим, непорочный мой и бесценный, пушок чертополоховый, крошечка-малышечка, сокровище вы мое. Молодые, — все не успокоится мисс Р., — составляют самые отталкивающие комбинации, и это соответствует точно ими угаданной природе нашего общества. Есть еще такие, — заключает мисс Р., — которые выдумывают разные хитрости и кунштюки, но я предпочитаю слово, прямое слово, жесткое, как орех. И хотела бы заверить вас, что в таком слове эстетического богатства достаточно для всех и каждого, исключая круглых дураков.

Я насупленно молчу.

Огненные стрелы освещают мне дорогу к почте на Пэттон-плейс, где бойцы бригады Авраама Линкольна отправляют свои последние, мрачные письма, а также открытки и карманные календарики. Открываю письмо и обнаруживаю в конверте заточенный камень из тех, какие команчи используют для наконечников стрел, а также поглощенного этой игрушкой Франка Ведекинда с элегантной золотой цепочкой и напечатанное праздничное поздравление. Твоя сережка чуть не выбила мне стекла в очках, когда я нагнулся к тебе, желая дотронуться до мягкой отмершей ткани там, где прежде был закреплен слуховой аппарат. «Упаковать, это тоже упаковать!» — кричу я этим, которые с восстанием разбираются, но они, похоже, и слушать меня не хотят, все до них не доходит, что восстание-то взаправду, и наш запас питьевой воды подошел к концу, и деньги у нас не те, что были, совсем не те.

Мы подвели электропровода к мошонке пленного индейца. А я все сижу, и набираюсь все сильнее да сильнее, и все яснее да яснее чувствую, что влюблен. Когда мы пустили ток, он заговорил. Зовут его, оказывается, Густав Ашенбах[1]. Родился он в городке Л., уездном городе, провинция Силезия. Его отец занимал видную должность в адвокатской корпорации, а предки все до единого были либо военные, либо функционеры-чиновники, либо из судейских... Знаете, невозможно приласкать девушку во второй раз или какой хотите раз так же, как в первый, — а ведь вам ужас до чего хочется взять ее за руку, подержать, еще что-нибудь такое же или там посмотреть на нее как-то по-особенному, в общем, хочется снова испытать что-то одному вам известное, мгно-

[1] Герой новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции».

венье или, не знаю, состояние необыкновенное. Вот в Швеции ребятишки подняли радостный крик, хотя ну ничего мы не сделали такого замечательного, просто вылезли из автобуса, сгибаясь под тяжестью сумок с пивом и бутербродами с печеночным паштетом. Направились мы в старую церковь, уселись там, где прежде короли сиживали. Помню, еще органист там играл для практики. А рядом с церковью было кладбище, мы и туда сходили. Плита: «Здесь лежит Анна Педерсен, добрая женщина». Я на эту плиту положил гриб. Командующий бригадой уборщиков по переговорному устройству докладывает: свалка пришла в движение.

Джейн! Из уведомления Международной помощи бедствующим я узнал, что тебя избил лилипут в баре на Тенерифе. Что-то на тебя не похоже, Джейн. Я бы скорее поверил, что это ты влепила лилипуту в его лилипутий пах, прежде чем он успел вонзить зубки в твою вкусную притягательную ножку, а что, разве нет, Джейн? Твой роман с Харолдом предосудителен, Джейн, да ты и сама это знаешь, ведь так? У Харолда есть жена, Нэнси. А еще надо подумать про Паулу (дочка Харолда) и про Билли (его сын). Я считаю, что у тебя странная система ценностей, Джейн! Язык всюду протягивает свои щупальца, и весь мир, ими опутанный, становится неотвязным, непристойным единством.

И никогда уже не вернуться к блаженствам, какие бывали прежде, не вспомнить это расчудесное тело, этот достойнейший дух, которому дано восстанавливать мгновенья, являвшиеся один раз, или два, или много раз, когда кругом восстание или когда кругом вода. Накатывающий национальный консенсус команчей с трех сторон смёл наши защитные порядки. Блок палил из проржавевшей винтовки с верхнего этажа здания, которое строили по проекту мастерской «Эмери Рот и сыновья». «А стол — вон там, видите — можно запаковать?» — «Да пошел ты со своим столом вместе!» Отцов города привязали к деревьям. Мрачные воины в своих лесных одеяниях вламываются прямо мэру в пасть. «Ты кем хотел бы стать?» — спрашиваю я Кеннета, и он говорит: «Жаном Люком Годаром», — только не сразу говорит, а потом, когда стало можно разговаривать в просторных, хорошо освещенных помещениях, в тихих галереях, где испанские черно-белые ковры и провоцирующая споры скульптура на вмурованных в пол красных катафалках. Противная ссора осталась валяться в постели набухая. Я глажу тебя по белой, сплошь в шрамах спине.

Вдруг мы перебили черт знает сколько на южной окраине, пустив в дело вертолеты и ракеты, но оказалось, что все они были дети, а на их место прибыло еще больше и с севера, и с запада, и с востока, и отовсюду, где дети, которые еще только собираются жить. «Кожа ужасная, — ласково проговорила мисс Р. в белой, то есть желтой комнате. — Вы находитесь в Комитете милосердия. Снимите, пожалуйста, пояс и выньте из ботинок шнурки». Я снял пояс, вынул шнурки и (дождь с гигантской высоты поливает молчащие проспекты, падает на чистенькие, опрятные кварталы домов предместья) стал с ними лицом к лицу — черные глаза, разрисованные рожи, перья, бусины на шее.

Стеклянная гора

1. Я пробовал залезть на стеклянную гору.
2. Стеклянная гора стоит на углу Тринадцатой стрит и Восьмой авеню.
3. Я достиг нижней площадки.
4. Народ меня разглядывал.
5. Я тут человек новый.
6. Хотя знакомые тоже имеются.

7. На ногах у меня монтерские кошки, а на запястьях по толстенному тросу, с такими водопроводчики ходят.

8. Высота была уже 200 футов.

9. Ветер, ну просто жуть.

10. Знакомые стоят толпой у подножья и все меня подбадривают.

11. «Эй ты, шизанутый».

12. «Чего встал, задница».

13. В городе про стеклянную гору знает каждый.

14. Те, кто тут давно живет, такое вам про нее наговорят.

15. И приезжим показывают.

16. Вы рукой к нему притроньтесь, к склону этому, знаете, до чего холодный.

17. А если внутрь заглянуть, там, жутко глубоко, что-то такое беленькое с голубым да все искры, искры.

18. Вымахала над Восьмой авеню, как небоскреб какой-нибудь с офисами, залюбуешься.

19. Вершины-то вообще не видно, в облаках она, а если день ясный, так упирается прямо в солнце.

20. Так, скинул трос с правой руки, а с левой пока не стал.

21. Рукой свободной вверх, вверх, чуточку бы выше прихватить, там и ноги подтяну.

22. Стоило стараться — и на полкорпуса не продвинулся.

23. Знакомые всё кричат, всё подбадривают.

24. «Во мудак».

25. Я тут человек новый.

26. Кругом полно людей, у которых глаза так и бегают.

27. То есть смотри в оба.

28. Сотни их, молодые, здоровенные, только зазевайся, загонят в подъезд или куда-нибудь за машину и пушку на тебя наставляют.

29. А старички трусят себе мимо, собачка на поводке.

30. Дерьма этого собачьего, прямо все тротуары завалены, так и блестит-переливается, и охра тебе, и умбра, и желтое с ядом, а там, надо же, сиена, а еще такое голубоватое с отливом, ну и черное, конечно, что тебе агат, и розовое, как будто экстрактом марены подкрасили.

31. Тут недавно поймали одного, который деревья портил, видите, целая аллея вязов под корень спилена, ну вон где стоят бюсты героев.

32. Бензопилой, уж точно бензопилой.

33. Я тут человек новый, хотя знакомых в общем-то уже порядочно.

34. Вот они, знакомые эти, передают друг другу бутылку, темное стекло.

35. «По яйцам врежут, и то не так больно».

36. «Ага, или острой палкой в глаз».

37. «Мокрой рыбой под дых».

38. «Кирпичом по загривку».

39. «Как думаешь, навернется, так сразу и кранты, а?»

40. «Вот бы поглядеть. Кровищи небось будет, никаких платков не хватит».

41. «Ну и говнюк».

42. Высвобождаю левую руку, правая как была.

43. Вверх давай, вверх.

44. Чтобы лезть на стеклянную гору, нужен толковый резон.

45. Сроду никто на нее не лез с научными целями, или желая прославиться, или из-за того, что гора неприступна.

46. Все эти резоны толковыми не назовешь.

47. Однако толковые резоны существуют.

48. Там на самом верху замок из чистого золота, а в покоях...

49. Знакомые орут мне во всю глотку.

50. «Прям счас шею свернешь, спорим на десятку».

51. ... а в покоях магический символ...

52. Правую руку высвободил, левой цепляюсь.

53. И вверх.

54. Холодина здесь жуткая, а как вниз отсюда посмотришь, с 206 футов-то, совсем скверно делается.

55. У подножья трупов-то, трупов навалено, и лошади, и всадники какие-то еще барахтаются, вопят.

56. «Ослабление либидозного интереса к реальности в последнее время перестало ощущаться» (Антон Эренцвейг).

57. У меня в башке все какие-то вопросы крутятся.

58. А правда бы нашелся такой, кто на эту стеклянную гору полезет и головой рискнет, только чтобы магический символ расколдовать?

59. Теперь эго у всех вон до чего сильное, может, и не нужны они, магические символы?

60. Подумал и решил: нет, нужны, и на гору лезть тоже нужно.

61. А если не так, то какого черта я ошиваюсь на высоте 206 футов, прямо над этими спиленными вязами, обрубочки еще белые совсем.

62. Вот уж кто точно на гору не вскарабкается, так это рыцари в полных доспехах да верхами, искры вжик, вжик из-под копыт.

63. Нижеперечисленные рыцари попробовали гору одолеть, а сейчас у подножья валяются да кряхтят: сэр Джайлс Гилфорд, сэр Генри Ловелл, сэр Альберт Денни, сэр Никлас Во, сэр Патрик Гриффорд, сэр Джисбурн Гоуэр, сэр Томас Грей, сэр Питер Колвилл, сэр Джон Блант, сэр Ричард Вернон, сэр Уолтер Уиллоугби, сэр Стивен Спир, сэр Роджер Фолконбридж, сэр Кларенс Воэн, сэр Губерт Ратклифф, сэр Джеймс Тиррел, сэр Уолтер Герберт, сэр Роберт Бракенбери, сэр Лайонел Бофорт и еще многие джентльмены.

64. Мои знакомые шастают среди павших рыцарей.

65. Перстни там всякие подбирают, бумажники, карманные часы, сувенирчики, для дамы сердца припасенные.

66. «Благоразумие граждан, свободных от сомнений в своих возможностях и силах, способствовало чувству уверенности, которое воцарилось в нашей стране» (мсье Помпиду).

67. Золотой замок охраняет иссохший орел с огненными рубинами вместо глаз.

68. Высвобождаю левую руку и думаю, а что, если...

69. Мои знакомые выдирают золотые коронки у рыцарей, которые окочурились, хотя еще не совсем.

70. Кругом полно людей, которые скрывают чувство уверенности за преследующим их смутным страхом.

71. «Широко распространенный символ (например, соловей, который обычно ассоциируется с меланхолией), хотя он и обладает смысловым содержанием, закрепленным за ним в результате традиционного употребления, не может считаться наглядным знаком (подобно цветам светофора), так как принято считать, что символ способствует пробуждению более глубоких чувств и наделен качествами, не исчерпывающимися набором доступных глазу характеристик» («Словарь литературных терминов»).

72. Мимо меня пролетает стайка соловьев, у каждого по светофору на лапке.

73. А надо мною появляется рыцарь в броне бледно-розового колера.

74. И тут же грохается, визжит стекло, по которому царапают доспехи.

75. Пролетает мимо да этак искоса на меня поглядывает.

76. Пролетает и бормочет: «Muerte».

77. Скидываю трос с правой.

78. Мои знакомые спорят: кому из них достанется после меня квартира?

79. Прикидываю, не проникнуть ли мне в замок обычным способом.

80. Обычный способ проникновения в замок вот какой: «Орел стальными своими когтями впился в нежную грудь юного героя, а тот сносил боль, не издавая ни звука, и лишь все сильнее сжимал пальцами лапы своего врага. Охваченный ужасом, орел взмыл вверх вместе с героем и начал делать круги над замком. Юноша отважно продолжал с ним биться. В бледных лучах луны слабо поблескивала под ними крыша дворца, напоминавшая тускло светящийся фонарь, а дальше виднелись бойницы и галереи на башне замка. Выхватив из-за пояса свой верный кинжал, юный герой отсек орлу обе ноги. С воем орел взмыл еще выше, а юноша мягко приземлился на просторном балконе. В ту же секунду широко распахнулась дверь, перед ним предстал сад, полный цветов и благоуханий, а посреди лужайки стояла прекрасная заколдованная принцесса» («Золотая книга сказок»).

81. Мне стало страшно.

82. Ведь я же забыл пластыри.

83. И когда орел впился своими стальными когтями в мою нежную грудь...

84. Может, вернуться за пластырями?

85. Но если я вернусь за пластырями, мои знакомые обольют меня презрением.

86. Решаю: ладно, обойдемся без пластырей.

87. «В некоторые столетия его (человека) воображение превращало жизнь в непрерывающееся творчество, питаемое лучшими порывами души» (Джон Мейсфилд).

88. Орел впился своими стальными когтями в мою нежную грудь.

89. Но я сносил боль, не издавая ни звука, и лишь все сильнее сжимал пальцами лапы моего врага.

90. Тросы так и торчат, где торчали, под прямым углом к склону горы.

91. Охваченный ужасом, орел взмыл вверх и стал делать круги над замком.

92. Я отважно продолжал с ним биться.

93. Я увидел в бледных лучах луны слабо поблескивающую крышу дворца, которая напоминала тускло светящийся фонарь, а потом увидел бойницы и галереи на башне замка.

94. Выхватив из-за пояса свой верный кинжал, я отсек орлу обе ноги.

95. С воем орел взмыл еще выше, а я мягко приземлился на просторный балкон.

96. В ту же секунду широко распахнулась дверь, передо мной предстал сад, полный цветов и благоуханий, и в нем прекрасный магический символ.

97. Я приблизился к символу, помня про все его многослойные значения, но когда я до него дотронулся, он превратился всего-навсего в прекрасную принцессу.

98. И я швырнул прекрасную принцессу головой вниз, чтобы она скатилась по стеклянной горе к моим знакомым.

99. Уж они ею займутся, будьте уверены.

100. На орлов тоже не больно-то приходится рассчитывать, даже совсем не приходится, а сейчас особенно.

Critique de la vie quotidienne[1]

Пока я читал «Бюллетень сенсорных нарушений», Ванда, моя бывшая жена, не отрывалась от «Эль» . У таких, как она, «Эль» только недовольство жизнью распаляет, еще бы, французский-то у нее был основным предметом в колледже, а теперь вот возись с ребенком да в окно улицу разглядывай, и больше ничего. А уж верит она журнальчику этому дамскому ну просто во всем. Вычитала как-то раз: «Femmes enceintes, ne mangez pas de bifteck cru!»[2] — и для нее это все равно что приказ. Пока ребенка носила, насчет bifteck cru ни боже мой. Еще «Эль» советует напускать на себя un petit air naif[3], как будто вы все еще школьница, ну Ванда и старается. А то все ко мне приставала с этими снимками в четыре краски, на них какая-то мельница в Бретани, и правда красиво ее отреставрировали, внутри мебель сплошь от Арне Якобсена, ярко-красная, и всякие пластиковые штуки из Милана, они оранжевые. «Une Maison Qui Capte la Nature»[4] написано. В «Эль» тогда жутко много писали про Анну Карину, тысячи четыре статеек ей посвятили, так Ванда кинозвезду эту даже чем-то стала напоминать.

Бесцветные у нас с нею были вечера. Вечером весь мир кажется бесцветным, если ты женат. Делать-то тебе нечего, вот и плетешься домой, а там выпьешь — девять раз, больше ни-ни, — ну и на боковую.

Плюхаешься в свое любимое кресло, и чтобы все девять стаканчиков стояли шеренгой на столике рядом, тут они, только протяни руку; другой рукой поглаживаешь ребенка по кругленькому животику — на завтрак поменьше бы давать надо — да покачиваешься, если, как я в ту пору, поставил у себя кресло-качалку, и вдруг, очень может быть, нахлынет на тебя этаким облачком неуловимым презрение — исправить: прозрение, — да-да, прозрение, что и тебе кое-что досталось из призов, которые жизнь хранит на особом складе, куда пускают одних только всем довольных, а уж тогда, можешь не сомневаться, в отключившихся твоих мозгах застучит, затрепыхается, чтобы прочнее угнездиться: так ведь плоды трудов-то твоих, они же вот, перед тобою, и чего ты все печалился, мол, где они, плоды? После чего, расчувствовавшись, ободрившись, словно тебе открылась истина, тянешься рукой (не той, которая при стаканчиках) потрепать мальчишку по волосам, а он тебе, с одного взгляда сообразив, в каком ты благодушии: «Купи лошадку, а?» — кстати, нормальное и в общем-то законное желание, хотя, с другой стороны, оно ну уж никак не вяжется с умиротворенностью, такими стараниями тобою достигнутой к шести вечера, и ясно, что ни о чем подобном не может быть речи, и ты ему рявкаешь: «Нет!» — резко, категорически, еще хорошо, не укусил, — короче, никаких лошадок, табу наложено раз и навсегда, бесповоротно. Но, замечая, до чего у него стоптаны башмаки — добитые мокасины оборванца из мультика, как же он в них ходит? — представляешь самого себя черт знает сколько лет тому назад, еще до Большой войны, и как тебе тоже хотелось лошадку, а вспомнив, пытаешься унять нервы, опрокидываешь еще стакан (нынче, кажется, третий), напускаешь на себя сосредоточенность (ты и весь день ходил такой серьезный, сосредоточенный, все хотел сбить с толку врагов и, как щитом, защититься от безразличия друзей), а потом мягким голосом, ласково, этак с лукавинкой даже, пробуешь втолковать ребенку, что животное, относящееся к роду лошадей, уж так оно устроено, предпочитает жить в степях да полях, где ему вольная воля бродить, да пастись, да спариваться с другими красивыми лошадьми, это же тебе не захламленная квартира в разваливающемся кирпичном доме, ты сам подумай, как ей тут будет скверно, в твоей

---

[1] Критика повседневной жизни (*франц.*).
[2] Женщины в положении, не ешьте непрожаренный бифштекс (*франц.*).
[3] Налет наивности (*франц.*).
[4] Дом в гармонии с природой (*франц.*).

квартире, или ты хочешь, чтобы она мучилась у нас, лошадка несчастная, и тосковала, и валялась на нашей двуспальной кровати, а она и наблевать запросто может или разозлится и копытами по стене, по другой, дом так ходуном и ходит. А ребенок, догадавшись, к чему клонится дело, нетерпеливо перебивает тебя, машет ручонкой своей крохотной: «Я не про то, я совсем не про то», и выясняется, что и правда ты напрасно старался, мальчишка другого хочет, то есть чтобы у него была лошадка, но держать ее будем в конюшне, в парке, вот как Отто. «А что, у Отто своя лошадка?» — с изумлением спрашиваешь ты, — этот Отто учится с мальчишкой в одном классе, одногодки они, и на вид ну ничем он не лучше моего малыша, вот разве с деньгами у него посвободнее, а мальчишка кивает, да, родители купили Отто лошадку, и сам в слезы, да норовит, чтобы ты увидел, как он ревет, — ну и родители, ни черта в голову не берут, скорее бы на рынке спад начался, да чтобы потом им уж и не подняться, — а ты сталкиваешь рыдающего своего сына с колен, не обращая внимания на его театральные всхлипы, ставишь его на пол, направляешься к жене, которая всю эту сцену пролежала, отвернувшись лицом к стене, и выражение у нее было, я точно знаю, такое же, как у святой Катерины Сиенской, когда та обличала папу Григория за неподобающее роскошество его покоев в Авиньоне, вы бы сами увидели, что я не преувеличиваю, только увидеть ничего нельзя, она уткнулась лицом в стену и даже не обернется, короче, направляешься к жене, а, между прочим, время коктейлей уже истекает и осталось всего два из девяти положенных (ты дал торжественный зарок, что до ужина девять и ни стаканом больше, не то здоровья совсем не останется), да, так, стало быть, ты к ней подходишь и самым невозмутимым тоном осведомляешься, что там у нас на ужин и с какой радости она, блядь, спустила на меня это вопящее чудовище. Ну и она, с королевской выдержкой сохраняя свой air naif, а заодно не упустив случая продемонстрировать, какие у нее красивые ноги — и тебе бы перепало, если бы хорошо себя вел, — размеренным шагом удаляется из гостиной на кухню, где вываливает на пол весь наш ужин, так что, заглянув за порцией льда из холодильника, начинаешь выписывать пируэты, скользя по свиным отбивным с sauce diable, вылившимся из датской нержавеющей кастрюльки, а также по патиссонам в маринаде «Луис Мартини» с добавкой горных трав. И поскольку таким вот оказался приготовленный для тебя приз, свой счастливый час ты решаешь увенчать тем, что нарушаешь собственное железное правило, переступив через сей закон превыше всех законов и выпив одиннадцать вместо тех скромных девяти, коими томленье вечеров ты приглушить пытался, когда в камине теплился огонь, а ветер за окном метался и пр. Только вот какое дело: открыв холодильник, убеждаешься, что эта сука, которой дела ни до чего нет, забыла залить воду и льда нет ни кубика, как хочешь, так и пей десятую и одиннадцатую тоже. Уверившись, что так оно все и есть, ты испытываешь соблазн послать все это к свиньям, и свой дом замечательный, и остальное, а вечер провести в борделе, там, по крайней мере, к тебе проявят внимание, и никто не станет выклянчивать лошадку, и не придется прыгать через отбивные, плавающие на полу в лужах sauce diable. Да, опять незадача, суешь руку в карман, и оказывается, у тебя всего три доллара, даже за вход заплатить не хватит, а по карточке там счет не выписывают, так что идея отправиться в бордель летит к чертям. Вот так и приходится смириться, а жаль, ведь не заиграет шаловливый румянец на скукоженной щеке, и отмеряешь для коктейля свой сверхлимитный виски безо льда, который ты кое-как заменил, плеснув в бокал холодной воды, и возвращаешься в комнату, именующуюся жилой, и думаешь: ну и ладно, поживу тут еще какое-то время, не стану бунтовать против обстоятельств, ведь много есть таких, кому еще намного хуже моего достается, те, кому неудачно сделали трепанацию черепа, и девушки, которых не позвали на сексуальную революцию, и священники, которые все еще в облачении. И вообще, сейчас всего семь тридцать.

Как-то в отеле, где мы с Вандой проводили выходные, нам досталась ужас до чего узкая кровать, а тут еще в нее залез мальчишка.

Мы ему говорим: «Уж если ты хочешь к нам в постель, хоть и без тебя тесно, ложись в ногах». А он: «Не хочу, — говорит, — спать между вашими ногами». — «Что тут такого? — спрашиваем. — Ноги не кусаются же». — «Вы ими дрыгаете, — отвечает мальчишка, — как ночь, так вы сразу дрыгать ногами». — «Ну вот что, — говорим мы, — или ты будешь спать в ногах, или на полу. Выбирай». — «А почему мне нельзя на подушке, как все?» — «Потому что ты маленький», — объясняем мы, и ребенок наш захныкал и сдался, понял, что спор исчерпан, вынесен вердикт, так что никакие аргументы больше не будут приниматься во внимание. Только от своего он все-таки не отступил, взял да написал нам на постель, как раз в ногах. «Черт бы тебя подрал! — откомментировал я, не подыскав ничего более подходящего по этому случаю. — Ты что же с постелью сделал, паршивец?» — «Не мог больше терпеть, — оправдывается он. — Само прыснуло». — «Ой, а я клеенку дома забыла», — вздыхает Ванда. Ну я и говорю тогда: «Провалились бы вы все! Будет когда-нибудь конец этой *семейной жизни*?»

И обращаюсь к мальчишке, а он мне отвечает, и дело-то ну полная чепуха, а напряг у нас такой, что слон не выдержит.

«Иди лицо вымой, — говорю. — Чумазый, смотреть противно». — «Ничего не чумазый», — мальчишка говорит. «Нет, — говорю, — чумазый. И для твоего сведения, грязь к человеку пристает в девяти местах, хочешь назову в каких». — «Это из-за теста, — объясняет он. — Мы из теста маски лепили, как с мертвых снимают». — «Из-за теста! — всплеснул я руками, содрогнувшись при одной мысли, сколько они извели муки и воды, да еще, конечно, и бумаги на такое прелестное развлечение. — Посмертные маски! — все не мог я успокоиться. — Да что ты знаешь про смерть?» И слышу от мальчишки: «Смерть означает конец мира для личности, которую смерть постигла. Глаза ничего больше не видят, — говорит, — и значит, мир кончился». Ведь верно. Тут не поспоришь. И я предпочел вернуться к главному делу. «Отец велит тебе вымыть лицо», — сказал я, говоря о себе не впрямую, а отвлеченно, потому что это придавало мне больше уверенности. «Знаю, — отвечает он, — ты всегда так говоришь». — «А где они, твои маски?» — «Сохнут, — говорит мальчишка, — на теплораторе» (это он так радиатор называет). Ну, пошел я к этому радиатору, посмотрел. Так и есть, четыре крохотные маски. Одна — моего сына, остальные — его друзей, и все улыбающиеся. «Тебя кто научил их делать?» — спрашиваю, а он мне: «В школе научили». Я про себя обругал эту школу на чем свет. Поинтересовался: «И что ты с ними собираешься делать?» — надо же показать, что его затеи мне небезразличны. «Может, по стенам развесим?» — предложил мальчишка. «Ладно, развесим, а почему нет?» Он говорит — а вид хитрющий такой: «В напоминанье, что все помрем». Тут я его спрашиваю, зачем все маски улыбаются: «Это нарочно так сделано?» Хмыкнул только да губы скривил, этакая ухмылочка, прямо мороз по коже. «Я же тебя спрашиваю, зачем ухмыляются?» — от этой их ухмылки у меня страх в сердце, а там и без того страха хватает. «Сам поймешь», — говорит ребенок и грязным своим пальцем тычет прямо в маски, проверяет, высохли или нет. «Сам пойму? — воскликнул я. — Это что еще такое — сам пойму?» — «Ага, и пожалеешь», — отвечает и смотрит на себя в зеркало, тоже с жалостью. Только я его опередил, я уже жалеть начал. «Что значит пожалеешь? — заорал я. — Да я всю жизнь только и жалею!» — «И есть с чего», — говорит он, а выражение у него уже не жалости, мудрое у него на лице выражение. Боюсь признаться, дальше имело место физическое насилие над мальчишкой. Не буду про это, мне стыдно.

«У тебя в запасе семь лет», — говорю я Ванде. «Какие еще семь лет?» — спрашивает она. «Те семь лет, на которые ты меня переживешь, согласно статистике. И это будут полностью твои годы, можешь с ними делать все что захочется. За все эти семь лет, обещаю, ты не услышишь от меня ни слова критики, ни упрека». — «Дожить бы поскорее», — говорит.

Помню, какая Ванда утром. Я утром «Таймс» читаю, а она проходит сзади и уже со вздохами, хоть полминуты не прошло как поднялась. Ночью я пил, и моя враждебность вырывалась из своего укрытия, словно призрак, которому вставили реактивный мотор. Когда мы играли в шашки, я на нее так тяжело смотрел, что она, бывало, забудет через три поля перескочить и поставить дамку.

Помню, как я чинил мальчишке велосипед. Удостоился похвал у семейного очага. Какой я добрый, вот таким и должен быть отец. Велосипед был дешевенький, за 29.95 или что-то в этом роде, и седло на нем болталось, мамаша как-то является из парка в ярости, дескать, ребенок страдает, а все из-за того, что я палец о палец не желаю ударить, ну насчет седла. «Давай сюда, — говорю, — сейчас сделаем». Пошел в магазинчик, купил кусок трубы полтора дюйма на два, подложил под седло, чтобы не съезжало вниз. Потом шурупами прикрепил гибкую металлическую скобу дюймов восемь длиной от сиденья к раме. Теперь седло и в стороны не уходило. Просто чудеса находчивости. В тот вечер все со мною были такие обходительные, любящие такие. Ребенок девять моих стаканчиков притащил, умничка такой, поставил на столик у кресла и своей игрушечной рейкой выровнял, так что получилась прямая — не придерешься. «Спасибо, — говорю, — спасибо». И мы все улыбаемся друг другу, все улыбаемся, как будто вздумали соревноваться, у кого улыбка продержится дольше.

Я к ребенку в интернат однажды наведался. Папаш туда пускают по очереди, один папаша каждый день. Сидел на стульчике, вокруг дети бегают, занимаются спортом. Принесли мне какой-то маленький пирожок. А потом совсем крохотуля со мной рядом уселась. Говорит, у нее папа живет в Англии. Она к нему ездила, у него по всей квартире ползают тараканы. И мне захотелось взять ее к себе домой.

После того как мы разъехались, пережив то, что называют состоянием несовместимости, Ванда посетила меня в моем холостяцком жилище. Мы пили, и все с тостами. «Давай за ребенка», — предложил я. Ванда подняла стакан. «А теперь за успех твоих замыслов», — сказала она, и я был польщен. Как, однако, мило с ее стороны. Я поднял свой стаканчик. «За нашу страну!» — говорю. И мы выпили. Тут Ванда свой тост предлагает: «За брошенных жен». — «Понимаешь, — замялся я, — так уж и за брошенных...» — «Ну хорошо, — говорит, — за покинутых. За вытесненных, высаженных с судна на берег, за тех, от которых отреклись», — гнет свое она. «Мы, — возражаю, — вроде как вместе решали, что лучше разъехаться». — «А когда приходили гости, — говорит она, — ты меня вечно заставлял торчать на кухне». Я в ответ: «Думал, тебе на кухне нравится. Ты же меня всегда с кухни этой чертовой прочь гнала». — «А еще ты не захотел за пластинку платить, когда выяснилось, что мне надо исправлять прикус». — «А ты о чем думала? Семь лет просидела у окна палец в рот, а теперь пожалуйста — прикус». — «И карточку от меня спрятал, когда мне понадобилось купить новое платье». — «Ты и в старом была хороша, — отвечаю, — тем более если пару заплаток с умом поставить». — «Помнишь, — говорит, — нас с тобой в аргентинское посольство пригласили, так ты меня заставил надеть шоферскую кепку, припарковаться и с водилами битый час на улице проторчать, пока ты там беседовал с посланником». — «Ты же по-испански ни бум-бум», — объясняю я. «Да, — вздыхает, — не самый

удачный у нас вышел брак, совсем не самый удачный». — «Знаешь, — сообщаю я ей, — по данным переписи населения, число одиноких за последние десять лет выросло на шестьдесят процентов. Может, мы с тобой просто попали в струю». Но ее это как-то не очень утешило. «За ребенка», — поднял я стаканчик, а она: «Уже пили». — «Ну тогда за мать ребенка», и тут она откликнулась — вот за это давай. По правде сказать, к этой минуте мы уже малость набрались. «Слушай-ка, — говорю я, — может, каждый раз вставать необязательно?» — «Слава богу!» — и тут же на стул плюхнулась. А я разглядываю ее и все хочу понять, остались хоть следы какие-нибудь того, что я в ней поначалу находил. Следы остались, но одни следы, ничего больше. Реликты. Намеки какие-то на тайну, прежде неприкосновенную, только теперь уж тайну эту ни за что не восстановить. «Думаешь, я не догадываюсь, чем ты занят? — спрашивает. — Догадалась. У тебя тур по развалинам». — «Перестань, — отвечаю я. — Ты еще ничего, в общем и целом». — «Ах в общем и целом! — и раз из-за пазухи здоровенный пистолет, такими только лошадей пристреливать. — Давай за мертвых», — предложила, а пистолетом так и вертит в воздухе, так и вертит, все не может успокоиться. Ну выпил я, только со сложным чувством — кого это она имеет в виду? «За священных мертвецов! — уточняет, и видно, как она сама себе нравится. — За всеми любимых, всеми ценимых, всеми вспоминаемых, всеми навещаемых, чтобы из гробов не выпрыгнули». И опять — раз за пистолет, это чтобы я при случае тоже не выпрыгнул, что ли? Ствол так и ходит, то в правый висок нацеливается, то в левый, и хоть наводка там, помнится, была примитивная, зато калибр — крупнее не требуется. Грохнуло так, что оглохнуть можно, и пуля вдребезги разнесла бутылку «Дж. энд Б.» на каминной полке. Она рыдает, квартира насквозь провоняла виски. Я вызвал для нее такси.

Сейчас Ванде, мне кажется, намного лучше. Она в Нантере, штудирует марксистскую социологию, учится у Лефебра (он автор книги «Critique de la Vie Quotidienne», вот нахал). Ребенок наш в экспериментальном интернате для детей, чьи родители студенты, там, насколько я понял, все делается по-научному, как велел Пьяже. А у меня полный порядок насчет «Дж. энд Б.». Компания производит «Дж. энд Б.» ящик за ящиком, год за годом, и непосредственной угрозы сокращения производства, мне говорили, нет.

■

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

Второе свидание

Считается хорошим тоном поносить авангард. И даже не столько поносить его, сколько полемизировать с намерением полного разгрома, а значит, и с подразумевающимся признанием реальной значительности: иначе к чему пафос? Критики из современно мыслящих обходятся без пафоса, он непрестижен. Уж тем более — когда случается помянуть об авангарде.

Почти всякий раз это делается с наигранным недоумением («А был ли мальчик-то? Может, мальчика и не было?»). Ирония, оттененная хамоватой презрительностью, этот дешевый шик любимцев окололитературной тусовки, в статьях про авангард уже становится нормой. А кого он, собственно, опередил, этот авангард? И что у него за права притязать на серьезное присутствие в литературе? И кто доказал его реальное существование? Пустое это все. Мнимость.

Так писали в шестидесятых и семидесятых, так пишут сегодня, и, кажется, никаких не произошло перемен, за вычетом того, что теперь никто к неприятию авангарда не принуждает. Оно, будем считать, идет от сердца. Или от установившейся интеллектуальной моды. В конце концов, различие, если тут, правда, есть различие, не так уж важно. Любопытнее другое: редко где еще кровная наша связь с якобы преодоленным — и уж само собой, одиозным — советским менталитетом проступает настолько опознаваемо.

До очевидности опознаваемо, до трогательности. Ведь трудно не умилиться, видя, как нелюбовь к авангарду сближает людей, вроде бы во всем несхожих, как она их роднит. Как заставляет недавнего почти что диссидента, принявшегося за изничтожение авангарда (да какое! вплоть до обвинений в том, что он предоставил идейное обоснование для сталинских лагерей), почти слово в слово цитировать столпа истинно марксистской эстетики, прославившегося публично объявленной готовностью обменять всего Пикассо на каких-нибудь узнаваемо намалеванных газосварщиков кисти действительного члена Академии художеств СССР. Или взять доморощенного (правда, давно отъехавшего) фрейдиста при культурологии: едва он заговорит на «Свободе» про кого-то из причастных к авангарду, как принимается его топтать с вдохновением, достойным чиновника из советской академической коллегии: тот в свою бытность литератором пламенно доказывал, что Хлебников просто шарлатан да еще себе на уме по части разных житейских выгод.

Понятно, тут разная мотивация, и установки тоже разные, от кокетливо нонконформистских до патетически официозных. Однако сверхзадача одна и та же, и вот хотелось бы понять, откуда такая целеустремленность. Чем так досадил авангард и правым, и левым, и мнящим себя птицами вольного полета, и почему в суждениях о нем столько нетерпимости, и почему в его оценках пристрастность почитается делом почти нормальным, даже если она, что называется, вопиющая.

Толком никто пока этого не объяснил, хотя догадаться, в общем, не так уж сложно. Авангарду во все времена присуща непочтительность к установившимся нормам, и желающим любоваться собственной респектабельностью он тем меньше нравится, чем сильнее это желание. Авангард непременно в родстве с радикализмом, хотя бы художественным, а любого рода ломка вызывает противодействие и доходящую до истерики страсть к охранительству. Авангард обязательно сигнализирует о неблагополучии и в культуре, и в обществе — иначе бы он не мог возникнуть: если не как форма исцеления, то хотя бы как альтернатива. Но ведь намного спокойнее сделать вид, что никакого неблагополучия не наблюдается. А если наблюдается, так, само собой, не из-за того, что начинают иссякать великие традиции, подводят священные заветы и т.п. Как раз наоборот, повинны всегда оказываются отступления от заветов и традиций, стремление к новизне в ущерб преемственности, попытки что-то создать не продолжая, а изобретая, — словом, повинен всегда оказывается авангард.

Этой установкой на непременно новое, небанальное слово, разумеется, никто не обязан восхищаться. Хорошо известно, что с нею в искусстве были связаны вовсе не одни только триумфы. Можно не принимать ее и по принципиальным соображениям, упорствуя в приверженности архаизму, — позиция неоспоримо достойная, тем более что у нее в наш век были сторонники, чьи имена говорят сами за себя, назвать ли Бунина, Томаса Манна или Роберта Фроста. Апология авангарда выглядела бы столь же тенденциозной, как выглядит его шельмование.

Но никакой апологии и нет. Есть другое: не раз и не два наблюдавшиеся случаи, когда добытая авангардом новизна со временем не только перестает дразнить и ошарашивать. Она как бы растворяется в общепонятном и почти что общепринятом изобразительном языке. И становится смешно даже вспоминать, что кого-то могли шокировать контуры геометрических фигур на полотнах Брака или повергали в недоумение цветаевские синтаксические конструкции. Подобная интеграция, конечно, есть форма молчаливого признания, причем, может быть, самая убедительная. Да только признание это непременно запаздывает. Сильно, порой непоправимо запаздывает. Приходит через годы, если не через десятилетия после замалчивания, и еще хорошо, если обходится без издевательств.

У нас были и замалчивание, и полемики, причем, мягко говоря, негативное отношение к авангарду держалось (держится?) с исключительной прочностью. Теоретическими построениями можно, проявив известную изощренность, доказать что угодно, включая кровное родство тоталитаризма с живописью Малевича или стихами Введенского, но режим строго-настрого запрещал и эту живопись, и стихи, и вообще все, несущее на себе хоть легкий оттенок авангардизма, если только его не удавалось вытравить практически бесследно, как это почти удалось с Маяковским.

Взяв в соображение интересы режима, его действия следует признать вполне разумными. Авангард и неотъемлемую от режима жесточайшую нормативность примирить невозможно, какие бы иллюзии на этот счет ни строили, печально за них расплачиваясь, сами авангардисты.

Тут просто разный состав крови, несочетаемые стихии. И поэтому авангард без церемоний, без никчемных объяснений истреблялся. Физически — если говорить об отечественном. Системой запретов — если о западном.

Эта статья названа «Второе свидание», потому что речь идет о писателях американского авангарда, с которыми у автора, посвятившего себя изучению американской литературы, первая встреча состоялась лет тридцать назад, а то и побольше. Для обычного читателя, однако, встреча получается фактически первой, потому что никто из этих прозаиков не переводился — нельзя было. О них в советские времена упоминать и то приходилось с постоянной оглядкой на цензуру. Недоговаривая, довольствуясь глухим намеком. Хотя в политику они не лезли, а все равно считались — и не зря — «идеологически чуждыми».

Так вот и получилось, что мы их только теперь начинаем для себя открывать. Меж тем...

... иных уж нет —

как Доналда Бартелми, умершего почти восемь лет назад. В своей автобиографии, вышедшей с подзаголовком«Коллаж», Курт Воннегут пишет, что на похоронах он вдруг ощутил ту «скрытую родственность», которая их всегда связывала. Хотя критика чаще занималась противопоставлениями.

Заглянув в биографический справочник, Воннегут понял, в чем тут дело: они оба сыновья архитекторов. Но важнее, вероятно, все-таки другое. «Мы оба рассказывали свои истории вызывающе небанально».

Воннегуту у нас это прощалось, его представительный однотомник вышел в 1978-м, в самую глухую пору. Потом стало невозможно публиковать и его, но по причинам, впрямую не связанным с творчеством, — не за того заступился, не то подписал. Бартелми, не высказавшегося о советских порядках ни словом, публиковать не разрешали совсем. Именно в силу его слишком явной небанальности, в которой чувствовали некую угрозу.

Его рассказы производили подозрительно странное впечатление, даже если не слишком вдумываться в их смысл. Что это за бессвязные монологи каких-то психопатов, что за нелепые, невозможные происшествия? И зачем, например, понадобилось пронумеровывать фразы, которые из-за этой подчеркнутой логической последовательности лишь усугубляют впечатление абсурда? И отчего такая злостная путаница со знаменитыми персонажами, а случается, и с реальными людьми? То Бальзак отправляется в кино, чтобы, посмотрев картину об успехах капитализма, обзавестись собственной типографией с целью печатать для прибыли телефонные справочники. То Белоснежка оказывается дебелой дамой не первой молодости, а гномы — сварливыми соседями по пансиону, все подкарауливающими шанс добиться ее милостей. То Кьеркегор ввязывается в полемику с Фридрихом Шлегелем, автором «Люцинды», и приученный к тому, что у Бартелми сплошные розыгрыши, читатель готов поверить, что, несмотря на закавыченные отсылки к текстам датского философа, его опять водят за нос. Тогда как на самом деле автор говорит об очень важных вещах. О тех, которые, кстати, создали для него режим наименьшего благоприятствования в советскую эпоху.

Кьеркегор важен тут, естественно, не как критик Шлегеля, а как мыслитель и писатель, высказавший идеи, исключительно близкие самому Бартелми. Они касаются иронии, понимаемой как некий способ существования в мире или, по меньшей мере, как фундаментальный принцип интерпретации всего, что в этом мире происходит. Он незаменим, потому что только ирония «лишает предмет его реальности», а это бесценное качество, когда «предмет» — явление, событие, система отношений — становится подавляющим и неотвязным. Вот где поле для иронии, и оно все расширяется, так как значения, соотносимые с разнообразными «предметами», вплоть до самых существенных и даже касающихся природы человека или смысла его пребывания на земле, до невозможности догматичны. А ведь они, эти значения, по предубежденности, а еще чаще — по инерции безмыслия, навязываются всем и каждому, словно за ними стоит самоочевидная истина.

И чтобы защититься от подобного диктата, нужна ирония, сфера действия которой не меньше, чем все мироустройство. Нужна даруемая ею одной «абсолютная негативность», за которой приходит и «опьянение свободой»: от самих «предметов», от связываемых с ними обязательных значений и, следовательно, от непреложностей, оказывающихся фикцией.

Все эти соображения принадлежат рассказчику, который позаимствовал книжку Кьеркегора у инструктора по лыжам, оказавшегося поклонником загадочного датчанина, наспех ее пробежал и излагает основную мысль, «кое-что для ясности упрощая». Еще как упрощая! Но не в этом дело. Новелла, озаглавленная «Кьеркегор несправедлив к Шлегелю», появилась в сборнике Бартелми «Городская жизнь» (1970), четвертом по счету и позволявшем сделать некоторые выводы, касающиеся всего его творчества.

В частности, тот вывод, что ирония, понимаемая примерно так, как ее толкует повествователь, для этой прозы на самом деле составляет ключевое понятие. И чем сильнее в ней выражена «абсолютная негативность», тем органичнее проявлено дарование автора. И попытки представить его сатириком, изобличающим разные человеческие несовершенства или, допустим, осмеявшим мещанство, основываются только на ходячих представлениях о том, что надлежит делать писателю, наделенному чувством смешного.

Такие попытки стали обычными начиная с первой же книги Бартелми. Она называлась «Возвращайтесь, доктор Калигари» (1964), напоминая о знаменитом немом фильме «Кабинет доктора Калигари». И об экспрессионизме. Выяснилось, что за сорок пять лет, разделивших ленту немца Роберта Вине и книжку тогдашнего американского дебютанта (а стало быть, «старый» и «новый» авангард), ситуация мало изменилась в том смысле, что явление, непривычное по художественному языку, обязательно пробуют приспособить к бытующим понятиям. У Бартелми находили по-своему выразительное изображение помыслов и страхов «маленького человека», сделанное в гротескной манере, которая чаще всего умес-

тна, потому что будничная жизнь этого персонажа — тоже гротеск. Репутация была создана. Даже в те годы она лишь приблизительно соответствовала настоящим интересам и устремлениям Бартелми, однако ее не смогли переменить и следующие несколько книг.

Переменил ее роман «Мертвый отец» (1975), где философские коннотации слишком отчетливы, чтобы оставались сомнения насчет характера этой иронии, призванной не вышучивать и высмеивать, а, пользуясь метафорой другого писателя, снимать невыносимую тяжесть бытия. Правда, роман оказался неудачей: Бартелми никогда не чувствовал себя свободно, обращаясь к крупным повествовательным формам. В этой невероятной истории про гигантскую статую, которую куда-то тащат на канатах девятнадцать мужчин — и вступают со своей обреченной на погребение ношей в активный диалог, — появился навязчивый привкус аллегории со слишком затасканными смыслами: смерть Бога, власть окаменевшего авторитета и т.п. Пропала непринужденность игры, пленяющей в новеллах с не менее причудливым сюжетом. Бартелми был, что называется, прирожденный рассказчик. И напрасно пытался переделать свою писательскую природу.

Не им ли самим сказано: «Фрагмент — единственная форма, которой я доверяю»? Помня, что добивался Бартелми не меньше чем исчезновения «предмета» со всей его тяжелой обязательностью, надо считать очень естественной ту осколочную мозаику, какой чаще всего являются его книги. Даже если он стремился придать им характер единого повествования или тематического цикла.

Но и мозаика обладает своим единством. Она только кажется произвольной, иной раз провоцируя ассоциации с расстроенным компьютером, который словно по собственной прихоти выпускает целые звенья заложенной в него программы. Алогизм здесь, разумеется, все время напоминает о себе, однако как не оценить непогрешимую последовательность действий и побуждений героя в предложенной ему, а чаще им самим для себя выбранной абсурдной ситуации.

На чисто житейском уровне персонаж неукоснительно рационалистичен. И этим только усугубляется его несчастье. Поскольку в стараниях придерживаться разумности, невзирая на выверты судьбы, он лишь усугубляет и без того тотальную власть окостеневших, безжизненных норм. А приписываемый Кьеркегору тотально иронический взгляд на вещи остается для этого персонажа химерой. По крайней мере, во всем, относящемся к практике.

Все и всегда увенчивается для него нелепостью, то драматической, то смешной, обычно же хоть смешной, но драматической. А самой повествовательной стихией, действительно соприродной таланту Бартелми, становится трагифарс. Не только новелла, которая по сгущенности типичных мотивов этого прозаика достойна была бы открывать любую представительную подборку, — пожалуй, и все его творчество было формой «критики повседневной жизни». Не критики в буквальном понимании слова, не сатиры, пропитанной чувством неприятия такой действительности или, по меньшей мере, авторской чужеродности ей. Бартелми как раз не ощущал себя посторонним, воссоздавая в однородных по краскам эпизодах это мелкотравчатое существование, где на каждом шагу дает о себе знать какая-то неполноценность, и люди выдумывают себе занятия одно глупее другого, а потом со страстью им предаются, и никто не понимает собеседника, и жизнь выглядит как бессмысленное мельтешение стереотипных ситуаций, которые можно было бы назвать анекдотическими, не будь они, если вдуматься, такими грустными.

Эту жизнь описывали, конечно, и до Бартелми, и описывали талантливо, и даже делали это примерно в том же самом повествовательном ключе. Но, кажется, никто до него не почувствовал с подобной отчетливостью, что воспроизведенная в этой тональности повседневная жизнь — совсем не обязательно окружающая реальность, по которой можно судить о дефиците духовных ценностей в «цивилизации потребления», как называли тогдашнее общество социологи, или о характере обывательских представлений, или о мире мифиче-ского «среднего американца». Для Бартелми эта повседневность была знаком очень глубокого —

а ему, наверное, казалось, что безнадежного — кризиса сознания, последствиями которого затронута не только будничность, не один лишь социум — американский или любой другой, — но жизнь, причем в самых разных ее проявлениях. И он возвращался к этой своей главной теме раз за разом, предпочитая сетованиям или мрачным тонам юмор, но такой, о котором ясно говорит заглавие одной из его лучших книг. Она вышла в 1972 году и называется «Печаль». Рассказ «Critique de la Vie Quotidienne» — из этой книги.

Четверть века спустя что-то в ней покажется слишком узнаваемым. Это не вина Бартелми, просто его стилистика уже очень хорошо освоена продолжателями, которых оказалось немало, хотя они на него не ссылаются. А что касается проблематики, она теперь грозит сделаться тривиальной. Постмодернизм превратил иронию по отношению ко всему на свете в свой фирменный знак.

Тем не менее, когда перечитываешь давнюю прозу Бартелми, ощущения тривиальности не возникает, и вот это всего удивительнее. Иногда это объясняют изобретательностью и выдумкой, действительно, никогда ему не изменявшими. Кто бы еще додумался поместить стеклянную гору посреди Манхэттена и описать восхождение героя под завистливые и злобные комментарии толпы? Да как нетрафаретно описать.

Открыв том избранного почти наудачу, можно отыскать и что-нибудь еще более экстравагантное. Но и самые необычные фантазии со временем перестают восприниматься как находки, если за ними нет ничего, кроме желания быть оригинальным. Бартелми было дано не только стремление и умение ни на кого не походить, у него была своя тональность и — последние книги это подтверждают — был еще нерастраченный запас писательских сил. Что поделаешь, иных уж нет...

а те далече —

как Донливи, давно уже ставший ирландцем не только по местопребыванию, но даже по паспорту, не говоря о духовных и творческих ориентирах. Но исходно он все-таки принадлежит американской культуре. Еще точнее — американскому авангарду шестидесятых.

Или даже более раннего времени. Известность Донливи начинается после романа «Человек с огоньком», а это 1955 год. Еще не вошло в обиход определение «черный юмор» (как вариант: «висельный»), которое приклеится к Донливи, как будто все дело в его и правда нежизнерадостном комизме. Представление об авангарде еще сопрягается с битниками, только что о себе заявившими, — с Алленом Гинзбергом, Джеком Керуаком, коммунами первых хиппи, облюбовавших калифорнийское побережье, и проповедью нерепрессивности как высшего блага. Саркастически описанная одиссея двух невезучих американцев, которые из отвращения к духу делячества решают покинуть родину и, перебравшись на древний кельтский остров, прожить там до конца дней «бедными как церковные мыши», вроде бы не ко времени. Но она вдруг находит по-настоящему заинтересованный отклик.

Потому что автор талантлив. И ни на кого не похож. Это чувствуется сразу, уже по стишкам-лимерикам в конце каждой главы или по уникальному синтаксису, где сплошные деепричастные обороты и практически полное отсутствие сказуемых. Понятно, что не пришлось дожидаться упреков в самолюбовании, как и обвинений в «изысках». Они повторялись много раз, но отчего-то не возникало хотя бы предположений, что эта странная грамматическая конструкция может обладать некой содержательностью. Что за нею, вероятно, стоит нечто специфичное для сознания персонажей Донливи, которым не дано испытать чувство завершенности. Любое событие или душевное состояние в их восприятии оказывается длящимся, недоконченным, но при этом, в точности как сама фраза, напоминающим движение по кругу, а оно просто убивает своей повторяемостью и бесцельностью.

Герои хотят как раз какого-то завершения, определенности и прочности, а получается так, что для них это недостижимая химера. И всем им суждено сущес-

твование как бы между двумя берегами, хотя оно — раньше ли, позже — становится непереносимым.

У этой коллизии есть особый, сугубо американский подтекст. Все связанное с «нашим старым домом», как выразился романтик Натаниел Готорн, подразумевая не только Англию, но и Европу, всегда составляло для американского сознания актуальный сюжет с ясным оттенком драматизма. Существует длительная, по-своему захватывающая история экспатриантства, в которой Донливи хронологически принадлежит одна из последних глав. Эта история пишется уже второе столетие, начиная еще с Генри Джеймса, покинувшего родину ради приобщения к европейской интеллектуальной атмосфере и считавшего, что он приносит жертву, которой потребовало от него писательское призвание. Потом эта ситуация повторялась десятки раз, и не похоже, чтобы она была исчерпана даже сегодня.

Просто теперь та же самая идея переселения или многолетнего странствия в чужих краях осознается под другим знаком: не как выбор, предуказанный творческими побуждениями, а скорее как опыт возможного жизненного переустройства, смены приоритетов и ориентиров, обещающей — как знать? — и новое самосознание, и новые ценности. Этот эксперимент увлекает одного за другим персонажей книг с подчеркнуто изысканными названиями, по которым сразу узнается Донливи. Для обложки он уж непременно придумает что-нибудь необычайное, чуточку кокетливое, останавливающее взгляд, — например, «Бестиальные блаженства Бальтазара Б.». Или «Деяния Дарси Дансера, джентльмена». Или «Самый сумрачный сезон Сэмюэла С.».

Между этими книгами (чаще всего — небольшими повестями) могут пролегать целые десятилетия, но они все равно воспринимаются как внутренне связанные одна с другой, даже как части единого повествования. Без риска грубой ошибки можно предсказать, о чем Донливи расскажет в своем новом произведении — конечно, об еще одной попытке, оборвав связи с прошлым (и по возможности все без исключения), начать жизнь заново, сбросить кожу и, продолжая аналогию с Гумилевым, о котором Донливи верней всего никогда не слышал, избавиться даже от памяти, сохраняющей образы «тех, кто раньше в этом теле жили до меня». Начальная строка гумилевского стихотворения «Память» («Только змеи сбрасывают кожи») могла бы послужить эпиграфом ко всему написанному Донливи.

Впрочем, понадобится одно уточнение: этот эксперимент, имеющий целью освободиться от власти прожитого и пережитого, у персонажей Донливи почти неизменно предполагает и опыт экспатриантства. Вот радикальный способ покончить с давлением слишком, на их вкус, шаблонной и безликой американской будничности, с зависимостью от фетишей практицизма, с необходимостью то и дело оглядываться на неандертальские понятия и нормы, с безмозглостью, бескультурьем и прочими пороками нелюбимой родины. И герои Донливи один за другим пытаются решить все ту же самую — невозможную, непосильную — задачу: доказать самим себе, что американское воспитание искоренимо. Что их полуголодная жизнь на какой-нибудь европейской окраине лишь подтверждает неэфемерность свершившегося разрыва. Что разрыв окончательный и обратной дороги не будет, хотя рано или поздно, устав от своего бунтарства, они потянутся назад, в неуютные отечественные палестины.

Для Донливи эта повторяющаяся жизненная история оказалась практически неисчерпаемым художественным материалом, предоставляя все новую пищу его юмору с мизантропической окраской. Репутация Донливи как первого американского абсурдиста, довольно стойкая даже и сегодня, возникла, конечно, не на пустом месте, но все-таки она не вполне соответствует реальному положению вещей. Абсурдизм обычно тяготеет к более или менее последовательным герметичным построениям, стараясь осложнить или даже сделать невозможной соотнесенность текстов с реальностями за пределами текста. В наиболее чистом своем выражении абсурдизм — это абстрактная словесная композиция типа тех, к которым под конец творчества пришел Беккет, создавший «Театр I» и «Театр II», тор-

жество литературы, передающей ощущение абсолютной пустоты существования.

Оно, это ощущение, очень знакомо героям Донливи и постоянно присутствует в самой ткани его повествования, однако ни умозрительности, ни герметичности тут нет вовсе. Есть другое — несколько навязчивая, зато уж безусловно обладающая четко обозначенным «внетекстовым» значением метафора реальности как хаотичного движения, которое никуда не устремлено, как цепочки чисто механических контактов, как фарса, а лучше сказать — «скверного анекдота». Последнее понятие, введенное Достоевским и ставшее необходимым, чтобы более или менее достоверно представить очень укоренившийся жанр, характеризует повествование Донливи с наибольшей точностью.

Анекдотичность в самом допущении, что персонажу действительно дано, перебравшись через океан, покончить с всевластием факторов, которыми определялось его формирование — не как личности, ибо что он за личность, а как репрезентативного символа, как фигуры, иллюстрирующей некую социальную психологию. Персонаж остается самим собой, сколь ни печально ему в этом удостовериться. Географические перемещения ровным счетом ничего не изменяют по существу дела, и уж тем более не играет роли, в каком направлении они происходят. Ожидаемое столкновение американской здоровой, но чуточку примитивной натуры со слегка анемичной утонченностью Старого Света, эта излюбленная коллизия Генри Джеймса, а вслед за ним и других писателей-экспатриантов, у Донливи оборачивается то конфузом, то шутовством. В Нью-Йорке ли, в Дублине или в Вене его персонаж все тот же питомец — и пленник — выродившейся цивилизации преимущественно американского образца, хотя речь идет, незачем и пояснять, не о конкретных социальных коннотациях. Донливи описывает не тип общества, а определенную разновидность мышления, самосознания, этики. Они доминировали на протяжении долгих десятилетий, ознаменованных самоуверенным здравомыслием и оптимизмом. Теперь вся культурная среда, выросшая на почве подобных верований, предстает в сознании героев Донливи свалкой мертвых иллюзий, окостеневших условностей и обескровленных традиций, провоцируя желание бегства, а когда бегство оказывается не больше чем еще одним самообманом — жажду издевательской насмешки с оттенком мазохизма.

И поэтому герой совершает эскапады, для нормального восприятия попросту дикие, но обладающие неким философическим значением для него самого. То разувается в ресторане, демонстрируя посетителям — любуйтесь наградой, увенчавшей его разумные и практичные усилия! — драгоценные перстни на пальцах. То, собрав толпу, швыряет в нее облитые мочой купюры и упивается дракой из-за вонючих бумажек. То, в напоминание о непреходящем значении своего опыта, задумывает еще при жизни оборудовать свой мавзолей, где будут эскалатор и ванная в кафельной облицовке. А также камин, настенные панно, замысловатая система освещения...

При желании все это, конечно, можно счесть сатирой, изобличающей культ вещей и убогий гедонизм, воцарившийся в потребительском обществе. Но это был бы очень тенденциозный взгляд, говорящий прежде всего о нежелании считаться с теми художественными законами, которые признает над собой автор. Он же признает только законы литературы, в которой главенствует смех — без всякого преувеличения всеобъемлющий и универсальный, поскольку его природа не обличительная, а цели не конкретизированы. По существу, этот смех, чаще всего совсем не веселый, представляет собой некую философию или, скажем осторожнее, передает определенное умонастроение, которое прочно ассоциируется с неприятием окружающего, непризнанием общепринятого, радикальной критикой повседневности, сардонической иронией. То есть с авангардом.

Так все-таки с авангардом?

Раздражение, провоцируемое этой эстетикой — а особенно позицией, которая за нею стоит, — то и дело побуждает не только дискредитировать ее, но и высказываться в том духе, что никакой литературы авангарда, строго говоря, не

существует. Тех, кто отмечен дарованием, торопятся приписать к другим департаментам, даже если их приверженность авангарду нескрываема и постоянна. Те, для кого авангард остался преходящим увлечением литературной молодости, пополняют список «покаявшихся», хотя они и не думали каяться, и «исправившихся», пусть даже тени подобного намерения не было, а просто с годами писателя стала привлекать другая настроенность и как следствие — другая художественная оптика.

Сейчас предвзятость в отношении авангарда часто стимулируется стремлением возвысить ставший модным постмодернизм, и тут все понятно: не принизив такого предшественника, новая школа окажется слишком очевидно несостоятельной в своих претензиях на собственное видение и нетрафаретное слово. Обо всем этом скучно да и незачем было бы говорить, если бы не мысль об элементарной исторической справедливости. Как бы ни оценивали авангард и что бы о нем ни думали, не надо делать вид, что его не существовало в качестве сколько-нибудь значительного литературного явления. И не надо отрывать от его еще совсем близкой — а кто знает, может, и не закончившейся — истории писателей с четко проявленной творческой индивидуальностью, с завоеванным именем и реальным престижем. Этого — просто во имя истины — не следует делать даже в тех случаях, когда такие писатели со временем и правда отошли от авангарда. Как Уильям Гасс.

«Мальчишка Педерсенов», повесть, представляющая его русскому читателю, опубликована давно, еще в 1968-м. Она была ядром книжки с названием странным, но для авангарда вполне органичным — «В глубине души глубинки» (или «В глуши глубинки» — есть и такой вариант). Кроме повести, там было пять рассказов и очень пространное авторское вступление, которое через двадцать лет, когда образовалась дистанция и можно писать историю, выглядит чем-то вроде авангардистского манифеста.

Гасс доказывал в этом эссе, что творческий акт может быть только бескорыстным, поскольку никакой ощутимой реакции на него не последует: никому не интересны рецепты спасения мира или совершенствования человека. По необходимости литература превращается в разновидность игры для посвященных, однако, если литература — игра, и только игра, итоги окажутся печальными. Беккет, который постоянно находится в поле зрения Гасса, своим примером как раз и убеждает, что неметафорическая пустота страниц, «литература молчания» означает тупик. Хотя и наглядное присутствие «объекта» (Бартелми сказал бы — «предмета», но это ничего не меняет) оказывается, согласно логике Гасса, упрощением писательской задачи. И это еще в лучшем случае.

Произведение, пытающееся «соперничать с жизнью» по части достоверности и убедительности, а тем более нацеленное что-то в этой жизни исправлять, выглядит старомодным и как раз совершенно недостоверным: надо только, оставив без внимания узнаваемые ситуации и подробности, задуматься, насколько оно соответствует духу той будничной реальности, которая знакома всем. Но и беккетовский текст «ни о чем» — такой же миф, если его всерьез трактовать как нечто аутентичное вот этой реальности. Потому что за оставляемым ею впечатлением алогизма и хаоса и за жестокостями — пусть обычно они выглядят не поддающимися объяснению — надо искать некий смысл, а Беккет видит лишь метафизическую пустоту. Но ведь не к ней одной все сводится, если присмотреться, что собой представляют хотя бы те, по авторскому определению, «грубые нашествия зла», которые составили тему повести о случае, приключившемся в «глубинке», — леденящем кровь и тем не менее достаточно заурядном.

Скорее всего повесть напомнит читателям о Фолкнере. Эта ассоциация предусмотрена самим Гассом, события, в той — весьма незначительной — степени, насколько они прорисованы и существенно важны, словно провоцируют сопоставления со «Святилищем» да и другими фолкнеровскими книгами. А эти косноязычные фермеры и работники как бы перешли на страницы Гасса из литературы «красных тридцатых» с ее пристальным вниманием к пролетариату. Но сразу же

наталкиваешься и на резкое противодействие текста подобным интерпретациям. Ведь Гасса не интересует ни пролетариат, ни даже «глубинка» сама по себе. Его интересует «глубина души» этой «глубинки», укорененный в такой среде взгляд на действительность, характер ее восприятия. Его интересует само устройство души, позволяющее осознавать как нечто естественное — нет, нельзя сказать естественное, хотя и не такое уж патологическое, — эти «грубые нашествия», и насилия, и надругательства над человечностью, о которой тут не поминают. Взгляд повествователя для него важнее и сюжета, и самой материи повествования, потому что духовная — да что там духовная, даже эмоциональная анемия, воплотившаяся в младшем из Йоргенсенов, для Гасса, каким он был в шестидесятых годах, как раз и говорит о состоянии мира и обо всех переживаемых кризисах бесконечно выразительнее, чем опыты социологического, психологического и прочего аналитического описания. И больше, чем пустые, демонстративно бессодержательные тексты, даже если они принадлежат Беккету.

Достигнутый художественный результат, очень может быть, покажется спорным, хотя и повесть, и весь сборник Гасса, посвященный «глубинке», не затерялись в литературном потоке даже через тридцать лет после своего появления. Сам он впоследствии отошел от творческой программы, объявленной в его предисловии к этой книге, отошел и от активной писательской работы и дал лишний повод доказывать бесперспективность авангарда как типа литературы или хотя бы как возможного творческого самосознания. Но все происходившее с Гассом говорит прежде всего о нем самом и вовсе не обязательно — о мере творческих возможностей авангарда. О ней говорят только уровень текстов, включая старый текст Гасса, а также их способность жить во времени. Наше свидание с ними сильно запоздало, зато оно послужит хорошей проверкой их художественной состоятельности. И может быть, заставит объективнее оценить сам авангард.

■

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ

ТРАЕКТОРИЯ ШЛЯПЫ

Американская мечта: стра(х)сть быть поглощенным вещами

Почему-то у Олденбурга все вверх ногами. Тюбик с зубной пастой опирается на выдавливаемое содержимое. Галстук вьется по ветру от земли. Даже небоскребы повисли макушками вниз.

Конечно, тюбик всегда давят книзу. Конечно, галстук всегда взмывает вверх. Но почему яблоко обгрызено, а диван расползся, и даже не по швам? Зачем мне мастерок, воткнутый в землю, — высотой с симпатичную виллу? Кому понадобится пуговица, разломанная пополам, или зонт, под которым невозможно укрыться (пусть он и назван «Зонтом Крузо»)? И все — огромных таких, символических размеров.

Чего почти никогда не найдешь у Олденбурга — так это человека. Как и вообще чего-нибудь живого, движущегося. Его мир — мир повседневных предметов, выросших до угрожающих размеров. Пылесос высотою с человеческий рост, способный тебя засосать. Хлеб, в коем можно потеряться. Бутылка, где легко утонуть[1].

То есть человек, может быть, и есть — но он скрыт за этими *возбухшими* вещами. Человек оказывается вдруг лилипутом перед гулливеровских размеров предметами, поработившими его сознание.

Не из этого ли страха перед фетишизмом вырос весь поп-арт? Олденбург считается одним из его основателей — хотя сам он швед по национальности. Но родители, дипломаты, воспитывали его в Америке. Стране, подавшей после второй мировой пример всему миру: как жить, что танцевать и сколько покупать. Последнее оказалось едва ли не самым важным.

Впрочем, материальную сторону дела с чисто дипломатическим тактом Олденбург оставляет в стороне. Он просто наслаждается вещами — галстуком, вырастающим до высоты небоскреба, унитазом, обмякшим после давне-радикального дюшановского жеста (а скорее даже из-за равнодушия, охватившего публику после Дюшана: что унитаз может теперь еще сделать? расслабиться — отвечает Олденбург), молотком, способным не только гвозди вколачивать, но и просто памятником в саду постоять.

Здесь нет музыки — или просто она обрела другие формы?

Предметный минимализм: чисто по Кейджу

Впрочем, серия «мягких инструментов» — одна из лучших у Олденбурга. Кто спорит? — вещи, из которых вышел воздух, прекрасны, как воспоминание об ушедшем лете. Но нигде грусть не охватывает зрителя так безнадежно, как при виде растаявшей арфы, разварившейся барабанной установки или кларнета в виде моста. Звука *это* уже не родит. Легче в обмякшем унитазе различить память о журчавшей когда-то воде, чем в расслабленном саксофоне — ноту и тем более музыкальную фразу. Олденбург здесь показывает себя настоящим другом и последователем Джона Кейджа (с которым был близок в эпоху первых хэппенингов): своим минимализмом тот перепахал не только всю современную музыку, но и массу художников, имевших счастье/несчастье жить в одно время с ним в Нью-Йорке. Счастье — ибо очень скоро для выражения собственных идей им понадобится всего

[1] Единственная работа Олденбурга в России — "Банановый сплит и вазочка мороженого" (1964) — хранится в Музее Петера Людвига в Мраморном дворце (филиал Русского музея, Санкт-Петербург).

© А.Мокроусов, 1997

один предмет (но очень большой). Несчастье — ибо многие склонны видеть в этом упрощении фактуры, сведении ее на уровень атома-некое шарлатанство. Провокацию рынка, но не самого искусства.

Но адвокатский пафос в отношении Олденбурга явно неуместен. Ему меньше всего интересны мифы массового сознания, которыми был очарован американский поп-арт. На его вещах лежит отпечаток детской наивности. Художник не скрывает: большинство своих работ он придумал, когда был ребенком и подолгу играл в папином бюро (не отсюда ли — бесчисленные пишмашинки и прочие канцелярские мелочи?).

Не стоит предаваться досужим размышлениям о том, насколько эта олденбурговская *обмякшесть* свойственна нынешнему западному человеку в целом. Насколько проявляет в ней middle class свою дремлющую *волю к жизни*, уставшую страсть к движению. Ах, мы успокоились навеки! Оставьте нам возможность наблюдать за шляпой, вяло ложащейся на луг.

Чтобы передать ее полет, Олденбург вынужден показывать три шляпы сразу: в верхней точке траектории, в середине и незадолго до приземления («Приземляющаяся шляпа в трех стадиях» построена в 1982-м в Шервуд-парке в калифорнийском Салинасе). Довольно редкий случай, когда художник дублирует предмет внутри одной композиции (проще ведь продублировать саму композицию? кто же этим не гнушается?). Эффектнее на самом деле зарядить целую серию — и музыкальным инструментам наследует гастрономический цикл. Огрызок яблока. Нарезанная булка с изюмом. Тающее эскимо. Какое скрытое изящество в этой перекличке еды с музыкой — единственного, что человек в состоянии сделать глубоко индивидуальным и в чем он вынужден подчиниться общему течению жизни.

Казалось бы — чего уж проще? Каждый рожден, чтобы слушать предназначенные только ему (и сочиненные лишь ради него) мелодии. Есть пищу, созданную по существующим лишь для него рецептам. На деле же...

Сделаем абсурдность ситуации очевидной для каждого! И в 1961-м Олденбург открывает в доме 107 на 2-й стрит в Нью-Йорке свой The Store. Магазин настоящий: работает по расписанию, а владелец платит 60 долларов аренды в месяц, включая отопление и воду. Только в качестве товаров — продукты и одежда из раскрашенного муслина в гипсе. Пироги, гамбургеры, жаркое. Костюмы, кеды, блузы. И примкнувший к ним кас-

Клас Олденбург с гигантским тюбиком зубной пасты. Оксфорд-стрит, Лондон, 1966. Фото Марты Холмс.

совый аппарат. Они-то и приносят славу. Ибо раблезианскими пирами (в варианте Рима периода упадка) с тех пор заболела вся культура, начиная с кино: «Большая жратва» Феррери, «Холодная закуска» Блие и «Повар, вор, его жена и любовник» Гринуэя определили границы, за которыми обжорство, потеряв всякие этические нормы, превратилось в голую эстетику. Поеданию, собственно, все равно какому предаваться — капустному, осьминожному или предметному. Колбаса уравнена в правах со штепселем — радость обладания ими одинаково интенсивна и ограничена только смертью. В кино она наступает быстрее. Последнее же различие между чревоугодием и фетишизмом (полнота собственного желудка радует отчего-то

больше, чем обладание вещью) преодолевается сегодня простым, но верным способом. Предметы увеличиваются в размерах: в XX веке это любят проделывать с ними чаще, чем уменьшать (последним увлекались в веке XIX: дюймовочка и мальчик с пальчик выразили потаенный страх перед новым, лишенным иллюзий миром.)

Американский авангард 60-х нашел себя в поп-арте — искусстве, иронизировавшем над современным миром вещей, который вытеснил собою все остальные миры (а что еще после войны оставалось делать, как не *покупать*?). Но художники словно учуяли в этом наступлении какую-то опасность для внутренних пространств. Не соглашаясь с тем, что в постоянном поражении культуры и таится ее проездной в будущее.

Должно ли тело быть телесным?

Олденбург словно боится человеческого тела. Он показывает исключительно его продолжения. То, что держит рука (садовые инструменты, барабанные палочки), что лежит на голове (шляпы) или оказывается в сумке после похода в супермаркет. Но в этих «протезах тела»[1] гораздо больше от сегодняшнего homo sapiens (а особенно — в умении, ужаснувшись чему-то, этим жестом себя от него и обезопасить), и изучать психику повседневности историкам придется именно по Олденбургу. Ведь объект у него — «чувствует» (пишет Германо Целан в роскошном каталоге, изданном в прошлом году боннским Kunst- und Ausstellungshalle). То есть мыслит и существует. И связей своих со всем окружающим не таит. Особенно когда памятники (любимое олденбурговское занятие) не только на бумаге остаются, но в реальности воплощаются. Тут и ландшафт, и история — все на месте. Жаль только, огромного такого мишку-колосса в Центральном парке Нью-Йорка не поставили. Самые грандиозные мечты так в мечтах всегда и остаются (может, тем они и ценны?). Зато и реализованные (роскошные бильярдные шары на прибрежной лужайке в Мюнстере, 1977, шестиметровая зубная щетка где-то там же шесть лет спустя) и нереализованные идеи (дом в образе штепсельной розетки или мячи на Темзе — высотой с Вестминстер) без устали отыгрывают любимый сюжет нашего времени: что есть искусство? что есть предмет искусства? Да все что угодно, говорит Олденбург и предъявляет массу примеров.

Самые эффектные — те, где художник вспоминает, что он режиссер (все-таки изучал театр в Йейльском), и пробует на уже существующие роли другие вещи-актеры. Вентилятор, заменяющий статую Свободы (он будет дуть в море: вот и ответ Человека Природе!). Раскрытые ножницы вместо Обелиска (в том же Нью-Йорке). Острота «актеров-новобранцев», а порою и агрессивность не должны смущать: полгода Олденбург работал репортером уголовной хроники и насмотрелся всякого. Но в душе остался добрым человеком: «Я за искусство, помогающее старушке перейти через дорогу». И до ужаса антропоцентричным: «Я за искусство, которое вешают на уши, наносят на губы и глаза, которым напомаживают волосы, бреют под коленками, которое втирается щеткой в зубы, привязывается к ляжкам и надевается на ноги». Но ни ляжек, ни бедер, ни очаровательных глаз у Олденбурга не встретить. Их место отдано протезам. Со временем те становятся ценны сами по себе. Но лишь художники еще способны этому воспротивиться.

«Есть две возможности ускользать от буржуазности: 1) аристократизм и 2) интеллект (в чем искусство не преуспевает)». Третью возможность Олденбург создал своими памятниками, выросшими из бытового мусора цивилизации. Если все, что нас окружает, является искусством, то отчего бы и к себе самим не отнестись как к участникам Большого Перформанса? И внутри себя все, что ни обнаружишь, сразу числить по разряду музейных объектов?

Но строить из гипса еще и внутренности? Олденбург выбирает иное. Он передает своим скульптурам то главное, что тело характеризует, — энергию движения. Движения, вызванного человеком. Почти четырехметровая бейсбольная перчатка, ловящая мяч (где-то в штате Нью-Йорк), мост через Рейн в виде пилы (место неосуществления: Дюссельдорф), винт размером в небоскреб (место неосуществления: Сан-Па-

[1] Термин В.Подороги.

улу) — все это зашвырено, закинуто, запущено или просто устало брошено неведомой рукой. А вот зачем так сделано — Олденбурга как бы и не интересует. Тут-то он и вспоминает, что он специалист по протезам, а кинетикой их уже по необходимости занимается.

Правда (поневоле?), ему удалось то, что почти никому не удается.

Сам город становится у него такой же естественной частью человека, как шляпа, перчатки или хозяйственная сумка. Ибо здесь проявляется (и существует) то повседневное, будничное, что делает вещи непрозрачными для нашего взгляда. И придает им одновременно столь всеобщий смысл. И если «будничное неуловимо»[1], то сетями для него и оказывается город, помещающий вместо памятников героям — памятники Спичкам, Ложкам и прочей ерунде.

Зачем превращать Город в игровое пространство? В поле, по которому, словно фишки, перемещаются памятники и объекты? Художнику мало печатной «Монополии» или компьютерной «Цивилизации»? Но как только одежда и вещи становятся продолжением нашего тела, а продукты питания — символом наших надежд, так сразу же Город превращается в уникальное место, способное переварить, прожевав и расплющив, все плоды этой повседневной культуры, прячущейся от равнодушных глаз, но определяющей собою едва ли не каждый человеческий шаг. Увеличив ложку или бильярдный шар до бесконечных размеров (чтобы перестать их бояться), Олденбург нуждается теперь и в соответствующем Теле, соразмерном с этими выросшими предметами. И только Город способен вновь превратить их в предметы-пигалицы, безделки, пустяки, не заслуживающие нашего внимания дольше тех нескольких минут, что мы ими пользуемся.

Как сшить Америку

Зрители не случайно чувствуют себя так комфортно среди двухметровых ножей, пропарывающих стены выставочных залов снаружи, жареной картошки, вываливающейся из пакета-великана, и прочих экспонатов-гигантов, призванных показать, как существует человек в пространстве вещей.

Как вещи подавляют — но не побеждают.

По крайней мере, не всех.

Некоторые еще находят в себе силы им улыбаться.

И в этой улыбке, собственно, и состоит единственная реальность, физическое наполнение тела.

В ней же — то, что роднит поп-арт Олденбурга с английскими его поп-коллегами (чуждыми, как известно, американцам в силу откровенной своей человечности, пристрастия к *настроению* — что особенно видно у Хокни). Ирония Олденбурга не носит социального характера. Скорее это скепсис художника, а не тихого марксиста (коим Уорхол, без сомнения, одно время себя воображал).

Записная бутылка (модель). Валенсия, Институт современного искусства, 1989—1990.

Гигантомания Олденбурга лишена какого-либо страха перед вещами. Помилуйте, чего же здесь бояться? Вполне милые стамески, сетки от баскетболь-

[1] М.Бланшо в статье «Язык будней» («Искусство кино», 1995, № 10).

ных корзин, бельевые прищепки. Ну а что они десятиметровые вымахали да в центре города где-нибудь вас неожиданно встречают — это скорее попытка их победить, нежели им сдаться. В отличие от памятника Вождю, памятник Прищепке напоминает лишь о доме, воскресной семейной стирке и запахе морозного утра. Но оба памятника обращены к массе, а не к конкретному человеку. Поскольку сюжетом монументального искусства всегда остается толпа. Состоящая в одном случае из «человека идеологического», в другом — «человека быта», «человека privacy».

Известно, что поначалу (о, смерть феминисткам!) Класу помогала его жена: она сама шила «обмякшие предметы». Повод ли это, чтобы обвинять художника в мачизме? в равнодушии к предмету? вещи?

Увы, он просто выглядит отстраненным.

Любопытно, что именно американцам потребовалось первым прибегнуть после мировой войны к иронии и массовому отстранению как средству сохранить здоровый дух. Любопытно, что из всех неамериканцев именно немцам такое отстранение понравилось больше всего. С одной стороны, в Кёльне, в музее Петера Людвига, находится едва ли не лучшая в Старом Свете коллекция поп-арта. С другой — роскошная выставка Олденбурга, путешествующая последние два года по обеим сторонам океана, посетила три американские столицы (Вашингтон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк), а лишь затем две европейские — Бонн и Лондон. Но именно Германия окончательно приняла Олденбурга за своего — как приняла она и Пригова с Рубинштейном. Ведь главное — чтобы у любой, самой что ни на есть художественной концепции было свое рациональное объяснение. Чтобы можно было логически понять красоту предмета, изящество замысла — и заплатить за радость такого понимания от всей души. (Странно лишь, что само немецкое искусство упорно отказывается сегодня следовать духу своего народа. Не в этом ли, впрочем, и состоит скрытое предназначение всякого искусства: чем-нибудь да обижать родной менталитет, подсовывая ему вместо сладкого — кислое, вместо хорошо знакомого — суп из лягушек и норовя все погладить не по шерстке, а против? Вот и повод обратиться к иностранцам, которые в своем равнодушии к нашим проблемам и нами гораздо спокойнее воспринимаются.)

Американцы, впрочем, горды Олденбургом как гадким утенком, выросшим в «одного из самых талантливых и интеллектуальных» художников (таких здесь и впрямь мало). Более того: Олденбург физически скрепляет расползающееся на глазах пространство Америки. Его «Геометрическая мышь», вызвавшая столь бурные споры, установлена в городских парках всей страны — от Вашингтона до Хьюстона и Миннеаполиса.

Тем самым поп-арт, еще недавно казавшийся моветоном, стал прошивать географию новым художественным стандартом.

На зависть концептуалистам.

Что значит: метить в молоко, а попадать в яблочко.

Так и поступают те, кто smart, а не просто clever.

Искусство летать шляпой

Чего греха таить: многие образы у художника напоены фаллической символикой. Но даже для этой (столь важной для 60-х) темы он смог найти образы, не связанные напрямую с волнующим его предметом, — и здесь он скорее швед, чем американец (запрет на прямое высказывание все время выдерживается им с необычайной твердостью). Постепенно опадающая губная помада. Водосточная труба, принимающая форму мужских гениталий. Сморщенные «бычки».

Ирония — вот чем симпатичен Олденбург и чего так не хватало порой Энди Уорхолу, всерьез воспринявшему свою войну с американским обществом. Результат известен. Уорхол надорвался, Олденбург продолжает изучать мир предметов.

Главное: как ему удается не попасть к ним в плен?

Может, вещей и впрямь не существует?

Но тогда нет и секса.

Или нет, сексуальная революция была так же неизбежна, как и связанный с нею поп-арт. Последний, известное дело, был спровоцирован засилием абстрактной живописи. Публика медленно от-

сыхала, не в силах развить в себе адекватное Асгеру Йорну и Никола де Сталю мышление. Поп-артовцы бросились ей на помощь. Вроде бы спасли. Поп-арт публика не полюбила, зато лучше поняла абстракционистов.

Сексуальная раскрепощенность — любимое детище 60-х, — как и многое другое, оставило Олденбурга равнодушным. Несмотря на обилие фалличес-кого в своих работах (чего стоит тот же «Город, поставленный на голову», 1962: перевернутые небоскребы болтаются словно ...), он все же остается верен первому, истинному значению слова «поп-арт». Хотя массы (а следом за ними и некоторые критики) часто думают, что за этим термином таится «популярное искусство», в действительности все милее. Поп — оно и есть pop, вовсе не popular. «1.Отрывистый звук. 2. Выстрел. 3. Шипучий напиток» — так называлась работа англичанина Ричарда Гамильтона, давшая в 1956-м (шла выставка «Это — сегодня») название всему течению. Гамильтон, кстати, лучше всех его определил: «Общедоступный, преходящий, потребительский, дешевый, массовый, молодой, остроумный, сексуальный, обманчивый, блестящий и большой бизнес».

Американцы быстро свернули в сторону изучения банального (а что долго изучаешь, на то и сам поневоле похож). Что вылилось: в описание собственного «американского пути», поклонение комиксам и постебывание над звездами. Но постоянное обыгрывание американского флага затрагивает лишь самих американцев, а бесконечные сериграфии с Мэрилин Монро стали в итоге визитной карточкой, символизирующей тайные устремления и самого Уорхола, и всего движения.

Но Олденбург к этому не причастен.

Словно владелец хосписа, он принимает усталые объекты и проводит с ними долгие и неунылые вечера.

Тюбик, поддерживаемый своим содержимым. Дюссельдорф, 1985.

Он любит все предметы — фалличес-кие и не очень, любит их производителей и обладателей и хотел бы, собственно, заархивировать (собрать, расставить по местам и снабдить этикетками) все и вся.

Места только мало: парки, сады и перекрестки, которых и так не хватает ни публике, ни художникам.

Остается рисовать проекты, выпускать альбомы и грезить о золотом веке. Когда каждому будут светить сразу по три шляпы: одна на голове, другая на подлете, а еще одна — только запущенная умелой и нежной рукой наблюдающего именно тебя, любезный зритель. Или читатель.

Будь осторожен: скоро она приземлится.

Освободи ей место. Сними предыдущую.

ГЮНТЕР ГРАСС — КЭНДЗАБУРО ОЭ

ВЧЕРА, ПОЛВЕКА ТОМУ НАЗАД

ПЕРЕПИСКА

Перевод с немецкого и вступление А.ЕГОРШЕВА

Идея родилась в редакциях двух газет. В начале 1995 года «Асахи симбун» и «Франкфуртер рундшау», не сговариваясь, обратились к Гюнтеру Грассу с просьбой откликнуться на пятидесятую годовщину окончания второй мировой войны. Отвечая на предложение, Грасс заметил, что было бы, наверное, неплохо, если бы он и Кэндзабуро Оэ поразмышляли об этом историческом событии, вступив друг с другом в переписку. У Грасса были достаточные основания полагать, что Кэндзабуро Оэ согласится: их личные и творческие судьбы во многом схожи, многоплановая тема войны всегда глубоко волновала обоих писателей, осмыслению страшного и позорного периода в истории Германии и Японии отданы в их произведениях сотни страниц, к тому же они лично знакомы и как-то даже дискутировали перед широкой аудиторией на Франкфуртской книжной ярмарке. И лауреат Нобелевской премии не замедлил ответить согласием.

Грасс уже был однажды инициатором такого эпистолярного диалога между писателями двух стран. Считая, что вести его надлежит «по ту сторону» официальной политики, а то и в пику ей, он переписывался с Павлом Когоутом перед наступлением и во время «пражской весны».

Восемь писем, которыми Грасс и Оэ обменялись с февраля по июль 1995 года, были опубликованы не только в «Асахи симбун» и «Франкфуртер рундшау», но и — полностью или с сокращениями — крупнейшими газетами Бельгии, Великобритании, Венгрии, Дании, Израиля, Италии, Франции, Швеции. Заинтересованными свидетелями диалога между выдающимися писателями современности, диалога беспристрастного, острого в оценках, самокритичного, стали, таким образом, миллионы читателей в Европе и Азии.

© Steidl Verlag, Göttingen, 1995
© А.Егоршев. Перевод и вступление, 1997

Незаживающие раны

Начало февраля 1995 года

Дорогой Кэндзабуро Оэ,

Вам сейчас, видно, так же несладко, как и мне: Вашего покорного слугу буквально засыпали просьбами высказаться, будь то кратко или пространно, по поводу тех дат, когда сперва для Германии, а потом и для Японии закончилась безоговорочной капитуляцией вторая мировая война; произошло это, как известно, пятьдесят лет тому назад. Поскольку мне активно не нравится реагировать на злобу дня таким образом, я решил написать Вам, ведь мы оба из поколения, выросшего в годы войны. Война решающим образом повлияла на формирование нашего сознания. На собственном опыте нам пришлось убедиться, что период времени, называемый послевоенным, длится, по существу, до сих пор. С каждым десятилетием и мне, и Вам становилось все ясней, что преступления, совершенные немцами и японцами, не только не канули в Лету, но бросают мрачную тень и на наш день.

8 мая 1945 года я встретил, лежа в лазарете, пожалуй, прежде всего как день, когда окончательно рухнула, хоть и подпирали ее до последнего момента зажигательными призывами, идеологическая пирамида, на которой было начертано: «Война до победного конца!». Не зная, во что теперь верить, я тоже пребывал в состоянии какого-то тупого оцепенения. Неистребимым было лишь инстинктивное желание выжить.

Писатель рад приобрести такой опыт. Пусто́ты в памяти для него — сомнительное благо. Тот, кто тяготеет к повествовательному жанру, знает, что свойственное историкам стремление отдать те или иные отрезки минувшего на откуп составителям учебников способно вселить в людей лишь обманчивые надежды. В Германии дебаты на эту тему не утихают с тех пор, как разгорелся пресловутый «спор историков». Интересно поэтому было бы узнать, каково отношение японской общественности к тому, что принято называть историей современности. Раздаются ли у вас требования «подвести наконец черту»? (В моей стране такие требования выдвигают порой даже очень нахраписто.) Есть ли в Японии люди, выступающие против поспешной сдачи прошлого в архив?

Пишу Вам, так как читал Ваши книги и знаю, что и Вам небезразличны мои скромные труды. Мы встречались в Токио, а затем, по прошествии многих лет, во Франкфурте-на-Майне. Обмениваясь мнениями как в частном порядке, так и публично, мы вскоре вышли на «нашу тему», заговорили о незаживающей ране, ибо неизгладимый отпечаток на нас наложило, бесспорно, то, как жестоко с нами, совсем еще юными, поступили тогда, когда Германия и Япония, создав ось Берлин — Токио и преследуя откровенно захватнические цели, стали союзниками: два народа и их вооруженные силы, подчинившись воле диктаторов, бросили вызов мировому сообществу, и оно, напрягая все силы, ответило на него так, что тотальная война, которую вели эти народы, закончилась их таким же тотальным поражением.

Державы-победительницы потребовали от поверженных «безоговорочной капитуляции» — прежде всего в военном отношении. Однако поскольку не только закончилась война, изначально насквозь преступная, но и был положен конец спланированному в Германии и вершившемуся ею истреблению евреев и цыган, чудовищные масштабы которого, вместе со всей бесчеловечностью фашистского режима, стали очевидны, едва распахнулись ворота концентрационных лагерей, от Освенцима до Берген-Бельзена, ужас, испытанный тогда мною, семнадцатилетним, не прошел и по сей день, равно как и стыд, заглушить который во мне невозможно ничем.

Поражение Японии тоже не исчерпывалось военной капитуляцией, оно означало для многих народов — Китая, Кореи, Бирмы, Индонезии, Филиппин и других стран — прежде всего освобождение от гнета свирепых, не знающих ни в чем пощады оккупантов.

Сегодня казуи́сты в Германии спорят о том, как надлежит отмечать 8 мая — как день окончания войны или как день освобождения от фашизма? Помнится, в первые послевоенные годы предпочитали говорить просто о «крушении», тоже стараясь выдать разгром империи террора и повального страха за возможность начать все с нуля, будто ступить на новый путь можно чистым и свежим, лишь умывшись утренней росой; будто достаточно расчистить улицы от развалин и завалов; будто позволительно отделаться легким испугом. По-юношески неукротимым желанием выжить были одержимы тогда миллионы немцев, а не только я.

У мощного процесса вытеснения из памяти позорного прошлого — в Японии он протекал наверняка схожим образом — было одно, с позволения сказать, достоинство. Энергия, с которой осуществлялась экспансия в годы войны, еще сохранилась и сконцентрировалась теперь на восстановлении народного хозяйства, создав то, что позже получило

название «немецкого экономического чуда». Одновременно росла — словно все еще существовала ось Берлин — Токио — экономическая мощь Японии. С изумлением, испугом и, пожалуй, даже завистью вчерашние победители наблюдали, как разбитые ими наголову противники, с одной стороны, очень скромно держали себя на политической арене, а с другой — шаг за шагом завоевывали мировое признание, вырастая в индустриальных гигантов. «Неужели войну выиграли в конечном итоге Германия и Япония?» — спрашивали себя государственные деятели в Белом доме, Кремле, на Даунинг-стрит.

Вопрос, конечно, нелепый, ибо задававшие его себе не учитывали того обстоятельства, что здоровье обеих наций было подорвано, причем надолго. Разбогатев материально, Германия и Япония и сегодня остаются духовно нищими странами, так и не залечившими глубокую травму в сознании общества. Они все еще рискуют снова впасть в варварство, хотя опасность исходит пока только от маргиналов. При всем своем богатстве и экономической мощи они не нашли и не поняли себя. В Германии этот надлом ощущается в последнее время очень болезненно.

Попробую обрисовать вам, в каком состоянии находится сегодня моя страна. Когда пять с небольшим лет тому назад в Европе был снесен «железный занавес», а в Берлине рухнула «стена» и перед нами, немцами, открылась наконец возможность преодолеть нашу разделенность, то была еще надежда, что мы сумеем бережно обойтись с этим подарком. Ничего подобного, однако, не произошло. Проведенное сверху объединение — желание восточных земель присоединиться к ФРГ добровольно обернулось их «аншлюсом» — не может скрыть того факта, сколь глубока пропасть, разделяющая страну и ее граждан в социальном отношении. Даже общий наш язык не в состоянии сгладить различия, что накопились за сорок лет и стали теперь еще ощутимее.

Раздавшись вширь, Германия к тому же ведет себя мелочно, по-крохоборски. Дрожа за накопленное, стараясь изо всех сил сохранить его, банкиры и промышленники, столь щедрые прежде на инвестиции, теперь празднуют труса и не отваживаются на них. Общество боязливо замыкается в себе, впало в старый недуг, то есть опять враждебно относится к иностранцам, отказывает страждущим в праве на убежище, которое еще недавно составляло одно из главных достоинств нашей конституции, и спокойно взирает на то, как этих людей безжалостно выдворяют из страны.

Увы, свершенное с барскими замашками объединение не пошло стране впрок. Правящим партиям, уверенным в собственной непогрешимости, противостоит безвольная, инертная оппозиция. Газеты и журналы, радовавшие прежде разнообразием, хоть и стали с виду ярче, все больше походят друг на друга. Коррупция процветает, оставаясь безнаказанной. Духовная жизнь переживает застой и не оплодотворяет общество интересными идеями. Уроки демократии, усвоенные с таким трудом, забываются.

Делая, к сожалению, столь безрадостные выводы и констатируя спустя полстолетия после безоговорочной капитуляции германского рейха деградацию раздобревшей Федеративной Республики Германии, хотелось бы знать, как видится Вам, уважаемый Кэндзабуро Оэ, процесс развития Вашей страны и как Вы оцениваете его. Быть может, такое сравнение, не касаясь конкурентной борьбы между нашими странами в области экономики, позволит нам взглянуть на некоторые вещи по-новому.

Разве не надеялись мы в молодости, что приговор, вынесенный военным преступлениям Германии и Японии, станет серьезным предостережением немцам и японцам, равно как и всему миру? И разве новое военное преступление, когда на японские города были сброшены атомные бомбы, не перечеркнуло тут же наши надежды? Пятьдесят лет, прошедшие после окончания второй мировой войны, отмечены множеством кровопролитных войн. И люди не прекращают воевать. Под предлогом «этнической чистки» на Балканах продолжается геноцид. Другие страны взирают на это, чувствуя полное бессилие или же скрупулезно оберегая свои интересы. Похоже, окончание «холодной войны» вновь сделало пристойным занятием войну «горячую». Питать в такой ситуации иллюзии было бы безответственно, если не аморально.

Старея, мой друг, мы остались детьми, которые, по хорошей немецкой пословице, раз обжегшись, страшатся огня. С нашей писательской памятью нам пришлось научиться жить, запасшись терпением, — Вам в Японии, мне в Германии. Нам не привыкать находиться в офсайде и слыть злопыхателями на вольных хлебах, поливающими грязью свою страну. А ведь критический взгляд лучше всего выражает нашу любовь к странам, в которых мы живем. Именно потому, что нас многое объединяет, я и пишу Вам, надеясь к тому же, что наша переписка может представить и общественный интерес.

С дружеским приветом

Гюнтер Грасс

Ужасное раздвоение чувств

Токио, 25 февраля 1995 года

Дорогой Гюнтер Грасс,

мне было десять лет, когда я, в отличие от Вас, по молодости не призванный в армию, живя в деревушке, затерянной среди лесов и гор на одном из островов японского архипелага, услышал по радио сообщение о поражении моей страны во второй мировой войне. В эфире звучал голос тэнно[1], божества, обладающего неограниченной властью, и это божество говорило человеческим голосом. Время, начало которому положил тот день и которое продолжалось до принятия новой конституции и плана построения в нашей стране демократического общества, а также последующие годы моей юности были самым чудесным временем в моей жизни.

В Японии наступила эпоха демократии (тут следует заметить, что в нашей стране есть немало людей, которые с презрением говорят о «послевоенной демократии», для меня же это понятие существует только в положительном значении), и то, что я усвоил и открыл для себя в те годы, стало — и остается по сей день — путеводной нитью в лабиринте моего бытия, определяя мое отношение к человеку, обществу и миру. Позволю себе заметить, что этим определяется и мое отношение к прошлому, настоящему и будущему.

При чтении Вашего письма я вспомнил об ощущении, которое подавлял в себе все послевоенные годы. Мое мальчишеское сердце разрывалось, пока шла война: я мечтал попасть на фронт, чтобы погибнуть, сражаясь за тэнно, и в то же время боялся, что так оно и может случиться. Нетерпение, которое я испытывал при мысли, что опоздаю и война может кончиться без меня, и тайная надежда, что по возрасту я не успею попасть на фронт, привели к ужасному раздвоению чувств. Когда же война закончилась, мне постоянно грезилось, что в нашем краю скрываются воинские части, которые не признали поражения и чьи командиры призовут нас взяться за оружие, так что и мы, прозевавшие войну, примем еще участие в боях, если последуем их призыву. Мечта эта не покидала меня, пока в нашу деревушку не вползли по горной дороге джипы союзников, убедив меня, что Япония действительно потерпела поражение.

Ну а сопротивления войскам союзников, продвигавшимся в глубь страны, никто и не оказывал. Консерваторы в Японии считают, что мы были вынуждены подчиниться давлению оккупационных властей и что конституция, будь она трижды демократической, была навязана нам генералом Макартуром. Мне же кажется, что нам полезнее помнить о том, что японцы, не сложившие после капитуляции оружия в буквальном смысле, не оказывали победителям практически никакого сопротивления. Не стоит также забывать, что проекты новой конституции, предложенные представителями правящего класса нашей страны, коим удалось избежать ареста и суда, хотя они совершили военные преступления, были куцыми, даже убогими по сравнению с проектом конституции, разработанным союзниками, ведь он базировался на принципах демократии, которые прошли на Западе проверку временем.

Ясно видя урон, нанесенный стране ожесточенными боями на Окинаве, атомными ударами по Хиросиме и Нагасаки, массированными бомбардировками Токио, взрослые японцы тем не менее не дали принципиальной оценки крупным перегибам, допущенным в ходе модернизации всей жизни страны. Они просто смирились с судьбой, послушно приняв проект конституции, разработанный в недрах госдепартамента. И мне с удивлением вновь приходится констатировать, что стереотип поведения, сотканный из пассивности, смирения и покорности — хотя такая позиция была порой лишь позой, — лежал в основе внешней политики Японии все последние пять десятилетий, даже после заключения мирных договоров и обретения страной полного суверенитета.

Будучи подростком, я не имел ни малейшего представления о проблемах, которые приходилось решать взрослым. Я просто был в восторге от того, что план демократизации, разработанный на основе новой, теперь уже нашей конституции, осуществлялся даже в маленьких деревушках, а на уроках нам объясняли, что такое демократия. И радости моей не было конца, когда я, пылкий юноша, представлял себе, как густая сеть коммуникаций, называемая демократией, свяжет со временем самые отдаленные селения, всю провинцию с Токио, нашей столицей.

Мои предки испокон веков жили в долине, окруженной густыми лесами, исповедуя обычаи этого края, в чем и заключалась их культура. Я первым из нашей семьи оставил

---

[1] Тэнно — император (*яп.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

отчий дом, уехал в Токио, изучал французскую литературу, а заодно понемногу и жизнь, выбрав в итоге писательскую стезю, по которой бреду до сих пор. Со дня, когда я десятилетним мальчуганом услышал божественного тэнно, говорившего человеческим голосом, до публикации моих первых рассказов (самый первый увидел свет в газете Токийского университета) прошло всего двенадцать лет.

Став прозаиком и ведя жизнь писателя, я с горечью узнал о злодейских преступлениях, совершенных японской армией во многих странах Азии, прежде всего в Китае. Я узнал, в частности, и о том, как оккупанты принуждали кореянок заниматься проституцией, фарисейски называя их «ианфу», утешительницами, и понял, что дискриминация корейцев, одним из проявлений которой являлось глумление над этими бедными женщинами, началась давно, с аннексией страны в 1910 году. Мне стало ясно, что политику Японии по отношению к Азии нельзя рассматривать в отрыве от процессов, происходящих в самой стране.

Постепенно я начал осознавать всю глубину бедствий и страданий, которые принесли с собой атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Забыть это нельзя, как невозможно предать забвению зло, причиненное Японией другим азиатским странам. Помня о жертвах атомной бомбардировки, о неизлечимых болезнях, вызванных радиоактивным облучением, о его страшных генетических последствиях для потомков жителей обоих городов, можно сказать, что это жгучая проблема не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. И вот в такой ситуации, размышлял я, от пострадавших в радиоактивном аду и всех нас требуют признать легитимность мирового порядка, поддерживаемого в зыбком равновесии лишь страхом перед атомным оружием.

Я был молодым человеком с более чем скудным запасом знаний, в голове бродил туман. Но тоже, выражаясь Вашими словами, был одержим желанием выжить, тем более что впервые в жизни передо мной открылся мир демократии. Рано став писателем, я не видел иного пути, кроме как нести бремя нашей эпохи, воспринимая его как собственную судьбу.

Оглядываясь на первые годы моей писательской жизни, я вижу молодого человека, очень похожего на Вашего Оскара из «Жестяного барабана», романа, который я отношу к самым замечательным литературным произведениям второй половины нашего столетия. Оставаясь простодушным и доверчивым, Оскар весь изранен. Раны не заживают у него ни на теле, ни в душе. Тем не менее он живет сознанием, что с людьми, причиняющими ему боль, его соединяет общая ответственность. И Оскар непрестанно кричит — кричит, не зная почему...

В ту пору, когда я собственными глазами увидел людей, пострадавших от атомного взрыва над Хиросимой, но не уронивших человеческого достоинства, у меня родился мальчик с умственным дефектом. Живя с сыном, который в детстве воспринимал лишь голоса птиц, да и сегодня, по прошествии тридцати лет, в состоянии общаться с другими людьми лишь посредством своей музыки, я постоянно носил в себе образ Оскара. Его крики превращались в тексты, которые я тогда писал.

Уважаемый Гюнтер Грасс, если бы Вы попросили меня назвать точку, в которой фокусируются политические события, происходящие в моей стране, я бы сказал, что это вопрос, должен ли наш парламент принять накануне пятидесятой годовщины окончания второй мировой войны декларацию, в которой бы война отвергалась как средство для достижения целей внешней политики. Речь, таким образом, идет о том, чтобы напомнить о чудовищном кошмаре, каким была последняя мировая война, и показать всему миру, что Япония принимает клятвенное обязательство никогда не вести войн, а всегда стоять на страже мира.

Нынешнее правительство Японии образовано Социалистической партией. Однако, располагая в парламенте лишь незначительным большинством, оно вынуждено опираться на либеральных демократов. И хотя правительство решилось внести в парламент проект вышеозначенной декларации, даже в рядах правящих партий у него немало противников.

По сообщениям газет, эти люди опасаются, что декларация, будучи принятой, лишит нашу страну возможности маневра на предстоящих переговорах по проблеме кореянок-«утешительниц» и выплате компенсации за урон, нанесенный другим странам в ходе второй мировой войны. Но разве целью любой декларации, касается она одной личности или целого государства, не является торжество справедливости — чтобы собственное «я» было лишено возможности лавировать?! Министры в моей стране постоянно отрицают преступления, совершенные Японией после вторжения в страны азиатского региона, начиная с резни в Нанкине; международная и японская общественность выражает свое возмущение,

и высокопоставленных чиновников увольняют, учитывая, разумеется, прежде всего реакцию со стороны других стран. Идя по стопам своих предшественников, эти люди, несомненно, совершают преступление из политических убеждений. Ни один из них после увольнения еще не покаялся, не заявил, сгорая от стыда, что пересмотрел свои взгляды на захватническую войну, зато почти каждый сохранил за собой место в парламенте. Более того, эти сановники составляют костяк тех сил, которые сейчас пытаются сорвать принятие декларации. Если дело пойдет так и дальше, то, думаю, нам не преодолеть недоверия, с которым к Японии относятся в других странах Азии.

Еще одним аргументом против принятия декларации служат рассуждения в газетах о том, что близкие родственники убитых на войне с болью в сердце воспримут заявление о захватническом характере последней войны. На мой взгляд, это самый острый и деликатный вопрос во всей дискуссии. Родственники убитых, конечно, тоже жертвы захватнической войны. К тому же мы не можем не скорбеть и об убитых, хотя они сами убивали. Тем более, если вспомнить, каким было японское государство, развязавшее войну. Поэтому я спрашиваю себя, не должны ли мы, японцы, потребовать от нынешнего государства возвращения нам погибших на войне, тех, кого мы оплакиваем в наших семьях. Если бы каждый из них вновь обрел свою неповторимую индивидуальность, то разве не могли бы мы полнее разделить их страдания и печаль, ведь их сделали орудием осуществления захватнической войны и заставили умереть на ней. Разве тогда не появилась бы надежда на действительное примирение между родственниками жертв захватнической войны в Азии и родственниками убитых японских солдат?

Пока же вдова одного из них подала в суд на японское государство, протестуя против поминания имени ее мужа, католика по вероисповеданию, в синтоистском храме Ясукуни. (Синтоизм был в Японии до 1945 года государственной религией.) Верховный суд не удовлетворил ее протест, она проиграла дело, но поступок этой мужественной женщины нашел живой отклик в наших сердцах, ведь она пыталась вернуть себе мужа, человека с неповторимыми чертами, одного из тех, кто остался для стоящих у кормила государственной власти безликой и безымянной массой. Не сомневаюсь, что ее голос, преодолевая конфессиональные границы, сольется с голосами людей, потерявших на войне отца, брата или сына, вообще близкого человека. И если это произойдет, то окажется битой карта консерваторов, утверждающих, что они отказываются признать войну захватнической из уважения к чувствам родственников всех убитых на войне. В конце концов, этот «аргумент» на руку только государству, каким его представляют себе политические деятели такого толка.

Дорогой Гюнтер Грасс, в следующем своем письме я постараюсь рассказать Вам о том, что происходит в моей стране сегодня.

Ваш Кэндзабуро Оэ

Реабилитировать дезертиров

Вале-даш-Эйраш, 12 апреля 1995 года

Дорогой Кэндзабуро Оэ,

благодарю Вас за письмо, перевод которого мне переслали в Португалию, куда я, ища уединения, сбежал на пару недель. Читаю здесь, так сказать на западном краю Европы, корректуру нового романа. Вам наверняка знакомо это двойственное чувство: с одной стороны, рукопись еще перед тобой и ужас как хочется доправить то или иное место, с другой стороны, книга постепенно отходит от автора и начинает жить своей жизнью; у нее теперь собственный путь, для тебя она становится чужой.

Поскольку действие этого романа начинается поздней осенью 1989 года, когда перестала существовать разделенность Германии на два государства, и время, таким образом, обозначено, то невозможно, как всегда бывает, если рассказываешь какую-нибудь историю из немецкой жизни, не затронуть прошлое, а вместе с ним и позапрошлое. В данном случае это 1871 год, первая попытка создать единое германское государство, опираясь на результаты трех захватнических войн. Но основанная Бисмарком империя не просуществовала и полстолетия, у Веймарской республики век оказался еще короче, а о преступлениях и прочих черных делах третьего рейха, свирепствовавшего всего двенадцать лет, нам приходится говорить и по сей день, ибо моей стране, которая сорок лет оставалась расчлененной на два государства, и теперь не хватает энергии и политической воли, чтобы воз-

родиться для новой жизни. Столь тяжелыми оказались последствия того момента, когда люди впали в варварство. Так невеселое прошлое то и дело настигает нас, чтоб схватить за шиворот.

Судя по Вашему письму, в Японии происходили похожие вещи, демократическое одеяние, в которое и вас, и нас облачали державы-победительницы, оказалось куцым, каждый день случается что-нибудь такое, что говорит об атмосфере неуверенности, царящей в наших странах, и потому мы вместе могли бы, видимо, поразмышлять обо всем этом. Причитать, конечно, можно без конца, лучше остановлюсь на прорехе в нашем законотворчестве, чему в Японии, без сомнения, сыщется параллель.

Речь идет о солдатах, дезертировавших из вермахта. Более двадцати тысяч из них были приговорены военно-полевыми судами к смертной казни. И до сих пор приговоры не обжалованы, на этих солдат по-прежнему смотрят как на жалких трусов. Но разве не они были истинными героями той войны с немецкой стороны? Им достало мужества отказаться участвовать в преступных деяниях. Они проявили величие духа, показав, что испытывают страх. Они не выполняли слепо любой приказ. Неповиновение было их добродетелью. И поскольку, отважно сказав «нет», они и сегодня служат примером, надо наконец, пусть даже с опозданием в пятьдесят лет, воздать им должное. Лучшего повода, чем предстоящие в наших странах торжества, не найти. Хотелось бы, чтобы вы согласились со мной, тем более что требования реабилитировать так называемых дезертиров, вероятно, раздаются и в Японии.

Пережитое в последние недели войны и теперь стоит у меня перед глазами. После того как советские войска прорвали фронт на Одере и началась битва за Берлин, я видел в каждом оставленном населенном пункте солдат, казненных по приговору немецких военно-полевых судов. Обычно они висели на деревьях главных улиц, которые, как правило, носили имя Адольфа Гитлера. Среди них были как пожилые фронтовики, так и мои ровесники. Расправу над ними вершили без суда и следствия. У каждого казненного на груди висел кусок картона с надписью «Я трус!».

20 апреля 1945 года я получил ранение под Котбусом, и хотя война с риском быть убитым для меня таким образом закончилась — о капитуляции я узнал 8 мая в Мариенбаде, лежа в госпитале, — вид повешенных дезертиров врезался мне в память сильнее, чем картина первых мирных дней; эта картина была какой-то абстрактной.

«Это было вчера, полвека тому назад», — мог бы сказать я сегодня. Пережитое видится предельно ясно, когда бросаешь вызов памяти, не уходишь от воспоминаний. Способность запоминать и вспоминать неотделима от нашей профессии, она как бы предписана нам. Я знаю, правительства наших стран едва ли прислушаются к призыву реабилитировать солдат, отважившихся на неповиновение. И все же пусть это будет сказано: они, дезертиры, повешенные или расстрелянные на месте, заслужили уважение всех, кому посчастливилось дожить до того дня, когда наступил мир.

С дружеским приветом

Гюнтер Грасс

Такая этика неприемлема

Токио, 19 апреля 1995 года

Дорогой Гюнтер Грасс,

с огорчением узнал, что в Вале-даш-Эйраш Вы заболели. Вы пишете, что читаете корректуру Вашего нового романа. Я тоже с грустью думаю о том состоянии, которое приходит, когда в последний раз переписываешь очередной роман. Дух и плоть обнажены и совершенно беззащитны. Они походят на улиток и моллюсков, выползающих из своих домиков и раковин. Вы описали это явление просто замечательно.

Ваши воспоминания о времени, когда Вы, совсем еще молодой солдат, видели дезертиров, повешенных на деревьях по краям центральных улиц, глубоко взволновали меня. Я поддерживаю Ваш призыв реабилитировать дезертиров. И то, что Вы с огромным уважением относитесь к людям, отважившимся на невыполнение приказа, должно, по-моему, вызвать, с общечеловеческой точки зрения, симпатию у многих японцев.

В моей стране проблема наказания или реабилитации дезертиров, кажется, еще не осознана широкой общественностью. Это объясняется их незначительным числом, японцы же предпочитают не замечать того, что ниже определенного уровня.

Между прочим, в своем раннем рассказе «Содержание скотины» я, основываясь на воспоминаниях детства, обрисовал судьбу одного дезертира. Там рассказывается о подростках, которые решают охранять селение в горах, покинутое жителями в конце войны из страха перед какой-то повальной болезнью. К ребятам присоединяется беглый солдат, которого зверски убивают, когда жители снова возвращаются в свою деревню.

Прообразом дезертира послужил молодой человек, бежавший из военного училища в родное село. Там его и схватили жандармы. Оставленный на какое-то время без присмотра, он повесился в уборной рядом с родительским домом. Взбешенные жандармы топтали бездыханное тело юноши на глазах родителей. Трагедия разыгралась неподалеку от нашей деревни и хорошо запомнилась мне.

Меня, по существу еще ребенка, потрясло прежде всего то, что умереть позорной смертью молодого человека заставили подданные государства, во главе которого стоял всемогущий тэнно со своими многочисленными советниками и чиновниками. Страх, объявший меня, когда я узнал о случившемся, проистекал также от понимания того, что острие этики, господствовавшей в нашем обществе — с подчинением всего и вся воле тэнно и его чиновников, — подобно жалу пронзало и семью самоубийцы. Его близкие наблюдали за надругательством молча, ни словом не осудив стражей порядка, а еще до этого, как потом выяснилось, отказались спрятать родного им человека.

Я не такой оптимист, чтобы полагать, что подобная драма могла разыграться только до или во время войны, что в обществе с нашей демократической конституцией как дезертирство, так и гибель или убийство дезертиров невозможны.

Недавно я отправился на прогулку по центральным улицам Токио, чтобы насладиться видом цветущей сакуры, и заметил на телеграфном столбе поблекшую от дождей листовку какого-то патриотического союза. Ее авторы, ссылаясь на непреложные заповеди иерархической системы с ее вертикальным стержнем «повелитель — подданный», обвиняли меня в том, что в прошлом году я отказался принять орден за заслуги в области культуры. Читая вынесенный мне приговор, я увидел прохожего с фотоаппаратом, который явно хотел запечатлеть меня на фоне листовки и цветущей сакуры. И тогда я бросился бежать, всем своим нутром ощущая, как жало этики, наполнявшей меня трепетом в детстве, впилось в ткань всего нашего нынешнего бытия.

Ядом из этого жала отравляли нам дух и плоть во время войны. Действительно ли мы избавились от него сегодня, спрашиваю я себя. Свободно ли от его тлетворного воздействия поколение, не испытавшее ужасов войны? Найдут ли японцы в себе при необходимости мужество не повиноваться этическим канонам нашего государства? Или, по крайней мере, аналогичным заповедям корпораций и фирм? Я часто задаю себе этот вопрос и очень хочу, дорогой друг, чтобы Ваш призыв реабилитировать дезертиров был услышан и далеко за пределами Вашей страны.

В Вашем письме есть место, которое заставило меня сильно призадуматься. Вы пишете: «...демократическое одеяние, в которое и вас, и нас облачали державы-победительницы, оказалось куцым...»

Я всегда придерживался мнения, что наша послевоенная демократия важнее всего остального, причем — и Вы это знаете — я вовсе не убежден, что демократия в послевоенной Японии пустила крепкие корни и подобна могучему дубу. Ваши слова заставили меня, однако, вспомнить и о том, с какой энергией в нашем обществе, с моей, конечно, точки зрения, осуществлялось воспитание в демократическом духе в ту пору, когда я был молодым.

Была принята новая конституция, и я, учась в средней школе, которая тоже подверглась перестройке, с упоением читал учебники. Я почти физически ощущал, как идеи и принципы демократии, которые объяснялись мальчикам и девочкам учителями, тоже новичками в этом деле, мало-помалу освобождали нас от «жала», засевшего в детском безропотном духе и теле в годы войны, жестко определяя границы нашего поведения. Скажу больше. Мысль, что мы живем с этим «жалом» внутри, приводила нас в восторг, а ведь оно, как я уже говорил, пронзало тогда весь государственный организм.

Потом наступил период (он длился около трех лет, я поступил тогда в университет), когда американские политики стали в один голос утверждать, что Соединенные Штаты допустили ошибку, заставив Японию вписать в конституцию торжественное обязательство навсегда отказаться от войны как суверенного права нации и средства для разрешения международных споров. Вице-президент Никсон потрудился даже приехать в Японию, чтобы во всеуслышание заявить здесь об этом. Как следствие таких заявлений японские силы самообороны были значительно увеличены, хотя это противоречило конституции, а затем опять громко заговорили о том, что новая конституция была навязана Японии аме-

риканцами, а правящая партия — опять же в соответствии с нескрываемыми намерениями Соединенных Штатов — потребовала пересмотра всей конституции. Однако на выборах японцы отдали оппозиционным партиям такое количество голосов, которое обеспечило им треть мест в парламенте и возможность отстоять Основной закон в его первоначальном виде. Никогда еще я не следил за развитием событий в нашей стране с таким напряженным вниманием, как в те годы.

За истекшие сорок лет конституция пересмотру не подвергалась, однако нельзя было не заметить, что военная мощь Японии все это время целенаправленно наращивалась. Фактом является и активизация сил, настаивающих на пересмотре конституции, чтобы «придать государству более современный облик». Мой собственный скромный опыт свидетельствует, что демократия еще не вошла нам в плоть и кровь и что утверждать обратное было бы просто нелепо.

Поистине огромное значение приобретает в этой ситуации декларация о ненападении, приняв которую в канун пятидесятилетия окончания второй мировой войны японцы повинились бы перед народами Азии — в преамбуле к нашей конституции говорится, что мы стремимся к миру, уповая не на государства, а на народы, — и обязались бы искупить свою вину в любой возможной форме.

Это был бы первый шаг на пути к реабилитации нашей конституции, на которую некоторые граждане Японии взирали в течение последних пяти десятилетий с нескрываемым презрением.

С сердечным приветом

Ваш Кэндзабуро Оэ

Двух бомб хватило, чтобы изменить мир

Белендорф, 9 мая 1995 года

Дорогой Кэндзабуро Оэ,

пытаясь хоть ненадолго мысленно уйти от куда как телегеничных торжеств, в ходе которых бывшие победители и побежденные вынуждены выполнять массу протокольных формальностей, читал Ваше последнее письмо. Вы пишете, что поддерживаете мое выступление в защиту дезертиров. Искренне признателен Вам за это. Быть может, нам удастся вызвать в общественных кругах какой-то резонанс, пусть даже негромкий. Между прочим, в Германии существует Объединение жертв нацистской военной юстиции. Мой призыв к отмене приговоров, вынесенных военно-полевыми судами, наверняка опять ни к чему не приведет. Тем не менее хочу продолжить наш разговор на эту тему.

В моем родном языке, любящем двукорневые слова, понятие «дезертирство» традиционно передается старонемецким словом Fahnenflucht[1]. Следуя этой традиции, и я подростком вместе с другими членами гитлерюгенда распевал песню со словами «...ведь знамя сильнее смерти», не сознавая преступности и нелепости громогласного возвеличивания разноцветного лоскута, украшенного яркой эмблемой. Многие мои ровесники горели желанием умереть за «фюрера, народ и Отечество», отдать за них самое прекрасное, чем нас одарила природа, — жизнь. Для меня же «знамя» было «сильнее смерти», только когда я пел. Вскоре я, однако, надел солдатскую форму и страх помог мне нарушить звучавшую в песне клятву. Так что мы тоже были подданными системы абсолютного повиновения тэнно (в ее немецкой ипостаси), этика которой, как Вы пишете, «жалила» вас в детстве и сегодня еще пронизывает многие стороны жизни японского общества.

Пишу Вам не без стыда за бездарные заблуждения моей юности. Но коль скоро эстетизация войны снова в моде, на сей раз в виде «эстетики жестокости», и дань ей отдают даже публицисты и литературные критики, а представители творческой интеллигенции к тому же все чаще пускаются в туманные рассуждения о самопожертвовании, от этой темы не уйти. Итак, представьте себе опять подростка лет четырнадцати, читающего по совету учителя, инвалида войны, «В стальных грозах» Эрнста Юнгера, книгу, в которой война прославляется как удел настоящих мужчин, а кровопролитные битвы первой мировой выглядят — благодаря живописанию вызывающих священный трепет ритуалов — гигантским культовым действом. Неудивительно, что все это отвечало тому состоянию опьянения смертью, которое мы испытывали, распевая песню о знамени, что сильнее, чем вечная

---

[1] *Букв.*: бегство от знамен.

тьма. Глотая страницу за страницей, я чувствовал готовность пожертвовать собой в любой момент. К счастью, открыв однажды дядин книжный шкаф, я увидел книгу, которая привлекла мое внимание своим названием и, как выяснилось позже, была запрещена еще в 1933 году (тогда же ее бросили в костер во время массового сожжения книг, неугодных нацистскому режиму). Это был роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Я сразу же погрузился в чтение. Роман и отталкивал, и притягивал меня своим беспощадным реализмом. Немецкие и французские солдаты, измотанные позиционной войной, обовшивевшие, вечно голодные, оскорбляемые офицерами, гибли ежедневно десятками и сотнями, и картины их будничной гибели действовали на мое юношеское сознание как противоядие. Его мне хватило на всю жизнь. Конечно, я рад, что автор «Стальных гроз», отмеченный высокими наградами и отпраздновавший в этом году столетие со дня рождения, далеко пережил столь образно описанное им природное явление, и тем не менее я резко выступаю против модной ныне реанимации этики, проповедники которой считают гибель солдат на войне самоценной и величественным жестом разбрасывают семена, из коих, как видим, легко может произрасти этика, исповедуемая целым государством.

Судя по Вашему письму, уважаемый Кэндзабуро Оэ, Вам пришлось испытать нечто похожее. Вы пишете о травмирующих душу последствиях господства авторитарной этики, которая взята ныне в Японии на вооружение ведущими промышленными и финансовыми корпорациями, хотя знамена их украшены эмблемами всемирно известных автомобилей, компьютеров и телевизоров. Переплетение интересов государства и монополий со славословиями по этому поводу характерно с крупповских времен и для Германии. Делается это путем урезания демократических свобод, подкупа депутатов парламента, присвоения себе неограниченных полномочий — естественно, со ссылкой на «суровые времена и трудные обстоятельства». Процессу придается вид закономерности. Оставшись после краха коммунизма единственной глобальной идеологией, капитализм ведет себя как победитель, которому дозволено все. Подчиняясь его догмам, многие политики заявляют, что мир и согласие в обществе невозможны. Рост безработицы выдают за неизбежные издержки общества потребления, обнищание ставят в вину обнищавшим, истинной свободой считают свободу рыночных отношений. Принципы демократии и основные права человека по-прежнему охотно провозглашают, соблюдать же их на практике не хотят.

Поскольку знамена с этими и прочими циничными лозунгами так и реют на ветру, мне хочется еще раз прибегнуть к старому немецкому слову Fahnenflucht и выступить за гражданское неповиновение, ибо только радикально-демократическими действиями, перестав быть кроткими как овечки, то есть дезертируя, можно подорвать устои авторитарной этики, которая не внушает доверия ни Вам, ни мне. Согласно ее канонам, бразды правления страной не принадлежат больше народу, их присваивают себе крупнейшие банки. Парламенты уже давно выполняют свои контрольные функции крайне неудовлетворительно. Реформаторы, отчаявшись, вынуждены подчиняться промышленным магнатам и их криминальному лобби. Неудивительно, что уния, на которой держится государство, все чаще вызывает взрывы иррационального насилия, отражающие, где бы они ни происходили — в Токио, Оклахоме или моей стране, — состояние общества в данный момент. Как коммунизм проявил присущее ему насилие во всей полноте, так и капитализм дает выход свойственному ему и направленному на получение максимальной прибыли насилию в виде необузданного террора. Пример бирж, где бы ни шла на них игра — в Нью-Йорке, Токио или Франкфурте-на-Майне, — оказался заразительным для людей, которые ради выигрыша идут на любой риск.

Спустя полвека после окончания войны и того дня, когда в сердцах и победителей, и побежденных затеплилась надежда, мы являем собой ужасающее зрелище. Дорогой друг, я бы хотел, чтобы люди, упрекающие меня в чрезмерном пессимизме, оказались правы, и все-таки я убежден в том, что будущее таит для нас, и уж конечно для наших детей, больше опасностей, чем я смею предположить сегодня. Много речей произнесли государственные мужи, разъезжающие в эти дни по городам и весям, вот только трудно было уловить в них мало-мальски конструктивную и масштабную мысль. Со смущением в голосе, а то и с бесцеремонностью невежд они призывали народы жить в мире, заверяя их, что для таких войн, как, например, в Боснии, на Кавказе или в Турции, можно всегда соорудить надежный вольер.

Стоит мне оторвать взгляд от письма и посмотреть в окно, как месяц май сразу же начинает играть всеми оттенками зеленого, словно желая напомнить мне о весне, радость которой не смогли когда-то омрачить ни горечь поражения, ни боль от сознания того, что тебя освободили, а не ты освободил себя сам, ни страдания беженцев, ни груды развалин. Все безмятежно цвело и благоухало, будто и не было рядом страшных концлагерей с рас-

пахнутыми наконец воротами. А теперь картины той весны не стыкуются в моем мозгу, и мы тщетно пытаемся отыскать хоть какой-то смысл в нашей жизни, через которую глубокой трещиной прошла война.

«Франкфуртер рундшау» опубликовала вчера письма, которыми мы успели обменяться, в специальном приложении наряду с другими материалами к 50-летию окончания второй мировой войны. А в другом месте газеты — из ежедневных газет я выписываю только ее — я обнаружил передовую статью из «Асахи симбун» от 9 мая 1945 года, из которой явствовало, что только Европа может считать войну оконченной. «Япония будет храбро сражаться дальше», — говорилось в передовице. Заканчивалась же она словами: «Решимость ста миллионов японцев не поколебать, их настрой не зависит от изменений ситуации в Европе». Боевого духа японцам хватило на несколько недель, потом, вслед за немцами и японцами, тягчайшее военное преступление совершили американцы, сбросив атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Их оказалось достаточно, чтобы изменить мир. Все наши помыслы и дела несвободны с тех пор от радиоактивного стресса. С тех пор человечество способно уничтожить себя само.

Приветствую Вас и жду ответа.

Ваш Гюнтер Грасс

Признать, что покрыли себя позором

Токио, 15 июня 1995 года

Высокоуважаемый и дорогой господин Грасс,

разрешите объяснить сперва, почему только сегодня отвечаю на Ваше последнее письмо. Решил дождаться принятия парламентом декларации, осуждающей войну, о чем упоминал в своем первом письме. И вот опубликована Антивоенная декларация, не заслуживающая, однако, своего названия. Она принята только нижней палатой, причем немало депутатов блистало своим отсутствием, а многие голосовали против. После войны прошло пятьдесят лет, заключено множество компромиссных соглашений, тем не менее, как показывает сей документ, позиция Японии и японцев остается двойственной. Лучшее доказательство тому — другой проект декларации, также обсуждавшийся в парламенте.

В последний момент, перед голосованием, его внесли депутаты одной из консервативных партий, третьей по числу мандатов в парламенте, но не представленной сейчас в правительстве. В первоначальном проекте резолюции, предложенном фракциями правящих партий, говорилось о «колониальном господстве и вторжении в Азию с захватническими целями», хотя истинного раскаяния в тексте не чувствовалось и была даже ссылка на то, что «все страны совершали такие действия». В новом проекте на месте этих слов Япония давала торжественное обещание не повторять ничего подобного.

Не могу не указать и еще на один момент. Проект правящих партий содержал оговорку о том, что, в зависимости от взглядов на историю, последнюю мировую войну можно рассматривать не только с негативной точки зрения. Эта словесная уступка была сделана с оглядкой на те круги, которые утверждают, что война не была захватнической. (Это, как видите, японская версия того, что Вы называете «эстетизацией войны», рассказывая о ситуации в Германии.) В новом проекте отсутствовал даже этот пассаж. Зато говорилось о необходимости ликвидации атомного оружия.

Депутаты от правящих партий проект отклонили, однако и его авторы явно не считают, что отразили в нем принципиальную позицию своей партии. Дело в том, что некоторые видные деятели этой партии должны были быть допрошены в парламенте в качестве свидетелей по делу банка, предоставлявшего кредиты мелким и средним фирмам, но запутавшегося в своих операциях. Чтобы отсрочить неприятную процедуру, а то и вовсе избежать ее, они, по всей видимости, наскоро сочинили означенный проект декларации. Тем не менее он сыграл свою роль, показав народам Азии, с тревогой и болью незаживающих ран следившим за тем, повинится Япония в эти трагически знаменательные дни или нет, что в принятой правящими партиями декларации есть существенный пробел.

Пожалуй, стоит кратко обрисовать обстоятельства, из-за которых вышеупомянутый банк попал под подозрение. Когда последний экономический бум, названный позднее «мыльным пузырем», достиг своего апогея, почти все крупные японские банки участвовали в спекуляции земельными участками. В подтверждение Вашей мысли о засилии финансового капитала скажу, что именно эти банки продолжали накалять и без того острую си-

туацию на рынке жилья в нашей стране, взваливая при этом вину на людей малоимущих, которые, по мнению банкиров, недостаточно предприимчивы, чтобы использовать бум для улучшения своего материального положения. Вместо того чтобы возместить наконец моральный ущерб, нанесенный кореянкам-«утешительницам», государство не прочь платить по счетам, предъявляемым в связи с банкротством этого кредитного товарищества. Все это сопровождается политическими скандалами, ибо последнее само хотело нажить капиталец, используя дутый бум с его толстой криминальной подкладкой.

Уважаемый господин Грасс, в Вашем последнем письме встречается слово[1], которое позволяет увидеть обстановку в Германии в новом свете, однако едва ли доставит радость тем, кто распределяет в стране жизненные блага. Наше орудие — слово, и мы понимаем, как много оно может значить. В моем родном языке тоже нет недостатка в словах и выражениях такого рода. Покажу это на примере проекта декларации правящих партий, о котором шла речь выше. Слово «кэнкё» из него уже успели вычеркнуть, видимо, даже авторам оно показалось в данном контексте чересчур одиозным. Место в проекте, которое я имею в виду, звучит так: «Мы принимаем критику со всей присущей нам скромностью (кэнкё)».

Представим себе взломщика, который не остановится и перед убийством. Но вот его схватили, изобличили в преступлении, а он заявляет: «Принимаю критику со всей присущей мне скромностью». Разве это не было бы неслыханной дерзостью? Разве у родственников и соседей потерпевшего не появилось бы желание как следует вздуть бандита?

«Принимаем критику со всей присущей нам скромностью...» Было бы здорово, если бы и на немецком удалось передать всю беспардонность этого вычурного, высокопарного и, прямо скажем, омерзительного выражения. Меня давно удивляет, что никто не осмелился до сих пор указать министрам, высокопоставленным чиновникам, влиятельным политикам, отравителям окружающей среды, преуспевающим дельцам и иже с ними на недопустимость постоянного жонглирования словами и выражениями типа «кэнкё».

Выражение «кэнкёна дзимбуцу» (скромный человек) означает в Японии высшую похвалу. По смыслу оно близко английскому decent в паре с каким-либо существительным. Такое словосочетание я употребил в своей речи в Стокгольме. Япония не может уйти от ответственности за преступления, совершенные ею во время второй мировой войны против народов Азии, и не должна пытаться найти себе оправдание. Да, это нелегко и болезненно — признать их во всех деталях и всей их конкретности и попросить прощения. Не менее трудно найти способ предложить возмещение ущерба за то, что вообще еще можно компенсировать. Тем не менее необходимо взглянуть в лицо фактам, которые угнетают наш дух и ранят наше самолюбие, и, даже чувствуя себя загнанными в тупик и не видя выхода из него, упорно искать пути к примирению и мирному сосуществованию со своими соседями на новой основе. Было бы просто смешно, если бы мы как ни в чем не бывало заявили сегодня: «Поскольку ваша критика вовсе не лишена основания, мы принимаем ее со всей присущей нам скромностью».

Что же надо сделать? Необходимо признать, что мы покрыли себя позором, осознать, пусть даже с болью в сердце, что у нас нет иного выбора, ибо без такого признания нельзя начать жить заново и обеспечить преемственность поколений.

Я испытываю чувство гордости, будучи соотечественником многих граждан, стремящихся идти по этому пути. Решив возместить ущерб, нанесенный народам Азии, они поступают, с моей точки зрения, в высшей степени мужественно. Это японцы нового духовного склада, они заслуживают доверия других народов. До сих пор я почти не высказывался по вопросам воспитания, поскольку никогда не работал ни учителем, ни вообще каким-либо наставником. Но я бы хотел, чтобы в начальной школе детям рисовали такой человеческий образ, который воспитывал бы в них смелость открыто, без околичностей, признать свою вину, если ты сделал что-то дурное, признать ее даже с риском выглядеть при этом жалким, подавленным, готовым вот-вот разрыдаться. Более того, без жалкого вида не может быть, на мой взгляд, истинного признания своей вины. И я спрашиваю себя: не ведет ли от образа именно такого человека путь к восстановлению доброго имени дезертиров, приговоренных к смертной казни?

Дорогой друг, позволю себе в заключение затронуть еще одну тему. Читая Ваше письмо, заставившее меня размышлять о самых различных вещах, я услышал по радио сообщение о новом крупном инциденте, потрясшем все наше общество. Имею в виду преступления секты «Аум». Больше всего меня поразило то, что эти люди настроены по отношению к обществу, а значит, и ко всему остальному миру чрезвычайно враждебно, даже агрессивно и реализуют это свое отношение на практике.

---

[1] Кэндзабуро Оэ явно имеет в виду слово Fahnenflucht.

В мире существует множество религиозных сект — взять хотя бы «Народный храм» в Гайане, — взрывная сила которых, питаемая ненавистью к потенциальному противнику, то есть ко всему остальному обществу, постепенно возрастает, направляется затем против отдельных членов самих сект и, наконец, ведет к групповому самоубийству. Мне это напоминает взрыв особого рода, взрыв, происходящий под огромным давлением извне. Так, например, срабатывает механизм атомной бомбы.

Однако вызвать обычный взрыв, несомненно, проще. Почему же мы тогда меньше ожидали стихийных взрывов насилия, направленных против общества, чем актов массового самоубийства в религиозных сектах?

В нашей стране мы столкнулись с таким фактом впервые, причем оказалось, что небольшая, в общем-то, группа людей обладала средствами, достаточными для того, чтобы уничтожить население целого Токио. Настроение в стране резко изменилось, ситуация внушает ужас, и изменить ее к лучшему — задача всех японцев. И не в последнюю очередь потому, что члены секты «Аум», возможно, ассоциируются в Вашем сознании и сознании Ваших соотечественников с японцами вообще.

К слову сказать, недавно я закончил роман под названием «Пылающее зеленое дерево»[1]. Его уже успели опубликовать. В нем я рассказываю о молодых людях, объединившихся для совместных молений. Однако общество считает их религиозной сектой и подходит к ним как к маргиналам. К сожалению, я не отразил в романе глубокую враждебность, с которой эта оккультная группа относится к обществу, а также ее готовность к совершению насильственных действий, и как автор вынужден признать, что отстал от жизни. Поэтому считаю вышеозначенную задачу и своей тоже.

С сердечным приветом

Кэндзабуро Оэ

Не бояться разгласить военную тайну

Иллика, 7 июля 1995 года

Дорогой Кэндзабуро Оэ,

получив вчера перевод Вашего письма, я вынужден был повременить с ответом, так как мой старший сын и его жена-итальянка пригласили нас на крестины сюда, в захолустную деревушку, спрятавшуюся далеко в Абруццах. Но вот мне все же удалось вырваться из цепких объятий семейного праздника, которому, казалось, не будет конца, чтобы написать Вам, ибо круглая дата атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, послужившая одним из поводов для публичного обмена мнениями между нами, неумолимо приближается, заставляя нас высказаться и на эту тему.

Вспоминая о том, что прошло полстолетия с момента окончания второй мировой войны, мы сознаем, что опасность самоистребления человечества в результате применения атомного оружия не устранена, более того, многие, похоже, смирились с ней как с неизбежностью, и хотя голоса протеста раздаются снова и снова, они стихают слишком быстро, показывая бессилие и отчаяние протестующих. У власть предержащих в этом мире выносливости побольше. Они провозгласили однажды удобное для себя право, сделали его привычным, хотя и неписаным, для всего земного шара и пользуются им для свершения новых крупномасштабных преступлений. Из вершителей судеб от политики и экономики призывами к человечности цинизма не вытравить. Сегодня Франция являет собой образец чванства и высокомерия. Человек, стоящий во главе Grande Nation[2], распорядился провести на одном из атоллов Тихого океана испытания ядерного оружия. Трудно сказать, что подвигло его на этот шаг — обыкновенное честолюбие или давление со стороны генералитета и шефов атомной промышленности.

Уму непостижимо: спустя полвека после чудовищного суперэксперимента и всего лишь через несколько лет после окончания идеологического противостояния между Востоком и Западом с его взаимным ядерным устрашением страна высокой цивилизации опускается на самую низкую ступень варварства. Франция рискует заслужить всеобщее презрение. У меня, во всяком случае, вызывает сердечную боль резкое падение престижа нации, которой Европа столь многим обязана с эпохи Просвещения, которой мы все привыкли восхи-

---

[1] Название восходит к стихотворению У.Б.Йейтса «Непостоянство».
[2] Великая нация (*франц.*).

щаться и с которой Вы, дорогой Кэндзабуро Оэ, связали себя тесными узами, изучая французскую литературу. Позволим себе поэтому предположение, на мой взгляд, не такое уж нелепое. Что сказали бы сегодня о приступе ядерного безумия Монтень, Дидро, Золя, если бы решили дать бой месье Шираку? И прислушались бы к голосу сих умных мужей, чей протест мне видится то в форме блестящего эссе, начиненного острыми сатирическими стрелами, то предельно лаконичным, тезисообразным, в их собственной стране?

Последний вопрос касается, однако, и нас с Вами. Хотелось бы знать, дорогой друг, считаются ли с Вашим мнением в Японии. Отвечают ли Вам (исключая откровенные нападки) так, чтобы это располагало к дискуссии? Я не имею в виду заурядный треп, который называют с некоторых пор ток-шоу и разносят с помощью электроники по всему миру. Я говорю о традиционном — пусть некоторые назовут его старомодным — праве писателей на резонанс.

В моем доме прогрессирует глухота. Искусством признают только то, что имеет развлекательную ценность и пригодно для рекламы. Апелляция к совести, моральным принципам вообще способна вызвать у пишущих о культуре разве что усмешку. Число таких журналистов растет, а тебе они скажут, что ты просто не от мира сего. Рассуждать о таких вещах, как «социальная справедливость», или выступать за «солидарные действия» считается дурным вкусом; подобные понятия приносят в жертву эгоцентризму новейшего пошиба на телеалтарях, завораживающих магией красок. Потому и наша переписка будет встречена в штыки невеждами, к которым нынешнее общество относится вполне благосклонно: они просто перестают тебя слушать; делают вид, что им ужасно скучно; держат себя с циничной корректностью.

Стоит ли после этого удивляться, что в акциях протеста против строительства атомных электростанций, когда-то массовых и бурных, сегодня участвует порой лишь кучка людей, следующих раз и навсегда заученным ритуалам. Каждый склонен видеть опасности, угрожающие прежде всего его собственному благополучию. За войной в Боснии перестали замечать войну турецкой армии против курдов. А когда летом смог над густонаселенными районами уменьшает содержание озона в воздухе, забывается и та и другая война. Эта аберрация напомнила мне пятидесятые годы, когда, шагая на Пасху в многотысячной колонне единомышленников, я предавал анафеме атомную бомбу, держа в то же время над головой транспарант с призывом использовать атомную энергию в мирных целях. Такими мы были тогда наивными. Так легко нас было угомонить и убаюкать.

Моему поколению потребовалось слишком много времени, чтобы по-настоящему осознать масштабы перманентной угрозы, исходящей от атомного ядра. Дети получают от нас обременительное наследство. Наша нерешительность привела к тому, что зло, с самого начала распознанное (например, Эйнштейном) именно как зло, как разлом в истории мировой цивилизации, пустило глубокие корни. Думаю, события развивались столь роковым образом, не встречая сопротивления, потому, что решение полностью уничтожить население двух беззащитных городов не осознавалось правителями Соединенных Штатов как военное преступление и не было осуждено ими даже после его осуществления. Победители себя, как правило, не судят. Это же относится и к руководителям Советского Союза, которые приняли вызов американцев, не колеблясь ни секунды. Началась гонка ядерных вооружений. И хотя с «равновесием страха» было покончено, часть мирового ядерного потенциала, похоже, оказалась вне международного контроля. К тому же неизвестно, сколько стран, кроме «классических» ядерных держав, обладают атомным оружием. *Только* Индия и Пакистан? Можно ли будет в ближайшем будущем взять и купить атомную бомбу?

С 1986 года в камере-одиночке близ Иерусалима томится израильский ученый-ядерщик Мордехай Вануну, приговоренный к восемнадцати годам тюремного заключения за то, что через английскую газету обратил внимание мировой общественности на атомные приготовления Израиля. Его дело стало тогда сенсацией: кто он — изменник родины или человек с высочайшим чувством ответственности? Теперь он почти забыт, лишь небольшая группа людей, и среди них английский писатель Гарольд Пинтер, добивается его освобождения. Я убежден, что после войн, сделавших XX век самым кровавым в истории человечества, пришла пора раскрыть все военные секреты — даже ценой измены.

От нас, уважаемый Кэндзабуро Оэ, требуется радикализм нового типа, такое поведение, при котором мы, доискиваясь до истины, хоть это и болезненно, не становимся адептами какого-либо идеологического радикального течения. Не могу в этой связи не вспомнить опять свои молодые годы. Перед призывом в армию я отбывал трудовую повинность в военизированном лагере и так же, как другие ребята, был поражен и напуган поведением шестнадцатилетнего парня, который, будучи членом религиозной секты, видимо сви-

детелей Иеговы, отказывался брать в руки винтовку, не говоря уж о том, чтоб стрелять из нее. Ни наказания, ни издевательства не могли помешать ему бросить карабин на землю, если все же удавалось втиснуть оружие ему в руки. Это был очень кроткий молодой человек, его дружелюбие вызывало насмешки, все наряды вне очереди, даже самые неприятные, он выполнял безропотно, объяснять свое поведение был не способен, силу же духа проявлял, отказываясь выполнять неприемлемые для него приказы. Поскольку все это явно вносило смятение в умы других новобранцев, его куда-то отправили из нашей роты, скорее всего в концлагерь.

Чтобы вести себя так, у меня бы просто не хватило духу. Только позже, увы, слишком поздно, я понял, что положить конец войнам и избавиться от ядерной угрозы можно лишь всеобщим отказом выполнять приказы и находя при необходимости в себе мужество разгласить военную тайну. Я понимаю, конечно, что этот призыв покажется многим идеалистическим, что называется, оторванным от жизни. Но путем прагматических компромиссов, который я долго отстаивал в силу своих демократических убеждений, не остановить все ускоряющийся процесс самоуничтожения человечества. Что же касается разрушения окружающей среды, то оно равносильно ядерному безумию.

В своем последнем письме Вы выступаете за такую систему начального образования, которая воспитывала бы в детях мужество. Я разделяю Вашу точку зрения. Но как детям выдержать натиск взрослых, которые неустанно внушают им, что и обнищание стран «третьего мира», и манипуляции с человеческими генами, и нескончаемый поток батальных сцен на телеэкране — все это не так уж и страшно? Мы, старики, случайно уцелев на войне, позволявшей себе порой такие щедроты, и осознав случайность своего существования на этой земле, по-прежнему ответственны за все, даже если у нас нет иного инструмента, кроме слова.

Может быть, наша переписка заставит людей, ознакомившихся с ней, задуматься, ведь мы заострили внимание на редких добродетелях: добродетели гражданского неповиновения, отваге, необходимой для разглашения военной тайны, добродетели ребенка из сказки Андерсена «Новое платье короля», который, заражая нас своей проницательностью, прорвал паутину условностей, лжи, коррумпированного обывательского сознания и назвал короля голым.

Ставлю на этом точку и возвращаюсь на праздник крещения младенца в высокогорное селение, откуда видно далеко окрест. После застолья итальянцы и немцы будут танцевать. Из Риети приедет хор, чтобы петь и на том и на другом языках. А потом я расскажу своим внукам о нашей переписке и посоветую им перечитать сказку Андерсена, ведь и сегодня по всему миру расхаживают короли, полагая, что на них блестящее облачение, на самом же деле — голые.

С наилучшими пожеланиями Вашей семье
и дружеским приветом

Ваш Гюнтер Грасс

Поддерживаю ваш призыв

Токио, июль 1995 года

Дорогой Гюнтер Грасс,

нескольких слов в начале Вашего письма было достаточно, чтобы я живо представил себе Вашу семью на крестинах Вашего внука в горном итальянском селении, и я вновь вспомнил о необыкновенно сильном впечатлении, которое произвели на меня Ваши романы.

Решение президента Ширака о проведении испытаний ядерного оружия не позволяет мне, однако, предаваться описанию моих чувств. Они, кстати, весьма неоднородны, потому как среди моих учителей в университете был человек, изучавший французских гуманистов XVI века, главным образом Рабле, и считавший, что не следует давать волю людям, которые склонны плодить решения, тешащие их самолюбие.

Состояние глубокой удрученности, в котором я пребываю, объясняется прежде всего тем, что я по-прежнему верю во французскую культуру с ее гуманистическими традициями. Я не настолько наивен, чтобы уверовать в то, что после окончания «холодной войны» люди, вершившие политику, совместными усилиями стремились создать мир без ядерного оружия. И тем не менее Франция виделась мне государством в Европе, которое могло бы выступить с инициативой построения такого мира и подтвердить *тем самым* свою дав-

нюю приверженность идеалам гуманизма. «Если человечество не погибнет после атомных бомбардировок, то только потому, что оно решило остаться в живых». Первым эту мысль высказал француз, и не кто иной, как Сартр, с личностью которого у меня связаны многие воспоминания.

Господин же Ширак, приняв решение о ядерных испытаниях, показывает, что он остается пленником мышления, направленного не на поиск нового миропорядка после окончания «холодной войны», а по-прежнему опирающегося на мощь атомного оружия, которое всегда было ее самым зловещим символом.

«Возобновление испытаний атомного оружия необходимо для обеспечения безопасности. Договор о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия мы поддерживаем».

Это заявление свидетельствует о сугубо анахроническом видении вещей. Разве можно начинать с наращивания собственного ядерного потенциала? Напротив, план переустройства мира после окончания «холодной войны» должен базироваться на стремлении освободиться от атомного оружия в одностороннем порядке, пока оно не будет ликвидировано на всей нашей планете и не будет обеспечена всеобщая безопасность. Если Америка во главе с президентом Клинтоном (там с бóльшим пониманием относятся к решению Трумэна, чем к ужасным страданиям, выпавшим на долю жителей Хиросимы и Нагасаки) и Россия во главе с президентом Ельциным придут вслед за Китаем, а теперь и Францией к заключению, что для обеспечения своей безопасности им надо возобновить испытания ядерного оружия, то время после окончания «холодной войны» сравнимо, пожалуй, с мимолетным сном, в котором зажегся и сразу же погас огонек надежды.

Кажется, Спиноза впервые сформулировал столь же простой, сколь и ужасный принцип обеспечения безопасности путем устрашения (англ. deter) противника демонстрацией собственной военной мощи, который и привел к беспределу в распространении атомного оружия. Во внутренней политике этот принцип явно устарел, но оказался весьма живуч на международной арене, определяя стратегию ядерных держав. Когда стало ясно, что все это может кончиться вечной «ядерной зимой», возникло и стало крепнуть год от года стремление прекратить «холодную войну». И мы начали мечтать о времени, которое наступит после ее окончания, хотя знали, что арсеналы ядерного оружия сохраняются и что его вполне достаточно, чтобы уничтожить нашу планету. Мы жили этой мечтой, пока господин Ширак одним росчерком пера не разрушил ее.

Я по сей день многим обязан Франции с ее духовным богатством. Жиль Делёз утверждает, что этику в понимании Спинозы следует отделять от морали. Способность отличать хорошее от плохого, добро от зла Спиноза считал главным мерилом бытия.

По моим наблюдениям, правительство Японии уже много лет остается, по существу, глухим к призыву людей, оставшихся в живых после атомной бомбардировки, рассматривать страдания, которые принесло жителям Азии вторжение японских войск в их страны, и трагедию Хиросимы и Нагасаки как *единую* проблему и позаботиться о том, чтобы ни то ни другое не повторилось. Протестуя, пусть даже робко, против ядерных испытаний, проводимых Китаем и Францией, наше правительство обосновывает свою позицию, в частности, национальными чувствами граждан страны, подвергшейся атомной бомбардировке со всеми ее роковыми последствиями. Однако внешнеполитический курс японского правительства последних лет заставляет меня усомниться в убедительности этого аргумента. Думаю, вскоре мы услышим в Японии и за ее пределами голоса тех, кто не склонен верить в то, что японское правительство действительно выражает чувства народа, находясь на его стороне.

Я лично хотел бы, чтобы наше правительство, беря пример со Спинозы, спросило бы себя спустя полвека после атомной бомбардировки, станут накопленные запасы ядерного оружия благом или злом для людей, которые будут жить на Земле через десять-двадцать лет, и потребовало бы ликвидации атомного оружия, ибо пагубность его очевидна. Помня о горе и страданиях, которые принесли с собой вторая мировая война и атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, мы вместе с нашими единомышленниками будем выступать против ситуации, сложившейся в мире с ядерным оружием, тем более что в отличие от прежних лет в силу теперь вступил экологический фактор, и мы, критикуя, думаем о будущих поколениях. Не сомневаюсь, что наше движение получит поддержку и в других странах.

Эта критика может оказаться полезной еще в одном отношении, опровергая циничные заявления, слышать которые на международных форумах доводилось и мне. Некоторые люди считают, что вести плодотворную дискуссию о ядерном оружии невозможно, поскольку Хиросима и Нагасаки превратились для японцев с их обостренным националь-

ным самосознанием в некую святыню. Мы же с вами, критикуя, смотрим не в прошлое, а в будущее, мучительно раздумываем над вопросом, что будет для детей, которые придут в этот мир, благом, а что — злом. Наша критика может оказаться полезной еще и потому, что, размышляя об этом, мы стараемся сохранить в нашей памяти прошлое.

Хочу сослаться на Спинозу еще раз. Дело в том, что наслаждаться такой же атмосферой радости, какую ощутили Вы во время Вашего краткого визита в итальянскую деревню, мне удается лишь в те мгновения, когда я, спасаясь от писем и телефонных звонков с японских островов и из-за рубежа с просьбой об интервью, углубляюсь в сочинения этого замечательного мыслителя XVII века; после выхода книги, в которой я был назван изменником родины и которая сразу же стала бестселлером, голоса моих противников и сторонников разделились поровну. Это ответ на Ваш вопрос, прислушиваются ли к моему мнению в Японии.

Спинозу цитирует один из героев романа «The Fixer»[1] Бернарда Маламуда, к которому я отношусь с таким же почтением, как и к Вам, считая его, не без гордости, соратником на ристалище, называемом мировой литературой. Вот эти слова: «Что говорит Спиноза? Если государство совершает деяния, противные человеческой природе, то уничтожить его — меньшее зло».

Вопрос стоит, стало быть, так: что́ — хорошо и что́ — плохо? Мне кажется, для японского общества, в котором этика поведения определяется субординацией как незыблемым законом семейной и общественной жизни, мысль Спинозы весьма поучительна. В эпоху, когда судьба человека зависит от государства, а судьбы людей связаны между собой на глобальном уровне, принципиальное значение для новых поколений приобретает, на мой взгляд, вопрос: хороши или плохи общественные отношения, при которых мы живем в своей стране и во всем мире?

Поэтому, дорогой Гюнтер Грасс, я поддерживаю Ваш призыв следовать редким добродетелям — «добродетели гражданского неповиновения, отваге, необходимой для разглашения военной тайны, добродетели ребенка из сказки Андерсена «Новое платье короля». В эпоху стремительного развития естествознания и интенсивного насыщения нашего быта продуктами изобретений и открытий мы просто не в состоянии определить, является ли каждое новое достижение науки и техники для человечества благом или злом. Отвага нужна нам для разглашения не только военных тайн, но и секретов корпораций и чиновничьего аппарата. Если секрет — зло, то граждан должны информировать об этом «изменники» из властных структур.

Вбирая в себя такие голоса и неся их миру, мы, писатели, обязаны сделать своей жизненной позицией добродетель ребенка, разглядевшего наготу короля. В августе мне предстоит обратиться с речью к сотням людей на траурной церемонии близ Хиросимы, во время которой прозвучит музыка, написанная моим сыном. Ему уже тридцать два года, но сердцем он все еще дитя. Я хочу, в свою очередь, чтобы моя речь прозвучала как молитва. Попытаюсь при этом найти слова, которыми полнилась, видимо, и Ваша душа, когда крестили Вашего внука.

С сердечным приветом

Кэндзабуро Оэ

---

[1] «Наркоман» (*англ.*). Роман вышел в 1966 г. и был отмечен Пулицеровской премией.

СТРАСТЬ И МЕЛАНХОЛИЯ «ПОСЛЕДНЕЙ ИЗ РАЗНОСТОРОННИХ»

Liam Kennedy. Susan Sontag: Mind as Passion. Manchester; New York, Manchester University Press, 1995.

Лайам Кеннеди. Сьюзен Сонтаг: мысль как страсть. 1995.

Титул и слава «последнего интеллектуала» сопровождали американскую писательницу Сьюзен Сонтаг начиная с шумных откликов на первый и разом сделавший ее знаменитостью сборник эссе «Против интерпретации» (1966)[1] ; среди других, столь же хлестких ярлыков мелькали потом «апостол авангарда» и «мисс кэмп», «евангелистка нового» и «черная богородица американской словесности». Сегодня в Америке не только на далекие шестидесятые, но и на недавние восьмидесятые устанавливается взгляд уже исторический (застревать посреди дороги при тамошнем траффике небезопасно). Прежние восторги и шпильки в адрес Сонтаг сменились, как отмечает английский американист из Манчестерского университета Лайам Кеннеди — сам он родился в 1961-м, — примирительным званием «наиболее широко читаемого интеллектуала своего поколения». Но почему слова о «последнем интеллектуале» были сказаны тогда и что они в ту пору значили? У нас Сонтаг известна пока очень мало. Сделаем в порядке знакомства с ней, ее эпохой, контекстом ее работы несколько шагов вместе с автором книги.

Как указывает Л.Кеннеди, слово «интеллектуал» на середину 60-х отсылало в первую очередь к кругу нью-йоркских либеральных писателей, мыслителей, публицистов, сложившемуся еще в тридцатые и группирова́вшемуся прежде всего вокруг журнала «Партизан ревью». С прочитанной на его страницах в 1948 году статьи Лайонела Триллинга «Искусство и чистоган» для пятнадцатилетней Сонтаг все и началось: в 1961-м она станет здесь рецензентом. Но еще притягательней была для нее роль «дженералиста» — человека разностороннего и пишущего по общим проблемам, «любителя», как с личным нажимом подчеркнет потом Сонтаг в некрологе по одному из лучших в этом ряду, Полу Гудмену. Два эти амплуа — входивший в тот же круг социолог Дэниэл Белл называл их общим русско-британским именем «интеллигенция» — друг от друга, понятно, отличались. Вместе с тем оба они противостояли собственно академической профессуре, хотя и соотносились — не могли не соотноситься! — с этим весьма продуктивным и крайне влиятельным в Америке сообществом профессионалов. Таковы были, в самом общем виде (автор книги обрисовывает их с надлежащей подробностью), основные полюса, межевые черты и силовые линии в интеллектуальном поле тогдашнего космополитического и толерантного Нью-Йорка, по отношению к которым Сонтаг так или иначе определялась (в конце шестидесятых она, до того учившаяся по специальности «литература и философия» в Беркли, Чикаго и Гарварде, а потом сбежавшая в Оксфорд и Париж, недолго работала в Колумбийском университете, однако с академическими кругами себя не отождествляла, всегда оставаясь «свободным художником»).

А слово «последний» было, в общем-то, клиническим диагнозом положению и авторитету группы нью-йоркских интеллектуалов на середину шестидесятых. И поставил его в 1968 году известный критик Ирвин Хоу (не случайно он вместе с Солом Беллоу и Сьюзен Сонтаг станет поздней в игровом фильме Вуди Аллена «Зелиг» одной из примет тогдашней эпохи), с горечью зафиксировав «конец влияния» своих соратников. В основе их — теперь уже относимого к «прошлому» — самоопределения лежали в 40—50-е годы две вещи: во-первых, умеренно-либеральная критика государственного истеблишмента и идеологического фундаментализма слева, как бы глазами просвещенной Европы, а во-вторых, противостояние — и тоже не без оглядки на Старый Свет и, в частности, Британию — по отношению к только поднимавшей тогда голову «массовой», общедоступной, технизированной и

[1] Заглавное эссе из этой книги в переводе Виктора Голышева и с предисловием Алексея Зверева публиковалось в «ИЛ» (1992, № 1).

повседневной цивилизации со стороны «высокой» — или, не столь лестно, «высоколобой» — культуры.

«Старых камней», впрочем, в Америке не было, а потому полем битвы с масскультом стала современность. С «низким» кичем встретился «высокий» авангард (Л.Кеннеди напоминает, что открыло четвертьвековую полемику эссе Клемента Гринберга «Авангард и кич», опубликованное в 1939 году в том же «Партизан ревью»). Решающий бой был дан на страницах собравшего лучшие силы и по заслугам прославленного, увесистого, не раз дополнявшегося и переиздававшегося потом сборника «Массовая культура» (1957). Однако к середине шестидесятых все было кончено, и притом для обеих сторон. Музеи не только усыновили авангард (прежде всего — послевоенный абстрактный экспрессионизм), но и удочерили самую молодую и массовую из изобразительных техник — фотографию, а на двор, как пророчил Маклюэн, уже вступала постгутенбергова аудиовизуальная эпоха. Однозначное и непримиримое в своей идеологичности противопоставление элитарного массовому обескровилось, перестало быть творческим, утратило энергетический импульс и жизненный смысл.

Как отмечает Лайам Кеннеди, Сонтаг пришла поздно (она, кстати, и сама не раз подчеркивала этот факт, опровергая шаблонную оценку со стороны оппонентов, относивших ее к «молодым, да ранним») . Сформировавшись в поле воздействия либеральной критики и «дженералистики» 40—50-х годов, она подхватывала, развивала, заостряла леворадикальную позицию анфан-терриблей нью-йоркских интеллектуальных кругов (Нормана Мейлера, Нормана Брауна и Герберта Маркузе), обобщала утопический поиск американского модернизма (Берроуза и Уорхола, Раушенберга и Кейджа), вводила в американский обиход маргиналистский опыт европейского авангардного искусства и гуманитарной мысли. Переплетая эти линии, драматизируя разные точки зрения в собственной полемике, Сонтаг в статьях и рецензиях шестидесятых годов в «Партизан ревью», «Филм куотерли», «Нью-Йорк ревью оф букс» и другой прессе — а она писатель журнальный и злободневный! — выступила со своего рода этико-эстетическим проектом «нового образа чувств» (ее ключевое эссе 1965 года так и называлось: «Единая культура и новый образ чувств»). А далее — вышла уже и за рамки «классического» авангарда, во времена постмодерные.

Модель творчества, понимаемого как «расширение жизни», как «представление новых способов жить», для Сонтаг уже не столько литература, тем более — не роман (но характерно, что и о мощной поэзии 50—60-х она ни словом не упоминает), сколько изобразительные искусства и балетная пластика, кино и архитектура, театральный эксперимент и философская, социологическая, антропологическая эссеистика. Иногда даже кажется, что с внелитературным, а то и «бессловесным» ей, исследователю и критику, как-то сподручней и интересней — может быть, потому, что трудней? Общепринятым и закамуфлированным условностям реализма противостоит для нее демонстративное «неправдоподобие» фантастики, утопии, гротеска, притчи. Романтическим принципам «тайны» и «глубины» — идея «поверхности» и «прозрачности». Поискам «герменевтики» творений искусства и самого процесса творчества — потребность в «эротике» зрительского переживания того, что сделано художником (конечно, столько раз оспоренные принципы как романтизма, так и реализма никуда от этого не улетучиваются, но меняют свое место и нагрузку, оставаясь для Сонтаг предельными рамками миропонимания, «следами» общего смысла или направляющими линиями в полемике).

Отсюда и «герои» ее эссеистики, образцы крайностей, люди предела, как писала она в эссе о Симоне Вайль, — «антилибералы и антибуржуа», «изуверы, кликуши, самоубийцы»: Антонен Арто и Мишель Лейрис, Жене и Фассбиндер, Бергман и Годар, Брук и Гротовский, лидеры «нового романа» и «театра абсурда». Ее ориентиры в эссеистике — «хронисты невозможного» Эмиль Мишель Чоран[1] и Вальтер Беньямин. Среди ее «скандальных» (как сказал бы еще один герой Сонтаг — Жорж Батай) для солидного критика предметов — «порнографическое воображение» французской романистики, «обольстительный фашизм» киноэстетики Лени Рифеншталь (и нарождающаяся «мода» на эстетизацию фашизма, о которой, кстати, тогда же и на тех же примерах фильмов Висконти, Пазолини, Кавани с тревогой писал в Америке знаменитый и влиятельнейший Бруно Беттельхайм), кич для эстетов («кэмп») и массовые «фильмы катастроф», неканоническое «искусство фотографии», полуподпольное кино и кружковый

[1] Эссе Сонтаг «Думать наперекор себе: Размышления о Чоране» публиковалось в «ИЛ» (1996, № 4).

хэппенинг. Но при всем неустанно множащемся и динамичном материале главный, в конечном счете, «сюжет» Сонтаг — это этический смысл и жизненная цена эстетических крайностей, вообще пределов в жизни и культуре (как, скажем, в ее книге 1978 года «Болезнь как метафора»), а объект ее внимания — состояние самого американского — «либерального и буржуазного» — общества (и не только в эссе 1966 года «Что случилось в Америке», но и в книге 1989 года «СПИД и его метафоры»).

Сама Сонтаг — данной теме отведено в книге отдельное место — связывала этот центральный «нерв» своей работы с сюрреализмом (многодесятилетний опыт этого космополитического движения, из которого вышли Батай, Арто, Лейрис, был в высшей степени значим для того же Беньямина, оставившего о нем содержательный очерк). Лайам Кеннеди цитирует интервью писательницы 1981 года: «Все мои эссе пытаются ответить на вопрос, что значит быть современным, определить под самыми разными углами зрения современный образ чувств. Одно из названий этого образа чувств для меня — сюрреализм, хотя я вполне сознаю, что употребляю это слово в своем собственном смысле». Предельный утопизм подобного поиска, его ненасытная страсть, вне которых современность для Сонтаг немыслима (второй сборник ее эссеистики назывался «Образцы безоглядной воли»), идут бок о бок с подстерегающей художника мыслью о самоуничтожении в им созданном (и аннигиляцией самого созданного как превзойденного, уже несущественного, не существующего в вечнонастоящем). Не зря Ричарду Гилмену — цитирует Кеннеди — в Сонтаг шестидесятых годов бросилось в глаза «невысказанное, но неодолимое желание... чтобы культура — культура, которую она знает назубок, — была не той, что есть, а другой — с тем, чтобы другой, чем есть, была бы и она сама». Ирония творящего — сознание несоразмерности общего смысла и конкретного воплощения, целостности замысла и узости фрагмента, «воли» и «стиля» — переплетается здесь с меланхолией, уделом создателей. По Сонтаг, такие противоречия, напряжения между полюсами не просто присущи современному художественному сознанию, где автор соединяет в себе творца и критика. Они открыто драматизируются художником, выступают для него источником энергии, движущим принципом работы. «В игре страстей мысли, — пишет она в очерке о Чоране, — мыслящий берет на себя обе роли — и героя, и супостата. Он и страдалец Прометей, и орел, без зазрения совести пожирающий его поджившие было за ночь внутренности».

Творчество — не автобиография (уж скорей — ее преодоление). Но есть в только что сказанном, думаю, и отзвук личной для Сонтаг ноты, смещенный след собственного переживания. Она, по ее словам, с детства была склонна к замкнутости, к уединению (многое тут смешалось: ранняя смерть отца, второй брак матери, острейшая астма, развившаяся мечтательность, запойное чтение, «скорбь по Европе» над манновской «Волшебной горой», которую она поздней вспомнит в автобиографическом эссе 1987 года «Паломничество»). Лайам Кеннеди внимательно прослеживает, как этот внутренний склад и самочувствие входят — и опять-таки достаточно рано! — в болезненное для самой Сонтаг противоречие с так или иначе ей выпавшей и, что ни говори, все-таки притягивавшей ее ролью. Она — литератор, эссеист, критик — едва ли не впервые в интеллектуальной истории страны (ведь это на американской публичной сцене шестидесятых годов амплуа еще новое) более чем на тридцать лет становится своего рода звездой среди других светил поп-культуры, этакой бессменной героиней газетных интервью, журнальных обложек и телешоу (о реакции коллег, тем более недоброжелателей, предлагаю догадаться). Эссеистика для нее — прежде всего орудие самодознания, но — по иронии письменности — выходящее из-под ее паркеровского пера всегда посвящено другим. А сам автор, как будто уже держа в уме образ подвластного его мысли целого, снова и снова обречен вникать в вываливающиеся из рук актуалии и частности (об этих подводных — краеугольных? — камнях эссеистики как жанра проницательно писал на примере сонтаговских эссе американский историк и теоретик литературы Кэри Нельсон).

Может быть, в этой внутренней драматичности собственного критического письма, тяге к персонификации и инсценировке идей, артистизме мысли (кажется, автор порой с ним даже борется) — еще одна причина, по которой Сонтаг всегда было мало только аналитической формы эссе и постоянно требовался рассказ, беллетристика? С них она, собственно говоря, и начинала, а далее они сопровождали ее на всем пути («художественным произведениям» — fiction — Сонтаг отведены в книге три отдельные главы): роман «Благодетель» появился в 1963 году, в 1967-м за ним последовал «Че-

моданчик смерти», а в семидесятых вышел сборник новелл «Я и так далее» (впрочем, проза литературных аналитиков от Тынянова до «нового романа», Эко и Павича для XX столетия — скорей, кажется, правило, чем исключение). Думаю, во многом отсюда же и работа в кино: на переломном для себя рубеже 60—70-х Сонтаг сняла в Швеции по собственным сценариям два полнометражных фильма.

Наступившая тогда пауза (всегда мучительная для пишущего и многократно осложнившаяся на этот раз тяжелой болезнью) растянулась на десятилетие. Ощущение углубляющегося одиночества, меланхолия нарастали. Этот комплекс идей и чувств — в основе обеих книг о мотивах болезни в культуре XIX—XX веков, последнего эссеистического сборника 1981 года «Под знаком Сатурна», его заглавного очерка о Вальтере Беньямине, некрологов Пола Гудмена и Ролана Барта. В восьмидесятых публика увидела, можно сказать, другую Сонтаг.

Индивидуальные обстоятельства и здесь были неразрывны с вещами куда более общими. Как подчеркивает Л.Кеннеди, глубокой эрозии подверглись тогда оба столпа, на которых держалась и американская, и — шире — наднациональная общность художественной практики и критической мысли послевоенных десятилетий. Элита как будто бы пришла к осознанию творческой исчерпанности модернистского импульса, завершения исторической роли модернизма (недавний авангард не только с триумфом вступил под своды музеев, но стал бешено скупаться на рынке и конвейерным способом штамповаться оформительской индустрией — всевозможным и разнокалиберным дизайном). Кроме того, семидесятые — время жесточайшего кризиса левых идей и симпатий среди интеллектуалов Америки и Европы: итог его для себя Сонтаг подвела в речи на нью-йоркском митинге 1982 года в поддержку польской «Солидарности», назвав реальный социализм «победившим фашизмом... фашизмом с человеческим лицом». Тем самым, под вопросом оказалось само сознание общего мира, ощущение одного дела. «По-моему, принимать те или иные культурные отсылки как данность, — цитирует Кеннеди интервью Сонтаг 1985 года, — можно теперь все реже и реже. А ведь в этом, не правда ли, и состоит суть сообщества: принимать некоторые утверждения как данность, не начинать каждый раз с нуля? Сегодня это больше невозможно...»

К девяностым Сонтаг оставляет эссеистику и целиком уходит в литературу. В 1992-м появляется ее объемистый, переведенный уже на несколько языков и, кажется, готовящийся к экранизации роман «Страсть к вулканам», на следующий год — пьеса «Алиса в кровати» (им посвящена завершающая глава книги Кеннеди). Интеллектуальный коллаж по мотивам перипетий уже набившего, кажется, оскомину треугольника супругов Гамильтон и адмирала Нельсона (опять вызов!) Сонтаг, и сегодня верная метафорам поворота, разрыва, нового рождения, считает своей лучшей книгой и окончательным прощанием с «гипнотизировавшей» ее два десятилетия меланхолией: «Почти тридцать лет мне понадобилось, чтобы подойти к сути того, что я, кажется, и вправду могу делать».

В свое время один из героев Сонтаг, Эмиль Мишель Чоран, присвоил своему избраннику Борхесу — автору, впрочем, и для американской писательницы не чужому, она брала у него интервью — имя «последнего из утонченных». К тому, кто живет словами, они, даже однажды сказанные, рано или поздно возвращаются, переходя уже на него. Подчеркивая, при всех внешних переменах и внутренних переломах, приверженность Сонтаг к тем же нормам критической независимости, индивидуальной ответственности, публичной дискуссии и рациональной аргументации, Лайам Кеннеди называет ее «последней из разносторонних». И заключает свою в целом удавшуюся, обстоятельную и полезную книгу — первую из дошедших до наших глухих краев монографий о писательнице — словами: «Сонтаг по-прежнему остается образцом редким, если вообще не единственным в своем роде. Она — не последний интеллектуал. Она — интеллектуал, который сумел в эпоху заката нового сделать свои противоречивые, спорные и даже вызывающие взгляды общим достоянием».

БОРИС ДУБИН

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

Сальвадор Дали. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим[1]. Предисловие, перевод и комментарии Н.Малиновской. М., Сварог, 1996.

«Есть много странного, Горацио, на свете», а в наши дни чуть ли не более, чем ког-

[1] Фрагменты из книги публиковались в «ИЛ», 1991, № 12 и 1992, № 5-6, 8-9.

да-либо. Почти одинаково странным кажется и то, что совсем недавно имя Дали было в нашей стране чем-то вроде ругательства, и то, что теперь мы можем не только полистать альбом его живописи на книжном лотке — а подзаработаем, так и купить, — но и ознакомиться с его литературным творчеством.

Впрочем, к тому, что скандальные имена перестают быть таковыми, занимая соответствующее место в культуре и в наших мозгах, мы постепенно привыкаем, а вот хорошая книга по-прежнему событие.

Воспоминания о себе Дали, к тому времени уже знаменитый художник, закончил в 1941 году тридцати шести лет от роду — возраст, так и подбивающий на некое подведение итогов, на искренний, а потому страшноватый разговор с самим собой ради выяснения, как и почему оказался ты в этой точке и в какую сторону из нее следует двигаться дальше. Автор, впрочем, шутливо замечает, что в его случае дело обстоит иначе: просто другие сначала проживают жизнь, а потом пишут о ней, а он решил поступить наоборот — сначала написать, а потом прожить. Разумеется, это только очередное «красное словцо» дона Сальвадора. Как и все мемуаристы, он пишет о прошлом. И все же его книга не автобиография в прямом смысле, вернее, не только автобиография. Это действительно тайная, сокровенная жизнь художника, в которой впечатления от пустынного пейзажа родного Кадакеса более значительны, чем, скажем, рассказ об участии в той или иной выставке. А ведь это Дали, человек, всю жизнь любивший и умевший быть на виду, сказавший о себе: «Я иду, а за мной толпой бегут скандалы». Или:

— Дон Сальвадор, на сцену!

— Дон Сальвадор всегда на сцене!

Работая словом, а не кистью, художник остался верен себе — перед нами яркий автопортрет в стиле Дали, с гротескными вывертами, сюрреалистическими костылями и преобладанием текучих форм.

Воспоминания воспроизводят удивительный парадокс личности автора: художник, безоговорочно провозглашенный новатором и ниспровергателем основ, внезапно предстает приверженцем традиции в искусстве. Гении Ренессанса, Рафаэль — вот истинные боги автора «Осеннего каннибальства» и «Великого рукоблуда». А чего стоит такое его заявление: «Когда меня спрашивают: «Что нового?», я отвечаю: «Веласкес! И ныне и присно». Не правда ли, неожиданно? И да, и нет. Мастерство — вот святыня Дали, а самому ему в мастерстве не откажешь. Ни восторженный поклонник, ни тот, кто только поморщится при упоминании его имени, не станут отрицать, что грандиозные фантазии этого художника в полной мере прекрасны или омерзительны именно благодаря их мастерскому, до последней детали проработанному воплощению. В искусстве нет мелочей и нет предела совершенству — эти азбучные истины, основательно подзабытые двадцатым веком, вновь наполняются живым смыслом, когда читаешь размышления Дали о живописи. Походя роняет он один из своих замечательных афоризмов: «Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь». И тут же — на то он и Дали! — опровергает сам себя: «Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего!»

«Ничего хорошего» по сути означает, что, стремясь к совершенству, художник иной раз доводит вещь до скучной правильности, за ласковой поверхностью которой уже не разглядеть живой пульсации материала. В искусстве должно сохраняться чудо, иначе грош ему цена. Для Дали такое чудо — Вермеер, Рафаэль. «Слава первого сюрреалиста ровным счетом ничего не стоит, — объявляет авангардист номер один. — Я привью сюрреализм к древу Традиции. Я поведу свое воображение дорогой классики. Я знаю, что должен делать. На это уйдет целая жизнь». Ровно полвека назад Дали с поразительной точностью обозначил те ямы и ловушки, из которых искусству не удается выбраться и посейчас, к концу столетия; хуже того, сидение в яме, кажется, мало-помалу начинает восприниматься как единственная поза, достойная подражания. Всему виной — катастрофическое падение уровня, недопустимое снижение планки, нет, даже не в искусстве, в ремесле. «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» — коллективистский призыв, убивающий индивидуальное, ибо «лучше» в данном случае не затруднительно.

Вот что написал об этом Дали в 1941 году: «Нужно было возвращаться к традиции и в живописи, и во всем остальном. Все прочие пути ведут в тупик. Люди и так уже разучились рисовать, писать, слагать стихи. Искусство неуклонно сползает все ниже и ниже и становится все однообразнее, ибо ориентируется на единые международные образцы. Уродливо и бесформенно — вот главные характеристики такого искусства, вот симптомы недуга».

И все же Дали не становится новым Рафаэлем — недаром вступительная статья

Натальи Малиновской называется «Невольник века». Как кесарь, век требовал своего, и поневоле приходилось уступать. Дали, шокирующему, вызывающему, скандальному, выкрикивающему свое «я» в самое ухо публике, не дано приблизиться к священной тишине Вермеера — бог скорого успеха требует жертв! — однако старые мастера навеки останутся для него желанными вершинами, путь к которым длится всю жизнь.

Дали — автор нескольких литературных произведений. Возрожденческие устремления давали себя знать, не позволяя ограничиться кистью, даже столь виртуозной. Сам он не без кокетства заявлял: «Дали-писатель даже лучше Дали-художника». Блистательный перевод Натальи Малиновской, отмеченный премией журнала «Иностранная литература», заставляет нас почти поверить в это. Остроумный, изящный, язвительный, Дали иной раз становится настоящим поэтом. Вот хотя бы маленький отрывок: «Там, сразу за кладбищем, начинается иссушенный, каменистый, инопланетный пейзаж — другого такого нет на земле. Утром, четкий и строгий, он светится какой-то дикой, горькой радостью, а в сумерках набухает болезненной жгучей тоской. Оливы, сияющие и парящие утром, на закате сереют, наливаясь тяжелым свинцом. Утренний бриз морщит волны улыбкой, а под вечер море у Порт-Льигата замирает озером, отражая небесную драму заката».

А уж афоризмы! Как отшлифованы они переводчиком — так и хочется сказать соавтором, — ведь заточка парадокса требует едва ли не большего соучастия, чем поэтический перевод. Не удивлюсь, если многие из них со временем войдут в золотой фонд крылатой фразы наравне с блестящими высказываниями Шамфора и Ларошфуко. Вот некоторые из них: «Искусство — ужаснейшая болезнь, но жить без нее пока нельзя», «Ленивых шедевров не бывает», «Эротика всегда казалась мне отвратительной, искусство — божественным, а смерть — прекрасной», «Люблю кретинов, изображенных Веласкесом! Они что-то знают о запредельном. Теперешние и не подозревают, что оно существует. Вот что переменилось», «Дали — наркотик, без которого уже нельзя обходиться», «Ну выйдет человечество в космос — и что? На что ему космос, когда не дано вечности?», «Если нам что-нибудь и интересно, так только чудо».

Совершенно особо хотелось бы отметить ту огромную работу, которую проделал переводчик в той части, что сухо именуется «справочным аппаратом». Думаю, во всей книге не сыщется такого малоизвестного персонажа, хоть бегло упомянутого автором, о котором нам тотчас не было бы рассказано. Это, не говоря уж об увлекательном предисловии, делает книгу ценнейшим путеводителем по художественной жизни не только Испании, но и вообще Европы XX века.

Фотографии, рисунки, репродукции картин художника составляют богатый иллюстративный материал, часть которого впервые воспроизводится у нас в стране.

Издание на русском языке «Тайной жизни Сальвадора Дали, написанной им самим», несомненно, крупное явление в нашей культурной жизни.

НАТАЛЬЯ ВАНХАНЕН

КАК СДЕЛАНО

Генри Миллер. Тропик Рака. Тропик Козерога. Черная весна. Составление и предисловие А.Зверева. Переводы Г.Егорова, М.Салганик. М., Руссико; Редакция газеты «Труд», 1995.

Заголовок отсылает читателя к знаменитой статье Бориса Михайловича Эйхенбаума «Как сделана «Шинель». Но в отличие от классиков-«формалистов» мы не собираемся ни «развинчивать», ни «развенчивать», а всего лишь произносим на выдохе: «Как сделано...», где многоточие содержит в себе восклицание и вопрос.

Герой «традиционного романа» (можно и без кавычек) непременно куда-то стремится: любовь, власть, карьера, деньги. Затевает историю, как Жюльен Сорель, или попадает в нее, как Швейк. Читательское любопытство неистребимо: добьется, не добьется? выпутается, не выпутается?

Герой Миллера — некий «Кандид без приключений». Живет, чтобы жить. Не обременяет себя никакими задачами и, натурально, их не решает. Ибо Миллер, как сказано в предисловии Зверева, наделен «способностью воспринимать реальность как роман».

Схожим отчасти даром («воспринимать реальность как роман») обладал среди наших классиков Иван Александрович Гончаров. Подобно Миллеру — долгожитель (1812—1891). С припозднившимся, как у Миллера, литературным дебютом. С тяготением к эссеистике и «свободным жанрам» («Мильон терзаний», «Фрегат «Паллада»).

нальной достопримечательностью — Ильей Ильичом Обломовым, который по внутренней автономности, тотальному отказу и неучастию сопоставим с персонажем Миллера.

Только Обломов, если угодно, последовательней, — лежит себе и лежит на диване, а Миллер из «Тропика Рака» совершает единственный финальный поступок: крадет у приятеля деньги и уматывает на родину. Гончаров полагает, что в человеке присутствуют доминантные качества, в силу чего судьба Обломова расчислена наперед. На планете Миллера торжествует закон Достоевского: человек не равен сам себе. А потому непредсказуем.

> И я запишу все, что придет мне в голову, — икру, капли дождя, мазут, вермишель, ливерную колбасу, нарезанную ломтиками. И не скажу никому, почему я после того, как все это было написано, пошел домой и разрезал младенца на куски («Тропик Рака»).

Книги Миллера — конструктивно, по структуре — распадаются на «стихи» («все, что придет в голову») и «рассказы» (разрезание «младенца на куски»). Эпизоды чередуются, как у Гоголя в «Мертвых душах»: деловые беседы Чичикова (с Маниловым, Собакевичем, Коробочкой...) перемежаются «лирическими отступлениями» («Русь-тройка», «Счастлив писатель»...).

«Рассказы» легко вычленяются (особенно в «Тропике Рака») и даже новеллизируются, обретая как бы самостоятельность, а «стихи»... ну, что ли, уитменизируются (читаются на манер Уитмена).

Откроем здесь скобку и объяснимся. Сравнение Миллера с Гончаровым «хромает», как всякое сравнение, как давнее утверждение Чуковского (1922), что Афанасий Афанасьевич Фет — местный аналог Уитмена. По сексуальной обнаженности Чуковский сблизил с американским поэтом и другого местного автора — Василия Васильевича Розанова, прозаический отрывок которого расположил на странице (графически) длинными уитменовскими строчками[1].

Теперь закроем скобку и воссоздадим, по чуковскому методу, базируясь на переводе Салганик, «стихотворение» Миллера:

> Если не звонит звонок, если в унитазе
> не спускается вода,
> если стихотворение не написано, если
> ломается люстра,
> если не заплачено за квартиру, если
> отключили воду,
> если горничные напились, если засорилась
> раковина
> и в ней гниют помои, если в волосах
> перхоть,
> а кровать скрипит, если цветы
> заплесневели,
> если свертывается молоко, если раковина
> в сале
> и выгорели обои, если новости
> запаздывают
> и в них нет ничего катастрофического, если
> изо рта пахнет,
> а ладони липкие, если лед не тает, если
> не работают педали,
> если все это случается вместе, а Рождество
> на носу —
> все равно все можно сыграть
> в тональности до мажор,
> раз человек привык так смотреть на мир.

С условным разделением на «стихи» и «рассказы» соотносится наблюдение Анаис Нин, что Генри Миллер существует словно в двух ипостасях: 1) «на унавоженной земле» (проза, «рассказы») и 2) «в таинственных сферах, куда открыт доступ лишь способным переживать экстаз, исступление, откровение» (поэзия, «стихи»).

Как осуществляется синтез, обозначил в поздней статье Георгий Викторович Адамович: «Только внутреннее единство способно что-то удержать, связать, одухотворить... при любых противоречиях и скачках».

Именно «внутреннее единство» уловил Джордж Оруэлл, восхищаясь «эмоциональной подлинностью» Миллера. И недаром воображаемый Словарь местной банальной рифмы, наряду с «любовь — кровь», включает «искусство — чувство», на чем настаивал Лев Николаевич Толстой: искусство, говорит, есть способ заразить других собственными чувствами.

Оттого-то Миллер и призывает «покончить с формой, стилем, композицией и прочими псевдоважнейшими категориями», — оттого-то и призывает, что они, «псевдоважнейшие», препятствуют ему, Миллеру, заразить нас своими чувствами.

Чуковский вспоминает, как читал Маяковскому стихотворение Уитмена.

— Занятно! — усмехнулся поэт. — Но все же в вашем переводе есть патока. Вы говорите «плоть», а нужно «мясо»: я прижмусь моим мясом к земле... Уверен, что в подлиннике — «мясо».

> В подлиннике, — пишет Чуковский, — действительно было сказано «мясо». Не зная английского, Маяковский угадывал так безошибочно, словно сам был *автором* этих стихов.

[1] Уолт Уитмен. Листья травы. Пб., 1922, стр. 62-63.

Курсив, как водится, наш. И слово, которое не воробей, вылетело. Пастернак и Заходер — авторы русского текста. Их переводы побуждают нас обратиться к оригиналу не потому, что плохие, а потому, что слишком хорошие. Это и есть, по-нашему, настоящие переводы.

Когда Василий Павлович Аксенов остался в Америке (в смысле — его оставили, лишивши гражданства), некоторым почудилось (а кому конкретно — напрочь отшибло память), отыскались, повторяю, мечтатели, коим мерещилось, что сейчас-то, забившись в нью-йоркский закуток, Василий Павлович и возьмется за Миллера — главный свой труд... Да подвернулись, по счастью, иные заботы: прорвался в американскую профессуру, горбом, как Набоков, выслужил пенсион...

И вот (*пауза*) в рецензируемой книге два замечательных переводчика — Г.Егоров и М.Салганик — на пространстве в семь сотен страниц дружно проигнорировали глагол «зафуячить». А Василий Павлович авось не обошелся бы...

Мы солидарны с Мириам Львовной Салганик, когда она переводит: улица ранних скорбей. И не солидарны с вильнюс-московским изданием[1]: улица утренней муки. В данном пассаже Миллер оглядывается на Томаса Манна — «Непорядки и раннее горе» (1929), чему имеется косвенное свидетельство: «Я старательно изучал стилистику и приемы тех, кого почитал, — Ницше, Достоевского, Гамсуна, *даже Томаса Манна*...» Курсив опять-таки наш, а перевод — Зверева.

В прошлом веке Лев Николаевич Толстой предрекал, что рано или поздно роман прекратится, — *стыдно будет выдумывать*. Вот этой мыслью (этим чувством!) и вдохновлялся Генри Валентин Миллер (1891—1980).

В том же году, 1891-м, явился на свет Илья Григорьевич Эренбург. За неимением времени мы опускаем «Сравнительную биографию» двух долголетних парижских эмигрантов (Эренбурга и Миллера), но мимолетно остановимся в следующих пунктах:

1. Миллер жил и работал, руководствуясь внутренними побуждениями; Эренбург — внешними раздражителями, конвульсивно реагируя на действительность. 2. Оба — уроженцы XIX столетия, эпохи «национальной цельности». А наш век — чем дальше, тем больше — «время полукровок». У Миллера с Эренбургом очень мощное и глубинное национальное самоощущение.

[1] Г.Миллер. Избранное. Вильнюс, Polina; М., ВиМо, 1995.

> 1. Каждый живой человек, — провозглашал Миллер, — есть музей, в котором собраны ужасы его расы... 2. Я был обыкновенным рупором, через который разносились слова моих предков, моего народа...

Национальная самоидентификация позволяет, в частности, говорить о «других» — через себя — словно устами пращуров. Так, народная артистка Татьяна Ивановна Пельтцер — немка по происхождению — весьма точно по внешности изображала местный женский характер.

> 1. Для еврея мир, — писал Миллер, — это клетка с дикими зверями. Дверь заперта, а он внутри — без револьвера или хлыста <...> «Мяса, мяса!» — рычат львы, а еврей, окаменев, стоит в клетке. 2. Карл <...> достаточно еврей, чтобы потерять голову от мысли о России. 3. Смрад, который евреи пытались удалить из мира, — тот самый смрад, который они в него внесли. 4. Если вы попали в беду, первым делом обращайтесь к евреям!

В традициях нашей литературы — идти к роману от дневника с мемуарами[1], но Миллер заходит не с парадного подъезда, а с заднего крыльца, — как Юрий Олеша и Георгий Иванов, преобразует роман в воспоминания. Миллер-автор — не Миллер-персонаж. Романный Мандельштам — из «Петербургских зим» — не одноименный поэт: романный общается с зубною врачихой, а реальный — с Мариной Ивановной Цветаевой.

Вывод: «невыдуманность» Миллера столь же условна, как «выдуманность» Набокова. И то и другое — определили бы классики-«формалисты» — литературный прием. «Искусство, — уверял Миллер, — не учит ничему, кроме понимания того, насколько значительна жизнь».

Главные человеческие качества автора: а) настойчивость, б) беспечность. Писатель — по Миллеру — беззаботный трудоголик. Как раз такое диалектическое сочетание — единство противоположностей — в аккурат плодотворно.

Согласно американскому марксистскому критику, Миллер — бунтарь без цели, чего сам писатель вроде бы не отрицал: смысл литературы — в бесцельности... Сюда же — понятно — из Пушкина:

> Нас мало избранных, счастливцев праздных,
> Пренебрегающих презренной пользой...

[1] Герцен, «Былое и думы»; Бунин, «Жизнь Арсеньева»; Эренбург, «Хулио Хуренито» и «Люди, годы, жизнь»; Мариенгоф, «Роман без вранья», «Мой век, мои друзья и подруги»; Паустовский, «Повесть о жизни»; Андрей Сергеев, «Альбом для марок»...

«Много званых, да мало избранных»... Вероятно, функция литературы, ее практическое назначение — если не доказать, то внешне продемонстрировать пользу бесполезного, необходимость ненужного, целеустремленность бесцельного, законность излишнего. Иными словами, окунуть обывателя в полноту бытия.

Идея немножко восточная... хотя правильнее, пожалуй, в кавычках. Ведь представителями Востока выступают не только Будда с Конфуцием, но и Руссо с Шопенгауэром, и наш соотечественник Лев Николаевич Толстой, и земляки Миллера — американцы Торо да Эмерсон.

Допустим, западную идею артикулировал Макс Вебер, «Протестантская этика и дух капитализма». Генри Миллер — немец по крови, лютеранин по вере, дитя Америки, страны классического капитализма... а вот, извините, поди ж ты!

> 1. Америка, — восклицает, — это воплощение гибели! Она утянет с собой весь мир в бездонную пропасть... 2. Нас ждут неслыханные потрясения, неслыханные убийства, неслыханное отчаяние!

В бывшей Ленинке, в Российской Государственной библиотеке, зарегистрировано на сегодня с десяток изданий Миллера. Широкая география: Москва, Москва — Вильнюс, Питер, Волгоград, Красноярск, Пушкино... Тиражи 20, 25, 50, 150 тысяч... Похоже, рынок насыщен. В соседнем магазине лежит Миллер с весны...

Бестселлер — ходкий товар — а) держит нас в напряжении, б) рисует мир уютным, простым и осмысленным: зло наказано, добро побеждает, кесарю — кесарево, Богу — Богово, всем сестрам по серьгам и дьявол посрамлен... Но если вы сомневаетесь, что на рассвете непременно взойдет солнце, — боюсь, бестселлер у вас не сложится.

> 1. Тема искусства, — объявил Миллер, — радикальное несовершенство мира... 2. Я <...> хотел бы прожить героическую жизнь и сделать мир более сносным — с моей точки зрения.

Глядя с этой своей точки, Миллер не участвовал ни в первой мировой войне, ни во второй, ни в гражданской войне в Испании. Не попал в концлагерь, не строил социализм, не был глашатаем демократии... Единственное совершенное им героическое деяние — он просто писал книги.

ЭДУАРД ШУЛЬМАН

■

У книжной витрины

ДЕКЛАН КИБЕРД

Выдуманная Ирландия

Declan Kiberd. Inventing Ireland

Harvard University Press, 1996

Видный ирландский критик и литературовед Деклан Киберд вынес на суд читателей солидное 700-страничное исследование, посвященное феномену ирландской культуры и британскому влиянию на ее развитие. Анализируя произведения О.Уайльда, Б.Шоу, Ш.О'Кейси и других видных соотечественников, автор приходит к парадоксальному выводу: британский империализм на протяжении последних столетий служил своеобразным стимулом для ирландской литературы, которая поневоле превратилась в «литературу сопротивления». По мнению Киберда, именно конкретные исторические обстоятельства способствовали тому, что она обрела свое неповторимое лицо, что стали такими, как они есть, знаменитые ирландские сарказм и ирония.

МЕЛ ГАССОУ

Беседы со Стоппардом

Mel Gussow. Conversations with Stoppard

Limelight, 1996

Эта книга включает в себя тексты одиннадцати интервью, которые известный театральный критик, обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Мел Гассоу в разное время (на протяжении 23 лет) взял у знаменитого английского драматурга Тома Стоппарда. Мастерски составленный сборник предлагает читателю масштабный портрет Стоппарда — писателя, родившегося в Чехословакии и сумевшего стать «одним из самых английских британцев». Главная тема бесед — творческая биография драматурга. Отвечая на вопросы Гассоу, он рассказывает, как начал писать, чье влияние на себе испытал, какими путями шли его творческие искания. Подробно останавливается Стоппард на своей последней работе — пьесе «Тушь».

РИЧАРД ОЛИВЬЕ

И плавится камень

Richard Olivier. Melting the Stone

Continuum, 1996

Известный лондонский театральный режиссер и продюсер Ричард Оливье написал автобиографическую книгу. Это не просто воспоминания об отце, великом английском актере Лоренсе Оливье, хотя, разумеется, немало страниц посвящено истории знаменитой семьи. Обстоятельства собственной жизни послужили автору поводом для размышлений об отношениях отцов и сыновей в самом широком смысле, о роли так называемого «мужского движения» в истории общества. Ричард Оливье задается вопросом: что значит быть мужчиной в конце XX века? В поисках ответа он анализирует труды видных психологов, культурологов, а также ряд художественных текстов.

ЛУИС БУНЮЭЛЬ

Agon

Luis Buñuel. Agon

Instituto de Estudios Turulenses, 1996

Уже в течение нескольких лет расположенный в испанском городе Теруэле Институт научных исследований издает не публиковавшиеся ранее сценарии знаменитого режиссера Луиса Бунюэля. Эта своеобразная серия постоянно пополняется. Теперь в ней вышел в свет сценарий под названием «Agon», что по-гречески означает «борьба». «Отсюда происходит и слово агония — то есть последний бой», — поясняет соавтор сценария Жан-Клод Каррьер, много лет проработавший рядом с Бунюэлем. «Agon» был написан в конце 70-х, главная тема его — терроризм, но снять по нему фильм режиссер не успел.

ХУАН АРИАС

Фернандо Саватер, или Искусство жить

Juan Arias. Fernando Savater: El arte de vivir

Planeta, 1996

Фернандо Саватер — известный испанский философ и писатель, автор почти пяти десятков книг. «Искусство жить» — серия бесед с ним журналиста Хуана Ариаса, в которых затрагивается самый широкий круг тем — от кулинарии до места и роли Испании в современной Европе. Но больше всего страниц посвящено проблемам философии, литературы и культуры в целом. Главное сегодня для Саватера, за которым прочно укрепилась репутация современного испанского «просветителя», — осмыслить судьбы мира на рубеже веков, поднять голос в защиту свободы человеческой личности. В новой книге Саватер остается верен своему творческому принципу — «не бояться называть вещи своими именами».

КАРЛОС ФУЭНТЕС

Стеклянная граница

Carlos Fuentes. La frontera de cristal

Alfaguara, 1996

Тема новой книги известного мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса — эмиграция его соотечественников в США (начиная с прошлого века и кончая сегодняшним днем). По выражению критиков, «Фуэнтес заложил в прочное здание своей прозы еще один добротный кирпичик». О композиции «Стеклянной границы» говорит подзаголовок: «роман в девяти рассказах». Это действительно девять отдельных историй, отчасти объединенных общими героями, но главным образом — общей тональностью повествования о трагических судьбах людей, решившихся на переход границы («стеклянной»), которая разделяет США и Мексику.

ВИСЕНТЕ ВЕРДУ

Американская планета

Vicente Verdu. El planeta americano

Anagrama, 1996

Американизация мира — такова тема этой публицистической книги, удостоенной престижной испанской премии «Анаграма». Автора волнует проблема влияния США на экономику и культуру других стран, которое сегодня сильно как никогда и, видимо, компенсирует ослабление американского военного присутствия. Наибольшую тревогу у В.Верду вызывает американизация мышления: люди все делают с оглядкой на «дядю Сэма» — выбирают ли стиль поведения или систему ценностей, товары или кулинарные рецепты. По мнению автора, такую роль США играют благодаря оперативному использованию новейших средств связи и информатики. В результате «Киберамерика» стала рисоваться идеалом будущего, к которому должны стремиться все страны. Но весьма важно и то, что компьютеризация породила «новый вид апартеида»: имеющие компьютерный доступ к информационному миру получают профессиональные и социальные преимущества. Висенте Верду призывает европейцев к сопротивлению — пассивное подчинение ходу событий равносильно самоубийству.

КИМ КЕМПБЕЛЛ

Время и удача

Kim Campbell. Time and Chance

Doubleday, 1996

Крупнейшим литературно-политическим событием года в Канаде явилась публикация мемуаров бывшего премьер-министра страны Ким Кемпбелл. Ким Кемпбелл — первая в истории Канады женщина, которая стала министром юстиции (через семь лет после окончания университета!), министром обороны, лидером Прогрессивно-консервативной партии и, наконец, премьер-министром. Однако в мемуарах речь идет не только о стремительной карьере автора, Кемпбелл подробно рассказывает и о своей непростой личной жизни (сложные отношения с родителями, два неудачных брака и т.д.). Большой интерес у читателей вызвали также страницы, где даются характеристики видным канадским политикам.

КЭТИ ЭКЕР

Киска, король пиратов

Kathy Acker. Pussy, King of the Pirates

Grove, 1996

Кэти Экер критики часто называют «самой эпатажной» современной писательницей США. После нашумевших пародий на произведения Диккенса и Сервантеса она обра-

тилась к знаменитому роману Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». В результате возникла «панк-версия» легендарной книги. Рассказчик, постмодернистский панк Антонен Арто, излагает историю главной героини — мадемуазель О, проститутки, которая вместе с эстрадным артистом по имени Киска путешествует по Египту, Китаю и другим экзотическим странам, где их ждут всевозможные эротические приключения. В конце концов оба оказываются в пиратской банде, состоящей только из девушек, и отбывают на свой «остров сокровищ» — там и происходят главные события этого антиромана.

ДЖОН БАРТ
Рассказ продолжается
John Barth. On with the Story
Little Brown & Company, 1996

Вышел новый сборник рассказов знаменитого американского прозаика Джона Барта, лидера направления, названного критикой «школой черного юмора», одного из основоположников постмодернизма на Западе. Его романы «Плавучая опера», «Конец пути», «Козлоюноша Джайлс», а также сборник рассказов «Потерявшийся в комнате смеха» стали классикой. Свою творческую задачу Барт определил так: «Создать Вселенную заново». В последней книге он продолжает эксперименты с языком и формой. Сборник складывается из историй, которые пожилые супруги рассказывают друг другу. При этом большая часть метафор заимствована из новейших теорий в области квантовой физики. Критики высоко оценили «Рассказ продолжается», назвав его «очень бартовской книгой».

ГЕНРИ РОТ
Из кабалы
Henry Roth. From Bondag
St.Martin's Press, 1996

Это третий том масштабного автобиографического романа американского прозаика Генри Рота (1906 — 1995), который впервые увидел свет уже после смерти автора. Генри Рот получил широкую известность в 1964 г., когда был переиздан написанный им в 28 лет роман «Зовите это сном», ныне считающийся классикой. Однако после «Зовите это сном» Рот надолго отошел от литературного творчества и лишь в 70-е годы начал писать (а в 80-е — перерабатывать) «Власть бурного потока», где вернулся к герою своего первого романа — мальчику из бедной еврейской семьи, о чьей судьбе и рассказывается в трилогии.

АЛЬДО БУЗИ
Мать Газдрубала
Aldo Busi. Madre Asdrubala
Mondadori, 1996

Каждая книга известного итальянского писателя Альдо Бузи неизменно вызывает полемику в прессе. Новый роман Бузи решен в ключе сатирического гротеска. Критики назвали «Мать Газдрубалу» «фантастическим и футурологическим антироманом» (действие разворачивается в 2003 году). Рассказ ведется от лица героини — «ребенка из пробирки», одиннадцатилетней девочки, которая оказалась в приюте, где заправляет некая мать Газдрубала. Приют — школа жестокости, рассадник человеческих пороков, но и единственно возможная школа выживания: здесь готовят питомцев к взрослой жизни в чудовищном мире — на истощенной, пережившей ядерный конфликт планете, где царят коррупция и мошенничество, а люди поклоняются Ее Величеству Лжи.

РИЧАРД ДАВЕНПОРТ-ХАЙНС
Оден
Richard Davenport-Hines. Auden
Pantheon, 1996

Видный журналист, автор серии биографических исследований Ричард Давенпорт-Хайнс посвятил свою новую книгу одному из величайших английских поэтов XX века Уистену Хью Одену, хотя за последние двадцать лет уже увидело свет несколько работ на эту тему. В новом жизнеописании Одена читателю предлагаются ранее неизвестные материалы (сведения об отце Одена, о событиях конца 20-х, а также фрагменты из никогда не публиковавшейся переписки поэта с друзьями — Джеймсом и Таней Стерн). Давенпорт-Хайнс подробно рассказывает о роли любви в жизни Одена (сам он считал себя великим грешником), дает глубокий анализ причин возвращения его к религии.

ГРЭХЕМ РОББ

Отомкнуть Малларме

Graham Robb. Unlocking Mallarme

Yale University Press, 1996

Английский писатель и специалист по французской литературе Грэхем Робб (написанная им биография Бальзака в 1994 г. попала в традиционный список «Книг года» «Нью-Йорк таймс») задался в своем новом исследовании целью подобрать ключ к творчеству Стефана Малларме, одного из самых труднопостижимых французских поэтов. Отправной точкой для автора послужило наблюдение, что поэт постоянно использовал в стихах примерно сто слов французского языка, к которым невозможно подобрать рифму. На взгляд Робба, тайный и главный смысл каждого стихотворения Малларме — это аллегорическая история его создания.

САРА КИРШ

Без дна. Стихи

Sarah Kirsch. Bodenlos. Gedichte

DVA, 1996

Вышел в свет новый сборник стихов одной из самых читаемых поэтесс современной Германии — Сары Кирш. Поэтическое пространство этой книги — удивительный дом: птицы там живут без клеток, летают, где хотят, там ничто не мешает цветам расти, затягивать окна и оплетать лестницы, камни заменяют пол. В это уединенное место люди попадают редко, и одиночество (один из главных мотивов лирики Сары Кирш) обретает свой изначальный смысл: проклятия и счастья одновременно.

НЬЕВЕС МЭТЬЮС

Фрэнсис Бэкон

Nieves Mathews. Francis Bacon

Yale University Press, 1996

Историк Ньевес Мэтьюс посвятила более десяти лет изучению жизни и репутации Фрэнсиса Бэкона. Всему миру он известен как выдающийся философ, основоположник современной науки, справедливый судья и наставник королей. Однако в Великобритании и Америке распространился взгляд на него как на жестокого, корыстного и властолюбивого политикана. В своей книге Ньевес Мэтьюс анализирует выдвинутые против Бэкона обвинения и приходит к выводу, что тот оказался жертвой клеветы. Автор ставит своей задачей нарисовать объективный портрет Бэкона — со всеми его достоинствами и недостатками.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ (MICHEL TOURNIER; род. в 1924 г.) — французский писатель, член Академии Гонкуров. Его первый роман «Пятница, или Круги Тихого океана» («Vendredi ou Les Limbes du Pacifique») появился в 1967 году, был удостоен «Гран-при» Французской академии и принес автору широкую известность. За роман «Лесной царь» («Le roi des aulnes», 1970) писателю была присуждена Гонкуровская премия. В последующие годы выходили роман «Метеоры» («Les météores», 1975), книга рассказов «Каспар, Мельхиор и Бальтасар» («Gaspard, Melchior et Balthazar», 1980; рус.пер. 1993), повесть «Жиль и Жанна» («Gilles et Jeanne», рус.пер. в «ИЛ», 1993, № 10), сборник рассказов «Глухарь» («Le coq de bruyère», рассказы из этого сборника напечатаны в «ИЛ», 1981, № 10), книга эссе «Ключи и замочные скважины» («Des clefs et des serrures», 1978) и др.произведения.
Роман «Элеазар, или Источник и Куст» получен редакцией в рукописи («Eléazar, ou La Source et le Buisson». Paris, Éditions Gallimard, 1996).

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (FRIEDRICH DÜRRENMATT; 1921—1990) — швейцарский писатель, драматург; лауреат международных и национальных литературных премий: Мольеровской (1957), Шиллеровской (1959) и др. Автор пьес, романов, повестей, рассказов, эссе. «Иностранная литература» публиковала произведения Ф.Дюрренматта разных жанров: пьесы «Визит старой дамы» («Der Besuch der alten Dame», 1958, № 3), «Метеор» («Meteor», 1967, № 2), «Играем Стриндберга» («Play Strindberg», 1973, № 4); повести «Авария» («Die Panne», 1961, № 7), «Обещание» («Das Versprechen», 1966, № 5); «Зимняя война в Тибете» (Библиотека «ИЛ», 1990); роман «Правосудие» («Justiz», 1988, № 6), фрагмент романа «Пенсионер» («Der Pensionierte», 1996, № 4). На русском языке изданы также сборник «Комедии», пьеса «Грек ищет гречанку», роман «Судья и его палач», приключенческие повести «Операция «Вега», «Подозрение» и др.
Пьеса «Подельники» была издана в Швейцарии в 1976 году («Mitmacher». Zürich, Diogenes Verlag).

ЛАСЛО ДАРВАШИ (DARVASI LÁSZLÓ; род. в 1962 г.) — венгерский писатель. Работал в редакциях газет в Сегеде и Будапеште. Его первый сборник стихов «Антал Хоргер в Париже» («Horger Antal Párizsban») был издан в 1991 году. Затем вышли сборник «Португальцы» («A portugálok», 1992) и три книги рассказов — «Вейнхагенские розы» («A veinhageni rózsabokrok», 1993), «В рамках» («A vonal alatt», под псевдонимом Sziv Ernő; 1994), «Тоска по Боргоньони» («Borgognoni-féle szomorúság», 1994).
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Вейнхагенские розы» (Pécs, Elő Irodalom sorozat, Jelenkor Kiadő, 1993).

АНТУН ШОЛЯН (ANTUN ŠOLJAN; род. в 1932 г.) — хорватский поэт, прозаик, драматург. Автор многих книг, переведенных на ряд европейских языков, в том числе сборников стихов «На краю света» («Na rubu svijeta», 1956), «Газель и другие стихотворения» («Gazela i druge pjesme», 1970), романов «Короткая прогулка» («Kratki izlet», 1965), «Гавань» («Luka», 1974; рус. пер. Библиотека «ИЛ», 1989), «Другие люди на Луне» («Drugi ljudi na Mjesecu», 1978), а также рассказов, пьес. Несколько его рассказов напечатаны в «ИЛ» (1983, № 7).
Рассказы «Семейный ужин» («Obiteljska večerá») и «Итоги опроса» («Anketni postatak») переведены по тексту Собрания сочинений А.Шоляна и сборнику «Семейный ужин» («Zabrana djela», t.2. Zagreb, 1987; «Obiteljska večerá». Zagreb, Naprjed, 1975).

АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР (ADALBERT STIFTER; 1805—1868) — австрийский писатель. Изучал право и естественные науки в Венском университете, был юристом. Автор сборников новелл и повестей «Этюды» («Studien», 1844—1850), «Пестрые камни» («Bunte Steine», Bd 1-2,-1853), «Авдий» («Abdias»), романов «Бабье лето» («Nachsommer», 1857), «Витико» («Witiko», Bd 1-3, 1865—1867), «Записки моего прадеда» («Die Mappe meines Urgrossvaters») и др.
Рассказ «Кондор» («Kondor») взят из первого тома Собрания сочинений А.Штифтера (Stifters Werke. In vier Bänden. Erster Band. Berlin und Weimar. Aufbau Verlag, 1973).

УИЛЬЯМ ГАСС (WILLIAM H. GASS; род. в 1924 г.) — американский писатель. Профессор философии в Университете имени Вашингтона (штат Миссури). Возглавляет Международный писательский центр. Автор романов «Удача Оменсеттера» («Omensetter's Luck», 1966), «Одинокая жена Вилли Мастерса» («Willie Masters' Lonesome Wife», 1968), «Туннель» («The Tunnel», 1995), сборников критических эссе «Беллетристика и фигуры жизни» («Fiction and the Figures of Life», 1970), «Мир в слове» («The World Within the Word», 1978).
Повесть «Мальчишка Педерсенов» («The Pedersen Kid») взята из сборника повестей и рассказов У.Гасса «В глуши глубинки» («In the Heart of the Heart of the Country». Boston, David R.Godine, 1968).

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ (JAMES PATRICK DONLEAVY; род. в 1926 г.) — американский писатель, живет в Ирландии. Автор

шести романов, в том числе «Человек с огоньком» («The Ginger Man», 1955), «Уникальный человек» («A Singular Man», 1963), «Лукоеды» («The Onion Eaters», 1971), «Шульц» («Schultz», 1979), сборника рассказов «Встреться с Создателем, сумасшедшая молекула» («Meet My Maker, the Mad Molecule», 1965) и др. В «ИЛ» печатались его юмористические рассказы «Кодекс без изъятий и сокращений. Полный свод правил выживания и поведения в обществе» (1978, № 6); «Камо грядеши», «Два письма» (1981, № 11), «Франц Ф.» (1992, № 8-9).

Повесть «Самый скорбный сезон Сэмюэла С.» была издана в США в 1966 году («The Saddest Summer of Samuel S.». New York, Penguin Books).

ДОНАЛД БАРТЕЛМИ (DONALD BARTHELME; 1931—1989) — американский прозаик. Дебютировал сборником новелл «Возвращайтесь, доктор Калигари» («Come Back, Dr.Caligari», 1964), в котором широко использованы метафоры знаменитого экспрессионистского фильма «Кабинет доктора Калигари» (1919, реж. Р.Вине). Образность популярных кинолент — чаще всего с пародийными целями — Бартелми использовал и в других своих произведениях: повести «Белоснежка» («Snow White», 1967), цикле рассказов «Городская жизнь» («City Life», 1970). Автор романов «Мертвый отец» («The Dead Father», 1975), «Парадиз» («Paradise», 1986) и многих сборников новелл.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Шестьдесят рассказов» («Sixty Stories». New York, E.P.Dutton, 1982).

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.) — литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982), «Грустный, солнечный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985), «Дворец на острие иглы» (1989) и многих статей в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ». Постоянный автор «Иностранной литературы» с 1965 г.

ГЮНТЕР ГРАСС (GÜNTER GRASS; род. в 1927 г.) — немецкий писатель. Лауреат литературной премии имени Бюхнера. Автор романов «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969), «Из дневника улитки» («Aus dem Tagebuch einer Schnecke», 1972), «Палтус» («Der Butt», 1977), «Крысиха» («Die Rättin», 1986). В «ИЛ» напечатаны повести Г. Грасса «Кошка и мышь» («Кошки-мышки», «Katz und Maus», 1968, № 5) и «Встреча в Тельгте» («Das Treffen in Telgte», 1983, № 5), стихи (1983, № 10), романы «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», книга первая, 1995, № 11), «Собачьи годы» («Hundejahre», 1996, № 5—7).

Книга «Вчера, полвека тому назад» — переписка Гюнтера Грасса и Кэндзабуро Оэ — вышла в Германии в 1995 году («Gestern, for 50 Jahren». Göttingen, Steidl Verlag).

КЭНДЗАБУРО ОЭ (род. в 1935 г.) — японский писатель, лауреат Нобелевской премии (1994); Нобелевская лекция К. Оэ «Многосмысленностью Японии рожденный» напечатана в «ИЛ» (1995, № 5). Автор многих произведений, отмеченных литературными премиями, среди них «Содержание скотины» (1958, премия Акутагавы), романы «Крик» (1963), «Личный опыт» (1964), «Проснись, новый человек» (1983), трилогия «Пылающее зеленое дерево» (1993—1996). В «ИЛ» опубликованы романы «Футбол 1860 года» (1972, № 1, 2), «Объяли меня воды до души моей...» (1978, № 3, 4), «Записки пинчраннера» (1981, № 11, 12). На русском языке издан также роман «Опоздавшая молодежь» (М., «Прогресс», 1973).

■Переводчики:

ВОЛЕВИЧ ИРИНА ЯКОВЛЕВНА — переводчик с французского. В ее переводе изданы романы «Тристан» Пьера Сала, «Голубые цветочки» Раймона Кено, «Сильва» Веркора, «Идеальное место для убийства» Рашида Буджедры («ИЛ», 1984, № 10), «Рыбья кровь» Франсуазы Саган («ИЛ», 1991, № 2), новеллы писателей эпохи Возрождения, романы и пьесы Жана Жироду, Мишеля де Гельдероде, Жан-Жака Руссо, Дени Дидро и др.

ВЕНГЕРОВА ЭЛЛА ВЛАДИМИРОВНА — литературный критик и переводчик с немецкого. В ее переводе публиковались пьесы «Наполеон I» Ф.Брукнера, «Мартин Лютер и Томас Мюнцер» Д.Форте, «Великий мир» Ф.Брауна, «Амфитрион», «Пандора», «Разговор в семействе Штайн...» П.Хакса, «Филоктет» Х.Мюллера. В «ИЛ» напечатаны в ее переводе главы из книги «На самом дне» Гюнтера Вальрафа (1986, № 8, 9), роман «Парфюмер» (1991, № 8) и повесть «Голубка» (1994, № 9) Патрика Зюскинда, «Очень короткие истории» Хаймито фон Додерера (1995 , № 8).

ПОПОВА ТАТЬЯНА ПРОТОГЕНОВНА — переводчик с сербского и хорватского языков. В ее переводе напечатаны романы «Проклятый двор» И.Андрича, «Корни» Д.Чосича, «Знамена» (т. 1) М.Крлежи, «Гавань» А.Шоляна (рус.пер. Библиотека «ИЛ», 1989), «Роман о Лондоне» (т. 2) М.Црнянского.

ФЕДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА — переводчик с немецкого, шведского, нидерландского, английского, польского. За переводческую деятельность удостоена Государственной премии Австрийской Республики (1995). В ее переводе изданы роман «Дорога в царство колоколов» Х. Мартинсона, рассказы З. Ленца, Ф. Фюмана, Р. Вернер, Т. Линдгрена, Л. Тырманда и др. В «ИЛ» напечатаны рассказ Анны Зегерс «Каменный век» (1975, № 12), ее повесть «И снова встреча» (1978, № 11), романы «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой» Ангелики Мехтель (1983, № 1), «Победителю достанется все» Дитера Веллерсхофа (совместно с М. Рудницким, 1986, № 6—8, главы 8—14), новелла Ф. Дюрренматта «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» (1990, № 1), индийская поэма «Сиддхартха» Германа Гессе (1994, № 9), отрывок из романа «Убийство» К.Рансмайра (1995, № 8).

ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (род. в 1937 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались романы «Вся королевская рать» Р.П.Уоррена, «Свет в августе» У.Фолкнера, «Над кукушкиным гнездом» К.Кизи. В «ИЛ» печатались «Теофил Норт» Т.Уайлдера (1976, № 6—8), «Другие голоса, другие комнаты» Т.Капоте (1993, № 12), повести «Большой налет» и «106 тысяч за голову» Д.Хэммета (1988, № 7), «Когда я умирала» У.Фолкнера (1990, № 8), роман «Макулатура» Ч.Буковски (1996, № 1), «Железный бурьян» У.Кеннеди (1996, № 4)) и др. Лауреат премий «ИЛ» (1990 и 1993).

ВАСИЛЬКОВСКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА — студентка Литературного института имени А.М.Горького, переводчик с английского. В ее переводе в «ИЛ» (1995, № 10) напечатан рассказ «Уста наслаждения, уста смерти» Сары Грейси.

ЕГОРШЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1935 г.) — журналист-германист, переводчик с немецкого. В «ИЛ» напечатаны в его переводе книги «Великое переселение» (1994, № 9) и «Взгляд на гражданскую войну» (1995, № 6), Х.М.Энценсбергера, речь В.Бирмана при присуждении ему премии им.Генриха Гейне (1994, № 9). В его переводе изданы также роман «Бегство от гостей» Р.Леттау и несколько рассказов К.Хайна. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть русского писателя В.Панова «Филипп фон Цезен».

■

ИНДЕКС 70394

ART FMR – ЛЕТОПИСЬ ИСКУССТВ ФРАНКО МАРИЯ РИЧЧИ

Это самое роскошное обзорное издание по искусству, которое когда-либо выходило в мире. Его создатель – известный итальянский ученый и издатель Франко Мария Риччи. Каждый из 15 томов "Art FMR" – не только сокровищница знаний, но и произведение искусства само по себе, настоящий полиграфический шедевр. Безупречное внешнее оформление (черный шелковый переплет, золотое тиснение) сочетается с уникальным качеством воспроизведения репродукций: практически 100-процентная передача цветовой гаммы оригинала.

"Летопись искусств" - это 10 книг, составляющих 15 томов:
Книга 1: *Древний мир. От первобытного искусства до императора Августа* – том I • ***Книга 2:*** *I-V вв. н.э. Римская империя* – том II • ***Книга 3:*** *VI-X вв. Варвары. Византия. Ислам* – том III • ***Книга 4:*** *XI-XIV вв. Романский стиль. Готика* – том IV • ***Книга 5:*** *XV-XVI вв. Гуманизм. Ренессанс* – тома V-VII • ***Книга 6:*** *XVII в. Барокко* – том VIII • ***Книга 7:*** *XVIII в. Рококо. Неоклассицизм* – том IX • ***Книга 8:*** *XIX в. Романтизм. Модерн* – тома X-XI • ***Книга 9:*** *XX в. Современное искусство* – тома XII-XIII • ***Книга 10:*** *Энциклопедия-хронология* – тома XIV-XV.

3 000 иллюстраций этих великолепных альбомов знакомят с шедеврами самых известных музеев Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Флоренции, Санкт-Петербурга и других городов мира. Здесь представлены наскальные рисунки и файюмские портреты, живопись Леонардо да Винчи и Ренуара, золото доколумбовой Америки и стекло Цезарей, мечети Кордовы и мозаики Равенны, город Великих Моголов Акбар и надгробия Сен-Дени.

Прекрасные иллюстрации сопровождаются рассказами о знаменитых и неизвестных картинах, скульптурах, церквах, замках, дворцах, рукописях, фресках, садах и т. д. Среди авторов этих эссе - Умберто Эко, Чарльз Диккенс, Александр Дюма, Эрнест Ренан, Жюль Мишле, Жерар Нерваль, Итало Кальвино, Хорхе Луис Борхес.

КАЖДЫЙ ИЗ 15 ФОЛИАНТОВ "ЛЕТОПИСИ ИСКУССТВ" – ЭТО КНИГА-МУЗЕЙ, ИЗЫСКАННАЯ И СОВЕРШЕННАЯ.

АОЗТ "Мир Знаний"
Тел.: (095) 962 0735, 962 0779; факс: (095) 962 0197 - в Москве;
Тел.: (8462) 356 821, 358 608 - в Самаре.
Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14. E-mail: mir@znanija.msk.su

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1997, №2, 1 — 256.